А. С. ПУШКИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ







СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

А. С. ПУШКИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

8Р1
П91

Вступительная статья

В. Э. ВАЦУРО

Составление и примечания

В. Э. ВАЦУРО, М. И. ГИЛЛЕЛЬСОНА,
Р. В. ИЕЗУИТОВОЙ, Я. Л. ЛЕВКОВИЧ

Оформление художника

В. МАКСИНА

П $\frac{4702010100\text{-}212}{028(01)\text{-}85}$ 21-85

ПУШКИН В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННИКОВ

Воспоминания современников о Пушкине имеют одну особенность, которая обнаруживается лишь тогда, когда тексты их собраны вместе.

Тогда оказывается, что они сами собой укладываются в четкий хронологический ряд, как бы образуя канву биографии поэта: Лицей, Петербург, юг, Михайловское, Москва, Кавказ, Петербург.

Так бывает, когда жизнь героя мемуаров проходит в более или менее замкнутых, но разнообразных сферах,— каждый раз с новыми людьми и новыми связями, последовательно сменяющими друг друга. Жизнь путешественника, дипломата, странствующего актера или «ссылочного невольника».

В такой «мемуарной биографии» нет единого голоса: речь литератора и политика прерывается — иногда на долгий срок — бесхитростным рассказом крестьянина, воспоминания друга детства — домыслами случайного попутчика. Это — отраженная биография, мозаически составленная из разного — и не всегда доброкачественного — материала.

Ее необходимо проверить, сопоставить с другими источниками, документами, письмами, автопризнаниями, то есть произвести «критику источника». Отвергая явно недостоверное, не следует пренебрегать неточным или сомнительным, памятуя, что взгляд современника всегда субъективен, что бесстрастного рассказа о виденных событиях и лицах не существует, что вместе с фактом в воспоминания неизбежно попадает отношение к факту и что самое это отношение есть драгоценный исторический материал [1]. Более того, мы обязаны помнить, что мемуары подвержены всем случайностям человеческой памяти, допускающей невольные ошибки,— подчас путаются лица, даты, смещается последовательность событий. Все это — органическая принадлежность мемуаров, особенность их как источника. «Верить» им до конца было бы ошибкой, но отвергать их, найдя в них противоречия или несоответствия современному нам взгляду,— двойная ошибка.

---

[1] См. об этом в кн.: Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971, с. 137—282.

Они удерживают сведения, которых не содержат никакие другие документы.

Они очерчивают нам круг связей и отношений их героя с современниками.

Наконец они — и только они — рисуют нам историческое лицо в его неповторимом индивидуальном облике, передавая его характер, речь, привычки.

«Мемуарная биография» Пушкина, строго говоря, начинается с Лицея. Это естественно. Лицей был средой, формировавшей Пушкина-поэта; в свою очередь, его личность и творчество оказали на нее мощное влияние, под знаком которого потом развивалась лицейская традиция. Отсюда выходят записки И. И. Пущина — самые полные и достоверные воспоминания о юношеских годах поэта. Отчасти направляемые поэтическим творчеством Пушкина, они отразили тот самый «лицейский дух», который не без оснований рассматривался в правительственных кругах как источник либеральных и прямо революционных настроений. Пущин, сам один из ярчайших носителей этого «духа», создал произведение едва ли не единственное в своем роде. «Декабрист» в самом глубоком историко-психологическом смысле, подчинивший свою жизнь идее общественного служения, он пронизывает личным началом свое автобиографическое повествование до такой степени, что оно становится одновременно и памятником истории быта — лицейского в первую очередь. В отличие от многих современных ему литераторов-декабристов, он не отбирает и не отсеивает личный, бытовой материал как неважный и малоценный; ему важно все, поскольку именно это «все», до детских шалостей и проказ, было освящено поэзией его великого друга. Его записки — это литературный памятник декабризма, испытавший влияние пушкинской эстетики, и в нем органично проступают факты политической биографии Пушкина.

Эта общественно-политическая ипостась пушкинской биографии поразному отражается в мемуарах лицеистов и тесно общавшихся с ними воспитанников Благородного пансиона при Педагогическом институте, где учился Левушка Пушкин. Лицей не был мирным царством патриархально-идеальных отношений, как представал он иной раз дореволюционным его историкам. Это как нельзя лучше показывают, например, резко недоброжелательные к Пушкину и даже, как писал еще Вяземский, «похожие на клевету» воспоминания М. А. Корфа. Они свидетельствуют о размежевании среди лицеистов. Путь Пущина вел на каторгу. Путь Корфа — на высокие ступени иерархической лестницы. Его голос — это голос официальной историографии николаевского времени, осудивший лицейского Пушкина с нравственной и моральной стороны. Его «записка» особенно ценна своей открытой тенденциозностью: она наглядно показы-

вает остроту и напряжение общественной борьбы вокруг имени и биографии Пушкина.

И о том же свидетельствуют с прямо противоположной стороны воспоминания Н. А. Маркевича — не лицеиста, но пансионера,— любопытнейший памятник «школьного фольклора» о юноше Пушкине, с характерной неосведомленностью в деталях, с подчеркиванием фактов (иной раз легендарных) дерзкого мальчишеского озорства, всегда направленного на дворец и его обитателей. Эти ранние предания о юном Пушкине ценны именно отраженным в них духом времени.

Для Пушкина в это время начинается важный этап биографии— петербургский период 1817—1820 годов,— время становления личности, с издержками роста, дуэлями, театральными проказами... Его среда теперь — кружок Всеволожского и «Зеленой лампы», товарищество царскосельских гусар, среди которых — Каверин и Чаадаев, но едва ли не более всего — круг молодых последователей Карамзина, образовавших литературное сообщество «Арзамас».

Этим людям — Вяземскому, Жуковскому, А.Тургеневу — предстоит сопутствовать Пушкину на протяжении всей его жизни. Они «свои». Какие бы ссоры и разногласия ни омрачали их отношений, они связаны с Пушкиным неразрывной цепью долголетней привязанности, общих интересов, бытовых привычек. Наряду с «лицейским братством», «арзамасское братство» составляет среду, сформировавшую личность Пушкина. И дело здесь не в тождестве литературных позиций — тождества не было,— а в некоей общности интересов и литературного воспитания и в том особом и обособленном от других социально-психологическом складе, который отличает людей «кружка» и облегчает им связь и взаимное понимание друг друга преимущественно перед всеми остальными.

С традицией «Арзамаса» связывала Пушкина эпиграмматическая заостренность литературных полемик, алогическая пародийность, приверженность к «легкому и веселому», скрывающему за собой весьма серьезное содержание, самый культ острословия, каламбура, анекдота, наконец, классическая точность литературного мышления и выражения. В рассказах Смирновой-Россет предстают перед нами Пушкин, Жуковский, Вяземский, с комической серьезностью сочиняющие вместе с Мятлевым смешную и нелепую арзамасскую «галиматью». «Арзамасским духом» веет от поздних воспоминаний Вяземского. В них особое место принадлежит острым словечкам и забавным анекдотам Пушкина,— до них Вяземский сам был большой охотник. Вяземский был убежденным «арзамасцем» до конца дней своих и иногда, может быть, непроизвольно переставлял акценты; по прошествии многих лет он несколько «приближал» Пушкина и к Карамзину и к Дмитриеву, посмертно выигрывая у него многолетний спор. Пушкин же, принадлежа «Арзамасу» в основе своего литературного воспитания, был «сектатором» в гораздо меньшей степени; и силою обстоятельств основные воспоминания о нем в начале

1820-х годов приходят из враждебных «Арзамасу» литературных сфер — от «архаиков», из-под пера Катенина, «сектатора» еще более, чем Вяземский. Он рассказывает, по существу, о Пушкине, отходящем от «Арзамаса» якобы в выученики Катенина, в театральный салон основного врага «арзамасцев» и столпа «Беседы любителей русского слова» князя Шаховского. Здесь тоже была полуправда, как и у Вяземского; отход Пушкина от безусловной приверженности карамзинскому литературному кругу был расширением его литературного сознания, а не сменой ориентации. Пушкина-«арзамасца» Катенин не знал и не хотел знать.

Кроме «полуправды», здесь была и фигура умолчания. Катенин, тесно связанный с преддекабристскими политическими кружками конца 1810-х годов, оставил за пределами своих воспоминаний начальный этап политической биографии Пушкина. Его отчасти приоткрывают нам воспоминания Вигеля и Ф. Глинки. Пушкина видят в обществе братьев Тургеневых, в особенности младших — Николая, Сергея, Ф. Глинки, Чаадаева и других. Эти люди — будущие активные деятели тайных обществ или ближайшей их периферии. В этом общении создается «Вольность», «Деревня», политические эпиграммы.

Воспоминания Ф. Глинки выхватывают из темноты последние дни этого периода — ссылку Пушкина на юг.

Воспоминания о ссыльном Пушкине, широко использованные П. И. Бартеневым в его книге «Пушкин в южной России»,— ценнейший биографический документ. Если бы не они, южный период жизни Пушкина был бы почти неизвестен. В Кишиневе была новая и совершенно незнакомая вначале Пушкину среда, замкнутая, локальная, почти отделенная от столиц, не имевшая надобности в обширной переписке. Имя Пушкина здесь, конечно, не могло быть широко известно.

Эта среда создает о нем легенды полуанекдотического характера. Ни один период биографии Пушкина не породил столько анекдотов о нем, как период южной ссылки.

На этом фоне выделяются воспоминания Горчакова, Липранди, Вельтмана, Вигеля — поистине неоценимый фонд биографических материалов о Пушкине 1820—1824 годов.

Эти материалы вместе с тем чрезвычайно любопытны как исторический источник. Прежде всего они — и это совершенно естественно — идут из одного, и весьма тесного, круга хорошо знакомых друг с другом людей. Горчаков, Липранди, Вельтман — офицеры генерального штаба, та единственная интеллектуальная среда, с которой сблизился в Кишиневе Пушкин. Все они — свидетели одних и тех же событий; кишиневское общество наперечет; жизнь каждого более или менее на виду. Их сообщения о Пушкине взаимно дополняют и корректируют друг друга. Но при этом все три мемуариста — люди разного направления интересов, разной биографии и воспитания. Это определяет три разных угла зрения на Пушкина и три принципа отбора материала.

В. П. Горчаков — поэт-дилетант, преданный памяти и таланту Пушкина. Одна из его задач — разрушить выдумки Прункула, касающиеся бытового облика поэта. Поэтому бытовые реалии имеют для него особое значение. Если угодно, он пишет о «Пушкине в жизни», но о Пушкине-поэте, а не просто об озорнике, как писал Прункул.

А. Ф. Вельтман — превосходный литератор-профессионал, впоследствии преломлявший свои кишиневские впечатления в парадоксальной и ироничной прозе. Легкий оттенок иронии лежит на его изображении кишиневского общества, его Пушкин погружен в литературные интересы. Маленький эпизод с лингвистическим спором по поводу вельтмановского экспромта занимает в его рассказе важное место.

И. П. Липранди — бесспорно, наиболее яркая личность из всех — вовсе не литератор, что неоднократно подчеркивает сам. Он не чужд литературе, но он преимущественно политик, статистик, историк широчайшего кругозора и образованности. Это фигура большого масштаба — и больших, но неразвернувшихся возможностей: ученый, не написавший трудов, политик и дипломат, занявшийся статистикой; революционер, заговорщик, ставший затем (много позднее) провокатором на службе у правительства, бретер отчаянной храбрости и хладнокровия, со спокойным благоразумием примиряющий Пушкина с противниками почти у барьера. Его мемуары наполнены историческими, политическими, социологическими справками и сведениями. Написанные как замечания очевидца на работу Бартенева, они не уступают ей в научной основательности.

В мемуарах Липранди, основанных, как и горчаковские, на подлинном дневнике, Пушкин поставлен в особую среду, не ту, которая известна нам по кишиневским анекдотам. В облике, поведении, тематике разговоров окружавших его людей легко угадываются члены тайных обществ. Они политики, социологи и философы — люди того же склада, что и в петербургском кружке Тургеневых. Липранди положил на портрет Пушкина новые краски; его Пушкин — человек углубленных исторических, этнографических интересов,— даже более, чем поэт. Липранди мало говорит о его стихах, зато упоминает о не дошедших до нас записях молдавских преданий и занятиях историей, политикой, географией края; даже в Овидии, если верить Липранди, Пушкин видит лицо не столько поэтическое, сколько историческое.

Образ Пушкина разошелся под пером кишиневских мемуаристов, но они не искажали факты: они смотрели на своего героя с разных сторон.

Когда в советское время были опубликованы воспоминания В. Ф. Раевского — «первого декабриста», «сурового спартанца», взгляд Липранди получил подтверждение. Здесь был тот же Пушкин — застигнутый в момент социально-политического спора, о чем Липранди говорил, но лаконично. Накалялся градус политической атмосферы, то, что недавно еще могло выглядеть как юношеское фрондерство, оформлялось теперь в поли-

тическую позицию. Наконец, в дневнике Долгорукого, заносившего в подневные записи все, услышанное накануне, заговорил своим голосом молодой радикал, волею судеб попавший в центр уже зреющего заговора...

А дальше — провал, лакуна. За одесский период мемуаров о Пушкине почти нет. То, что мы знаем о нем из воспоминаний, мы знаем от Вигеля, того же Липранди, немного от М. Д. Бутурлина и В. Ф. Вяземской. Остальное приходит позже и через вторые руки.

В это время и интеллектуальная и эмоциональная жизнь Пушкина идет очень напряженно. Его письма из Одессы полны новых литературных тем. Он читает — в богатейшей библиотеке М. С. Воронцова и берет «уроки чистого афеизма». Он пишет «Бахчисарайский фонтан» и начинает «Онегина». У него завязывается долгий, мучительный роман с Е. К. Воронцовой, отразившийся в циклах его лучших стихов. Возникает конфликт с Воронцовым; он тоскует, он замышляет побег морем.

Почти обо всем этом мы узнаем помимо мемуаристов: с литературным обществом Одессы у Пушкина сближения не происходит.

Иная обстановка ждала его в Михайловском: он был здесь в непосредственной близости от столицы, его окружали преданные и внимательные друзья — все семейство Осиповых-Вульф. И при всем том крайняя скудость мемуарных свидетельств. Здесь среда уже вовсе не литературная, а бытовая, где воспоминаний не пишут, где нужно расспрашивать и записывать. Так и сделал М. И. Семевский в 1866 году, записав рассказы обитателей Тригорского, почти не касавшиеся занятий Пушкина, но изобилующие деталями его помещичьего быта, иной раз бесценными по своей связи с реалиями «Онегина». Другую сторону социально-психологического облика новоявленного помещика раскрыли опрошенные крестьяне: помещик был плохой, хозяйством почти не занимался, впрочем, добрый и снисходительный. Своеобразное отражение нашел в этих рассказах и возрастающий в это время интерес Пушкина к народному творчеству,— возник облик барина в русском платье, беседующего со слепцами на ярмарке и записывающего песни. Большего неграмотные михайловские крестьяне, конечно, дать не могли. Среди этих воспоминаний одиноко возвышаются рассказ Пущина о его посещении Михайловского — явление «мемуарной классики», ставшее хрестоматийным, во многом определившее собою художественное представление о Михайловском в искусстве и литературе; дневниковые записи Вульфа и воспоминания Керн, характеризующие Михайловское лишь ретроспективно и относящиеся к более позднему периоду.

В сентябре 1826 года наступил поворотный момент в биографии Пушкина: аудиенция во дворце Николая I в Москве положила конец шестилетней ссылке. Новый период жизни Пушкина начинается с разговора с новым царем. По самому существу своему содержание этой беседы

не могло получить полного отражения в мемуарах: все сведения о ней идут из вторых рук и все варьируются, однако не противоречат друг другу. Они концентрируются вокруг нескольких смысловых центров.

Первый из них — вопрос царя: что бы вы делали в Петербурге 14 декабря, и ответ Пушкина, что он примкнул бы к своим друзьям на Сенатской площади. Второй — условия некоего договора. По-видимому, это был договор не выступать против правительства, за что Пушкину представляется свобода и право печататься под личной цензурой Николая I. Есть основания думать, что Николай I говорил при этом Пушкину о какой-то программе социальных реформ. Но этого уже мемуаристы не сообщают. Третий центр — слова царя, обращенные к придворным после аудиенции: господа, это новый Пушкин,— «мой Пушкин».

Этот «договор» не только имел серьезные последствия для последующей биографии Пушкина, но и наложил отпечаток на восприятие его облика мемуаристами. Весьма существенным обстоятельством здесь было то, что детали разговора Пушкина с царем никому не были известны.

Все это обнаружится несколько позже. Сейчас же начинается, по выражению современников, «коронование поэта», восторженный прием его литературной Москвой, о котором в один голос говорят все без исключения участники этого торжества. Первыми, кто приносит ему дань поклонения, оказываются молодые литераторы, называвшие себя «любомудрами» — «философами»,— Веневитинов, Шевырев, Погодин, В. Ф. Одоевский,— уже составляющие к этому времени особый кружок. Это литераторы и эстетики в широком смысле; их отправная точка — немецкая романтическая философия, прежде всего — учение Шеллинга. На этой основе они стремятся строить универсальную философию истории, литературы и искусства. Подобно своим учителям-теоретикам, они полны интереса к народному творчеству, к пластическим искусствам и таинственному языку музыки. Пушкин казался воплощением их эстетических мечтаний — жрец «высокого» в поэзии, автор историко-философского «Бориса Годунова», ценитель и знаток народной поэзии. Первоначальный интерес был острым и взаимным, журнал «Московский вестник» с участием Пушкина закрепил начавшуюся связь.

Из этого круга идет основная масса воспоминаний о пребывании Пушкина в Москве в 1826 году. Совершенно понятно, что исключительную роль в них играют впечатления от первого знакомства. Среди этих впечатлений повторяется одно, проходящее как сквозной, устойчивый мотив: суеверие Пушкина, его вера в предчувствия и приметы.

Это не вполне обычно. Что-то произошло в 1825—1827 годах, что породило рассказы о зайце (или попе), помешавшем выезду из Михайловского в самый канун 14 декабря, и вызвало к жизни старые воспоминания о гадалке Кирхгоф, предсказавшей Пушкину гибель, заставив задним числом переставлять последовательность событий так, чтобы предсказание сбылось. Нетрудно догадаться, что́ это было.

Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря, в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей. Шесть лет никакие хлопоты друзей не могли освободить его, сосланного без прямого политического преступления и при отсутствии твердых улик. Сейчас, когда появилась несомненная улика — показания арестованных заговорщиков о революционизирующем значении его стихов, когда ближайшие его друзья идут на каторгу, а знакомые — погибают на эшафоте, его освобождают и обещают покровительство. Все происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально: неудачная попытка выезда, восстание, смятение и драма, пережитая без единого свидетеля: рисунок виселицы, запись «и я бы мог»,— затем фельдъегерь, Чудов дворец, свобода. Сознание начинает мистифицировать действительность.

Современники передавали его рассказы, подчеркивая и усиливая их.

Если мы уберем облекающие их позднейшие легенды и наслоения, они предстанут перед нами как драгоценный и уникальный историко-психологический документ. Они приоткрывают нам почти совершенно скрытую от нас душевную драму Пушкина в дни его триумфа — то, что мемуары вообще могут показывать лишь в исключительно редких случаях. Освобожденный, прощенный Пушкин, «императорский Пушкин», обуреваем предчувствиями гибели, беды, злой судьбы, подстерегающей из-за угла. Он мрачен и тоскует — в дни своего «коронования» — и проводит вечера в полубезумном упоении карточной игры. Но и в самом рассеянии то сознательно, то подсознательно он возвращается к одной тревожащей его теме. Накануне казни Рылеева и его товарищей,— записывает бесхитростный В. Ф. Щербаков,— он видит во сне, будто у него выпало пять зубов — дурная примета, несчастье, потеря близких.

Он говорит Вульфу, что намеренно написал в официальной записке не то, чего «хотели», потому что нельзя пропускать случая сделать добро, а с Погодиным разговаривает о «Буре» Шекспира, трагедии, где есть «аллегория». В «Буре» идет речь о милости к цареубийцам.

Тем временем слухи о прощенном и обласканном Пушкине делают свое дело. Произносится слово «лесть», «ласкательство» и даже «шпионство перед государем». Эти слухи, вспоминал Шевырев, были причиной отъезда Пушкина из Москвы.

Здесь была не просто клевета и не только она. Во все времена историческому лицу сопутствует социальная репутация. Рядом с подлинным человеком живет, как отделившаяся от него тень, его облик, созданный современниками, представление о его личности и о его общественной роли. Если оно резко расходится с объективным смыслом его деятельности, потомкам приходится восстанавливать историческую справедливость. Социальная репутация Пушкина создавалась разными людьми и из разных побуждений и по добросовестному заблуждению, и намеренно, потому что начиная с 1826 года он попадает в сферу политической и литературной борьбы.

Чтобы читать воспоминания о Пушкине 1830-х годов с нужным в этом случае историческим поправочным коэффициентом, следует представить себе обстановку, в которой разыгрываются события.

Впервые после шестилетнего перерыва он становится активным участником литературной жизни, которую видит воочию. До сих пор в столицах знали почти исключительно творения, а не творца. Погодин, Кс. Полевой с напряженным интересом вглядываются в Пушкина, которого они видят в первый раз в жизни; они оставляют нам его портрет — с некоторым разочарованием, потому что великий поэт должен иметь канонический «поэтический» облик. Но ведь то же самое должно было происходить и с самим Пушкиным. Для него 1826—1828 годы — время первоначального знакомства с новыми или почти новыми людьми, пришедшими на смену тем, кого он знал шесть лет назад. Из лицейского кружка вырваны Пущин и Кюхельбекер. Умер Карамзин — и рассеялось «арзамасское братство». Нет Тургеневых, они за границей. В ссылке Ф. Глинка, в деревне Катенин. Далеко Бестужев, нет Рылеева.

На литературной авансцене — иные люди, едва знакомые, иногда вовсе незнакомые.

Мы мало придаем значения тому, что в 1826—1830 годах Пушкин впервые увидел в лицо Погодина, Шевырева, Полевого, Надеждина, Булгарина — всех тех, кто определял в это время литературную жизнь обеих столиц. Между тем это крайне важно, потому что дело шло не о случайной встрече светских знакомых.

Для Пушкина «порвалась связь времен», нужно было входить в круг новых отношений, литературных и общественных, где ему предстояло играть одну из главных ролей.

Когда прошел период первого «узнавания», обнаружились внутренние центробежные силы. Ни по направлению своих литературных интересов, ни по характеру литературного воспитания Пушкин и «любомудры» не подходили друг другу. Основой литературного и философского сознания Пушкина было просветительство; «любомудры» были «романтиками» немецкого образца. Пушкина раздражает «немецкая метафизика», «любомудров» — «вольтерьянство» — скептицизм к религии и философии; вообще Пушкин для них — недостаточно учен и недостаточно философичен. Расходятся и конкретные оценки — взгляд на поэзию Баратынского и многие другие.

Еще ранее, в Михайловском, Пушкин охладел и к журналу Полевого — здесь шли подобные же эстетические демаркации и уже намечался социальный конфликт.

Возможно было сотрудничество, союзничество, но это не была единая литературно-общественная группа.

Пушкин начинает искать «свою» группу, «свою» среду.

«Своей» средой была та, которая формировала Пушкина и с которой

он был связан единством литературного воспитания и сотнями незримых нитей, вплоть до бытовых.

Это были Лицей и «арзамасское братство».

«Арзамас» — это были Вяземский, Жуковский, Александр Тургенев.

От Лицея остался в Петербурге Дельвиг и его кружок, в который уходит Пушкин, как в убежище, и начинает заботиться о том, чтобы кружок получил достойную литературную трибуну.

Весьма интересно при этом, что сам Пушкин выступает здесь объединяющим началом. Лицей и «арзамасцы» — два разных круга, и это как нельзя лучше показывают воспоминания, исходящие от них. Плетнев очень мало знает об «арзамасских» связях Пушкина; Вяземский, тем более А. И. Тургенев почти ничего не могут сказать о Лицее; Вяземский, постоянный «спутник» Пушкина, познакомился с Дельвигом — ближайшим его другом — поздно и не сошелся коротко. Еще большая грань — биографическая, психологическая — отделяла Вяземского и Жуковского от Плетнева.

Пушкин оказывается средоточием тех центростремительных сил, которые формируют и организуют в кружок литературную среду.

Кружок Пушкина — Дельвига является ярким примером того, как повседневный быт преобразуется в быт литературный, как литература формирует сознание и накладывает неизгладимую печать на все формы самовыражения личности. Пожалуй, наиболее веским тому подтверждением являются воспоминания А. П. Керн, органически вписавшейся в этот круг и с необычайной точностью женской интуиции воспринявшей и впитавшей прихотливое разнообразие естественных для него проявлений. Наряду с «серьезной» поэзией она принимает и литературную игру, мистификацию, эпиграмму и арзамасскую (и лицейскую) «галиматью»; она подхватывает речения кружка и его острословие, передавая его исчезающую и неповторимую эмоциональную атмосферу.

В эту эмоциональную атмосферу органически включается и «любовный быт», приоткрытый нам воспоминаниями Керн, дневниками Вульфа и Олениной, поздними рассказами Ушаковых. Эмоциональная жизнь Пушкина, его любовные драмы и поверхностные увлечения интересны и важны для биографа не только потому, что это неотъемлемая часть духовного существа поэта, проецированная в его творчество, но и потому, что она протекает в определенных формах, как индивидуальных, так и внеиндивидуальных, и формы эти есть факт культуры эпохи, обусловлены ею и, в свою очередь, ее обогащают.

Личность, порожденная эпохой, концентрирует в себе ее эмоциональную культуру. Записи Вульфа — чувственного, тонкого и высокоинтеллектуального, дают, пожалуй, самый точный ключ для определения этой культуры. Это «наука страсти нежной», своеобразный диалогический поединок с расчетом на психологическую победу. В нем есть нечто от

«игры», он облекается в формы любовно-психологического романа предшествующего столетия [1]. Не только опытом психологических наблюдений, но и самой своей формой он связан и с собственным пушкинским творчеством — с «Онегиным», с «Романом в письмах». Он исходит из литературы и возвращается в нее. Память мемуаристов сохраняет нам интереснейший промежуточный этап такого возвращения — пересказанную Нащокиным устную новеллу Пушкина о любовном приключении (вероятно, с Д. Ф. Фикельмон), с точным и острым сюжетом, не уступающую по своей напряженности и психологической глубине написанным и напечатанным пушкинским новеллам. Творческое, артистическое начало пронизывает этот «любовный быт», эстетизируя его, поднимая на уровень художественно организованного. Теперь он может порождать и «Я помню чудное мгновенье», и «Подъезжая под Ижоры», и «Город чудный, город бедный». Он преломляется, преобразуется художественным обобщением. Возникают любовные циклы, надолго переживающие свой жизненный материал.

Если бы, однако, литературно-бытовые связи Пушкина оставались его личным делом, в мемуарах не звучали бы резкие полемические ноты, узкий кружок Дельвига не подвергался бы поздним атакам в воспоминаниях Полевого, борьба не достигала бы той степени ожесточенности и политической остроты, о которой рассказывает А. И. Дельвиг, постоянный посетитель и участник кружка, двоюродный брат поэта.

Пушкин не удалился как частный человек в круг старинных друзей; его среда заявила о себе печатно, делая достоянием общества свои литературные и общественные мнения и связи, этические и эстетические убеждения. «Северные цветы» и «Литературная газета» стали голосом этой группы.

Она противопоставила себя раннебуржуазным идеологам — Полевому с «Московским телеграфом» и Булгарину с «Северной пчелой». Борьба шла не по частностям — она имела глубоко принципиальный характер. Сложность ее заключалась в том, что и Полевой и Булгарин выступали якобы от имени «демократии», проповедуя буржуазно-демократические идеи равенства сословий, предсказывая близкую полную деградацию дворянства. Они ориентировались на «публику» — грамотное купечество и городское мещанство, чиновничество, «демократию». Ей адресовалось печатное слово, на ее уровень рассчитывались легкие для восприятия низкокультурного читателя булгаринские романы — «Иван Выжигин», «Димитрий Самозванец». На этом фоне элитарная замкнутость пушкин-

[1] См.: Вольперт Л. И. Пушкин и психологическая традиция во французской литературе. Таллин, 1980, с. 7—41 и др.

ского кружка казалась вызывающим «аристократизмом». Противники поспешили воспользоваться преимуществом [1].

Поздними отзвуками этой борьбы являются в мемуарах Кс. Полевого оценки Пушкина как человека «света», друзей его — как «аристократов», из сословного высокомерия отстранившихся от купцов Полевых.

Здесь уже была намеренно создаваемая «социальная репутация», тем более похожая на действительность, что предпосылки для нее уже были созданы.

В действительности дело обстояло иначе. Борьба против дворянской культуры с позиций не только Булгарина, но и Полевого была прогрессивной только на первый взгляд. Эта культура создала в XVIII—XIX веках непреходящие общенациональные ценности и продолжала их создавать.

Что же касается политики и общественного движения, то именно эта среда была носителем революционных идей. Декабристов выдвинула она, а не городское мещанство или купечество, которые в социальном смысле принадлежали к наиболее косным и консервативным слоям. Таковы были особенности исторической жизни России в первую четверть XIX века — в период дворянской революционности, когда рюрикович князь А. Одоевский выходил на Сенатскую площадь, а российское третье сословие готово было вязать своих робеспьеров. Парадокс заключался в том, что радикал Полевой, сторонник буржуазно-демократических реформ, был вынужден в борьбе с Пушкиным апеллировать к правительственным кругам. Булгарин же, его журнальный союзник в 1830—1831 годах, был непосредственно связан с III Отделением; его «Северная пчела» пользовалась официальной поддержкой.

Отсюда эпиграммы и памфлеты Пушкина против «Видока» — полицейского сыщика, занимающегося на досуге литературой.

Борьба была чревата политической крамолой. Воспоминания А. И. Дельвига шаг за шагом прослеживают ее драматические эпизоды. Правительственные репрессии настигают «Литературную газету». По убеждению современников, они же сокращают жизнь А. А. Дельвигу.

Группа распадается, круг редеет.

Редеет и число мемуарных свидетельств. Воспоминания о середине 1830-х годов случайны и лаконичны. Кружок Дельвига притягивал к себе разных людей, новых людей; впечатления врезывались в память. О 1828—1830 годах пишут Керн, Вульф, Розен, Подолинский, А. И. Дельвиг, Полевой, Греч...

Поездка Пушкина на Кавказ дает только одни значительные воспоминания — М. В. Юзефовича, полные литературных впечатлений. Кавказ-

---

[1] См. историографию этой проблемы в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.— Л., 1966, с. 220 и след.

ские встречи и разговоры со ссыльными декабристами оставались неизвестны; их дополняли домыслами. Воспоминания о 1832—1835 годах принадлежат в своей массе людям случайным,— частные эпизоды, оброненные замечания... Из них едва ли не наибольшую ценность представляют лаконичные записи Н. А. Муханова о политической газете, которую пытается издавать Пушкин, чтобы объединить вокруг себя рассеянный литературный круг и вновь получить журнальную трибуну. И здесь, в дневнике Муханова, уже ощущаются первые симптомы конфликта Пушкина с будущим его врагом — министром народного просвещения С. С. Уваровым.

В это время Пушкин уже женат. Женитьба теснее привязывает его ко двору; Наталия Николаевна появляется в Аничковом дворце на балах. Еще ранее его исторические занятия были признаны формой службы. Его опутывает сеть официальных, семейных, хозяйственных обязательств, они удерживают его в Петербурге и стесняют свободу. В 1834 году пожалование ему камер-юнкерского звания замыкает этот круг окончательно.

Все эти обстоятельства отчасти объясняют отрывочность воспоминаний о Пушкине 1832—1835 годов. Семейные хлопоты и заботы сужают круг его внешних связей. При дворе вокруг него образуется и новая среда. В сфере двора и большого света он попадает в фокус внимания случайно и ненадолго. Великосветские мемуары переносят центр тяжести на жизнь двора. Имя Пушкина теперь чаще можно встретить в переписке и дневниковых записях.

Однако и эти скудные свидетельства дают нам несколько ценных штрихов к общей картине.

Все увеличивающаяся мрачность и замкнутость, первые симптомы болезненной раздражительности, взрыв оскорбленного негодования по поводу своего камер-юнкерства, неоднократные попытки уклониться от обязательного присутствия в официальные дни. Об этом так или иначе рассказывают Н. М. Смирнов, случайно попавший в Петербург В. Ф. Ленц, П. В. Нащокин, А. О. Смирнова-Россет со слов Л. С. Пушкина.

Добавим сюда растущее взаимное непонимание с читательской аудиторией. Публика не успевала за стремительным развитием поэта, опережавшего свое время; в 1830 году, когда вышел «Борис Годунов», Пушкин для нее оставался «певцом Руслана» и «Кавказского пленника». «Борис Годунов», последняя глава «Онегина», «Повести Белкина», большинство лучших стихов первой половины 1830-х годов не имеют успеха. Совершенное равнодушие встречает «Историю Пугачева» и «Анджело». Критика, прежде почти безусловно доброжелательная, сейчас делится на лагери; мнение об «устарелости» Пушкина разделяют втайне даже бывшие союзники — «любомудры», ищущие «поэзии мысли» в других, новых поэтических образцах.

Все это грозило стать писательской драмой и накладывало свой отпечаток на настроение и поведение Пушкина.

Дневник А. В. Никитенко раскрывает нам еще одну сторону литературной биографии Пушкина в эти годы — безнадежную борьбу с николаевской цензурной политикой. Эгида императора, лично цензуровавшего его стихи начиная с 1826 года, оказалась для Пушкина тяжелой обузой, а со второй половины 1830-х годов новый министр народного просвещения С. С. Уваров делает для него обязательными и общие цензурные правила. Поэт оказывается под двумя цензурами.

Нарастающий конфликт выливается в стихотворный памфлет против Уварова «На выздоровление Лукулла». Памфлет восстанавливает против Пушкина официальные и придворные круги.

Шел 1836 год.

Из мемуарных источников о последнем годе Пушкина наиболее ценны воспоминания В. А. Соллогуба. Ценность их в проницательности общего взгляда и точности расставленных акцентов. Случай — его несостоявшаяся дуэль с Пушкиным по пустяковому и инспирированному светской сплетней поводу — открыл Соллогубу душевное состояние Пушкина в 1836 году; в отличие почти от всех мемуаристов, писавших о дуэли, он перенес центр тяжести на ее предысторию, уловив, что появление Дантеса было только кровавым эпилогом уже начавшейся драмы. Соллогуб ничего не знал о том, что в 1836 году у Пушкина намечались еще две дуэли — с Хлюстиным и князем Н. Г. Репниным — и что причиной их было предполагаемое посягательство не на семейную честь, а на честь литератора и журналиста. Эти дуэли готовились почти в те же дни, что и дуэль с Соллогубом,— в начале февраля 1836 года.

В 1835—1836 годах в стихах Пушкина начинает звучать мотив «желанной смерти».

Все это подтверждает наблюдение Соллогуба, что к моменту последней дуэли конфликт Пушкина с светским обществом уже достиг апогея и что тому были причины и литературного и общественного свойства — журнальная травля, толки о «падении таланта», двусмысленное и невольное положение при дворе и — добавим к этому по дневнику Никитенко — цензурные и правительственные препятствия к литературной деятельности. «Чувства тревоги, томления, досады и бессилия против удушливой светской сферы», о которых говорил Соллогуб, действительно подготовили «взрывочное возмущение против судьбы», в январе 1837 года получившее трагический исход.

В январе 1837 года прорывается молчание мемуаристов о Пушкине. О дуэли говорит весь Петербург, молва летает из уст в уста, припоминают жесты, движения и взгляды. Толпы народа стоят у дверей последней квартиры, где лежит умирающий, заполняют улицы, по которым должны нести гроб, собираются у церкви, где назначено отпевание. Правительство

опасается беспорядков; студентам запрещено покидать занятия; срок военного смотра переносится на дни, намеченные для похорон.

Уваров отдает приказ не печатать некрологи.

Февральской ночью, в снежную бурю, гроб с телом Пушкина везут в Святые Горы, Александр Тургенев с фельдъегерем сопровождают его.

Ранним утром 6 февраля останки Пушкина опускаются в промерзшую землю. Тургенев, М. И. Осипова и тригорские крестьяне, пришедшие на погребение, были последними, кто видел Пушкина в лицо. Отныне хранить его облик предстояло его собственным стихам, портретам — и человеческой памяти.

Рассказы о Пушкине шли по Петербургу, Москве, попадали в провинцию. Они вносились в дневники, распространялись в письмах. Ни один период жизни Пушкина не освещен так полно и подробно, как его предсмертные дни. Трагедия бросила яркий свет на события кануна; то, что ранее казалось незначительным, в этом свете приобрело новый и зловещий смысл.

Последовательность фактов выстраивалась задним числом. Возникали мемуары.

Дневниковые записи и письма о дуэли отделены от самых событий днями, в худшем случае — неделями. Они имеют поэтому все преимущества современных свидетельств, и все же их мемуарная природа ощущается отчетливо и несомненно. Все они обращены в прошлое, хотя и недавнее, и смотрят на него сквозь призму последовавших событий. Эти события определяют угол зрения и отбор явлений. Уменьшился масштаб времени,— но вместе с ним и масштаб фактов. Теперь всплывают детали,— мелкие и мельчайшие, ускользавшие от внимания в момент наблюдения.

Когда секунданты бежали по снегу к смертельно раненному Пушкину, никто не думал о том, куда пошла его пуля, не причинившая вреда противнику. Это приобрело значение позже, когда оказалось, что Дантес получил легкую контузию. Тогда стали вспоминать — и свидетельства разошлись.

Они не могли не разойтись, потому что непроизвольный домысел, определенный «коэффициент неточности» — явление, отличающее мемуары вообще, в том числе и «воспоминания о коротком времени». Их отличает и другое свойство мемуаров — концептуальный характер, субъективность.

Даже самые близкие Пушкину люди не наблюдали историю дуэли с начала до конца. Пушкин сам позаботился об этом — по причинам совершенно понятным.

Более или менее разрозненные наблюдения, которыми они располагали, дополнялись другими, полученными из вторых рук, и осмысливались задним числом, получая новый контекст. Многие из прежних оценок и толкований оказывались ошибочными. Проявления ревности Пушкина,

уже не сдерживаемой силой воли и воспитания, могли казаться неуместными или раздражать еще месяц назад; сейчас они представали как одно из звеньев цепи, закончившейся смертью. Вяземский, говоривший, что он отвращает лицо от семейства Пушкиных, и Вяземский, в безудержном горе рыдавший на ступенях церкви в виду гроба Пушкина,— одно и то же лицо.

Эта субъективность и изменчивость оценок, обусловленная стремительным движением событий и неполным их пониманием, есть, как уже сказано, «вариант нормы», неизбежное свойство мемуарного свидетельства. В дуэльной истории дело осложнялось тем, что в светском Петербурге существовали группы — «про-пушкинские» и «анти-пушкинские», посвоему интерпретировавшие события и выносившие приговоры, и тем, что в ней оказались затронутыми интересы самых разнообразных лиц, вплоть до вершивших внешнюю и внутреннюю политику Российской империи. Из этой среды также идут свидетельства, в которых к субъективности добавляется тенденциозность.

Все это делает анализ дуэльных материалов чрезвычайно сложной источниковедческой задачей, где историческая критика дошедших источников должна основываться на знании социальной, литературной, бытовой и даже психологический жизни эпохи в целом.

Одностороннее выделение какой-либо одной из этих образующих грозит привести к полному искажению общей картины. Достаточно поставить акцент на личных взаимоотношениях — трагедия превращается в мелодраму, и исследователь оказывается ниже современников, которые ощущали дуэль и смерть Пушкина как общественное событие. Игнорирование бытовой стороны, психологии, реалий нередко ведет к вульгарносоциологическим построениям, за которыми исчезают и подлинная картина, и подлинный документ.

Исторический анализ дуэли Пушкина был начат классической работой П. Е. Щеголева. Он продолжается и по сие время, привлекая к себе внимание исследователей, литераторов, широких читательских кругов.

Сразу после гибели Пушкина его ближайшие друзья поспешили опубликовать документ важного концептуального значения. Это было хорошо известное письмо Жуковского С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года, содержащее подробности последних дней поэта.

Письмо рассказывало о скорби нации и иностранных литераторов и дипломатов над смертным одром Пушкина и о прямой духовной связи царя и умирающего поэта. Здесь важно все — и обращение Пушкина к Николаю с просьбой о прощении, и рассказ о царском утешении и «милостях» семье Пушкина, и записка царя, присланная с Арендтом, и сказанные при этом слова: «Я не лягу, буду ждать...» Жуковский тщательно работал над этим письмом, отбирая детали и располагая их соответственно

определенному замыслу. Он создавал — совершенно сознательно — тот образ Пушкина, в который сам верил лишь отчасти.

Накануне тот же Жуковский писал смелую инвективу Бенкендорфу, который «покровительство» государя «превратил в надзор» и опутал Пушкина в последние годы жизни незримой паутиной условий и обязательств. И ему было прекрасно известно, что по распоряжению правительства были запрещены всякие публичные выражения народной скорби, вплоть до печатных некрологов.

Письмо Жуковского нередко считалось началом официозной фальсификации образа Пушкина. Но это справедливо только отчасти. Легенда Жуковского была консервативной, но не официозной, мало того — она в значительной мере официозу противостояла.

Она опиралась на идею просвещенного абсолютизма, свойственную передовым мыслителям XVIII столетия. В 1830-е годы ее абстрактность и утопичность уже начинали осознаваться: иллюзия единения писателя и монарха все более приобретала консервативные черты.

Тем не менее как раз эту идею николаевское правительство не только не одобряло, но видело в ней — и не без оснований — форму оппозиции. Оно равным образом противодействовало и народному и официальному признанию Пушкина, которое разрушало установившуюся иерархию. Пушкин не был ни политиком, ни военным, ни чиновником, он не проявил себя на государственной службе. Такова была официальная точка зрения. Следуя ей, Николай принял меры, чтобы записка его Пушкину вернулась обратно и не получила гласности: она могла стать орудием в руках «коалиции писателей».

Письмо Жуковского стало голосом этой коалиции. Оно делало то, что упорно отказывалось делать правительство. Оно ставило Пушкина — символ современной литературы — под эгиду имени Николая I, заявляло об акте признания литератора наравне с государственными людьми и рассказывало о всенародном и, более того, мировом признании Пушкина. По требованию царя важные части письма были опущены, и все же только личными связями Жуковского при дворе можно объяснить, каким образом то, что осталось, попало в печать.

Эти мемуары-декларации в дальнейшем облегчили и напечатание посмертного собрания сочинений Пушкина. Но за них было заплачено дорогой ценой.

По мере того как шло время и имя Пушкина утверждалось в своих правах, назначение письма Жуковского стало забываться: замысел его перестал быть актуальным. Теперь письмо читалось как мемуарный документ. В этом своем качестве он был неточен, и самый облик Пушкина в нем был искажен. Теперь это был Пушкин «в нужном духе». Консервативные черты концепции Жуковского выступили на первый план и заслонили все остальное.

Они были подхвачены в литературной борьбе, которая началась

вокруг имени Пушкина сразу же после его смерти и продолжалась, меняя свои формы, в течение десятилетий. В полемике укреплялась «легенда о Пушкине».

Одним из наиболее ярких проявлений легенды был облик поэта, созданный воспоминаниями о нем Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847).

«Выбранные места...» не были мемуарами в собственном смысле, это был трактат — философский, социальный, этический и эстетический. Книга, глубоко концептуальная и в глазах Гоголя даже провиденциальная, с характерным для нее укрупнением масштабов изображаемого, включала и фигуру Пушкина. Первый из русских поэтов, средоточие национальных поэтических сил — таков Пушкин в книге Гоголя. Отсюда начинает действовать закон романтического гиперболизма, проникающий всю книгу. Встречи, разговоры с Пушкиным приобретают особую значительность и расширительно-обобщенный смысл; слова Пушкина приводятся как апофегмы, «тексты», в качестве ultima ratio [1], подтверждающего существенно важную для Гоголя мысль. Начинается «мифологизация», «запечатление». Ярчайшим ее примером становится полностью изобретенный Гоголем рассказ о стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один» — о полномочном монархе, зачитавшемся «Илиадой»,— и о Пушкине, воплотившем исторический эпизод. Очевидно легендарный характер этого рассказа ощущался даже в близком окружении Гоголя; Шевырев с удивлением спрашивал, на чем он основан. Между тем он не стоял одиноко; в других воспоминаниях Гоголя мы тоже можем уловить следы того же метода.

Все это приходится учитывать, когда заходит речь о роли Пушкина в замысле «Мертвых душ». В книге Гоголя мысль о «пушкинском» происхождении романа приобретает значение своеобразной эстафеты, завещания гения. В настойчивом подчеркивании этой мысли ощущается то же символическое расширение факта и, более того, та же идея «великой миссии», которая заложена в самой концепции «Выбранных мест...».

Судьба книги Гоголя, вызвавшей знаменитое письмо Белинского, хорошо известна, но критика, ни консервативная, ни революционно-демократическая, разбиравшая его книгу, не коснулась мемуарной ее части,— за одним исключением. Исключением этим был барон Е. Ф. Розен — поэт, входивший в пушкинский круг в конце 1820-х годов, в сороковые же годы с прежних позиций ведший со страниц консервативного «Сына отечества» ожесточенную борьбу с Белинским и «гоголевской школой». Он напал и на «Выбранные места...» — и не без проницательности отметил слабые стороны книги; вслед за тем он выступил с новой полемической статьей, куда включил свои мемуары о Пушкине (1847). Оттесненный развитием критического реализма на периферию литера-

---

[1] Последний решительный довод *(лат.)*.

турной жизни, органически не приемля «новой» словесности, Розен пытается противопоставить ей «золотой век» Пушкина и Дельвига, выставляя на передний план черты литературного антагонизма Пушкина и Гоголя. Мемуары его прошли почти незамеченными; бороться с Гоголем и одновременно с Белинским было ему не по силам. Между тем статья Розена интересна: она содержит факты, позволявшие судить о некоторых литературных демаркациях в пушкинском кругу. Это были, по существу, первые по времени связные воспоминания о Пушкине-литераторе в его ближайшем окружении. Их беда была в том, что они были исторически несвоевременны.

Розен не понимал того, что было понятно прежним соратникам Пушкина.

Еще в 1838 году Плетнев напечатал в «Современнике» объявление, что журнал, основанный Пушкиным, будет систематически помещать материалы для его биографии, которые составляют историческое достояние русской литературы. Он пишет три статьи, куда вводит — очень скудно и осторожно — воспоминания о Пушкине как личности. Далее он умолкает и нехотя предоставляет место малоавторитетным и мелочным рассказам Макарова и Греча. Почти так же поступает и М. П. Погодин, печатая в своем «Москвитянине» мелкие анекдоты и заметки о Пушкине; сам же он, в 1837 году с беспокойством писавший Вяземскому о судьбе пушкинского поэтического наследия, не рассказывает о нем ничего.

Тем временем в переписке друзей Пушкина возникают странные переклички-диалоги.

В 1843 году Плетнев пишет Я. К. Гроту, что он надеется (при его помощи) составить записки о литературе своего времени — о Гнедиче, Пушкине, Жуковском. С тех пор это становится одним из лейтмотивов их переписки, а тем временем и Шевырев обращается к Плетневу: «Кто же лучше вас вспомнит Пушкина — и чувством и мыслью? Докажите всем вашим противникам, что Вы лучше, чем кто-нибудь, цените его память» [1].

Проходит три года — и Плетнев обращается с тем же настоянием к Жуковскому: «Я давно думаю, что, кроме вас, никто не достоин и не должен сметь писать биографии ни Карамзина, ни Пушкина» (4 (16) февраля 1852 г.) [2]. Тремя годами позднее он требует такого сочинения от Вяземского: Жуковский умер [3].

В 1847 году Погодин пишет к Чаадаеву, прося мемуаров о Пушкине.

---

[1] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III, с. 29, 33; т. II, с. 963.

[2] Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. III. СПб., 1885, с. 728.

[3] Там же, с. 416.

Чаадаев, согласившись было, пишет о том же Шевыреву в 1854 году.

Шевырев и Киреевский убеждают Чаадаева: «Вы даже обязаны это сделать...» На друзьях Пушкина лежит обязанность спасти его жизнь от забвения [1].

Никто из этого круга не написал своих воспоминаний — никто, кроме разве В. И. Даля. Но ему было легче: он знал о Пушкине не слишком много.

Прежний пушкинский круг уходил с исторической авансцены, оттесняемый новым поколением, провозвестником которого был Белинский. Наступал «гоголевский период» русской литературы.

Литература 1820—1830-х годов вступала в фазу медленного умирания. Симптомами его были молчание и разобщенность. Прежние соратники оказывались чужими друг другу — обособились Плетнев с «Современником», Погодин и Шевырев с «Москвитянином», Вяземский, Жуковский... Стан не был единым и раньше, но раньше не ощущалось с такой остротой внутреннее одиночество. Единой среды не было.

И Плетнев, и Жуковский, и Погодин прекрасно понимали, что мемуары, написанные любым из них, могут быть только литературной историей их поколения и что эта история придет в резкое противоречие с современностью.

Нужна была историческая концепция Пушкина, противостоящая новым веяниям. Разрозненный и клонящийся к упадку прежний пушкинский круг уже не в силах был породить эту концепцию.

И была еще одна — уже субъективная — причина, о которой прекрасно написал С. А. Соболевский в 1855 году:

«...Чтобы не пересказать лишнего или не недосказать нужного — каждый друг Пушкина должен молчать» [2].

Характер Пушкина, личность его не поддавались канонизации. И его жизнь, и его смерть трудно укладывались в представления обывателя об эталоне «великого человека». Личная его биография была щекотлива: ее нельзя было писать, не задевая многое и многих. И у него была политическая биография, о которой друзья знали и о которой говорить было невозможно. Сказать о ней значило «пересказать лишнего», не сказать — «недосказать нужного».

«По этой-то причине пусть пишут о нем не знавшие его»,— продолжал Соболевский [3].

---

[1] Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. I. СПб., 1913, с. 286, 423, 424.

[2] Пушкин и его современники, вып. XXXI—XXXII. Л., 1927, с. 38.

[3] См.: Гессен С. Современники о Пушкине.— В кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1936, с. 12 и след.

В письмах Я. К. Грота Плетневу мы находим первые попытки историка получить мемуарные сведения о Пушкине от его близкого друга.

Это еще не мемуары — это отдельные припоминания, справки, реалии, лица. Плетнев сообщает их охотно, даже радуясь, понимая, что сохраняется исторический материал. Он передает речения Пушкина, реалии, факты, как бы мимоходом рассказывает о привычках. Он придает особое значение быту, мелочам — и этот интерес идет у него едва ли не от самого Пушкина: когда-то он мыслил себе биографию Дельвига как жизнеописание полумемуарного типа.

Это был принцип романтической историографии: история «домашним образом». В нее входили устное предание, анекдот, «нравы».

Тем временем студент Московского университета Петр Бартенев слушает лекции о Пушкине из уст профессора Шевырева. С этого времени собирание материалов о Пушкине превращается у него во всепоглощающую страсть. Он получает записи рассказов Шевырева, посещает Погодина и находит П. В. Нащокина, живущего в бедности в скромной квартирке близ Девичьего поля. На протяжении 1851—1853 годов он посещает Нащокина многократно и заполняет тетради его ценнейшими рассказами. Затем, с рекомендациями Погодина, он является к Соболевскому, и тот, читая тетрадь, вносит свои коррективы.

В это же время вдова Пушкина, Н. Н. Ланская, ищет возможного издателя нового собрания сочинений Пушкина. Ее выбор останавливается на И. В. Анненкове, издавна ей знакомом. Однако издателем становится не он, а его брат, П. В. Анненков, который параллельно с разбором рукописей начинает готовить и свои «Материалы для биографии».

И Анненков и Бартенев принадлежали к тому поколению биографов, которые придавали большое значение устному преданию [1]. Постепенно расширяя круг своих изысканий, они сумели получить от современников Пушкина — в виде записей или устных рассказов — воспоминания Корфа, Комовского, Л. С. Пушкина, Катенина, В. Горчакова, Соболевского, Керн, Погодина, Вяземского и других. Выход в свет «Материалов» того и другого вызывает к жизни новые воспоминания Соболевского, Погодина и Липранди. Резко полемические мемуары Кс. Полевого пишутся тоже как отклик на книгу Анненкова. Чаадаев, оскорбленный умолчанием о нем в первых статьях Бартенева, рассказывает Свербееву и Жихареву о своем участии в хлопотах за Пушкина в 1820 году.

---

[1] О работах Анненкова и Бартенева см. вступительную статью М. А. Цявловского в изд.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. Л., 1925, с. 7—15; Модзалевский Б. Л. Работы П. В. Анненкова о Пушкине.— В кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929, с. 277—396; Гессен С. Я. Современники о Пушкине.— В кн.: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936, с. 10—19; Фридлендер Г. М. Первая биография А. С. Пушкина.— В кн.: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984, с. 5—31.

С середины 1860-х годов Бартенев становится издателем «Русского архива» и в течение пятидесяти лет систематически печатает в нем вновь и вновь добываемые воспоминания и рассказы о Пушкине.

То, что появляется позже, является лишь крохами со стола первых биографов и изыскателей. Е. И. Якушкину удается убедить Пущина записать то, что сохранилось в его памяти. С 1860-х годов постепенно падают цензурные препоны и открывается политическая биография Пушкина. В 1866 году М. И. Семевский добирается до родового гнезда Осиповых-Вульф.

Друзья Пушкина — лучше ли, хуже ли — сделали свое дело.

Наступал период научного изучения и критики.

В. Вацуро

А. С. ПУШКИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

О. С. ПАВЛИЩЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ А. С. ПУШКИНА (СО СЛОВ СЕСТРЫ ЕГО О. С. ПАВЛИЩЕВОЙ), НАПИСАННЫЕ в С.-П-БУРГЕ 26 ОКТЯБРЯ 1851

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году, мая 26-го, в четверг, в день Вознесения.

От самого рождения до вступления в Царскосельский лицей он был неразлучен с сестрою Ольгою Сергеевною, которая только годом была его старше. Детство их протекло вместе, и няня сестры Арина Родионовна, воспетая поэтом, сделалась нянею для брата, хотя за ним ходила другая, по имени Улиана. Начнем с няни, о которой недавно говорил в «Москвитянине» *[1] посетитель сельца Захарова, где Александр Сергеевич провел свое детство.

Арина Родионовна была родом из с. Кобрина, лежащего верстах в шестидесяти от Петербурга. Кобрино принадлежало деду Александра Сергеевича по матери, Осипу Абрамовичу Ганнибалу, и находилось верстах в пяти от Суйды, деревни брата его, Ивана Абрамовича. Когда Марья Алексеевна (см. «Родословную») [2], бабушка Александра Сергеевича, супруга Осипа Абрамовича, вступив во владение Кобрином, продала его в 1805 году г. Цыгареву и купила под Москвою, верстах в сорока у г-жи Тиньковой, сельцо Захарово, то при этом случае отпустила на волю Арину Родионовну с двумя сыновьями и двумя дочерьми, в числе которых была и Марья, упоминаемая в «Москвитянине». Эта Марья тогда же привезена была в Захарово и вскоре, по желанию ее матери, отдана замуж за одного из зажиточных крестьян захаровских. Между тем родился Лев Сергеевич, и Арине Родионовне поручено было ходить за ним: так она

* См. книжку «Москвитянина».

сделалась общею нянею. Она и слышать не хотела, когда Марья Алексеевна, продавая в 1811 году Захарово, предлагала выкупить все семейство Марьи. «На что вольная, матушка; я сама была крестьянкой»,— повторяла она. Была она настоящею представительницею русских нянь; мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами, поговорками. Александр Сергеевич, любивший ее с детства, оценил ее вполне в то время, как жил в ссылке, в Михайловском. Умерла она у нас в доме, в 1828 году, лет семидесяти с лишком от роду, после кратковременной болезни *.

Михайловское, ознаменованное ссылкою деда и внука, лежит в двадцати верстах от Новоржева и верстах в сорока от своего уездного города Опочки, Псковской губернии, не дальше версты от села Тригорского, принадлежащего Прасковье Александровне Осиповой, по первому браку Вульф. Не прежде, как в 1817 году, по выходе Александра Сергеевича из Лицея, родители его, жившие в Петербурге, впервые отправились туда вместе с ним на лето; поездка, которая осталась памятною в его стихах:

Есть в России город Луга
Петербургского округа — *и т. д.*

До помещения же его в Лицей они постоянно жили в Москве, проводя летнее время в Захарове.

До шестилетнего возраста Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особенного; напротив, своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнею молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать, отчего он охотнее оставался с бабушкою Марьею Алексеевною, залезал в ее корзину и смотрел, как она занималась рукодельем. Однажды, гуляя с матерью, он отстал и уселся посереди улицы; заметив, что одна дама смотрит на него в окошко и смеется, он привстал, говоря: «Ну, нечего скалить зубы».

Достигнув семилетнего возраста, он стал резов и шаловлив. Воспитание его и сестры Ольги Сергеевны вверено было иностранцам, гувернерам и гувернанткам. Первым воспитателем был французский эмигрант граф Монфор,

---

* На другой ее дочери был женат Никита Тимофеевич, лампочник в доме Сергея Львовича, потом курьер при опекунстве, старик лет восьмидесяти, еще живой.

человек образованный, музыкант и живописец; потом Русло, который писал хорошо французские стихи, далее Шедель и другие: им, как водилось тогда, дана была полная воля над детьми. Разумеется, что дети и говорили и учились только по-французски.

Учился Александр Сергеевич лениво, но рано обнаружил охоту к чтению и уже девяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в переводе Битобе. Не довольствуясь тем, что ему давали, он часто забирался в кабинет отца и читал другие книги; библиотека же отцовская состояла из классиков французских и философов XVIII века. Страсть эту развивали в нем и сестре сами родители, читая им вслух занимательные книги. Отец в особенности мастерски читывал им Мольера.

Между тем в доме родителей собиралось общество образованное, к которому принадлежало и множество французских эмигрантов. Между этими эмигрантами замечательнее был граф Местр *, занимавшийся тогда портретною живописью и уже готовивший в свет свой «Voyage autour de ma chambre» **, он, бывая почти ежедневно, читывал разные свои стихотворения. Нельзя также не упомянуть о миловидной, умной и талантливой девице Першрон-де-Муши, происхождения аристократического; как превосходная пианистка, она содержала себя уроками музыки и сделалась потом женою знаменитого Фильда. В числе прочих посетителей первое место занимал родной дядя Василий Львович Пушкин. Он тогда уже пользовался известностью как литератор и часто читывал свои послания и басни. Несмотря на разгульный, цинический дух «Опасного соседа», написанного им на двадцатом году от роду [3], он искал счастья в супружеской жизни и рано женился; но, разочарованный, вскоре развелся с женою. Перенеся неудачу безропотно, он умел сохранить навсегда свою любезность, необыкновенную доброту души и набожность истинно христианскую. Собираясь путешествовать за границу, он подал повод Ивану Ивановичу Дмитриеву, принадлежавшему также к приятельскому кругу Сергея Львовича, пошутить насчет впечатлений нового путешественника. Появилась брошюрка под названием: «Журнал путешествия Василия Львовича Пушкина», с портретом

---

* Портрет Надежды Осиповны, его работы, до сих пор хранится у Льва Сергеевича.

** «Путешествие вокруг комнаты».

автора, изображающим его за уроком декламации у Тальмы, в Париже. В этой брошюрке, напечатанной в нескольких экземплярах, для друзей, Иван Иванович описал будущую поездку Василия Львовича. Вот ее начало, с отрывками:

Друзья, сестрицы, я в Париже,
Я начал жить, а не дышать;
Садитесь все вокруг поближе
Мой маленький журнал читать.

. . . .

Я был в Музее, в Пантеоне,
У Бонапарте на поклоне,
Стоял близехонько к нему,
Не веря счастью моему.

. . . .

Вчера меня князь Долгоруков
Представил милой Рекамье;
Я видел корпус мамелюков
И. . . . . Фьеве — *и т. д.*[4]

Шутка эта, разнесшись по Москве, расстроила было немножко приятельские отношения автора к Василию Львовичу и родным его, но ненадолго. Иван Иванович остался другом дома и, сделавшись вскоре поклонником Анны Львовны, искал ее руки. Одаренная наружностью привлекательною, с умом живым и характером самостоятельным, эта тетушка Александра Сергеевича не думала выходить замуж и жила особо, в собственном своем доме, открытом для родных и немногих избранных друзей. «Нет, Иван Иванович,— сказала она ему наотрез,— видеть вас у себя и принимать как милого гостя всегда готова, а женою вашею быть не согласна». К этому случаю относится его к ней послание, начинающееся так:

Прелеста веселись, мой рок уже решился,
Внимай и торжествуй, я с ревностью простился — *и т. д.*[5]

Другая тетушка, Лизавета Львовна, была замужем за Матвеем Михайловичем Сонцовым, сохранившим до последних дней неизменную дружбу к Сергею Львовичу. Он своею любезностью, мастерскими рассказами и тонкими шутками умел оживлять семейный круг. Бывал почти ежедневно другой дядя Александра Сергеевича, по матери, Александр Юрьевич Пушкин (см. «Родословную»), писавший очень удачные стихи; бывал Михаил Николаевич Сушков, также поэт. К числу нередких гостей принадлежал и Батюшков.

В таком кругу развивались детские впечатления Александра Сергеевича, и не мудрено, что девятилетнему мальчику захотелось попробовать себя в искусстве подражания и сделаться автором.

Первые его попытки были, разумеется, на французском языке, хотя учили его и русской грамоте. Чтению и письму выучила его и сестру бабушка Марья Алексеевна; потом учителем русским был некто Шиллер, а, наконец, до самого вступления Александра Сергеевича в Лицей священник Мариинского института Александр Иванович Беликов, довольно известный тогда своими проповедями и изданием «Духа Масилиона»:[6] он, уча закону божию, учил русскому языку и арифметике. Прочие предметы преподавались им по-французски домашними гувернерами и приватными учителями. Когда у сестры была гувернанткою англичанка (M-me Бели), то он учился и по-английски, но без успеха. Немецкого же учителя у них никогда не бывало; была одна гувернантка-немка, но и та всегда говорила по-русски. Между тем родители возили их на уроки танцевания к Трубецким (князю Ивану Дмитриевичу), Бутурлиным (Петру Дмитриевичу)[7], Сушковым (Николаю Михайловичу), а по четвергам на детские балы к танцмейстеру Иогелю, переучившему столько поколений в Москве.

Итак, любимым его упражнением сначала было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла всю публику и произносила свой суд. Однажды как-то она освистала его пьеску «Escamoteur». Он не обиделся и сам на себя написал эпиграмму:

Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre?
Hélas! c'est que le pauvre auteur
L'escamota de Molière *.

В то же время пробовал сочинять басни, а потом, уже лет десяти от роду, начитавшись порядочно, особенно «Генриады» Вольтера, написал целую герои-комическую поэму, песнях в шести, под названием «Toliade», которой героем был карла царя-тунеядца Дагоберта, а содержани-

---

* — Скажи, за что «Похититель»
Освистан партером?
— Увы, за то, что бедняга сочинитель
Похитил его у Мольера.

ем — война между карлами и карлицами. Она начиналась так:

> Je chante ce combat, que Toly remporta,
> Où maint guerrier perit, où Paul se signala,
> Nicolas Maturin et la belle Nitouche,
> Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche*.

Гувернантка подстерегла тетрадку и, отдавая ее гувернеру Шеделю, жаловалась, что m-r Alexandre занимается таким вздором, отчего и не знает никогда своего урока. Шедель, прочитав первые стихи, расхохотался. Тогда маленький автор расплакался и в пылу оскорбленного самолюбия бросил свою поэму в печку. И в самом деле, полагаясь на свою счастливую память, он никогда не твердил уроков, а повторял их вслед за сестрою, когда ее спрашивали. Нередко учитель спрашивал его первого и таким образом ставил его в тупик. Арифметика казалась для него недоступною, и он часто над первыми четырьмя правилами, особенно над делением, заливался горькими слезами.

Так прошло его детство, когда родители вознамерились отдать его в учебное заведение. В то время Иезуитский коллегиум в Петербурге пользовался общею известностью, и первым намерением родителей было поместить его туда, для чего они и ездили нарочно в Петербург. Но особенное обстоятельство — основание Царскосельского лицея (1811) — изменило план их. Директором Лицея назначен был Василий Федорович Малиновский, брат Алексея Федоровича, секретаря Коллегии иностранных дел Московского архива **, оба связанные с Сергеем Львовичем тесною дружбою. По этому-то случаю и особенно при содействии Александра Ивановича Тургенева, двенадцатилетнего Александра Сергеевича приняли в Лицей. Отвез его в Петербург дядя Василий Львович, у которого он жил и приготовлялся, с июня по октябрь, до вступления в училище.

Так разлучился он с сестрою. По приезде в Петербург он писал к ней письма, из коих одно и еще два первые из Лицея, писанные все по-французски, долго хранились у нее и переданы потом *одной приятельнице*, собиравшей

---

* Пою бой, в котором Толи одержал верх,
Где немало бойцов погибло, где Поль отличился,
Николая Матюрена и красавицу Нитуш,
Коей рука была наградою победителю в ужасной схватке.

** Впоследствии начальник этого Архива. И третий брат, Павел Федорович, был в тесной дружбе с Сергеем Львовичем.

рукописные листки нашего поэта * [8]. Более ничего рукописного из периода детства Александра Сергеевича не сохранилось, тем менее каких-либо русских стихов, потому что он ничего тогда не писал по-русски. Надписи же и стихи, уцелевшие на деревьях в Захарове, о которых упоминается в «Москвитянине», по указаниям Марьи, должно приписать или отцу его Сергею Львовичу, или дядям, или, наконец, другим посетителям.

Скажем еще несколько слов о родственных лицах, окружавших детство Александра Сергеевича.

Отец его Сергей Львович, о родителях которого сам поэт наш говорит в своих сочинениях [9], был нрава пылкого и до крайности раздражительного, так что при малейшем неудовольствии, возбужденном жалобою гувернера или гувернантки, он выходил из себя, отчего дети больше боялись его, чем любили. Мать, напротив, при всей живости характера, умела владеть собою и только не могла скрывать предпочтения, которое оказывала сперва к дочери, а потом к меньшему сыну Льву Сергеевичу; всегда веселая и беззаботная, с прекрасною наружностью креолки, как ее называли, она любила свет. Сергей Львович был также создан для общества, которое умел он оживлять неистощимою любезностью и тонкими остротами, изливавшимися потоком французских каламбуров. Многие из этих каламбуров передавались в обществе как образчики необыкновенного остроумия. Так, одна польская дама, довольно дородная собою, в Варшаве за большим обедом, обращаясь к нему с насмешливым видом, спросила: «Est-ce vrai, M-r Pouchkinn, que vous autres Russes, vous êtes des antropophages: vous mangez de l'ours?» — «Non, madame,— отвечал он,— nous mangeons de la Vache comme vous» **. В другой раз, на вопрос одной неосторожной дамы: «D'où vient, M-r, qu'il y a tant d'enfants trouvés?» — «C'est qu'il y a beaucoup de femmes perdues» ***,— сказал он, не запинаясь.

В салонных играх, так называемых jeux d'esprit, он, можно сказать, господствовал и был всегда готов к бою.

---

* Переданы именно Наталье Николаевне, о которой и можно будет упомянуть, если она сохранила эти письма. В таком случае слово «приятельница» должно заменить «Натальею Николаевною».

** «Правда ли, г. Пушкин, что вы, русские, антропофаги, едите медведей?» — «Нет, сударыня,— отвечал он,— мы едим корову, вроде вас».

*** «Отчего это, сударь, находят столько детей (подкинутых)?» — «Оттого, что много «пропащих» женщин».

«Quelle ressemblance y-a-t-il entre le Soleil et vous, M-r Pouchkinn?» * — задано было ему однажды к разрешению. «C'est qu'on ne saurait fixer l'un et l'autre sans faire la grimace» **,— было его ответом. Ни один театр аматерский не мог обойтись без него и брата его, Василия Львовича: оба они играли в совершенстве.

Между тем он оставил в дамских альбомах множество прекрасных стихов, под которыми могли бы подписаться и лучшие представители блистательной эпохи французской литературы. В одном из таких альбомов, принадлежавшем знаменитой в свое время пианистке Шимановской, теще впоследствии польского поэта Мицкевича, сохранилось послание к ней, прозою и стихами вперемежку, в котором автор знакомит ее с современною русскою литературою. Оно написано в Варшаве, в 1814 году, когда Сергей Львович начальствовал там Комиссариатскою комиссиею Резервной армии. Назначенный на его место А. Н. Болговской сказывал, что, принимая от него должность, он застал его в присутственной комнате за французскою книжкою.

И действительно, Сергей Львович не был создан для службы, особенно для военной. Записанный при рождении в Измайловский полк, он служил в нем некоторое время и при государе Павле Петровиче перешел в Гвардейский егерский. Тогда, как известно, офицеры носили трости. Сергей Львович, любя сиживать в приятельском кружке у камина, сам мешал в нем, не замечая, что мешает своею офицерскою тростью. Когда он с такою тростью явился на ученье, начальник сделал замечание, сказав: «Господин поручик, вы лучше бы пришли с кочергою». Это очень огорчило Сергея Львовича, и он, возвратясь домой, жаловался Надежде Осиповне, как трудно служить. Еще труднее для него было отказаться от какой-либо привычки. Он не любил носить перчаток и обыкновенно или забывал их дома, или терял. Явившись однажды ко двору, на бал, он чрезвычайно смутился и даже струсил, когда государь Павел Петрович изволил подойти к нему и спросить по-французски: «Отчего вы не танцуете?» — «Я потерял перчатки, Ваше величество». Государь поспешно снял с руки своей перчатки и, подавая их, ободрительным тоном сказал: «Вот вам мои»,— взял его под руку и, подведя к одной даме, прибавил: «А вот вам и дама».

---

* «В чем сходство между солнцем и вами?»

** «В том, что нельзя без гримасы разглядывать нас обоих».

Не менее того: Сергей Львович вскоре простился с военною службою и перешел в Комиссариат, в котором и считался, нося военный мундир, присвоенный этому ведомству *. Владея порядочным именьем в Нижегородской губернии [10], он, по свойственному иным помещикам обычаю, никогда в нем не бывал и довольствовался доходами, подчас скудными, какие высылал управитель его, крепостной человек **.

Замечательна по своему влиянию на детство и первое воспитание Александра Сергеевича и сестры была их бабушка Марья Алексеевна. Происходя по матери из рода Ржевских, она дорожила этим родством (см. «Родословную») и часто любила вспоминать былые времена. Так, передала она анекдот о дедушке своем Ржевском, любимце Петра Великого. Монарх часто бывал у Ржевского запросто и однажды заехал к нему поужинать. Подали на стол любимый царя блинчатый пирог: но он как-то не захотел его откушать, и пирог убрали со стола. На другой день Ржевский велел подать этот пирог себе, и каков был ужас его, когда вместо изюма в пироге оказались тараканы — насекомые, к которым Петр Великий чувствовал неизъяснимое отвращение. Недруги Ржевского хотели сыграть с ним эту шутку, подкупив повара, в надежде, что любимец царский дорого за нее поплатится.

По отцу будучи внучкою Федора Петровича Пушкина, замешанного в заговоре Соковнина [11], она приходилась внучатною сестрою зятю своему, Сергею Львовичу. Вышедши замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала (см. «Родословную»), она имела от него единственную дочь Надежду, мать Александра Сергеевича, и года через два после замужества была им брошена. Этот меньший сын негра, известного Абрама Петровича Ганнибала, крестника и любимца Петра Великого, о происхождении которого и Александр Сергеевич упоминает в своих сочинениях, не отличался ни усердием к службе, как флотский офицер, ни правилами строгой нравственности. Велев жене просто убираться из дому, он оставил дочь у себя и сам тайно женился на Устинье Ермолаевне Толстой. Защитником Марьи Алексеевны выступил родной брат его Иван Абрамович, генерал-

---

* О службе Сергея Львовича можно извлечь сведения из Указа об отставке, который, вероятно, сохранился.

** Михаил Калачников, выдавший дочь свою за дворянина, с порядочным приданым.

поручик, друг Орловых герой Наваринской битвы, воспетый Александром в прекрасном его стихотворении «Мещанин» [12], тот самый, которому воздвигнуты памятники, один императрицею Екатериною в Царском Селе, с надписью: «Победам Ганнибала», а другой в городе Херсоне, которого он был основателем *. Он приютил Марью Алексеевну у себя в деревне Суйде и дал жалобе ее законный ход. Дело кончилось совершенно в ее пользу. По суду, утвержденному императрицею, незаконный брак Осипа Абрамовича был расторгнут, малолетняя дочь Надежда Осиповна выдана матери, с назначением ей в приданое села Кобрина, а сам он сослан на житье в свое Михайловское **. Там он и жил безвыездно, до самой смерти, последовавшей в 1806 году; в Захарове же никогда не бывал, вопреки Марье, упоминаемой в «Москвитянине». Опекунами малолетней Надежды Осиповны назначены были тот же покровитель Иван Абрамович и дядя, по матери, Михаил Алексеевич Пушкин. Первый из них был также крестным отцом Ольги Сергеевны; Александра же Сергеевича крестил граф Артемий Иванович Воронцов, женатый на двоюродной сестре Марьи Алексеевны, Прасковье Федоровне Квашниной-Самариной.

Иван Абрамович последнее время жизни провел в Петербурге, жил в собственном своем доме, на Литейной, где и умер. Прах его покоится в Невском монастыре ***.

Марья Алексеевна была ума светлого и по своему времени образованного; говорила и писала прекрасным русским языком, которым так восхищался друг Александра Сергеевича, барон Дельвиг. По странной игре судьбы, она кончила дни в Михайловском и погребена в Святогорском монастыре, возле своего мужа, с которым при жизни была разлучена.

Святогорский монастырь, лежащий верстах в восьми от Михайловского, приняв впоследствии прах родителей Александра Сергеевича и его самого, сделался как бы

---

* Несколько сведений о Ганнибалах помещено и у Бантыша-Каменского, в его «Словаре ⟨достопамятных⟩ людей Русской земли». Еще о Ганнибале говорено было в одном журнале («Современник»?) при описании Иркутской губернии.

** Он выселил оттуда душ шестьдесят в пустошь, подаренную им Устинье Ермолаевне; оттого в Михайловском теперь земли много.

*** Долее всех братьев, до 90 с лишком лет, дожил старший, Петр Абрамович.

родовым кладбищем. В окрестностях его разбросаны остатки обширных поместьев Абрама Пётровича Ганнибала, которого потомки, мелкопоместные дворяне, скрываются теперь в неизвестности.

ИЗ ЧЕРНОВЫХ ЗАМЕТОК П. В. АННЕНКОВА ДЛЯ БИОГРАФИИ ПУШКИНА. ОТ О. С. ПАВЛИЩЕВОЙ

Довольно любопытно, что Пушкин на руке носил перстень из корналина с восточными буквами, называя его талисманом, и что точно таким же перстнем запечатаны были письма, которые он получал из Одессы,— и которые читал с торжественностию, запершись в кабинете. Одно из таких писем он и сжег. Этот перстень подарен после смерти Вигелю, а у Вигеля его украл пьяный человек. Любопытна также панихида, отслуженная Пушкиным по Байрону, и что он стал есть один картофель, в подражанье его умеренности.

Н. В. БЕРГ

СЕЛЬЦО ЗАХАРОВО

На 38-й версте от Москвы, по Смоленской дороге, есть поворот из села Вязем, направо, в сельцо Захарово. Лет сорок тому назад Захарово принадлежало Осипу Абрамовичу и Марье Алексеевне Ганнибаловым. Здесь провел первые годы своего детства А. С. Пушкин. Я случайно узнал об этом от теперешнего помещика сельца Захарова, Н. Н. О-ва, который живет в том самом доме, где жили прежние владельцы. По бокам этого дома были в то время флигеля, и в одном из них помещались дети с гувернанткой, братья Александра Сергеевича и он. Впоследствии флигеля, по ветхости, сломаны, а дом остался почти в таком же виде, в каком был при Ганнибаловых. Добрый хозяин водил меня по саду и показывал места, которые особенно любил ребенок — Пушкин. Прежде всего мы осмотрели небольшую березовую рощицу, находящуюся неподалеку от дому, почти у самых ворот. Посредине ее стоял прежде стол, со скамьями кругом. Здесь, в хорошие летние дни, Ганнибаловы обедывали и пили чай. Маленький Пушкин любил эту рощицу и даже, говорят, желал быть в ней похоронен. Он говорил об этом повару своей бабушки, к которому был особенно привязан, вероятно, потому, что этот повар был человек словоохотливый и бойкий. Впоследствии он убежал в Польшу и сделался из Александра Фролова паном Мартыном Колесницким... Из рощицы мы пошли на берег пруда, где сохранилась еще огромная липа, около которой прежде была полукруглая скамейка. Говорят, что Пушкин часто сиживал на этой скамейке и любил тут играть. От липы очень хороший вид на пруд, которого другой берег покрыт темным еловым лесом. Прежде вокруг липы стояло несколько берез, которые, как говорят, были все исписаны стихами Пушкина. От этих берез остались только гнилые пни; впрочем, немного дальше уцелела одна, на которой

еще заметны следы какого-то письма. Я мог разобрать совершенно ясно только несколько букв: окр....къ и ваютъ....

Многие из стариков, живущих в сельце Захарове, помнят маленького Пушкина. Но особенно помнит его дочь его няни, его знаменитой няни, которую он так любил и даже прославил в стихах. Ее зовут Марья, по отчеству Федоровна. Нельзя не верить ее простым, безыскусственным рассказам о детстве Александра Сергеевича, которого она, сама того не чувствуя, почему-то называет Алексеем Александровичем, хотя и помнит, как звали его отца и других родственников. Я был у ней в избе и весь мой разговор с нею постараюсь передать читателям. Трудно расшевелить русского человека и заставить его рассказать что-либо порядком. Так было и с Марьей. Сначала она ничего не могла припомнить об Александре Сергеевиче, кроме того, что «они были умные такие и добрые такие!». Но потом, мало-помалу, она оживилась и сама собой, почти без всякого побуждения, рассказала все, что только знает и помнит.

«Да, батюшка, умные они были такие, и как любили меня — господи, как любили...— начала она об нем,— и махонькие-то любили, и большие любили, как жили еще здесь у бабушки-то своей, Марьи Алексеевны — Марья-то Лексеевна была им бабушка, а Осип-ат Абрамыч дедушка, прежний-ат наш помещик; дюжий был такой, господи! а какой легкой на ногу, прелегкой-легкой... и добрый был барин: * бывало мы наберем ему грибков, придем — при-

---

* Он похоронен в селе Вяземах, в ограде церкви. Село Вяземы, принадлежащее теперь князю Б. Д. Голицыну, замечательно по многим историческим памятникам и преданиям. Тамошняя церковь построена во времена Бориса Годунова. Внутри на ее стенах есть надписи на польском и латинском языках, а может, и на других, сделанные чем-то острым. Это следы пребывания поляков, проезжавших по этой дороге с самозванцами и с Мариною Мнишек. Иные надписи сохранились чрезвычайно хорошо, и, смотря на них, едва веришь, что над этими чертами пролетело около трех сот лет... однако ж разобрать их трудно. Я прочел только две. Одну на правой стене от главного входа. Roku 1618, w dzien wszystkich swię tych Polonsky ⟨1618 года в день всех святых Полонский⟩ — где в слове wszystkich пропущено второе s — wszytkich — и другую в алтаре, на одном из столбов, поддерживающих своды; Roku 1611. Hrabia «Граф»... kiewicz. ⟨1611 года граф .....кевич.⟩ Колокольня, принадлежащая к церкви, также построена при Борисе Годунове и имеет весьма оригинальную архитектуру: она похожа издали на высокие ворота, с калитками по бокам, где между вереями висят колокола. Пруд, находящийся в саду, против господского дома, вырыт также по повелению Бориса Годунова. Не имели ли эти предания какого-либо действия на воображение маленького Пушкина, вероятно бывавшего в Вяземах со своей бабушкой и матерью? Не этот ли

ласкает, добрый был барин, а уж грузен, куда грузен был... Вот у него-то и жил Александр Сергеевич-то.... Да вы что ему, родственники что ли?

— Да, родственники.... Он был старший в семье или нет?

— Алексей Александрыч-то? нет! Старшая у них была дочь Ольга Сергеевна, а он уж потом, а еще были Миколай Сергеич и Лев Сергеич; Лев Сергеич самой махонькой.

— Мать-то твоя за всеми и ходила?

— Нет, только выкормила Ольгу Сергеевну, а потом уж к Александру Сергеичу была в няни взята.

— Она из этой деревни и была?

— Нет, мы за Гатчиной — наше место-то, Суйда прозвище, ганнибаловская вотчина была, там они все допрежь того и жили: и Осип Абрамыч, и Петр Абрамыч, и еще один, не помню, как звали... один-от совсем арап, Петр Абрамыч, совсем черный... вот оттуда нашу семью-то и взяли сперва в Кобрино, надо быть вотчину Пушкиных, а оттуда в Петербург, к Александру Сергеичу-то...

— Стало быть, он родился в Петербурге?

— В Петербурге, и Ольга Сергеевна в Петербурге; а Миколай Сергеич и Лев Сергеич — эти в Москве.

— Смирный был ребенок Александр Сергеич или шалун?

— Смирный был, тихий такой, что господи! все с книжками, бывало... нешто с братцами когда поиграют, а то нет, с крестьянскими не баловал... тихие были, уваженье были дети.

— Когда же он отсюда уехал?

— Да господи знает! Годов двенадцати, надо быть, уехал...

— И с тех пор уж ты его не видала?

— Нет, видела еще три раза, батюшка: была у него в Москве, а вдругорядь он приезжал ко мне сам, перед тем, как вздумал жениться. Я, говорит, Марья, невесту сосватал, жениться хочу... и приехал это не прямо по большой

храм, с его надписями, не эти ли пруды, с именем их основателя, рисуясь впоследствии в памяти поэта, навеяли на его душу первые думы о его Борисе Годунове?.. Из новейших событий, относящихся к Вяземам, мне известно одно: в 1812 году здесь стоял корпус Евгения Богарне. Сам маршал помещался в господском доме. Рассказывают, не к чести французов, будто бы они топили печи книгами княжеской библиотеки, но это едва ли вероятно...

дороге, а задами; другому бы оттуда не приехать: куда он поедет? — в воду на дно! а он знал... Уж оброс это волосками тут (показывая на щеки); вот в этой избе у меня сидел, вот тут-то... а в третий-то раз я опять к нему ходила в Москву.

— Когда ж он у тебя здесь был? В каком году, не помнишь?

— Где нам помнить! вот моей дочке теперь уж двадцать второй год будет, ей был тогда, надо быть, седьмой либо шестой годок...

— Когда ж он — летом приезжал или зимой?

— Летом, батюшка; хлеб уж убрали, так это под осень, надо быть, он приезжал-то... я это сижу; смотрю: тройка! я эдак... а он уж ко мне в избу-то и бежит... наше крестьянское дело, известно уж — чем, мол, вас, батюшка, угощать-то я стану? Сем, мол, яишенку сделаю! Ну, сделай, Марья! Пока он пошел это по саду, я ему яишенку-то и сварила; он пришел, покушал... все наше решилося, говорит, Марья; все, говорит, поломали, все заросло! Побыл еще часика два — прощай, говорит, Марья! приходи ко мне в Москву! а я, говорит, к тебе еще побываю... сели и уехали!.. После, слышно, уехали в Петербург... и полно ездить сюда! а там, слышно, уж их и нету! решился!

— Когда уж ты у него была в Москве-то?

— Да скоро после того, как они были здесь. Стояли тогда у Смоленской божьей матери, каменный двухэтажный дом... [1] посмотри, говорит, Марья, вот моя жена! Вынесли мне это показать ее работу, шелком, надо быть, мелко-мелко, четвероугольчатое, вот как это окно: хорошо, мол, батюшка, хорошо... Точно, батюшка,— прибавила она немного погодя,— и любили они меня: душа моя Марья, я, говорит, к тебе опять побываю!..»

Так или почти так кончились ее рассказы об Александре Сергеевиче, и потом пошли уже повторения одного и того же. Больше я ее и не расспрашивал. Она угостила меня молоком, показала мне своих дочерей и внучат — и мы простились.

Я срисовал ту липу, под которой, как говорят, играл Пушкин, и домик, в котором жили Ганнибаловы. Но этой березы, где остались следы будто бы пушкинского карандаша, я снять не мог, потому что она стоит в чаще.

М. Н. МАКАРОВ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН В ДЕТСТВЕ

(Из записок о моем знакомстве)

Когда это было, в 1810, 1811 или не позднее, как в начале 1812 года, и в какую именно пору, право, этого хорошенько и точно я теперь сказать не могу. Тридцать лет назад — порядочная работа для памяти человеческой [1] ⟨...⟩

Однако ж я очень помню, что в этот год, да, именно в этот, когда я узнал Александра Сергеевича Пушкина, я, начиная с октября или с ноября месяца, непременно, как по должности, каждосубботно являлся в Немецкую слободу к графу Дмитрию Петровичу Бутурлину и потом, вследствие оной-то моей явки, танцевал там до упаду! ⟨...⟩

Я обещал говорить о маленьком Пушкине, который в самое это же время, когда я пропрыгивал, был еще совершенным ребенком, ни мною, ни всеми моими товарищами-прыгунами почти не замечаемый. Так было; но думаю, что и нынешний прыгун едва ли замечает что-нибудь подобное. Gredo di si! *

Подле самого Яузского моста, то есть не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном и полудеревянном доме жил Сергий Львович Пушкин, отец нашего знаменитого поэта,— и вот все гости, которые бывали тогда на субботах графа Д. П. Бутурлина, бывали у Пушкина. Дом Бутурлиных и дом Пушкиных имели какую-то старинную связь, стену о стену, знакомство короткое; к этому же присоединилось и настоящее близкое соседство квартиры Пушкиных с домом графа Бутурлина; к этому же, то есть к заезду в одно время и к Пушкиным и к Бутурлиным, много способствовала даже и дальняя от гнезда московской аристократии (Поварской и Никитской с товарищами) Немецкая слобода (прибрежья Головинские) — и вот потому-то какой-ни-

* Верю, что это так! *(ит.)*

будь житель Тверской улицы или Арбатской, не без пользы и для себя, и для коней своих, всегда рассчитывал, что, ехавши в Немецкую слободу к тому-то, кстати там же заехать еще и к тому-то, и к третьему. Да, *Москва — дистанция огромного размера!..* [2] ⟨...⟩

Я обыкновенно посещал Сергея Львовича или с братом его Василием Львовичем, или еще чаще, ибо Василий Львович не всегда жил в Москве, с князем... или с Ст... ром...

Молодой Пушкин, как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок; он очень понимал себя; но никогда не вмешивался в дела больших и почти вечно сиживал как-то в уголочке, а иногда стаивал, прижавшись к тому стулу, на котором угораздивался какой-нибудь добрый оратор, басенный эпиграммист, а еще чаще подле *какого же нибудь графчика чувств*; этот тоже читывал и проповедовал свое; и если там или сям, то есть у того или другого, вырывалось что-нибудь превыспренне-пиитическое, забавное для отрока, будущего поэта, он не воздерживался от улыбки. Видно, что и тут уж он очень хорошо знал цену поэзии.

Однажды точно, при подобном же случае, когда один поэт-моряк провозглашал торжественно свои стихи и где как-то пришлось:

И этот кортик,
и этот чертик! —

Александр Сергеевич так громко захохотал, что Надежда Осиповна, мать поэта Пушкина, подала ему знак — и Александр Сергеевич нас оставил. Я спросил одного из моих приятелей, душою преданного настоящему чтецу: «Что случилось?» — «Да вот шалун, повеса!» — отвечал мне очень серьезно добряк-товарищ. Я улыбнулся этому замечанию, а живший у Бутурлиных ученый-француз Жиле дружески пожал Пушкину руку и, оборотясь ко мне, сказал: «Чудное дитя! как он рано все начал понимать! Дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет». Жиле хорошо разгадал будущее Пушкина; но его «дай бог» не дало *большой* жизни Александру Сергеевичу.

В теплый майский вечер мы сидели в московском саду графа Бутурлина; молодой Пушкин тут же резвился, как дитя, с детьми. Известный граф П... упомянул о даре стихотворства в Александре Сергеевиче. Графиня Анна Артемьевна (Бутурлина), необыкновенная женщина в свет-

ском обращении и приветливости, чтобы как-нибудь не огорчить молодого поэта, может быть, нескромным словом о его пиитическом даре, обращалась с похвалою только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтоб он показывал нам свои стихи; зато множество живших у графини молодых девушек, иностранок и русских, почти тут же окружили Пушкина с своими альбомами и просили, чтоб он написал для них хоть что-нибудь. Певец-дитя смешался. Некто NN, желая поправить это замешательство, прочел детский катрен поэта, и прочел по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на *о*. Александр Сергеевич успел только сказать: «Ah! mon Dieu»,* — и выбежал.

Я нашел его в огромной библиотеке графа Дмитрия Петровича; он разглядывал затылки сафьяновых фолиантов и был очень недоволен собою. Я подошел к нему и что-то сказал о книгах. Он отвечал мне: «Поверите ли, этот г. NN так меня озадачил, что я не понимаю даже и книжных затылков».

Вошел граф Дмитрий Петрович с детьми, чтоб показать им картинки какого-то фолианта. Пушкин присоединился к ним, но очень скоро ушел домой.

Через несколько лет после того, как одни начали толковать о молодом Пушкине, некоторые все еще не верили его дарованиям и очень нередко приписывали его стихотворения другим поэтам (так, по крайней мере, мне говорили о многих из его пьес), сам Мерзляков, наш учитель песни, не видал в Пушкине ничего классического, ничего университетского: а последняя беда для многих была горше первой.

Владимир Васильевич Измайлов первый достойно оценил дарования Пушкина; он напечатал многие из его пьес в своем журнале «Музеум». Кто не помнит там «Воспоминаний в Царском Селе», «Посланий к Батюшкову», «К ***» и проч. и проч. Тут светились дарования Пушкина ясно. Дядя его, Василий Львович, также предвидел в этих опытах многое; но никак не сознавался, чтоб Александр Сергеевич мог когда-нибудь превзойти его, как поэта и чтеца, в совершенстве чистого. «Mon cher,** — говорил он мне,— ты знаешь, что я люблю Александра, он поэт, поэт в душе; mais je ne sais pas, il est encore trop jeune, trop lib-

---

* О, господи.
** Милый мой.

re *, и, право, я не знаю, установится ли он когда, entre nous soit dit, comme nous autres etc. etc.? **

Приятель наш Борис Кириллович Бланк нередко спорывал об этом с Васильем Львовичем и говорил против него за Александра Сергеевича; но Василий Львович стоял на своем: «Увидим, mon cher, вот он поучится; mais, entre nous soit dit ***, я рад и тому, что Александровы стихи не пахнут латынью и не носят на себе ни одного пятнышка семинарского». Таковы или почти таковыми были тогда все заключения поэта-дяди о его великом поэте-племяннике.

Наконец и Василий Львович Пушкин признал своего племянника поэтом с отличием, но иногда ветреным, самонадеянным. Другие певцы-старожилы тут же явно зачувствовали перелом классицизму. Не верите? Я покажу, на этот счет, письмо ко мне покойного графа Д. И. Хвостова. Один только И. И. Дмитриев, в иную пору, говаривал нам, что классическая такта и в стихах и в прозе лишает нас многого хорошего,— мы как-то не смеем не придерживаться к «Краткому руководству к оратории Российской». Последнее заключение — слово в слово заключение Дмитриева.

В детских летах, сколько я помню Пушкина, он был не из рослых детей и все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым, но волосы в малолетстве его были так кудрявы и так изящно завиты африканскою природою, что однажды мне И. И. Дмитриев сказал: «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик». Дитя рассмеялось и, оборотясь к нам, проговорило очень скоро и смело: «По крайней мере, отличусь тем и не буду *рябчик*». Рябчик и арабчик оставались у нас в целый вечер на зубах.

В последний раз я встретил Александра Сергеевича на похоронах доброго Василья Львовича. С приметною грустью молодой Пушкин шел за гробом своего дяди; он скорбел о нем, как о родственнике и как о поэте.

И. И. Дмитриев, подозревая причиною кончины Василия Львовича холеру, не входил в ту комнату, где отпевали покойника. Александр Сергеевич уверял, что холера не имеет прилипчивости, и, отнесясь ко мне, спросил: «Да не боитесь ли и вы холеры?» Я отвечал, что боялся бы, но этой

---

* Но я не знаю, он еще слишком молод, слишком свободен.

** Говоря между нами, как мы остальные, и т. д. и т. д.

*** Но, между нами говоря.

болезни еще не понимаю. «Не мудрено, вы служите подле медиков. Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру. Тут все лекарство один courage, courage *, и больше ничего». Я указал ему на словесное мнение Ф. А. Гильтебранта, который почти то же говорил. «О да! Гильтебрантов немного»,— заметил Пушкин.

Именно так было, когда я служил по делам о холере. Пушкинское магическое слово courage, спасло многих от холеры.

После этого я уж никогда не видал Александра Сергеевича.

---

* Смелей, смелей.

Л. С. ПУШКИН

БИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ ОБ А. С. ПУШКИНЕ ДО 1826 ГОДА

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года. До одиннадцатилетнего возраста он воспитывался в родительском доме. Страсть к поэзии проявилась в нем с первыми понятиями: на восьмом году возраста, умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей. Вообще воспитание его мало заключало в себе *русского:* он слышал один французский язык; гувернер его был француз, впрочем, человек неглупый и образованный; библиотека его отца состояла из одних французских сочинений. Ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой. Пушкин был одарен памятью необыкновенной и на одиннадцатом году уже знал наизусть всю французскую литературу.

В 1811 году открылся Царскосельский лицей, и отец Пушкина поручил своему брату Василию Львовичу * отвезть его в Петербург для помещения в сие заведение, куда он и поступил в числе тридцати учеников. Тут развился его характер, любящий, пылкий и независимый. Учился он легко, но небрежно; особенно он не любил математики и немецкого языка. На сем последнем он до конца жизни читал мало и не говорил вовсе. Поэзии предался он безгранично и, имея четырнадцать лет от роду, написал «Воспоминания в Царском Селе», «Наполеон на Эльбе» [1] и разные другие стихотворения, помещенные в тогдашних периодических и других изданиях и обратившие на него внимание.

* Автор «Опасного соседа».

В свободное время он любил навещать Н. М. Карамзина, проводившего ежегодно летнее время в Царском Селе. Карамзин читал ему рукописный труд свой и делился с ним досугом и суждениями. От Карамзина Пушкин забегал в кружок лейб-гусарских офицеров и возвращался к лицейским друзьям с запасом новых впечатлений. Он вообще любил своих товарищей и с некоторыми из них, особенно с бароном Дельвигом, был и остался истинным другом.

После шестилетнего воспитания в Лицее Пушкин вступил в министерство иностранных дел с чином коллежского секретаря. Аттестат, выданный ему из Лицея, свидетельствовал между прочим об отличных успехах его в фехтовании и танцевании и о посредственных в русском языке.

По выходе из Лицея Пушкин вполне воспользовался своею молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны. Он жадно, бешено предавался всем наслаждениям. Круг его знакомства и связей был чрезвычайно обширен и разнообразен. Тут началась его дружба с Жуковским, не изменившая ему до последней минуты.

Поэзиею Пушкин занимался мимоходом, в минуты вдохновения. Он в это время написал ряд мелких стихотворений, заключенный поэмою «Руслан и Людмила». Четырехстопный ямб с рифмою сделался и оставался его любимым размером. В это время Пушкин не постигал стихов нерифмованных и по этому случаю смеялся над некоторыми сочинениями Жуковского. Он пародировал «Тленность» следующим образом:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль: что, если это проза,
Да и дурная?

Жуковский этому смеялся, но не уверил Пушкина, что это стихи.

Известность Пушкина, и литературная и личная, с каждым днем возрастала. Молодежь твердила наизусть его стихи, повторяла остроты его и рассказывала об нем анекдоты. Все это, как водится, было частию справедливо, частию вымышлено. Одно обстоятельство оставило Пушкину сильное впечатление. В это время находилась в Петербурге старая немка, по имени Киргоф. В число различ-

ных ее занятий входило и гадание. Однажды утром Пушкин зашел к ней с некоторыми товарищами. Г-жа Киргоф обратилась прямо к нему, говоря, что он человек замечательный. Рассказала вкратце его прошедшую и настоящую жизнь, потом начала предсказания сперва ежедневных обстоятельств, а потом важных эпох его будущего. Она сказала ему между прочим: «Вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами». О службе Пушкин никогда не говорил и не думал; письма с деньгами получать ему было неоткуда. Деньги он мог иметь только от отца, но, живя у него в доме, он получил бы их, конечно, без письма. Пушкин не обратил большого внимания на предсказания гадальщицы. Вечером того дня, выходя из театра до окончания представления, он встретился на разъезде с генералом ⟨А. Ф.⟩ Орловым. Они разговорились. Орлов коснулся до службы и советовал Пушкину оставить свое министерство и надеть эполеты [2]. Разговор продолжался довольно долго, по крайней мере, это был самый продолжительный из всех, которые он имел о сем предмете. Возвратясь домой, он нашел у себя письмо с деньгами. Оно было от одного лицейского товарища, который на другой день отправлялся за границу; он заезжал проститься с Пушкиным и заплатить ему какой-то картежный долг еще школьной их шалости. Г-жа Киргоф предсказала Пушкину его изгнание на юг и на север, рассказала разные обстоятельства, с ним впоследствии сбывшиеся, предсказала его женитьбу и наконец преждевременную смерть, предупредивши, что должен ожидать ее от руки высокого белокурого человека. Пушкин, и без того несколько суеверный, был поражен постепенным исполнением этих предсказаний и часто об этом рассказывал.

Весною 1820 года Пушкин был назначен в канцелярию генерала Инзова, Бессарабского наместника. В Екатеринославе он занемог сильной горячкой. Генерал Раевский проезжал на Кавказ с двумя сыновьями. Он нашел Пушкина в бреду, без пособия и без присмотра. Оба сыновья Раевского были дружны с Пушкиным; с разрешения Инзова они его повезли на воды. Там он скоро поправился. Кавказ, разумеется, произвел на него сильное впечатление, которое и отозвалось поэмою «Кавказский пленник».

С Кавказа Пушкин отправился в обратный путь, но уже по земле не донских, а черноморских казаков. Станицы, казачьи пикеты, конвои с заряженной пушкой, словом, вся

эта близость опасности пленила его младое, мечтательное воображение. Из Тамани он отправился морем мимо полуденных берегов Крыма. Он знакомился с морем и приветствовал его элегиею:

Погасло дневное светило...

Очаровательная природа Крыма оставила ему неизгладимые впечатления. Сколько лет спустя он говорил в «Онегине»:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля — *и т. д.*

«Корабль плыл (говорил Пушкин в одном письме своем)[3] перед горами, покрытыми тополами, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа *. Там прожил я три недели... Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска; я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более, нежели известен **. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море... Друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

С южного берега Крыма Пушкин приехал в Кишинев, к месту своего назначения. Тут он провел два года. Жил он в доме генерала Инзова, который полюбил его, как сына, Пушкин тоже душевно к нему привязался. Их отношения

* Где находилось семейство Раевского.
** Давно покинувший свет и службу и живущий уединенно в Москве.

были очень забавны. Молодой, ветреный Пушкин шалил и проказил; генерал Инзов получал на него донесения и жалобы и не знал, что с ним делать. Пушкин имел страсть бесить молдаван, а иногда поступал с ними и гораздо хуже. Вот случай, памятный до сих пор в тамошнем крае. Жена молдаванского вельможи Бальша сказала Пушкину какую-то оскорбительную дерзость. Пушкин отправился с объяснением к ее важному супругу, который дал ему ответ неудовлетворительный. Пушкин назначил ему на другой день свидание в постороннем доме. Там он ему доказывал, что с женщиной иметь объяснения невозможно, ибо объяснение с нею ни к чему не доводит; с мужем же ее дело другое; ему, по крайней мере, можно дать пощечину. И в подтверждение своих слов Пушкин исполнил сию угрозу над лицом тяжеловесного молдаванина.

Однажды Пушкин исчез и пропадал несколько дней. Дни эти он прокочевал с цыганским табором, и это породило впоследствии поэму «Цыганы». В эпилоге к поэме пропущены были следующие стихи:

За их ленивыми толпами
В пустынях праздный я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.

В походах медленных любил
Их песней радостные гулы,
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил [4].

Пушкин коротко сошелся с генералами ⟨М. Ф.⟩ Орловым и ⟨П. С.⟩ Пущиным и проводил с ними большую часть времени. Вообще в Кишиневе русское общество было военное. Один Пушкин отличался партикулярным платьем, обритою после горячки головой и красною ермолкой. На обедах военная прислуга его обыкновенно обносила, за что он очень смешно и весело негодовал на Кишинев.

Невзирая на обычную веселость, Пушкин предавался любви со всею ее задумчивостью, со всем ее унынием. Предметы страсти менялись в пылкой душе его, но сама страсть ее не оставляла. В Кишиневе долго занимала его одна из трех красивых пар ножек наших соотечественниц.

В два года своего пребывания в Кишиневе Пушкин написал несколько мелких стихотворений, «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Братьев-разбойников» и послание «К Овидию». Сие последнее сочинение он ставил гораздо выше всего, что было им написано до того времени [5].

По назначении графа Воронцова новороссийским и бессарабским генерал-губернатором Пушкин был зачислен в его канцелярию. Он оставил Кишинев и поселился в Одессе; сначала грустил по Кишиневе, но вскоре европейская жизнь, итальянская опера и французские ресторации напомнили ему старину и, по его же словам, «обновили душу». Он опять предался светской жизни, но более одушевленной, более поэтической, чем та, которую вел в Петербурге. Полуденное небо согревало в нем все впечатления, море увлекало его воображение. Любовь овладела сильнее его душою. Она предстала ему со всею заманчивостью интриг, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты и восторга и отчаяния. Однажды в бешенстве ревности он пробежал пять верст с обнаженной головой под палящим солнцем по 35 градусам жара.

Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевленно; ростом он был мал (в нем было с небольшим 5 вершков [6]), но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам Пушкин нравился; он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своем. Когда он кокетничал с женщиною или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Должно заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и так несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Но он становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем-либо близком его душе. Тогда-то он являлся поэтом и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях. О поэзии и литературе Пушкин говорить вообще не любил, а с женщинами никогда и не касался до сего предмета. Многие из них, особенно в то еще время, и не подозревали в нем поэта. Одна иностранка, оставляя Россию, просила Пушкина написать ей что-нибудь в память самых близких двухлетних их отношений. Он написал ей пиесу:

На языке тебе невнятном... — *и пр.*

Она очень удивилась, узнавши, что стихи собственного его сочинения, просила перевода, но Пушкин предоставил ей обратиться для сего к первому русскому, которого она встретит за границею. В знакомом кругу он любил эту неизвестность, но молвою вообще дорожил и радовался, когда встречал свое имя в иностранных сочинениях и журналах. Русские критики, в то время к нему вообще благосклонные, внушали ему равнодушие к своим отзывам по причине безотчетности похвал, а впоследствии — по безотчетности порицаний. В продолжение всей своей литературной жизни он не имел случая воспользоваться от них ни единым дельным замечанием.

Пушкин не любил над собою невольного влияния французской литературы. Он радостно преклонился перед Байроном, но не был, как утверждают некоторые, его вечным, безусловным подражателем. Андрей Шенье, француз по имени, а, конечно, не по направлению таланта, сделался его поэтическим кумиром. Он первый в России и, кажется, даже в Европе достойно оценил его. В Одессе Пушкин писал много, и произведения его становились со дня на день своеобразнее; читал он еще более. Там он написал три первые главы «Онегина» [7]. Он горячо взялся за него и каждый день им занимался. Пушкин просыпался рано и писал обыкновенно несколько часов, не вставая с постели. Приятели часто заставали его то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа. Одесская осень благотворно действовала на его занятия. Надобно заметить, что Пушкин писал постоянно только осенью. Даже на севере сие время года, всегда ненастное, приносило ему вдохновение; что же он чувствовал на юге, где все влияние осени отзывалось в его душе, а сверх того, он видел ясное небо, дышал теплым, чистым воздухом!

В 1824 году Пушкин был принужден оставить Одессу и поселиться в Псковской губернии, в деревне своей матери. Перемена ли образа жизни, естественный ли ход усовершенствования, но дело в том, что в сем уединении талант его видимо окрепнул и, если можно так выразиться, освоеобразился. С этого времени все его сочинения получили печать зрелости. Он занимался много, особенно, по своему обыкновению, в осеннее время. Здесь он написал «Цыганов», несколько глав «Онегина», множество мелких стихотворений и, наконец, «Бориса Годунова».

В двух верстах от его деревни находится село Тригор-

ское, неоднократно воспетое и им и Языковым. Оно принадлежит П. А. Осиповой, которая там жила и живет поныне с своим семейством. Добрая, умная хозяйка и милые ее дочери с избытком заменили Пушкину все лишения света. Он нашел тут всю заботливость дружбы и все развлечения, всю приятность общества. Вскоре Тригорское и Михайловское оживились приездом из Дерпта двух тамошних студентов — А. Н. Вульфа, сына Осиповой, и поэта Языкова. Пушкин его очень любил, как поэта, и был в восхищении от его знакомства. Языков приехал на поэтический зов Пушкина:

Издревле сладостный союз... — *и пр.*

Потом он был обрадован приездом своего друга — барона Дельвига. Более никого или почти никого Пушкин не видал во все время своей деревенской жизни. С соседями он не знакомился. Сношения его с Петербургом шли своим чередом: он получал оттуда книги, журналы и письма. В это время началась его переписка с П. А. Плетневым, который взялся быть издателем его сочинений. Они в то время лично были почти незнакомы, но впоследствии их сношения кончились тесною дружбой. В досужное время Пушкин в течение дня много ходил и ездил верхом, а вечером любил слушать русские сказки и тем — говорил он — вознаграждал недостатки своего французского воспитания. Вообще образ его жизни довольно походил на деревенскую жизнь Онегина. Зимою он, проснувшись, так же садился в ванну со льдом, а летом отправлялся к бегущей под горой реке, так же играл в два шара на бильярде, так же обедал поздно и довольно прихотливо. Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки. Нигде он так не выразился, как в описании Чарского (см. «Египетские Ночи») [8]. В это время появилась первая глава «Онегина». Журналы или молчали, или отзывались о ней легко и равнодушно. Пушкин не понимал такого приема сочинению, которое ставил гораздо выше прежних, удостоенных похвал, не только внимания. Впоследствии он должен был привыкнуть ко вкусу критиков и публики. «Борис Годунов», «Полтава», все русские сказки были приветствуемы то бранью, то насмешками. Когда появилась его шутка «Домик в Коломне», то публика увидела в ней такой полный упадок его таланта, что никто из снисходительного приличия не упоминал при нем об этом сочинении [9].

Осенью 1826 года Пушкин был по высочайшей воле вызван в Москву, где и имел счастие быть представленным его императорскому величеству.

РАССКАЗЫ Л. С. ПУШКИНА В ЗАПИСИ Я. П. ПОЛОНСКОГО

Не пора ли мне записать кое-что из того, что я слышал об Пушкине, от брата его Льва Сергеевича и от других близких его знакомых? Не знаю, справедливо ли мое замечание, что расцвет женской красоты идет рука об руку с расцветом выдающихся поэтических талантов. Во времена Пушкина при русском дворе было немало красавиц. Все они, в особенности А. И. Россети, имели много поклонников, и все они, как фрейлины императрицы Александры Федоровны, должны были вести себя безукоризненно, под угрозой быть удаленными от двора. Ничего нет мудреного, что император Николай I желал, чтобы Пушкина, блистающая молодостью и красотой, появлялась на придворных вечерах и балах. Однажды, заметив ее отсутствие, он спросил, какая тому причина? Ему сказали, что так как муж ее не имеет права посещать эти вечера, то, понятно, он не пускает и жену свою. И вот, чтобы сделать возможным присутствие Пушкиной вместе с мужем, государь решил дать ему звание камер-юнкера. Некоторые из противников Пушкина распускали слух и даже печатали, что Пушкин интригами и лестью добился этого звания. Но вот что рассказал мне брат его Лев Сергеевич, которого чуть не каждую неделю посещал я в Одессе, польщенный его дружеским ко мне расположением.— «Брат мой, говорил он,— впервые услыхал о своем камер-юнкерстве на бале у графа Алексея Федоровича Орлова. Это взбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокоивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил, с пеной у рта, разгневанный поэт, по поводу его назначения» ⟨...⟩

Лев Сергеевич Пушкин превосходно читал стихи и представлял мне, как читал их покойный брат его Александр Сергеевич. Из этого я заключил, что Пушкин стихи свои читал как бы нараспев, как бы желая передать своему слушателю всю музыкальность их. В тогдашнем поэтическом кружке на новую звучную рифму смотрели как на

счастливое открытие и не раз забегали к Пушкину, чтобы сообщить ему, например, такую рифму: «тень ивы» — «те нивы». Лев Сергеевич так же, как и брат его, отвергал, что некоторые порнографические стихотворения, приписываемые Пушкину, принадлежат перу его. Подозреваю, что некоторые из них были сочинены самим Львом Сергеевичем. Мне это подсказывает его послание к писательнице Ган (матери известной спиритки Блавацкой),— несколько нескромное послание, написанное ей как бы в досаде за неудачное за ней ухаживание.

С. Д. КОМОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ ПУШКИНА

А. С. Пушкин, при поступлении в Императорский Царскосельский лицей, отличался в особенности необыкновенною своею памятью и превосходным знанием французского языка и словесности. Ему стоило только прочесть раза два страницу какого-нибудь стихотворения, и он мог уже повторить оное наизусть без малейшей ошибки *. Будучи еще двенадцати лет от роду, он не только знал на память все лучшие творения французских поэтов, но даже сам писал довольно хорошие стихи на этом языке. Упражнения в словесности французской и российской были всегда любимыми занятиями Пушкина, в коих он наиболее успевал. Кроме того, он охотно учился и наукам историческим, но не любил политических [1] и ненавидел математических; ** почему *** всегда находился в числе последних воспитанников второго разряда и при выпуске из Лицея получил чин 10-го класса ****. Не только в часы отдыха от учения в рекреационной зале, на прогулках в очаровательных садах Царского Села, но нередко в классах и даже во время молитвы *****, Пушкину приходили в голову разные

---

* *В первой редакции примечание*: «Слова бывшего гувернера С. Г. Чирикова».

** *В 1-й редакции*: «Но не любил политических и в особенности математику». Ремарка М. Л. Яковлева: «Математика — наука не политическая, а историю действительно любил».

*** *В 1-й редакции:* «вместе с другом своим б. Дельвигом» и ремарка М. Л. Яковлева: «Почему именно вместе с другом своим бароном Дельвигом?»

**** Воспитанники 1-го курса разделены были только на два разряда и при выпуске своем из Лицея награждены были чинами: во-первых, офицера гвардии (или IX классом) и, во-вторых, офицера армии (или X классом).

***** *В 1-й редакции*: «...и даже в церкви». Ремарка Яковлева: «Это замечание, по мнению моему, вовсе лишнее». Подстрочная ссылка Комовского: «Замечание того же гувернера С. Г. Чирикова».

пиитические вымыслы, и тогда лицо его то помрачалось, то прояснялось, смотря по роду дум, кои занимали его в сии минуты вдохновения *. Вообще он жил более в мире фантазии. Набрасывая же свои мысли на бумагу, везде, где мог, а всего чаще во время математических уроков **, от нетерпения он грыз обыкновенно перо и, насупя брови, надувши губы, с огненным взором читал про себя написанное.

Пушкин вообще был не очень словоохотлив и на вопросы товарищей своих отвечал обыкновенно лаконически. Любимейшие разговоры его были о литературе и об авторах, особенно с теми из товарищей, кои тоже писали стихи, как, например, барон Дельвиг, Илличевский, Кюхельбекер (но над неудачною страстью последнего к поэзии он любил часто подшучивать) ***.

Из лицейских профессоров и гувернеров никто в *особенности* Пушкина не любил и ничем не отличал от других воспитанников ****. Все, однако ж, с удовольствием слушали его сатиры и эпиграммы насчет других. Так, например, профессор математики Карцов от души смеялся его пиитическим шуткам над лицейским доктором Пешелем, который, в свою очередь, охотно слушал его же насмешки над профессором математики. Один только профессор российской и латинской словесности Кошанский, заметя необыкновенную и преимущественную склонность Пушкина к поэзии, сначала всячески старался отвратить и удержать его от писания стихов, частию, быть может, потому что сам писал и печатал стихи, в которых боялся соперничества, провидя в воспитаннике своем возникающего вновь Гения. Но когда будущий успех сего нового таланта сделался

---

* *В 1-й редакции ремарка Яковлева:* «Лицо Пушкина, и ходя по комнате, и сидя на лавке, часто то хмурилось, то прояснялось от улыбки».

** *В 1-й редакции:* «Набрасывая же мысли свои на бумагу, он удалялся всегда в самый уединенный угол комнаты...» Ремарка Яковлева: «Неправда. Писал он везде, где мог, а всего более в математическом классе».

*** *В 1-й редакции:* «Кроме любимых разговоров своих о литературе и авторах с теми товарищами, кои тоже писали стихи, как-то: с б. Дельвигом, Илличевским, Яковлевым и Кюхельбекером (над неудачною страстью коего к поэзии он любил часто подшучивать), Пушкин был вообще не очень сообщителен с прочими своими товарищами и на вопросы их отвечал обыкновенно лаконически». Имя Яковлева было им зачеркнуто.

**** *В 1-й редакции:* «Но все боялись его сатир, эпиграмм и острых слов». Ремарка Яковлева: «Не помню и не знаю, кто боялся сатир Пушкина; разве один Пешель, но и этот только трусил. Острот Пушкин не говорил».



слишком очевидным, тогда тот же самый профессор употребил все средства, чтобы, ознакомив его, как можно лучше, с теориею языка отечественного и с классическою словесностию древних, разделить со временем литературную славу своего ученика. Впрочем, Пушкин мало успел в изучении древних классиков, и талант его к поэзии наиболее начал развиваться в то время, когда профессор российской словесности Кошанский, по тяжелой болезни своей, целые три года устранен был от преподавания в Лицее *. Вообще Пушкин, следуя единственно вдохновениям своего Гения, неохотно подчинялся классному порядку и никогда ничего не искал в своих начальниках.

---

* *В 1-й редакции:* «Один только профессор российской и латинской словесности Кошанский, предвидя необыкновенный успех поэтическому таланту Пушкина, старался все достоинство оного приписывать отчасти себе и для того употреблял все средства, чтобы как можно более познакомить его с теориею отечественного языка и с классическою словесностью древних, но к последней не успел возбудить в нем такой страсти, как в Дельвиге». Ремарка М. А. Корфа: «Так: но вместе с тем Кошанский — особенно в первое время — всячески старался отвратить и удержать Пушкина от писания стихов, частию, может быть, возбуждаемый к тому ревностию или завистию: ибо сам писал и печатал стихи, в которых боялся соперничества возникающего нового гения». Ремарка Яковлева: «Русским языком занимался Пушкин не потому, чтобы кто-нибудь из учителей

Вне Лицея он знаком был только с семейством знаменитого историографа нашего Карамзина *, к коему во всю жизнь питал особенное уважение, и с некоторыми гусарами **, жившими в то время в Царском Селе (как-то: Каверин, Молоствов, Соломирский, Сабуров и др.). Вместе с сими последними Пушкин любил подчас, тайно от своего начальства, приносить некоторые жертвы Бахусу и Венере, волочась за хорошенькими актрисами графа В. Толстого и за субретками приезжавших туда на лето семейств; *** причем проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африканской его крови. Одно прикосновение его к руке танцующей производило в нем такое электрическое действие, что невольно обращало на него всеобщее внимание во время танцев ****.

Но первую платоническую, истинно пиитическую любовь возбудила в Пушкине сестра одного из лицейских товарищей его (фрейлина К. П. Бакунина). Она часто навещала брата и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение произвели всеобщий восторг во всей лицейской молодежи. Пушкин, с пламенным чувством молодого поэта, живыми красками изобразил ее волшебную красоту в стихотворении своем под названием «К живописцу». Стихи сии очень удачно положены были на ноты лицейским товарищем его Яковлевым и постоянно петы не только в Лицее, но и долго по выходе из оного. Вообще воспоминания Пуш-

---

побуждал его к тому, а по страсти, по влечению собственному. Пушкина талант начал развиваться в то время, когда Кошанский, по болезни, был устранен и три года в Лицее не был. Дельвиг вовсе не Кошанскому обязан привязанностью к классической словесности, а товарищу своему Кюхельбекеру».

* По совету его Пушкин написал куплеты, петые в Павловске, при праздновании, сколько помнится, взятия Парижа в 1814 г. За поднесение сего стихотворения он удостоился получить от блаженные памяти государыни императрицы Марии Федоровны золотые с цепочкою часы при всемилостивейшем отзыве.

** *В 1-й редакции:* «Отчаянными гусарами». Слово «отчаянными» подчеркнуто, в знак неодобрения, Яковлевым.

*** *В 1-й редакции ремарка Яковлева:* «Эта статья относится не до Пушкина, а до всех молодых людей, имеющих пылкий характер».

**** В 1-й редакции последняя фраза в тексте отсутствует. Вместо нее примечание Комовского: «Пушкин до того был женолюбив, что, будучи еще 15 или 16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей, во время лицейских балов, взор его пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна». Ремарка Яковлева: «Описывать так можно только арабского жеребца, а не Пушкина, потому только, что в нем текла кровь арабская».

кина о счастливых днях детства были причиною, что он во всех своих стихотворениях, и до конца жизни, всегда с особым удовольствием отзывался о Лицее, о Царском Селе и о товарищах своих по месту воспитания. Это тем замечательнее, что учебные подвиги его, как выше объяснено, не очень были блистательны *.

По выходу из Лицея Пушкин, сохраняя постоянную дружбу к товарищу своему барону Дельвигу, коего хладнокровный и рассудительный характер нравился ему более других (несмотря на явное противоречие с его собственным), посещал преимущественно литературные общества Карамзина, Жуковского, кн. Вяземского, Воейкова, графа Блудова, Тургенева и т. п. **.

---

* По существующему во всех учебных заведениях обычаю давать прозвища, товарищи Пушкина, заметив особенную страсть его к всему французскому (что, впрочем, было в духе тогдашнего времени), называли его в шутку французом, за что он иногда сердился не на шутку.

В 1-й редакции: «И что сами товарищи его, по страсти Пушкина к французскому языку (что, впрочем, было тогда в духе времени), называли его в насмешку французом, а по физиономии и некоторым привычкам обезьяною и даже смесью обезьяны с тигром». Ремарка Яковлева: «Как кого звали в школе, в насмешку, должно только оставаться в одном школьном воспоминании старых товарищей; для читающей же публики и странно и непонятно будет читать в биографии Пушкина, что его звали обезьяной, смесью обезьяны с тигром».

** *В 1-й редакции текст продолжен:* «Впрочем, он более и более полюбил также и разгульную жизнь, служителей Марса, дев веселия и модных женщин, нынешних львиц, или, как очень удачно выразился, кажется, Загоскин,— вольноотпущенных жен». Ремарка Яковлева: «Пушкин вел жизнь более беззаботную, чем разгульную. Так ли кутит большая часть молодежи?»

И. И. ПУЩИН

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

Е. И. Якушкину

Как быть! Надобно приняться за старину. От вас, любезный друг, молчком не отделаешься! — и то уже совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах в доме Бронникова. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ.

Собираясь теперь проверить былое с некоторою отчетливостию, я чувствую, что очень поспешно и опрометчиво поступил, истребивши в Лицее тогдашний мой дневник, который продолжал слишком год. Там нашлось бы многое, теперь отуманенное, всплыли бы некоторые заветные мелочи — печать того времени. Не знаю, почему тогда вдруг мне показалось, что нескромно вынимать из тайника сердца заревые его трепетания, волнения, заблуждения и верования! Теперь самому любопытно было бы взглянуть на себя тогдашнего, с тогдашнею обстановкою; но дело кончено: тетради в печке и поправить беды невозможно.

Впрочем, вы не будете тут искать исторической точности; прошу смотреть без излишней взыскательности на мои воспоминания о человеке, мне близком с самого нашего детства: я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ.

Невольным образом в этом рассказе замешивается и собственная моя личность; прошу не обращать на нее внимания. Придется, может быть, и об Лицее сказать словечко: вы это простите, как воспоминания, до сих пор живые! Одним словом, все сдаю вам, как вылилось на бумагу.

1811 года, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного моего брата Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру на-

родного просвещения гр. А. К. Разумовскому. Старик, с лишком восьмидесятилетний, хотел непременно сам представить своих внучат, записанных по его же просьбе в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России,— не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали с своими учениками. Это замечание мое до того справедливо, что потом даже, в 1817 году, когда после выпуска мы, шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, подъезжает к нам гр. Милорадович, тогдашний корпусный командир с вопросом: что мы за люди и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружавшим его: «Да, это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это... Лицей!» — поклонился, повернул лошадь и ускакал.— Надобно сознаться, что определение очень забавно, хотя далеко не точно [1].

Дедушка наш Петр Иванович насилу вошел на лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по обе стороны возле него, глядя на нашу братью, уже частию тут собранную. Знакомых у нас никого не было. Старик, не видя появления министра, начинал сердиться. Подозвал дежурного чиновника и объявил ему, что андреевскому кавалеру не приходится ждать, что ему нужен Алексей Кириллович, а не туалет его. Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях. Скоро наш адмирал отправился домой, а мы, под покровом дяди Рябинина, приехавшего сменить деда, остались в зале, которая почти вся наполнилась вновь наехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми.

У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям.— Я слышу: Ал. Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда. Еще вглядывался в Горчакова, который был тогда необыкновенно миловиден. При этом передвижении мы все несколь-

ко приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню кто, только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться. Пушкин, в свою очередь, познакомил меня с Ломоносовым и Гурьевым.

Скоро начали нас вызывать поодиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен, после которого все постепенно разъезжались. Все кончилось довольно поздно.

Через несколько дней Разумовский пишет дедушке, что оба его внука выдержали экзамен, но что из нас двоих один только может быть принят в Лицей, на том основании, что правительство желает, чтоб большее число семейств могло воспользоваться новым заведением. На волю деда отдавалось решить, который из его внуков должен поступить. Дедушка выбрал меня, кажется, потому, что у батюшки моего, старшего его сына, семейство было гораздо многочисленнее. Таким образом я сделался товарищем Пушкина. О его приеме я узнал при первой встрече у директора нашего В. Ф. Малиновского, куда нас неоднократно собирали сначала для снятия мерки, потом для примеривания платья, белья, ботфорт, сапог, шляп и пр. На этих свиданиях мы все больше или меньше ознакомились. Сын директора Иван тут уже был для нас чем-то вроде хозяина.

Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин вступает в Лицей, то на другой же день отправился к нему, как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатии. Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил; большую же часть времени проводил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтобы не даром пропадало время до вступления моего в Лицей. При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что если несколько дней меня не видать, Василий Львович, бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня. Часто, в его отсутствие, мы оставались с Анной Николаевной ⟨Ворожейкиной⟩. Она подчас нас, птенцов, приголубливала; случалось, что и прибранит, когда мы надоедали ей нашими ранновременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтоб наши ласки не переходили границ, хотя и любила

с нами побалагурить и пошалить, а про нас и говорить нечего: мы просто наслаждались непринужденностью и некоторой свободою в обращении с милой девушкой. С Пушкиным часто доходило до ссоры, иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Из других товарищей видались мы иногда с Ломоносовым и Гурьевым. Madame Гурьева нас иногда и к себе приглашала.

Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым, признак доброй почвы. Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения, очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острову, куда возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович.

Среди дела и безделья незаметным образом прошло время до октября. В Лицее все было готово, и нам велено было съезжаться в Царское Село. Как водится, я поплакал, расставаясь с домашними; сестры успокаивали меня тем, что будут навещать по праздникам, а на рождество возьмут домой. Повез меня тот же дядя Рябинин, который приезжал за мной к Разумовскому. В Царском мы вошли к директору: его дом был рядом с Лицеем. Василий Федорович поцеловал меня, поручил инспектору Пилецкому-Урбановичу отвести в Лицей. Он привел меня прямо в четвертый этаж и остановился перед комнатой, где над дверью была черная дощечка с надписью: № 13. Иван Пущин; я взглянул налево и увидел: № 14. Александр Пушкин. Очень был рад такому соседу, но его еще не было, дверь была заперта.

Меня тотчас ввели во владение моей комнаты, одели с ног до головы в казенное, тут приготовленное, и пустили в залу, где уже двигались многие новобранцы. Мелкого нашего народу с каждым днем прибывало. Мы знакомились поближе друг с другом, знакомились и с роскошным нашим новосельем. Постоянных классов до официального открытия Лицея не было, но некоторые профессора приходили заниматься с нами, предварительно испытывая силы каждого и, таким образом, знакомясь с нами, приучали нас, в свою очередь, к себе.

Все тридцать воспитанников собрались. Приехал министр, все осмотрел, делал нам репетицию церемониала в полной форме, то есть вводили нас известным порядком в залу, ставили куда следует, по списку вызывали и учили кланяться по направлению к месту, где будет сидеть император и высочайшая фамилия. При этом неизбежно были презабавные сцены неловкости и ребяческой наивности.

Настало наконец 19 октября, день, назначенный для открытия Лицея. Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в незабвенных его для нас стихах, знакомых больше или меньше и всей читающей публике.

Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение.

В лицейской зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном, с золотой бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею. По правую сторону стола стояли мы в три ряда; при нас — директор, инспектор и гувернеры; по левую — профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное пространство залы, на некотором расстоянии от стола, было все уставлено рядами кресел для публики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги из Петербурга. Когда все общество собралось, министр пригласил государя. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц, в. к. Константина Павловича и в. к. Анны Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя.

Среди общего молчания началось чтение. Первый вышел И. И. Мартынов, тогдашний директор департамента министерства народного просвещения. Дребезжащим, тонким голосом прочел манифест об учреждении Лицея и высочайше дарованную ему грамоту. (Единственное из закрытых учебных заведений того времени, которого устав гласил: «Телесные наказания запрещаются». Я не знаю, есть ли и теперь другое, на этом основании существующее. Слышал даже, что и в Лицее, при императоре Николае, разрешено наказывать с родительскою нежностью лозою смирения.)

Вслед за Мартыновым робко выдвинулся на сцену наш директор В. Ф. Малиновский, со свертком в руке. Бледный как смерть, начал что-то читать; читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист [2]. Заметно было, что сидевшие в задних рядах начали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Проявление не совсем ободрительное для оратора, который, кончивши речь свою, поклонился и еле живой возвратился на свое место. Мы, школьники, больше всех были рады, что он замолк: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать.

Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика, при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо, пугалась и вооружалась терпением; но по мере того как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживлялись, и к концу его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклоненном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест — награда, лестная для молодого человека, только что возвратившегося перед открытием Лицея из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте, и назначенного в Лицей на политическую кафедру.

Куницын вполне оправдал внимание царя: [3] он был один между нашими профессорами урод в этой семье.

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена... *

После речей стали нас вызывать по списку; каждый, выходя перед стол, кланялся императору, который очень благосклонно вглядывался в нас и отвечал терпеливо на неловкие наши поклоны.

Когда кончилось представление виновников торжества, царь, как хозяин, отблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императриц осмотреть новое его заведение. За царской фамилией двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. Осмотрев заведение, гости Лицея возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Марья Федоровна попробовала кушанье. Подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтоб он не приподнимался, и спросила его: «*Карош суп?*» Он медвежонком отвечал: «Oui, monsieur!» ** Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделан был ему вопрос,— только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужеском роде. Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а наш Корнилов соника ⟨сразу⟩ попал на зубок; долго преследовала его кличка: monsieur.

Императрица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пленила непринужденною своею приветливостью ко всем; она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятное слово.

Тут, может быть, зародилась у Пушкина мысль стихов к ней:

На лире скромной, благородной...— *и проч.* ***[4]

Константин Павлович у окна щекотал и щипал сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и, стиснувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал ей: «Рекомендую тебе эту моську. Смотри, Костя, учись хорошенько!»

---

* Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года.

** Да, месье!

*** Изд. Анненкова, т. VII, стр. 25. Г-н Анненков напрасно относит эти стихи к 1819 году; они написаны в Лицее в 1816-м.

Пока мы обедали — и цари удалились, и публика разошлась. У графа Разумовского был обед для сановников; а педагогию петербургскую и нашу лицейскую угощал директор в одной из классных зал. Все кончилось уже при лампах. Водворилась тишина.

Друзья мои, прекрасен наш союз:
Он как душа неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен!
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы; нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село *.

Дельвиг, в прощальной песне 1817 года, за нас всех вспоминает этот день:

Тебе, наш царь, благодаренье!
Ты сам нас юных съединил
И в сем святом уединенье
На службу музам посвятил.

Вечером нас угощали десертом à discrétion ** вместо казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были плошки, а на балконе горел щит с вензелем императора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете иллюминации и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын, обращаясь в речи к нам. Как нарочно для нас, тот год рано стала зима. Все посетители приезжали из Петербурга в санях. Между ними был Е. А. Энгельгардт, тогдашний директор Педагогического института. Он так был проникнут ощущениями этого дня и в особенности речью Куницына, что в тот же вечер, возвратясь домой, перевел ее на немецкий язык, написал маленькую статью и все отослал в дерптский журнал. Этот почтенный человек не предвидел тогда, что ему придется быть директором Лицея в продолжение трех первых выпусков.

Несознательно для нас самих мы начали в Лицее жизнь совершенно новую, иную от всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия, за вечерним

* Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года.
** Вволю.

чаем, как теперь помню, входит директор и объявляет нам, что получил предписание министра, которым возбраняется выезжать из Лицея, а что родным дозволено посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно постановлено, но только не оглашалось, сильно отуманило нас всех своей неожиданностию. Мы призадумались, молча посмотрели друг на друга, потом начались между нами толки и даже рассуждения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступлении в Лицей. Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит постепенно все, особенно в те годы.

Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаешь, что в нем-то и зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет первокурсных Лицея. На этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, что по возможности были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения. Роскошь помещения и содержания, сравнительно с другими, даже с женскими заведениями, могла иметь связь с мыслью Александра, который, как говорили тогда, намерен был воспитывать с нами своих братьев, великих князей Николая и Михаила, почти наших сверстников по летам; но императрица Мария Федоровна воспротивилась этому, находя слишком демократическим и неприличным сближение сыновей своих, особ царственных, с нами, плебеями.

Для Лицея отведен был огромный, четырехэтажный флигель дворца, со всеми принадлежащими к нему строениями. Этот флигель при Екатерине занимали великие княжны: из них в 1811 году одна только Анна Павловна оставалась незамужнею.

В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и некоторых других чиновников, служащих при Лицее; во втором — столовая, больница с аптекой и конференц-зала с канцелярией; в третьем — рекреационная зала, классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей со дворцом чрез хоры придворной церкви. В верхнем — дортуары. Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом образовался коридор с лестницами на двух концах, в кото-

ром с обеих сторон перегородками отделены были комнаты: всего пятьдесят нумеров. Из этого же коридора вход в квартиру гувернера Чирикова, над библиотекой.

В каждой комнате — железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания, вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со щипцами.

Во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое; в двух средних этажах паркетные полы. В зале зеркала во всю стену, мебель штофная.

Таково было новоселье наше!

При всех этих удобствах нам нетрудно было привыкнуть к новой жизни. Вслед за открытием начались правильные занятия. Прогулка три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале — мячик и беготня.

Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались, шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди.

От 7 до 9 часов — класс.

В 9 — чай; прогулка — до 10.

От 10 до 12 — класс.

От 12 до часу — прогулка.

В час — обед.

От 2 до 3 — или чистописанье, или рисованье.

От 3 до 5 — класс.

В 5 часов — чай; до 6 — прогулка; потом повторение уроков или вспомогательный класс.

По середам и субботам — танцеванье или фехтованье.

Каждую субботу баня.

В половине 9 часа — звонок к ужину.

После ужина до 10 часов — рекреация. В 10 — вечерняя молитва, сон.

В коридоре на ночь ставили ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору.

Форма одежды сначала была стеснительна. По будням — синие сюртуки с красными воротниками и брюки того же цвета: это бы ничего; но зато, по праздникам, мундир (синего сукна с красным воротником, шитым петлицами, серебряными в первом курсе, золотыми — во втором), белые панталоны, белый жилет, белый галстук, ботфорты, треугольная шляпа — в церковь и на гулянье. В этом наряде оставались до обеда. Ненужная эта форма, отпечаток того времени, постепенно уничтожилась: брошены ботфорты, белые панталоны и белые жилеты заменены синими брюками с жилетами того же цвета; фуражка вытеснила

совершенно шляпу, которая надевалась нами, только когда учились фронту в гвардейском образцовом баталионе.

Белье содержалось в порядке особою кастеляншею; в наше время была m-me Скалон. У каждого была своя печатная метка: нумер и фамилия. Белье переменялось на теле два раза, а столовое и на постели раз в неделю.

Обед состоял из трех блюд (по праздникам четыре). За ужином два. Кушанье было хорошо, но это не мешало нам иногда бросать пирожки Золотареву в бакенбарды. При утреннем чае — крупитчатая белая булка, за вечерним — полбулки. В столовой, по понедельникам, выставлялась программа кушаний на всю неделю. Тут совершалась мена порциями по вкусу.

Сначала давали по полустакану портеру за обедом. Потом эта английская система была уничтожена. Мы ограничивались квасом и чистою водой.

При нас было несколько дядек: они заведовали чисткой платья, сапог и прибирали в комнатах. Между ними замечательны были Прокофьев, екатерининский сержант, польский шляхтич Леонтий Кемерский, сделавшийся нашим домашним restaurant. У него явился уголок, где можно было найти конфекты, выпить чашку кофе и шоколаду (даже рюмку ликеру — разумеется, контрабандой). Он иногда, по заказу именинника, за общим столом, вместо казенного чая, ставил сюрпризом кофе утром или шоколад вечером, со столбушками сухарей. Был и молодой Сазонов, необыкновенное явление физиологическое; Галль нашел бы, несомненно, подтверждение своей системы в его черепе:

Сазонов был моим слугою
И Пешель доктором моим.

Стих Пушкина.

Слишком долго рассказывать преступления этого парня; оно же и не идет к делу [5].

Жизнь наша лицейская сливается с политическою эпохою народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвой,

обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!

Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой торжественной за братьями летел...*[6]

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году, в стихах на возвращение императора из Парижа.

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал нам их громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам не доступное.

Таким образом мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья, в этой семье — свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь; тут образовались связи на всю жизнь.

Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускальзывают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его нумера была глухая стена), часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе про-

* Изд. Анненкова, т. II, с. 77.

махнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется *тактом*, это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых неприятных столкновений вседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственною ей иногда пошлостью. Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось.

Вот почему, может быть, Пушкин говорил впоследствии:

Товарищ милый, друг прямой!
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку.
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем
И тотчас помиримся *.

Потом опять, в 1817 году, в альбоме, перед самым выпуском, он же сказал мне:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! Она прошла... но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он! **

---

* Пирующие студенты. Изд. Анненкова, т. II, с. 19.
** Изд. Анненкова, т. II, с. 170.

Лицейское наше шестилетие, в историко-хронологическом отношении, можно разграничить тремя эпохами, резко между собою отделяющимися: директорством Малиновского, междуцарствием (то есть управление профессоров: их сменяли после каждого ненормального события) и директорством Энгельгардта.

Не пугайтесь! Я не поведу вас этой длинной дорогой, она вас утомит. Не станем делать изысканий; все подробности вседневной нашей жизни, близкой нам и памятной, должны оставаться достоянием нашим; нас, ветеранов Лицея, уже немного осталось, но мы и теперь молодеем, когда, собравшись, заглядываем в эту даль. Довольно, если припомню кой-что, где мелькает Пушкин в разных проявлениях.

При самом начале — он наш поэт. Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончив лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами» [7]. Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четверостишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Кошанский взял рукопись к себе. Это было чуть ли не в 1811 году, и никак не позже первых месяцев 12-го. Упоминаю об этом потому, что ни Бартенев, ни Анненков ничего об этом не упоминают.

Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах [8], импровизировал так называемые народные песни [9], точил на всех эпиграммы и проч. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его, в некоторых современных московских изданиях. Все это обследовано почтенным издателем его сочинений П. В. Анненковым, который запечатлел свой труд необыкновенною изыскательностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку *.

---

* Из уважения к истине должен кстати заметить, что г. Анненков приписывает Пушкину мою прозу (т. II, с. 29, VI). Я говорю про статью «Об эпиграмме и надписи у древних». Статью эту я перевел из Ла-Гарпа и просил Пушкина перевести для меня стихи, которые в ней приведены. Все это, за подписью П., отправил я к Вл. Измайлову, тогдашнему издателю «Вестника Европы». Потом к нему же послал другой перевод, из Лафатера: «О путешествиях». Тут уж я скрывался под буквами ъ — ъ. Обе эти статьи были напечатаны. Письма мои передавались на почту из нашего дома в Петербурге; я просил туда же адресоваться ко мне в случае

Сегодня расскажу вам историю гогель-могеля, которая сохранилась в летописях Лицея. Шалость приняла серьезный характер и могла иметь пагубное влияние и на Пушкина и на меня, как вы сами увидите.

Мы, то есть я, Малиновский и Пушкин, затеяли выпить гогель-могелю. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас были и другие участники в этой вечерней пирушке, но они остались за кулисами по делу, а в сущности один из них, а именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот, после ужина, всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались спросы, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело и что мы одни виноваты.

Исправлявший тогда должность директора профессор Гауеншильд донес министру. Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный строгий выговор. Этим не кончилось,— дело поступило на решение конференции. Конференция постановила следующее:

1) Две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы,

2) Сместить нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению, и

3) Занести фамилии наши, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске.

Первый пункт приговора был выполнен буквально. Второй смягчался по усмотрению начальства: нас, по истечении некоторого времени, постепенно подвигали опять вверх. При этом случае Пушкин сказал:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.

надобности. Измайлов до того был в заблуждении, что, благодаря меня за переводы, просил сообщать ему для его журнала известия о петербургском театре; он был уверен, что я живу в Петербурге и непременно театрал, между тем как я сидел еще на лицейской скамье. Тетради барона Модеста Корфа ввели Анненкова в ошибку, для меня очень лестную, если бы меня тревожило авторское самолюбие [10].

На этом конце стола раздавалось кушанье дежурным гувернером. Третий пункт, самый важный, остался без всяких последствий. Когда при рассуждениях конференции о выпуске представлена была директору Энгельгардту черная эта книга, где только мы и были записаны, он ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, могла бы еще иметь влияние и на всю будущность после выпуска. Все тотчас же согласились с его мнением, и дело было сдано в архив.

Гогель-могель — ключ к посланию Пушкина ко мне:

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом пенистом вине?
Как, укрывшись молчаливо
В нашем тесном уголке,
С Вакхом нежились лениво
Школьной стражи вдалеке?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?
Закипев, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали —
И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно,
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.
Убегаем торопливо;
Вмиг исчез минутный страх;
Щек румяных цвет игривый,
Ум и сердце на устах.
Хохот чистого веселья,
Неподвижный тусклый взор
Изменяли час похмелья,
Сладкий Вакха заговор!
О друзья мои сердечны!
Вам клянуся, за столом
Всякий год, в часы беспечны,
Поминать его вином *.

По случаю гогель-могеля Пушкин экспромтом сказал в подражание стихам И. И. Дмитриева: [11]

(Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,

* Изд. Анненкова, т. II, с. 217.

По бокалу осушали
И прогнали мудрость вон...— *и проч.*)

Мы недавно от печали,
Пущин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали.
И Фому прогнали вон *.

Фома был дядька, который купил нам ром. Мы кой-как вознаградили его за потерю места. Предполагается, что песню поет Малиновский, его фамилии не вломаешь в стих. Барон — для рифмы, означает Дельвига.

Были и карикатуры, на которых из-под стола выглядывали фигуры тех, которых нам удалось скрыть.

Вообще это пустое событие (которым, разумеется, нельзя было похвастать) наделало тогда много шуму и огорчило наших родных, благодаря премудрому распоряжению начальства. Все могло окончиться домашним порядком, если бы Гауеншильд и инспектор Фролов не вздумали формальным образом донести министру...[12]

Сидели мы с Пушкиным однажды вечером в библиотеке у открытого окна. Народ выходил из церкви от всенощной; в толпе я заметил старушку, которая о чем-то горячо с жестами рассуждала с молодой девушкой, очень хорошенькой. Среди болтовни я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чем так горячатся они, о чем так спорят, идя от молитвы? Он почти не обратил внимания на мои слова, всмотрелся, однако, в указанную мною чету и на другой день встретил меня стихами:[13]

От всенощной, вечор, идя домой,
Антипьевна с Марфушкою бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой,— кричит,— управлюсь я с тобой!
Ты думаешь, что я забыла
Ту ночь, когда, забравшись в уголок,
Ты с крестником Ванюшею шалила?
Постой — о всем узнает муженек!»
«Тебе ль грозить,— Марфушка отвечает,—
Ванюша что? Ведь он еще дитя;
А сват Трофим, который у тебя
И день и ночь? Весь город это знает.
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
Словами ж всякого, пожалуй, разобидишь.
В чужой... соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна».

* Остальных строф не помню; этому с лишком сорок лет.

«Вот что ты заставил меня написать, любезный друг»,— сказал он, видя, что я несколько призадумался, выслушав его стихи, в которых поразило меня окончание. В эту минуту подошел к нам Кайданов,— мы собирались в его класс. Пушкин и ему прочел свой рассказ.

Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал ему: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пущин, не давайте волю язычку»,— прибавил он, обратясь ко мне. Хорошо, что на этот раз подвернулся нам добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь.

Впрочем, надо сказать: все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: «Что ж вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: *нулю!* «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Спасибо и Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией. Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтобы переписывать тетради профессоров (печатных руководств тогда еще не существовало), у него и в обычае не было; все делалось à livre ouvert *.

На публичном нашем экзамене Державин, державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе» **. В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением ***.

---

* Без подготовки, с листа.

** Изд. Анненкова, т. II, с. 81.

*** *С. Л. Пушкин:* «Сын мой на 15 году своего возраста, на первом экзамене в Императорском лицее, читал 〈...〉 «Воспоминания в Царском Селе», в присутствии Г. Р. Державина — пьесу, впоследствии напечатанную в «Образцовых сочинениях». Бессмертный певец бессмертной Екатерины благодарил тогда моего сына и благословил его поэтом... Я не забуду, что за обедом, на который я был приглашен графом А. К. Разумовским, бывшим тогда министром просвещения, граф, отдавая справедливость молодому таланту, сказал мне: «Я бы желал, однако же, образовать вашего сына в прозе».— «Оставьте его поэтом,— отвечал ему за меня Державин, вдохновенный духом пророчества» (*ОЗ*, 1841, т. 15, с. II Особого прилож.).

Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать его и осенил кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, его не было: он убежал!.. Все это уже рассказано в печати [14].

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать...— *и проч.**

Стихи эти написаны сестре Дельвига, премилой, живой девочке, которой тогда было семь или восемь лет. Стихи сами по себе очень милы, но для нас имеют особый интерес. Корсаков положил их на музыку, и эти стансы пелись тогда юными девицами почти во всех домах, где Лицей имел право гражданства.

«Красавице, которая нюхала табак» **. Писано к Горчакова сестре, княгине Елене Михайловне Кантакузиной. Вероятно, она и не знала и не читала этих стихов, плод разгоряченного молодого воображения.

К живописцу

Дитя харит, воображенья!
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши...— *и проч.****

Пушкин просит живописца написать портрет К. П. Бакуниной, сестры нашего товарища. Эти стихи — выражение не одного только его страдавшего тогда сердечка!..[15]

Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих «Пирующих студентов». Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пиесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья! Досужий час настал,
Все тихо, все в покое...— *и проч.*

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не ме-

---

* Изд. Анненкова, т. II, с. 213.
** Там же, с. 217.
*** Там же, с. 69.

шать, он был весь тут, в полном упоении... Доходит дело до последней строфы. Мы слушаем:

Писатель! за свои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.

Послание ко мне:

Любезный именинник...— *и проч.*—

не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется в многих других стихах Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы все-таки умели их сгармонировать и оставались в постоянном согласии. Кстати тут расскажу довольно оригинальное событие, по случаю которого пришлось мне много спорить с ним за Энгельгардта.

У дворцовой гауптвахты, перед вечерней зарей, обыкновенно играла полковая музыка. Это привлекало гуляющих в саду, разумеется, и нас, l'inévitable Lycée *, как называли иные нашу шумную, движущуюся толпу. Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в который между другими помещениями был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и княжна Волконская. У Волконской была премиленькая горничная Наташа. Случалось, встретясь с нею в темных переходах коридора, и полюбезничать; она многих из нас знала, да и кто не знал Лицея, который мозолил глаза всем в саду?

Однажды идем мы, растянувшись по этому коридору маленькими группами. Пушкин, на беду, был один, слышит

---

* Неминуемый, неизбежный Лицей.

в темноте шорох платья, воображает, что непременно Наташа, бросается поцеловать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену: перед ним сама княжна Волконская. Что делать ему? Бежать без оглядки; но этого мало, надобно поправить дело, а дело неладно! Он тотчас рассказал мне про это, присоединясь к нам, стоявшим у оркестра. Я ему посоветовал открыться Энгельгардту и просить его защиты. Пушкин никак не соглашался довериться директору и хотел написать княжне извинительное письмо. Между тем она успела пожаловаться брату своему П. М. Волконскому, а Волконский — государю.

Государь на другой день приходит к Энгельгардту. «Что ж это будет? — говорит царь.— Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина (точно, была такого рода экспедиция, где действовал на первом плане граф Сильвестр Броглио, теперь сенатор Наполеона III *), но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей». Энгельгардт, своим путем, знал о неловкой выходке Пушкина, может быть, и от самого Петра Михайловича, который мог сообщить ему это в тот же вечер. Он нашелся и отвечал императору Александру: «Вы меня предупредили, государь, я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина; он, бедный, в отчаянии: приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление». Тут Энгельгардт рассказал подробности дела, стараясь всячески смягчить вину Пушкина, и присовокупил, что сделал уже ему строгий выговор и просит разрешения насчет письма. На это ходатайство Энгельгардта государь сказал: «Пусть пишет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в последний раз. La vieille est peut-être enchantée de la méprise du jeune homme, entre nous soit dit» **,— шепнул император, улыбаясь, Энгельгардту. Пожал ему руку и пошел догонять императрицу, которую из окна увидел в саду.

Таким образом дело кончилось необыкновенно хорошо. Мы все были рады такой развязке, жалея Пушкина и очень

---

* Это сведение о Броглио оказалось несправедливым; он был избран французскими филэленами в начальники и убит в Греции в 1829 г.

** «Старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека, между нами говоря».

хорошо понимая, что каждый из нас легко мог попасть в такую беду. Я, с своей стороны, старался доказать ему, что Энгельгардт тут действовал отлично: он никак не сознавал этого, все уверяя меня, что Энгельгардт, защищая его, сам себя защищал. Много мы спорили; для меня оставалось неразрешенною загадкой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным; он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать; наконец я перестал настаивать, предоставя все времени. Оно одно может вразумить в таком непонятном упорстве.

Невозможно передать вам всех подробностей нашего шестилетнего существования в Царском Селе: это было бы слишком сложно и громоздко; тут смесь и дельного и пустого. Между тем вся эта пестрота имела для нас свое очарование. С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер: он с любовью принялся за дело. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал). В доме его мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, находили приятное женское общество. Летом, в вакантный месяц, директор делал с нами дальние, иногда двухдневные, прогулки по окрестностям; зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город, завтракать или пить чай в праздничные дни; в саду, на пруде, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении. Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод — опасная приманка и что свобода, руководимая опытной дружбой, останавливает юношу от многих ошибок. От сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах; этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыханий.

Пушкин клеймил своим стихом лицейских Сердечкиных, хотя и сам иногда попадал в эту категорию. Раз, на

зимней нашей прогулке в саду, где расчищались кругом пруда дорожки, он говорит Есакову, с которым я часто ходил в паре:

И останешься с вопросом
На брегу замерзлых вод:
Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?

Так точно, когда я перед самым выпуском лежал в больнице, он как-то успел написать мелом на дощечке у моей кровати:

Вот здесь лежит больной студент —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

Я нечаянно увидел эти стихи над моим изголовьем и узнал исковерканный его почерк. Пушкин не сознавался в этом экспромте.

С лишком за год до выпуска государь спросил Энгельгардта: есть ли между нами желающие в военную службу? Он отвечал, что чуть ли не более десяти человек этого желают (и Пушкин тогда колебался, но родные его были против, опасаясь за его здоровье). Государь на это сказал: «В таком случае надо бы познакомить их с фронтом». Энгельгардт испугался и напрямик просил императора оставить Лицей, если в нем будет ружье. К этой просьбе присовокупил, что он никогда не носил никакого оружия, кроме того, которое у него всегда в кармане, и показал садовый ножик. Долго они торговались; наконец государь кончил тем, что его не переспоришь. Велел спросить всех и для желающих быть военными учредить класс военных наук. Вследствие этого приказания поступил к нам инженерный полковник Эльснер, бывший адъютант Костюшки, преподавателем артиллерии, фортификации и тактики.

Было еще другого рода нападение на нас около того же времени. Как-то в разговоре с Энгельгардтом царь предложил ему посылать нас дежурить при императрице Елизавете Алексеевне во время летнего ее пребывания в Царском Селе, говоря, что это дежурство приучит молодых людей

быть развязнее в обращении и вообще послужит им в пользу. Энгельгардт и это отразил, доказав, что, кроме многих неудобств, придворная служба будет отвлекать от учебных занятий и попрепятствует достижению цели учреждения Лицея. К этому он прибавил, что в продолжение многих лет никогда не видал камер-пажа ни на прогулках, ни при выездах царствующей императрицы.

Между нами мнения насчет этого нововведения были разделены: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности; но дело обошлось одними толками, и не знаю, почему из этих толков о сближении с двором выкроилась для нас верховая езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский манеж, где, на лошадях запасного эскадрона, учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашева, который и прежде того, видя нас часто в галерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнем учиться ездить? Он даже попал по этому случаю в куплеты нашей лицейской песни. Вот его куплет:

Bonjour, messieurs! * Потише.
Поводьем не играй —
Вот я тебя потешу!..
A quand l'équitation? **

Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Удовольствуйтесь ими! Может быть, когда-нибудь появится целый ряд воспоминаний о лицейском своеобразном быте первого курса, с очерками личностей, которые потом заняли свои места в общественной сфере; большая часть из них уже исчезла, но оставила отрадное памятование в сердцах не одних своих товарищей.

В мае начались выпускные публичные экзамены. Тут мы уже начали готовиться к выходу из Лицея. Разлука с товарищеской семьей была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни, с заманчивою, незнакомою далью. Кто не спешил, в тогдашние наши годы, соскочить со школьной скамьи; но наша скамья была так заветно-приветлива, что невольно даже при мысли о насту-

* Здравствуйте, господа!
** Когда же будем заниматься верховой ездой?

пающей свободе оглядывались мы на нее. Время проходило в мечтах, прощаньях и обетах, сердце дробилось!

Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас! *

Наполнились альбомы и стихами и прозой. В моем остались стихи Пушкина. Они уже приведены вполне на шестом листе этого рассказа.

Дельвига:

Прочтя сии набросанные строки
С небрежностью на памятном листке,
Как не узнать поэта по руке?
Как первые не вспомянуть уроки
И не сказать при дружеском столе:
«Друзья, у нас есть друг и в Хороле!»

Дельвиг после выпуска поехал в Хороль, где квартировал отец его, командовавший бригадой во внутренней страже.

Илличевского стихов не могу припомнить: знаю только, что они все кончались рифмой на Пущин. Это было очень оригинально.

К прискорбию моему, этот альбом, исписанный и изрисованный, утратился из допотопного моего портфеля, который дивным образом возвратился ко мне через тридцать два года со всеми положенными мною рукописями [16].

---

9 июня был акт. Характер его был совершенно иной: как открытие Лицея было пышно и торжественно, так выпуск наш тих и скромен. В ту же залу пришел император Александр в сопровождении одного тогдашнего министра народного просвещения князя Голицына. Государь не взял с собой даже князя П. М. Волконского, который, как все говорили, желал быть на акте.

В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернером. Энгельгардт прочел коротенький отчет за весь шестилетний курс, после него конференц-секретарь Куницын возгласил высочайше утвержденное постановление конференции о выпуске. Вслед за этим всех нас, по старшинству выпуска, представляли императору, с объявлением чинов и наград.

---

* «Прощальная песнь» Дельвига.

Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и изъявлением благодарности директору и всему штату Лицея.

Тут пропета была нашим хором лицейская прощальная песнь — слова Дельвига, музыка Теппера, который сам дирижировал хором. Государь и его не забыл при общих наградах.

Он был тронут и поэзией и музыкой, понял слезу на глазах воспитанников и наставников. Простился с нами с обычною приветливостью и пошел во внутренние комнаты, взяв князя Голицына под руку. Энгельгардт предупредил его, что везде беспорядок по случаю сборов к отъезду. «Это ничего,— возразил он,— я сегодня не в гостях у тебя. Как хозяин, хочу посмотреть на сборы наших молодых людей». И точно, в дортуарах все было вверх дном, везде валялись вещи, чемоданы, ящики,— пахло отъездом! При выходе из Лицея государь признательно пожал руку Энгельгардту.

В тот же день, после обеда, начали разъезжаться: прощаньям не было конца. Я, больной, дольше всех оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным, я уже не застал его, когда приехал в Петербург.

Снова встретился с ним осенью, уже в гвардейском конно-артиллерийском мундире. Мы шестеро учились фрунту в гвардейском образцовом батальоне; после экзамена, сделанного нам Клейнмихелем в этой науке, произведены были в офицеры высочайшим приказом 29 октября, между тем как товарищи наши, поступившие в гражданскую службу, в июне же получили назначение; в том числе Пушкин поступил в Коллегию иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания с родными.

Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество: обстоятельства так расположили моей судьбой! Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Колошин и Семенов [17]. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей

и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что, по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского, который, поступив в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.

Эта высокая цель жизни своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие.

Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью и даже, несколько лет спустя, объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов [18]. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружен многими, разделяющими со мной мой образ мыслей.

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успо-

каивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов.

Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае не обинуясь говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время — по Неве идет лед». В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта — вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь,— Пушкин опять с тогдашними львами! (Анахронизм: тогда не существовало еще этого аристократического прозвища. Извините!)

Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.

Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катоном; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне, но при всей моей готовности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень.

Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: «Здравствуй», я его спрашиваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!

На прочее завеса! *

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит развалившись претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее — *стрикс*, маленькая несносная собачонка.

Подписано: «От нее ко мне или от меня к ней?»

Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того, я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.

Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825 года не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтобы его литографировать.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочим, были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле», — шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.

---

* Стих Пушкина.

За ужином объелся я
А Яков запер дверь оплошно
Так было мне, мои друзья
И кюхельбекерно — и тошно

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!» [19]

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам

тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Staël «Considérations sur la Révolution française» * и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него,— вот я и здесь!»

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина; только вслед за сим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало почти то же, что меня пугало; образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.

Преследуемый мыслию, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

«Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?»

«Вы когда его видели?»

«Несколько дней тому назад у Тургенева».

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

— Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils **. Видно, вы не знаете последнюю его проказу.

Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

«Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы

---

* М-м Сталь, «Взгляд на французскую революцию».

** Мне ничего лучшего не остается, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына.

знаете, что Александру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить».

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.

Я задумался и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел в своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном перед целию самого союза.

После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно разный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Все это, однако, не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежнею дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.

В генваре 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринославль. Спрашиваю смотрителя: «Какой это Пушкин?» Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе. (Время было ужасно жаркое.) Я тут ровно ничего не понимал; живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило.

В Могилеве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы. Там, после служебных формальностей, я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: «Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу». (Пушкин понял, в чем дело.) Милорадович, тронутый этою свободною откровенностью, торжественно воскликнул: «Ah, c'est chevaleresque» *,— и пожал ему руку.

Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их к графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.

Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к Энгельгардту, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.

Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

«Энгельгардт,— сказал ему государь,— Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем; но это не исправляет дела».

Директор на это ответил: «Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно

* Ах, это по-рыцарски.

подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его».

Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от Коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний южного края. Проезжай Пушкин сутками позже, до поворота на Екатеринославль, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться, и то не прежде 1825 года.

В промежуток этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии; с ним Пушкин переехал из Екатеринославля в Кишинев, впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям. Я между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента Московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда свое значение [20].

Князь Юсупов (во главе всех, про которых Грибоедов в «Горе от ума» сказал: «Что за тузы в Москве живут и умирают!»), видя на бале у московского военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), спрашивает Зубкова: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я — надворный судья.

«Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное».

Юсупов — не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве!

В 1824 году в Москве тотчас узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорченные несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего поло-

жительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это нисколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в четырех верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу еще сложнее, нисколько не разрешая ее.

С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии.

Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в генваре буду у него. «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» — «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад».— «Не советовал бы, впрочем, делайте, как знаете»,— прибавил Тургенев.

Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я и от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано.

Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому про-

селку: все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи.

Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке.

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая,— чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев.

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина; он не

только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлен. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и проч. Вопросы большею частью не ожидали ответов. Наконец помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в «Северных цветах» и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым [21].

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова *из ревности;* думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии [22].

Мне показалось, что вообще он неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим, отрывистым его ответам на некоторые мои спросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более что все наши толкования ни к чему не вели, а отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся.

Среди разговора ex abrupto * он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это

* Внезапно *(лат.)*.

я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорее кончилось его изгнание.

Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре мясяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже везти меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19-го октября» 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое судейство:

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада,
. . . .
. . . . . . Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.
. . . .
Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан [23].

Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрик-

нул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою,— по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть [24].

Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений [25]. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов.

Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой,— начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за *нее*. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйскою наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частию явились в печати [26].

Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословение. Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию,

ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит.

Хотя посещение его было вовсе некстати, но я все-таки хотел faire bonne mine à mauvais jeu * и старался уверить его в противном: объяснил ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение. Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы».

Время не стояло. К несчастию, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы,— хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл.

Все это неприятно на меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как,— подумал я,— хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее

---

* Делать хорошую мину при плохой игре.

ненастье!» В зале был биллиард; это могло бы служить для него развлеченьем. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономничать дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на биллиарде. Ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить: на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякнул у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной...

Сцена переменилась.

Я осужден. 1828 года, 5 генваря, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился наконец с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог. Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей

Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Псков 13-го декабря 1826

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнанье. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось.

Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого перед самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла наконец исполнить порученное поэтом. По приезде моем в Тобольск в 1839 году я послал эти стихи к Плетневу; таким образом были они напечатаны; а в 1842-м брат мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который теперь хранится у меня в числе заветных моих сокровищ.

В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года».

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли!

И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они недосчитывали на лицейской сходке.

Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не

умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена-красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещало упрочить его счастие.

Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль — *там*, на нашем западе, все шло тем же тяжелым ходом. Мы, грешные люди, стояли как поверстные столбы на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали путь тем же шагом и в том же направлении...

Между тем у нас, с течением времени, силою самих обстоятельств, устроились более смелые контрабандные сношения с Европейской Россией — кой-когда доходили до нас не одни *газетные* известия. Таким образом в генваре 1837 года возвратившийся из отпуска наш плац-адъютант Розенберг зашел в мой 14-й номер [27]. Я искренно обрадовался и забросал его вопросами о родных и близких, которых ему случалось видеть в Петербурге. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какою-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? как он живет? и проч. Розенберг выслушал меня в раздумье и наконец сказал: «Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга».

Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика, так далека от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых на него надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере; но в итоге выходило одно, что его не стало и что не воротить его!

Провидение так решило; нам остается смиренно благоговеть перед его определением. Не стану беседовать с вами об этом народном горе, тогда несказанно меня поразившем: оно слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, которые невыразимо должны были отравлять последние

месяцы жизни Пушкина. Другим, лучше меня — далекого, известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль; с своей стороны скажу только, что я не мог без особенного отвращения об них слышать, меня возмущали лица, действовавшие и подозреваемые в участии по этому гадкому делу, подсекшему существование величайшего из поэтов.

Размышляя тогда, и теперь очень часто, о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: «Что было бы с Пушкиным, если бы я привлек его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю?»

Вопрос дерзкий, но мне может быть простительный! Вы видели внутреннюю мою борьбу всякий раз, когда, сознавая его податливую готовность, приходила мне мысль принять его в члены тайного нашего общества; видели, что почти уже на волоске висела его участь в то время, когда я случайно встретился с его отцом. Эта и пустая, и совершенно ничего не значащая встреча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным указанием... Только после смерти его все эти, по-видимому, ничтожные обстоятельства приняли, в глазах моих, вид явного действия промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил поэта для славы России.

Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь такого развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано.

Характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной общественной жизни, которые бы прошли мимо его, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его музы; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были, сверх того, могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть через железные решетки, а о жизни людей разве только слышать.

Пушкин, при всей своей восприимчивости, никак не нашел бы там материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни. Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который далеко не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать капризном, существе.

Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях...

Еще пара слов:

Манифестом 26 августа 1856 года я возвращен из Сибири. В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке.

В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он между прочим рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин, прося поблагодарить ее за участие, извинялся, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского!»

Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня с лишком через двадцать лет!

Им кончаю и рассказ мой.

Село Марьино, август 1858

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ»

Я и ныне не отрекаюсь от Сумарокова. Почитаю его одним из умнейших и живейших писателей наших. Пушкин говаривал, что он вернее знал русский язык и свободнее владел им, чем Ломоносов [1].

В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли. Все эти свойства, или недостатки, побудили Пушкина, в тайных заметках своих, обвинить меня в *какофонии:* уж не слишком ли? Вот отметка его: «Читал сегодня послание кн. Вяземского (видно, он сердит, что величает меня княжеством) к Жуковскому (напечатанное в «Сыне отечества» 1821 г.). Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! *Кому был Феб из русских ласков,*— неожиданная рифма *Херасков* не примиряет меня с такой *какофонией»* * [2].

Воля Пушкина, за благозвучность стихов своих не стою, но и ныне не слышу *какофонии* в помянутых стихах. А вот в чем дело: Пушкина рассердил и огорчил я другим стихом из этого послания, а именно тем, в котором говорю, что *язык наш рифмами беден.* «Как хватило в тебе духа,— сказал он мне,— сделать такое признание?» Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесенное. В некотором отношении был он прав, как один из высших представителей, если не высший, этого языка: оно так. Но прав и я. В доказательство укажу на самого

---

* Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков?
Державин рвется в стих, а втащится Херасков.

Это перевод стихов Буало: «La raison dit Virgile et la rime Quinault» ⟨«Смысл требует Виргилия, а рифма тянет за собой Кино»⟩.

Пушкина и на Жуковского, которые позднее все более и более стали писать белыми стихами. Русская рифма и у этих богачей обносилась и затерлась. Впрочем, не сержусь на Пушкина за посмертный приговор. Где гнев, тут и милость; Пушкин порочит *звуки* мои, но щедро восхваляет меня за другие свойства: не остаюсь в накладе.

Баратынский говаривал о мне, что в моих полемических стычках напоминаю я ему старых наших бар, например Алексея Орлова, который любил выходить с чернью на кулачный бой [3]. В этом случае сочувствиями и привычками моими колебался я между двумя сторонами. Карамзин и Жуковский подавали мне пример священного равнодушия и мирного бездействия в виду нападавших на них противников. Дмитриев, более державшийся ветхозаветных нравов и преданий, побуждал меня к отражению ударов и к битве. Пушкин, долготерпеливый, до известной степени и до известного дня, также вступал иногда в бой, за себя, за свое и за своих.

Я закабалил себя «Телеграфу». Почти в одно время закабалил себя Пушкин «Московскому вестнику». Но он скоро вышел из кабалы, а я втерся и въелся в свою всеми помышлениями и всем телом. Пушкин и Мицкевич уверяли, что я рожден памфлетером, открылось бы только поприще. Иная книжка «Телеграфа» была наполовину наполнена мною или материалами, которые сообщал я в журнал [4].

Уже при последних издыханиях холеры навестил меня в Остафьеве Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал меня с живым сочувствием приятеля и судил о труде моем с авторитетом писателя и опытного критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком строго нападаю на Фонвизина за неблагоприятные мнения его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. В одном месте, где противополагаю мнение Гиббона о Париже и мнение Фонвизина, написал он на рукописи моей: «Сам ты Гиббон». Разумеется, в шутку и более в отношении к носу моему, нежели к моему перу. Известно, что Гиббон славился, между прочим, и *курносием* своим. При всей

просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в суждениях его о чужеземных писателях. Этого чувства я не знал и не знаю. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, то есть лучшую награду за свой труд [5].

Скажу с французом: рюмка моя маленькая, но пью из своей рюмки [6], а что рюмка моя не порожняя, тому свидетель Пушкин. Он где-то сказал, что я один из тех, которые охотнее вызывают его на спор. Следовательно, есть во мне, чем отспориваться. Пушкин не наткнулся бы на пустое. Споры наши бывали большею частью литературные. В политических вопросах мы вообще сходились: разве бывало иногда разномыслие в так называемых чисто русских вопросах. Он, хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы: то есть допетровской России; я, напротив, вообще держался понятий международных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую. И мне иногда хотелось сказать Пушкину с Александром Тургеневым: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек».

Энгельгардт — он впоследствии хорошо и всенародно был знаком Петербургу. Расточительный богач, не пренебрегающий веселиями жизни, крупный игрок, впрочем, кажется, на веку своем более проигравший, нежели выигравший, построитель в Петербурге дома, сбивающегося немножко на парижский Пале-Рояль, со своими публичными увеселениями, кофейнями, ресторанами. Построение этого дома было событием в общественной жизни столицы. Пушкин очень любил Энгельгардта за то, что он охотно играл в карты, и за то, что очень удачно играл словами. ⟨...⟩ Энгельгардт забавно и удачно пародировал строфу Онегина о знаменитой танцовщице Истоминой. Речь идет об известном картежнике:

Тщедушный и полувоздушный,
Тузу козырному послушный...— etc.

Литературная совесть моя не уступчива, а щекотлива и брезглива. Не умеет она мирволить и входить в примирительные сделки. Жуковский, а особенно Пушкин оказывали в этом отношении более снисходительности и терпимости. Я был и остался строгим пуританином.

При переезде в Петербург на житье принимал я участие в литературной газете Дельвига, позднее в «Современнике» Пушкина. Но деятельность моя тут и там далека была от прежней моей телеграфической деятельности.

ПРИПИСКА К СТАТЬЕ «О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ОЗЕРОВА»

Прошло более пятидесяти лет с того времени, когда написана была мною статья о жизни и сочинениях Озерова. Столько же прошло времени, что я не читал ее. Помнилось мне, что писал я об Озерове, но что писал и как писал — было мне совершенно загадочно. Странное чувство пробуждается в нас при встрече с когда-то близким человеком после долгой разлуки, а еще страннее чувство при встрече с самим собою после продолжительного отсутствия. Не принадлежу к разряду заботливых и нежно-чадолюбивых литературных родителей. Иногда еще питаю бо́льшее или меньшее пристрастие к своим новорожденным детям. Както еще нежничаю и нянчусь с ними, пока молоко, то есть чернила, не засохло на их губах. Но когда они подрастут и отпустят усы себе, я становлюсь к ним совершенно, чуть ли не жестокосердно, равнодушен. Таким образом могу сказать, что я снова ознакомился с статьею своею рассудительно и беспристрастно. Не скажу, чтобы я без памяти обрадовался себе: но признаюсь откровенно, что я и не устыдился себя. Пушкин сказал о найденном им где-то на Кавказе *измаранном списке «Кавказского пленника»:* «...признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно». Не смею и не могу применить к себе вполне такие слова. «Кавказский пленник» все-таки создание, а мое изучение Озерова не более как критическая попытка.

Пушкин Озерова не любил, и он часто бывал источником наших живых и горячих споров. Оба мы были неуступчивы и несколько заносчивы. Я еще более, нежели Пушкин. Он не признавал в Озерове никакого дарования. Я, может быть, дарование его преувеличивал. Со временем, вероятно, мы сошлись бы на полудороге. Пушкин критиковал в Озерове и трагика и стихотворца. Может быть, уже и тогда таились в душе его замысел и зародыш творения, в котором обозначалось и сосредоточилось могущество дарования его. Изображение Дмитрия Донского не могло удовлетворить понятиям живописца, который начертал образ Бориса Годунова и образ Дмитрия Самозванца. Сочетание верности историка с вымыслом поэта, может быть, уже и тогда теплилось и молча созревало в нем. Пушкин-стихотворец также не мог быть доволен стихом Озерова. Уже и в то молодое время стих Пушкина выражал мысль и чувство его не только изящно и поэтически благозвучно, но, можно сказать, и грамматически и педантически точно и верно. В стихе Озерова нет той легкости и правильности: стих его иногда неповоротлив; он непрозрачен, нет в нем плавного течения: встречается шероховатость; замечается нередко отсутствие точности, или одна приблизительная точность, чего Пушкин терпеть не мог. Он имел полное право быть строго взыскательным к другим; я такого права не имел. Недостатки и погрешности Озерова были, может быть, не в дальном родстве и с моими. Это могло быть бессознательным побуждением и корнем снисхождения моего к Озерову. Но, во всяком случае, несколько неправильных стихов не могут отнять у других хороших стихов прелести и достоинства их. Праведные за грешников не отвечают, а таких праведных стихов у Озерова отыщется довольно.

Более всего Пушкин не прощал мне сказанного мною, что «трагедии Озерова уже несколько принадлежат к драматическому роду, так называемому *романтическому*» [1].

Пушкин никак не хотел признать его романтиком. В некотором отношении был он прав. В другом был и я не совсем виноват. Во-первых, я его не решительно провозглашаю романтиком, а говорю, что он *несколько* сближается с романтиками. К тому же в то время значение *романтизма* не было вполне и положительно определено. Не определено оно и ныне. Под заголовком романтизма может приютиться каждая художественная литературная *новизна*, новые приемы, новые воззрения, протест против обыча-

ев, узаконений, авторитета, всего того, что́ входило в уложение так называемого классицизма,— вот и романтизм, если обнажить его от всех исторических, философических умозрений и произвольных генеалогических, родовых и племенных соображений, которыми силились облечь его. Толки о романтизме пошли с легкой руки Шлегеля и ученицы его г-жи Сталь [2], особенно в книге ее *о Германии*. Эта книга, которая показалась Наполеону I политически-революционною, была им запрещена; во всяком случае, положила она начало литературной революции во Франции и в некоторых других странах. Все бросились в средние века, в рыцарские предания и в легенды, в сумрак готического зодчества, в мистицизм и так далее. Каким-то общим движением, все новокрещенцы нового исповедания спешили отрекаться от греков и римлян, как от сатаны, а от литературы их, как от дел его. У нас не было ни средних веков, ни рыцарей, ни готических зданий с их сумраком и своеобразным отпечатком: греки и римляне, грех сказать, не тяготели над нами. Мы более слыхали о них, чем водились с ними. Но романтическое движение, разумеется, увлекло и нас. Мы в подобных случаях очень легки на подъем. Тотчас образовались у нас два войска, два стана; классики и романтики доходили до чернильной драки. Всего забавнее было то, что налицо не было ни настоящих классиков, ни настоящих романтиков: были одни подставные и самозванцы. Грешный человек, увлекся и я тогда разлившимся и мутным потоком. Пушкин остался тем, что́ был: ни исключительно классиком, ни исключительно романтиком, а просто поэтом и творцом, возвышавшимся над литературною междоусобицею, которая в стороне от него суетилась, копошилась и почти бесновалась.

Если я ошибся, назвав Озерова романтиком, то был ближе к истине в следующих словах из статьи моей:

«Нет сомнения, что чтение романов (выше было сказано, что он много их читал) дало его поэзии цвет романизма, заметный почти во всех его произведениях, и удивительно, как с таким расположением не искал он для содержания трагедий своих повестей из рыцарских веков».

Это мнение удерживаю и ныне за собою, с тою только оговоркою, что признал я слова *романизм* и *романтизм* за слова совершенно однозначащие, а они только в свойстве между собою.

Как бы то ни было, в драматической поэзии Озерова было много нового и смелого. Например, стихи Эдипа:

Зри ноги ты мои, скитавшись, изъязвленны;
Зри руки, милостынь прошеньем утомленны;
Ты зри главу мою, лишенную волос —
Их иссушила грусть и ветер их разнес.

Нельзя поэтичнее выразить, что Эдип оплешивел, и есть некоторая смелость в упоминании о том, что он плешив.

Особенно нравились мне, и, по воспоминаниям, нахожу и ныне прелесть в следующих стихах Фингала: часто приходят мне они на память и твержу их:

И тени в облаках печальны и безмолвны,
С вечерней тишиной, при уклоненьи дня
По холмам странствуют, искав вотще меня.
Я удалился вас, и оных мест священных,
За волны шумные, в страну иноплеменных,
Куда меня влекла могущая любовь.
Но вы не сетуйте: она и вашу кровь,
В весенний возраст дней, как огнь воспламеняла;
Улыбка красоты и вас равно пленяла.
Вы были счастливы; но я! . . . .

Этими стихами покушался я умилостивить Пушкина, но он не сдавался. Из всего Озерова затвердил он одно полустишие: «Я Бренского не вижу».

Во время одной из своих молодых страстей, это было весною, он почти ежедневно встречался в Летнем саду с тогдашним кумиром своим. Если же в саду ее не было, он кидался ко мне или к Плетневу и жалобным голосом восклицал:

«Где Бренский? — Я Бренского не вижу» [3].

Разумеется, с того времени и красавица пошла у нас под прозванием Бренской.

ПРИПИСКА К СТАТЬЕ «ИЗВЕСТИЕ О ЖИЗНИ И СТИХОТВОРЕНИЯХ И. И. ДМИТРИЕВА»

Что люди, мне чужие, обвиняли меня в *слабости* к Дмитриеву и в несправедливости к Крылову, это меня не очень озабочивало и смущало. Я вообще обстрелен: и лишний выстрел со стороны куда не идет. Но в числе обвинителей моих был и человек, мне близкий; суд его был для меня многозначителен и дорог, он мог задирать меня и совесть мою за живое.

Пушкин, ибо речь, разумеется, о нем, не любил Дмитриева, как поэта, то есть, правильнее сказать, часто не любил его [1]. Скажу откровенно, он был, или бывал, сердит на него. По крайней мере, таково мнение мое. Дмитриев, классик,— впрочем, и Крылов по своим литературным понятиям был классик, и еще французский,— не очень ласково приветствовал первые опыты Пушкина, а особенно поэму его «Руслан и Людмила». Он даже отозвался о ней колко и несправедливо. Вероятно, отзыв этот дошел до молодого поэта, и тем был он ему чувствительнее, что приговор исходил от судии, который возвышался над рядом обыкновенных судей и которого, в глубине души и дарования своего, Пушкин не мог не уважать [2]. Пушкин в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом, при некоторых обстоятельствах, бывал он злопамятен, не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним, и даже к приятелям своим. Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил он имена должников своих и долги, которые считал за ними. В помощь памяти своей он даже существенно и материально записывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видал у него. Это его тешило. Рано или поздно, иногда совершенно случайно, взыскивал он долг, и взыскивал с лихвою. В сочинениях его найдешь много следов и свидетельств подобных взысканий. Царапины, нанесенные ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него. Как бы то ни было, споры наши о Дмитриеве часто возобновлялись, и, как обыкновенно в спорах бывает, отзывы, суждения, возражения становились все более и более резки и заносчивы. Были мы оба натуры спорной и друг пред другом ни на шаг отступать не хотели. При задорной перестрелке нашей мы горячились: он все ниже и ниже унижал Дмитриева; я все выше и выше поднимал его. Одним словом, оба были мы неправы. Помню, что однажды, в пылу спора, сказал я ему: «Да ты, кажется, завидуешь Дмитриеву». Пушкин тут зардел как маков цвет; с выражением глубокого упрека взглянул на меня и протяжно, будто отчеканивая каждое слово, сказал: «как, я завидую Дмитриеву?» Спор наш этим и кончился, то есть на этот раз, и разговор перешел к другим предметам, как будто ни в чем не бывало. Но я уверен, что он никогда не забывал и не прощал мне моей неуместной выходки. Если хорошенько порыться в оставленных им по себе бумагах, то, вероятно,

найдется где-нибудь имя мое с припискою: debet. Нет сомнения, что вспышка моя была оскорбительна и несправедлива. Впрочем, и то сказать, в то время Пушкин не был еще на той вышине, до которой достигнул позднее. Да и я, вероятно, имел тогда более в виду авторитет, коим пользовался Дмитриев, нежели самое дарование его. Из всех современников, кажется, Карамзин и Жуковский одни внушали ему безусловное уважение и доверие к их суду. Он по влечению и сознательно подчинялся нравственному и литературному авторитету их. С ними он не считался. До конца видел он в них не совместников, а старших и, так сказать, восприемников и наставников. Суждения других, а именно даже образованнейших из арзамасцев, были ему нипочем. Со мною любил он спорить: и спорили мы до упаду, до охриплости об Озерове, Дмитриеве, Батюшкове и о многом прочем и прочем. В последнее время он что-то разлюбил Батюшкова и уверял, что в некоторых стихотворениях его можно было уже предвидеть зародыши болезни, которая позднее постигла и поглотила его. В первых же порах Пушкина, напротив, он сочувствовал ему и был несколько учеником его, равно как и приятель Пушкина Баратынский. Батюшкова могут ныне не читать или читают мало; но тем хуже для читателей. А он все же занимает в поэзии нашей почетное место, которое навсегда за ним останется. Впрочем, с Пушкиным было то хорошо, что предубеждения его были вспышки, недуги не заматерелые, не хронические, а разве острые и мимоходные: они, бывало, схватят его, но здоровая натура очищала и преодолевала их. Так было и в отношении к Дмитриеву: и как сей последний, позднее и при дальнейших произведениях поэта, совершенно примирился с ним и оказывал ему должное уважение, так и у Пушкина бывали частые перемирия в отношении к Дмитриеву. Князь Козловский просил Пушкина перевесть одну из сатир Ювенала, которую Козловский почти с начала до конца знал наизусть. Он преследовал Пушкина этим желанием и предложением. Тот наконец согласился и стал приготовляться к труду [3]. Однажды приходит он ко мне и говорит: «А знаешь ли, как приготовляюсь я к переводу, заказанному мне Козловским? Сейчас перечитал я переводы Дмитриева латинского поэта и английского Попе́. Удивляюсь и любуюсь силе и стройности шестистопного стиха его» [4].

ИЗ СТАТЬИ
«ЖУКОВСКИЙ.— ПУШКИН.— О НОВОЙ ПИИТИКЕ БАСЕН»

В Пушкине нет ничего Жуковского, но между тем Пушкин есть следствие Жуковского. Поэзия первого не дочь, а наследница поэзии последнего, и по счастию обе живы и живут в ладу, несмотря на искательства литературных стряпчих щечил, желающих ввести их в ссору и тяжбу — с тем, чтобы поживиться на счет той и другой, как обыкновенно водится в тяжбах.

С удовольствием повторяем здесь выражение самого Пушкина об уважении, которое нынешнее поколение поэтов должно иметь к Жуковскому, и о мнении его относительно тех, кои забывают его заслуги: *дитя не должно кусать груди своей кормилицы.* Эти слова приносят честь Пушкину, как автору и человеку! [1]

Приписка. Боже мой, до каких гнусностей может довести патриотизм, то есть патриотизм, который зарождается в некоторых головах, совершенно особенно устроенных. Признаюсь, я не большой и не безусловный приверженец и поклонник так называемой национальности. Думаю, что и Крылов не гонялся за национальностью: она сама набежала на него, прильнула к нему, но и то не овладела им. Вот, например, случай, который доказывает, что он был более классик, нежели националист. Пушкин читал своего «Годунова», еще не многим известного, у Алексея Перовского. В числе слушателей был и Крылов. По окончании чтения, я стоял тогда возле Крылова, Пушкин подходит к нему и, добродушно смеясь, говорит: «Признайтесь, Иван Андреевич, что моя трагедия вам не нравится и, на глаза ваши, не хороша».— «Почему же не хороша? — отвечает он,— а вот что я вам расскажу: проповедник в проповеди своей восхвалял божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему горбатый, с двумя округленными горбами, спереди и сзади: не грешно ли вам, пеняет он ему, насмехаться надо мною и в присутствии моем уверять, что в божьем создании все хорошо и все прекрасно. Посмотрите на меня».— «Так что же, возражает проповедник: для горбатого и ты очень хорош».— Пушкин расхохотался и обнял Крылова [2].

ПРИПИСКА К СТАТЬЕ «ЦЫГАНЫ. ПОЭМА ПУШКИНА»

Этот разбор поэмы Пушкина навлек, или мог бы навлечь, облачко на светлые мои с ним сношения. О том я долго не догадывался и узнал случайно, гораздо позднее. Александр Алексеевич Муханов, ныне покойный, а тогда общий приятель наш, сказал мне однажды, что из слов, слышанных им от Пушкина, убедился он, что поэт не совсем доволен отзывом моим о поэме его. Точных слов не помню, но смысл их следующий: что я не везде с должною внимательностью обращался к нему, а иногда с каким-то учительским авторитетом; что иные мои замечания отзываются слишком прозаическим взглядом, и так далее. Помнится мне, что Пушкин был особенно недоволен замечанием моим о стихах *медленно скатился и с камня на траву свалился.* Признаюсь, и ныне не люблю и *травы* и *свалился.* Между тем Пушкин сам ничего не говорил мне о своем неудовольствии: напротив, помнится мне, даже благодарил меня за статью. Как бы то ни было, взаимные отношения наши оставались самыми дружественными [1]. Он молчал, молчал и я, опасаясь дать словам Муханова вид сплетни, за которую Пушкин мог бы рассердиться. Но и не признавал я надобности привести в ясность этот сомнительный вопрос. Мог я думать, что Пушкин и забыл или изменил свое первоначальное впечатление, но Пушкин не был забывчив. В то самое время, когда между нами все обстояло благополучно, Пушкин однажды спрашивает меня в упор: может ли он напечатать следующую эпиграмму:

О чем, прозаик, ты хлопочешь?

Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу никакого, со стороны ее, препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обычною в нем приметою какого-нибудь смущения или внутреннего сознания в неловкости положения своего. Впрочем, и тут я, так сказать, пропустил или проглядел краску его: не дал себе в ней отчета. Тем дело кончилось. Уже после смерти Пушкина как-то припомнилась мне вся эта сцена: загадка нечаянно сама разгадалась предо мною, ларчик сам раскрылся, я понял, что этот *прозаик* — я, что Пушкин, легко оскорблявшийся, оскорбился некоторыми заметками

в моей статье и, наконец, хотел узнать от меня, не оскорблюсь ли я сам напечатанием эпиграммы, которая сорвалась с пера его против меня. Досада его, что я, в невинности своей, не понял нападения, бросила в жар лицо его. Он не имел духа прямо объясниться со мною: на меня нашла какая-то голубиная чистота, или куриная слепота, которая не давала мне уловить и разглядеть *словеса лукавствия.* Таким образом гром не грянул и облачко пронеслось мимо нас, не разразившись над нами. Когда я одумался и прозрел, было поздно. Бедного Пушкина уже не было налицо [2]. Пушкин был вообще простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством. По характеру моему я был более туг, несговорчив, неподатлив. Это различие между нами приводило нас нередко к разногласию и к прениям, если не к спорам. Подобные прения касались скорее и более всего до литературных вопросов и литературных личностей. В этом отношении я был более Альцестом, он Филинтом («Мизантроп» Мольера). В литературных отношениях и сношениях я не входил ни в какие уступки, ни в какие сделки: я держался того мнения, что в литературе, то есть в убеждениях, правилах литературных, добрая, то есть явная, ссора лучше худого, то есть недобросовестного, мира. Он, пока самого его не заденут, более был склонен мирволить и часто мирволил. Натура Пушкина была более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было более любви, нежели негодования; более благоразумной терпимости и здравой оценки действительности и необходимости, нежели своевольного враждебного увлечения. На политическом поприще, если оно открылось бы пред ним, он, без сомнения, был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом. Так называемая либеральная, молодая пора поэзии его не может служить опровержением слов моих. Во-первых, эта пора сливается с порою либерализма, который, как поветрие, охватил многих из тогдашней молодежи. Нервное, впечатлительное создание, каким обыкновенно родится поэт, еще более, еще скорее, чем другие, бывает подвержено действию поветрия. Многие из тогдашних так называемых либеральных стихов его были более отголоском того времени, нежели отголоском, исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был Эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того, он был искренен; но не был сектатором в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не

был сектатором чужих предубеждений. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благорожденная душа. Но из того не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером.

Политические сектаторы двадцатых годов очень это чувствовали и применили такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были приятелями его, но они не находили в нем готового соумышленника, и, к счастию его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений 25-го года, нежели желание, как многие думают, сберечь дарование его и будущую литературную славу России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкин, но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политического быть или не быть.

Мы говорили выше о добросердечии Пушкина. Теперь, возвращаясь к исходной точке нашей приписки, скажем, что, при всем добросердечии своем, он был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и увлечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Кто был в долгу у него, или кого почитал он, что в долгу, тот, рано или поздно, расплачивайся с ним, волею или неволею. Для подмоги памяти своей, он держался в этом отношении бухгалтерного порядка: он вел письменный счет своим должникам настоящим или предполагаемым; он выжидал только случая, когда удобнее взыскать недоимку. Он не спешил взысканием; но отметка *должен* не стиралась с имени, но Дамоклесов меч не снимался с повинной головы, пока приговор его не был приведен в исполнение. Это буквально было так. На лоскутках бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей; иногда были уже заранее заготовлены при них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим. Вероятно, так и мое имя было записано на подобном роковом лоскутке, и взыскание с меня было совершено известною эпиграммою. Таковы, по крайней мере, мои догадки, основанные на вышеприведенных обстоятельствах.

Но поспешим добросовестно оговориться и пополнить

набросанный нами очерк. Если Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым почерком пера напишет он эпиграмму, внесет кого-нибудь в свой «Евгений Онегин» или в послание, и дело кончено. Его point d'honneur, его затея чести получила свою *сатисфакцию,* и довольно. Как при французских поединках честь спасена при первой капле крови (se battre au premier sang), так и здесь все кончалось несколькими каплями чернил. В действиях, в поступках его не было и тени злопамятства, он никому не желал повредить. Хотя он сам по поводу стихов Державина:

За стихи меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит —

сказал, что в писателе слова — те же дела; но это не вполне верно. В истории нашей видим мы, как во зло употреблялось выражение *слово* и *дело.* Слово часто далеко от дела, а дело от слова. Написать на кого-нибудь эпиграмму, сказать сгоряча, или для шутки, про ближнего острое слово или повредить и отмстить ему на деле — разница большая. Сатирик и насмешник действуют начистоту: не только не таятся они, а желают, чтобы собственноручная стрела их долетела по надписи и чтобы знали, чья эта стрела. Рука недоброжелателя или врага заправского действует во мраке и невидимо. Ей мало щипнуть и оцарапать: она ищет глубоко уязвить и доконать жертву свою.

ИЗ СТАТЬИ «КНЯЗЬ ПЕТР БОРИСОВИЧ КОЗЛОВСКИЙ»

Когда в Варшаве скоропостижно сошел с ума кучер, который вез его в коляске и, направив лошадей прямо на край обвала, опрокинулся с ними со всеми в яму на несколько саженей глубины, князь Козловский, вытащенный оттуда, разбитый, приветствовал прибывшего к нему на помощь лекаря стихами из Ювеналовой сатиры — редкая и замечательная черта присутствия ума, памяти и литературности в такую неприятную минуту. ⟨...⟩

В литературных беседах своих с Пушкиным настоятельно требовал он от него перевода любимой своей сатиры Ювенала «Желания» [1]. И Пушкин перед концом своим готовился к этому труду; помню даже, что при этом случае Пушкин перечитывал образцы нашей дидактической поэ-

зии и между прочим перевод Ювеналовой сатиры Дмитриева и любовался сим переводом как нечаянною находкою ⟨...⟩

В Петербурге познакомился он ⟨Козловский⟩ с Пушкиным и тотчас полюбил его. Тогда возникал «Современник». С участием живым, точно редким в деле совершенно постороннем, мысленно и сердечно заботился он об успехе сего предприятия. В то время получил я из Парижа «Annuaire du bureau des longitudes», издаваемый под особенным надзором ученого Араго. Я предложил князю Козловскому написать на эту книгу рецензию для «Современника». Охотно и горячо ухватившись за мое предложение, продиктовал он несколько страниц, которые, без сомнения, памятны читателям «Современника». Это была первая попытка его на русском языке, и попытка самая блистательная. ⟨...⟩ Новый писатель с первого раза умел найти и присвоить себе слог, что часто не дается и писателям, долго упражняющимся в письменном деле. Ясность, краткость, живость были отличительными чертами сего слога. Нет сомнения, что Пушкину со временем удалось бы завербовать князя Козловского в постоянные писатели и сотрудники себе [2].

ЗАМЕТКА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Мария Ивановна Римская-Корсакова должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила, что называется, открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы, маскарады, разные увеселения, зимою санные катанья за городом, импровизированные завтраки, на которых сенатор Башилов, друг дома, в качестве ресторатора, с колпаком на голове и в фартуке угощал по карте, блюдами, им самим изготовленными, и, должно отдать справедливость памяти его, с большим кухонным искусством. Красавицы дочери ее, и особенно одна из них, намеками воспетая Пушкиным в «Онегине» [1], были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. В ней отзывались и русские предания екатерининских времен, и выражались понятия и обычаи нового общежития. В старых, очень старых, воспоминаниях Москвы долго хранилась молва о мастерской игре ее в роли Еремеевны в комедии Фонвизина,

которую любители играли где-то на домашнем театре. Позднее мама Митрофанушки любовалась в Париже игрою m-lle Mars. Все эти разнородные впечатления, старый век и новый век, сливались в ней в разнообразной стройности и придавали личности ее особенное и привлекательное значение. Сын ее, Григорий Александрович, был замечательный человек по многим нравственным качествам и по благородству характера. Знавшие его коротко и пользовавшиеся дружбою его (в числе их можно именовать Тучкова, бывшего после московским генерал-губернатором) искренно оплакали преждевременную кончину его. Он тоже в своем роде был русский и особенно московский тип, отличающийся оттенками, которые вынес он из довольно долгого пребывания своего в Париже и в Италии. Многие годы, особенно между предшествовавшими тридцатому году и вскоре за ним следовавшими, был он на виду московского общества. Все знали его, везде его встречали. Тогда еще не существовало общественного звания: светского льва. Но, по нынешним понятиям и по новейшей табели о рангах, можно сказать, что он был одним из первозванных московских львов. Видный собою мужчина, рослый, плечистый, с частым подергиванием плеча, он, уже и по этим наружным и физическим отметкам, был на примете везде, куда ни являлся. Умственная физиономия его была также резко очерчена. Он был задорный, ярый спорщик, несколько властолюбивый в обращении и мнениях своих. В Английском клубе часто раздавался его сильный и повелительный голос. Старшины побаивались его. Взыскательный гастрономом, он не спускал им, когда за обедом подавали худо изготовленное блюдо или вино, которое достоинством не отвечало цене, ему назначенной. Помню забавный случай. Вечером в газетную комнату вбежал с тарелкою в руке один из старшин и представил на суд Ивана Ивановича Дмитриева котлету, которую Корсаков опорочивал. Можно представить себе удивление Дмитриева, когда был призван он на третейский суд по этому вопросу, и общий смех нас, зрителей этой комической сцены. Особенно памятна мне одна зима или две, когда не было бала в Москве, на который не приглашали бы его и меня. После пристал к нам и Пушкин. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в Немецкую слободу, и в Замоскворечье. Наш триумвират в отношении к балам отслуживал службу свою, наподобие бригадиров и кавалеров св. Анны, непременных почетных гостей, без коих обойтиться не могла ни одна купеческая свадьба, ни

один именинный купеческий обед. Скажу о себе без особенного самолюбия и честолюбия, но и не без чувства благодарности, что репутация моя по сей части была беспрекословно и подачею общих голосов утверждена. Вот этому доказательство. На одном бале, не помню по какому случаю устроенном в Благородном собрании, один из старшин, именем собратий своих, просил меня руководствовать или, скорее, *новогодствовать* танцами, прибавив без всякого лукавого и насмешливого умысла: «Мы все на вас надеемся: ведь вы наша примадонна».

Чистосердечие и смирение вынуждают меня сознаться, что тогда нас было три примадонны.

МИЦКЕВИЧ О ПУШКИНЕ

I

В двадцатых годах был он ⟨Мицкевич⟩ в Москве и в Петербурге, вроде почетной ссылки. В том и другом городе сблизился он со многими русскими литераторами и радушно принят был в лучшее общество. Были ли у него и тогда потаенные, задние или передовые мысли, решить трудно. Оставался он кровным поляком и тогда, это несомненно; но озлобления в нем не было. В сочувствии же его к некоторым нашим литераторам и другим лицам ручаются неопровергаемые свидетельства: гораздо позднее, в самом разгаре своих политических увлечений, он устно и печатно говорит о некоторых русских писателях с любовью и уважением. И в них оставил он по себе самое дружелюбное впечатление и воспоминание. В прибавлениях к посмертному собранию сочинений Мицкевича, писанных на французском языке, находим мы известие, что московские литераторы дали ему перед выездом из Москвы прощальный обед с поднесением кубка и стихов. На кубке вырезаны имена: Баратынского, братьев Петра и Ивана Киреевских, Елагина, Рожалина, Полевого, Шевырева, Соболевского. Тут же рассказывается следующее: Пушкин, встретясь где-то на улице с Мицкевичем, посторонился и сказал: «С дороги двойка, туз идет». На что Мицкевич тут же отвечал: «Козырная двойка туза бьет».

В тех же прибавлениях находим мы стихотворение Мицкевича, вроде думы пред памятником Петра Велико-

го. Поэт говорит: «Однажды вечером два юноши укрывались от дождя, рука в руку, под одним плащом. Один из них был паломник, пришедший с Запада, другой — поэт русского народа, славный песнями своими на всем Севере. Знали они друг друга с недавнего времени, но знали коротко, и было уже несколько дней, что были они друзьями. Их души, возносясь над всеми земными препятствиями, походили на две Альпийские скалы-двойчатки, которые хотя силою потока и разделены навеки, но преклоняются друг к другу своими смелыми вершинами, едва внимая ропоту враждебной волны».

Очевидно, что тут идет речь о Мицкевиче и Пушкине. Далее поэт приписывает Пушкину слова, которых он, без сомнения, не говорил; но это поэтическая и политическая вольность: ни дивиться ей, ни жаловаться на нее нельзя. Впрочем, заметка, что конь под Петром более стал на дыбы, нежели скачет вперед, принадлежит не Мицкевичу и не Пушкину [1].

II

Вскоре по кончине Пушкина явилось во французском журнале «Le Globe», 25 мая 1837 года, биографическое и литературное известие о нем за подписью *друг Пушкина* (un ami de Pouchkine). Книга, о которой мы говорили выше, открывает нам, что этот *друг Пушкина* был Мицкевич. Какие ни были бы политические мнения и племенные препирательства, но все же, вероятно, многим будет любопытно и занимательно узнать суждения великого поэта о другом великом поэте. В этом предположении сообщаем русским читателям статью Мицкевича в следующем переводе.

III

БИОГРАФИЧЕСКОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗВЕСТИЕ О ПУШКИНЕ

Пушкин, как и все товарищи его, делал оппозицию в последних годах царствования императора Александра I. Он выпустил несколько эпиграмм против правительства и самого царя; он даже написал оду «К Кинжалу». Эти летучие стихотворения разносились в рукописях из Пе-

тербурга до Одессы; везде читали их, толковали, любовались ими. Они придали поэту более популярности, чем последовавшие затем творения его, которые сравнительно были и значительнее, и превосходнее. Вследствие того император Александр признал нужным выслать Пушкина из столицы и велеть ему жить в провинции. Император Николай отменил строгие меры, принятые в отношении к Пушкину Он вызвал его к себе, дал ему частную аудиенцию и имел с ним продолжительный разговор. Это было беспримерное событие: ибо дотоле никогда русский царь не разговаривал с человеком, которого во Франции назвали бы пролетарием, но который в России гораздо менее, чем пролетарий на Западе: ибо, хотя Пушкин и был благородного происхождения, он не имел никакого чина в административной иерархии. (Здесь Мицкевич увлекается западными воззрениями на Россию. Он мог бы, не изыскивая других примеров, вспомнить о Петре I, которому нередко случалось беседовать с русскими пролетариями.)

В сей достопамятной аудиенции император говорил о поэзии с сочувствием. Здесь в первый раз русский государь говорил о литературе с подданным своим. (Мицкевич опять уклоняется от действительности: он забывает Екатерину Великую и отношения императора Александра к Карамзину.) Он ободрял поэта продолжать занятия свои, освободил его от официальной цензуры. Император Николай явил в этом случае редкую проницательность: он умел оценить поэта; он угадал, что по уму своему Пушкин не употребит во зло оказываемой ему доверенности, а по душе своей сохранит признательность за оказанную милость. Либералы, однако же, смотрели с неудовольствием на сближение двух потентатов. Начали обвинять Пушкина в измене делу патриотическому; а как лета и опытность возродили в Пушкине обязанность быть воздержнее в речах своих и осторожнее в действиях, то начали приписывать перемену эту расчетам честолюбия. Около того времени появились «Цыганы», а позднее «Мазепа» (то есть «Полтава»), творения замечательные и которые свидетельствовали о постепенном возвышении таланта Пушкина. Эти две поэмы более окрепли в действительности. Содержание их не изысканно и не многосложно, характеры изображенных лиц лучше постигнуты и обрисованы твердою рукою, слог их освобождается от всякой романтической принужденности. К сожалению, байроновская форма, как доспехи Саула, все еще подавляют и гнетут движения сего молодого

Давида; но, однако же, уже очевидно, что он готов сложить с себя эти доспехи. (Если Мицкевич в этом случае прав, то разве в отношении к «Цыганам». Алеко все еще доводится сродни байроновским героям: но в «Полтаве» Пушкин уже стоял твердою ногою на своей собственной почве.)

Эти оттенки, означающие переход художника от одного приема (manière) к другому, явствуют, очевидно, в лучшем, своеобразнейшем и наиболее национальном из творений его — в «Онегине».

Пушкин, создавая свой роман, передавал его публике отдельными главами, как Байрон «Дон-Жуана» своего. Сначала он еще подражает английскому поэту; вскоре пытается идти с помощью одних собственных сил своих; кончает тем, что становится сам оригинален. Разнообразное содержание, лица, введенные в «Онегине», принадлежат жизни действительной, жизни частной; в них отзываются трагические отголоски и развиваются сцены высокой комедии. Пушкин написал также драму, которую русские ценят высоко и ставят наравне с драмами Шекспира. Я не разделяю их мнения. Объяснение тому вовлекло бы меня в рассуждения чересчур пространные; достаточно заметить, что Пушкин был слишком молод для воссоздания исторических личностей. Он сделал опыт драмы, но опыт, который доказывает, до чего мог бы он достигнуть со временем: et tu Shakespeare eris si fata sinant *.

Драма «Борис Годунов» содержит в себе подробности и даже сцены изумительной красоты. Особенно пролог кажется мне столь самобытен и величествен (original et grandiose), что, не обинуясь, признаю его единственным в своем роде. Не могу отказаться от удовольствия сказать о нем несколько слов. (Здесь автор обозначает в кратком изложении основу драмы, сцену Пимена и Отрепьева.) Драма, как и все, что Пушкин до того времени издал, не дает меры таланта его. В той эпохе, о которой говорим, он прошел только часть того поприща, на которое был призван: ему было тридцать лет. Те, которые знали его в это время, замечали в нем значительную перемену. Вместо того чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые некогда занимали его исключительно, он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песней и углубляться в изучение отечественной

* И ты будешь Шекспиром, если судьба дозволит *(лат.)*.

истории. Казалось, он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву. Одновременно разговор его, в котором часто прорывались задатки будущих творений его, становился обдуманнее и степеннее (sérieux). Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы, религиозные и общественные, о существовании коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. (С кем же Пушкин входил в подобные прения, если соотечественники и современники его не были в состоянии понимать эти вопросы? Он мало входил в связь с иностранцами: отношения его с ними были чисто светские.) Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию. Как человек, как художник, он несомнительно готов был изменить свою прежнюю постановку, или, скорее, найти другую, которая была бы ему исключительно свойственная. Он перестал писать стихи. (Не совсем верно. Он до конца писал отдельные стихотворения, если не такого объема, как прежние поэмы, но зато запечатленные еще более трезвостью и зрелостью.) Он выдал в свет несколько исторических сочинений, которые должно признать одними подготовительными работами. К чему предназначал он себя? Чего хотел? Выставить со временем ученость свою? Нет! Он презирал авторов, не имеющих никакой цели, никакого направления (tendance). (И это едва ли правда.) Он не любил философского скептицизма и художественной бесстрастности Гете. Что происходило в душе его? Воспринимала ли она безмолвно в себя дуновение этого духа, который животворил создания Манзони, Пеликко и который, кажется, оплодотворяет размышления Томаса Мура, также замолкшего? Или воображение его, может быть, работало над осуществлением в себе мыслей С. Симона и Фурье? Не знаю: в некоторых беглых стихотворениях его и разговорах мелькали следы этих направлений. (Здесь Мицкевич, как обольщенный ученик Товянского, совершенно удаляется от истины. Он видит не то, что есть, а что под обаянием воззрения ему мерещится. Любознательный ум Пушкина мог быть заинтересован изучением возникающих систем; но так называемые социальные и мистические теории были совершенно чужды и противны натуре его.) Как бы то ни было, я был убежден, что в поэтическом безмолвии его таились счастливые предзнаменования для русской литературы. Я ожидал, что вскоре явится он на сцене человеком новым, в полном могуществе дарования своего, созревшим опытностью, укрепленным в исполнении предначертаний

своих. Все, знавшие его, делили со мною эти желания. Выстрел из пистолета уничтожил все надежды.

Пуля, сразившая Пушкина, нанесла ужасный удар умственной России. Она имеет ныне отличных писателей; ей остаются Жуковский, поэт, исполненный благородства, грации и чувства; Крылов, басенник, богатый изобретением, неподражаемый в выражении, и другие; но никто не заменит Пушкина. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключающие качества. Пушкин, коего талант поэтический удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений. Он нажил себе много врагов эпиграммами и колкими насмешками. Они мстили ему клеветою. Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта; находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил: все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца. Он умер 38 лет.

V

В дополнение к вышеприведенной статье, напечатаны в той же книге другие отзывы о Пушкине, извлеченные из лекций, читанных Мицкевичем во Французской Коллегии, когда он занимал в ней кафедру славянских языков. В этих отрывках встречается многое, что уже было сказано в предыдущей статье. Выписываем из них только то, что представляет новые воззрения или добавляет прежние. В этих выписках, и по тем же причинам, будем держаться исключительно литературного содержания, не забегая на политические тропинки, которые увлекают профессора.

VI

С появлением Пушкина (говорит профессор) в училищах преподавали еще старую литературу, следовали правилам ее в книгах; но публика забывала ее. Пред Пушкиным мало-помалу исчезали Ломоносов, а с ним и Державин, уже престарелый, наделенный почестями и славою. В то же время новые поэты, как Жуковский, человек великого дарования, и Батюшков, уже сходили на вторую ступень. Еще любили стихотворения их, но уже не восторгались ими; восторг был данью одному Пушкину.

Пушкин начал подражанием всему, что застал он в русской поэзии: он писал оды в роде Державина, но превзошел его; как Жуковский, он подражал старым народным песнопениям, но и его превзошел окончательностью формы и особенно же полнотою творчества (la largeur de ses compositions). Обыкновенно писатель проходит чрез школы, до него существовавшие: он перелетает сферы минувшего, чтобы возвыситься в будущем.

За подражаниями Байрону Пушкин бессознательно подражал также и Вальтеру Скотту. Тогда много толковали о краске местности, об историческом изучении, о необходимости воссоздавать историю в поэзии. Последние творения Пушкина колеблются между двумя этими направлениями: он то Байрон, то Вальтер Скотт. Он еще не Пушкин.

Далее Мицкевич называет «Онегина» оригинальнейшим созданием Пушкина, которое читано будет с удовольствием во всех славянских странах. Он излагает в нескольких строках ход поэмы и говорит:

Пушкин не так плодоносен и богат, как Байрон, не возносится так высоко в полете своем, не так глубоко проникает в сердце человеческое, но вообще он правильнее Байрона и тщательнее и отчетливее в форме. Его проза изумительной красоты. Она беспрестанно и неприметно меняет краски и приемы свои. С высоты оды снисходит до эпиграммы, и среди подобного разнообразия встречаешь сцены, достигающие до эпического величия.

В первых главах романа своего Пушкин, вероятно, не имел еще в виду развязки, которою он роман кончает: иначе не мог бы он с такою нежностью, с такими простосердечием и силою изобразить молодых этих людей (Ленский, Ольга и Татьяна) и кончить рассказ свой таким грустным и прозаическим образом. (Вероятно, критик указывает здесь на браки двух сестер. Впрочем, он, кажется, совершенно

правильно угадал, что поэт не имел первоначально преднамеренного плана. Он писал «Онегина» под вдохновениями минуты и под наитием впечатлений, следовавших одно за другим. Одна умная женщина, княгиня Голицына, урожденная графиня Шувалова, известная в конце минувшего столетия своею любезностью и французскими стихотворениями, царствовавшая в петербургских и заграничных салонах, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила она Пушкина: «Что думаете вы сделать с Татьяною? Умоляю вас, устройте хорошенько участь ее».— «Будьте покойны, княгиня,— отвечал он, смеясь,— выдам ее замуж за генерал-адъютанта».— «Вот и прекрасно,— сказала княгиня.— Благодарю». Легко может быть, что эта шутка порешила судьбу Татьяны и поэмы.) Эта поэма проникнута грустью более глубокою, чем та, которая выражается в поэзии Байрона. Пушкин, начитавшись романами, разделявший чувства друзей своих, молодых, заносчивых либералов, ощущает жестокую пустоту обманов: оттого и разочарование его ко всему, что есть великое и прекрасное на земле, и Пушкин, рисуя байрониста, делает свой собственный портрет.

Пушкин был таков. Другая личность романа, молодой русский с распущенными волосами, поклонник Канта и Шиллера, энтузиаст и мечтатель, тоже Пушкин в одной из эпох жизни его. Поэт предсказал собственную участь свою. Пушкин, как и созданный им Владимир, погиб на поединке вслед за незначительною ссорою.

Замечательно, как, продолжая Онегина и задумав поссорить его с Ленским, Пушкин был сильно озабочен поединком, к которому ссора эта должна была довести. В этой заботе есть в самом деле какое-то тайное предчувствие. С другой стороны, есть в ней и признак подвластности его Байрону. Он боялся, что певец «Дон-Жуана» упредит его и внесет поединок в поэму свою. Пушкин с лихорадочным смущением выжидал появлений новых песней, чтобы искать в них оправдания или опровержения страха своего. Он говорил, что после Байрона никак не осмелится вывести в бой противников. Наконец убедившись, что в «Дон-Жуане» поединка нет, он зарядил два пистолета и вручил их сегодня двум врагам, вчера еще двум приятелям. Заботы поэта не пропали. Поединок в поэме его — картина в высшей степени художественная; смерть Ленского, все, что поэт говорит при этом, может быть, в своем роде лучшие и трогательнейшие из стихов Пушкина. Прав-

да и то, что Ленский только смертью своею и возбуждает сердечное сочувствие к себе (в чем, вопреки указаниям Мицкевича, вовсе не сходится он с Пушкиным). Когда Пушкин читал еще не изданную тогда главу поэмы своей, при стихе:

Друзья мои, вам жаль поэта...—

один из приятелей его сказал: «Вовсе не жаль!» — «Как так?» — спросил Пушкин. «А потому,— отвечал приятель,— что ты сам вывел Ленского более смешным, чем привлекательным. В портрете его, тобою нарисованном, встречаются черты и оттенки карикатуры». Пушкин добродушно засмеялся, и смех его был, по-видимому, выражением согласия на сделанное замечание.

При воспоминаниях о пребывании польского поэта в Москве приходит на ум довольно странное сближение. Замечательно, что упрек его Пушкину, что он слишком подчинял себя Байрону, был гораздо прежде обращен к нему самому. Еще в 1828 году умный и, к сожалению и к стыду нынешнего поэтического чувства, мало оцененный Баратынский говорит в прекрасных стихах:

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик...
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он.
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный,
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

Мицкевич был не только великий поэт, но и великий импровизатор. Хотя эти два дарования должны, по-видимому, быть в близком родстве, но на деле это не так. Импровизированная, устная поэзия и поэзия писаная и обдуманная не одно и то же. Он был исключением из этого правила. Польский язык не имеет свойств певучести, живописности итальянского: тем более импровизация его была новая победа, победа над трудностью и неподатливостью подобной задачи. Импровизированный стих его свободно и стремительно вырывался из уст его звучным и блестящим потоком. В импровизации его были мысль, чувство, картины и в высшей степени поэтические выражения. Можно было думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им

уже написанную. Для русских приятелей своих, не знавших по-польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется, прозою, на заданную тему. Помню одну. Из свернутых бумажек, на коих записаны были предлагаемые задачи, жребий пал на тему, в то время и поэтическую и современную: приплытие Черным морем к одесскому берегу тела Константинопольского православного патриарха, убитого турецкою чернью. Поэт на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза более отрезвляющая, нежели упояющая, мысль и воображение не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная. Жаль, что не было тут стенографа. Действие ее еще памятно, но, за неимением положительных следов, впечатления непередаваемы. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге [2].

В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавшим ее нельзя было забыть впечатления, которые производила она своим полным и звучным контральто и одушевленною игрою в роли Танкреда, опере Россини. Помнится и слышится еще, как она, в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним, пропела элегию его, положенную на музыку Генищтою:

Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман.

Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала в лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был несомненное выражение внутреннего смущения, радости, досады, всякого

потрясающего ощущения. Нечего и говорить, что Мицкевич, с самого приезда в Москву, был усердным посетителем и в числе любимейших и почтеннейших гостей в доме княгини Волконской.

ИЗ СТАТЬИ «ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРУ НАШУ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА»

Пушкин также не любил слыть в обществе стихотворцем и сочинителем. Таковым охотно являлся он в кабинете Жуковского или Крылова. Но в обществе хотел он быть принимаем как Александр Сергеевич Пушкин. Понимаю это. Но если уже и он, достигнувший славы *сочинительством,* как бы чуждался патента на нее, то каково же другим второстепенным сочинителям, но людям рассудительным, навязывать на себя эту цеховую бляху, только что не под нумером.

Карамзина упрекали в излишестве галлицизмов. Но в сравнении с нынешними галломанами он едва ли не другой Шишков, старовер старого слога. Дмитриев говорит, что новые писатели учатся русскому языку у лабазников. В этом отношении виноват немного и Пушкин. Он советовал прислушиваться речи просфирней и старых няней. Конечно, от них можно позаимствовать некоторые народные обороты и выражения, выведенные из употребления в письменном языке к ущербу языка; но при том наслушаешься и много безграмотности. Нужно иметь тонкое и разборчивое ухо Пушкина, чтобы удержать то, что́ следует, и пропустить мимо то, что́ не годится. Но не каждый одарен, как он, подобным слухом. Впрочем, он сам мало пользовался преподаваемым им советом. Он не любил щеголять во что бы ни стало простонародным наречием. Уменье употреблять слова в прямом и верном значении их, так, а не иначе, кстати, а не так, как попало, уменье, по-видимому, очень неголоволомное, есть тайна, известная одним избранным писателям: иные прилагательные слова вовсе не идут к иным существительным.

Пушкин и сам одно время, очень непродолжительное, был журналистом. Он на веку своем написал несколько острых и бойких журнальных статей; но журнальное дело

не было его делом. Он не имел ни достойных качеств, ни погрешностей, свойственных и даже нужных присяжному журналисту. Он, по крайней мере, во втором периоде жизни и дарования своего не искал популярности. Он отрезвился и познал всю суетность и, можно сказать, горечь этого упоения. Журналист — поставщик и слуга публики. А Пушкин не мог быть ничьим слугою. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Думал он, что совладает с журнальным предприятием не хуже другого. Не боги же обжигают горшки. Нет, не боги, а горшечники; но он именно не был горшечником. Таким образом, он ошибся и обчелся и в литературном, и в денежном отношении. Пушкин тогда не был уже повелителем и кумиром двадцатых годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего, он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и нашу бессознательную и слабоголовую критику. Подобное явление нередко и в других литературах, а у нас оно почти естественно. По этому предмету говорил Гнедич: «Представьте себе на рынке двух торговцев съестными припасами: один на чистом столике разложил слоеные, вкусные, гастрономические пирожки; другой на грязном лотке предлагает гречнивики, облитые вонючим маслом. К кому обратится большинство покупщиков? Разумеется, к последнему».

Пушкин не только не заботился о своем журнале с родительскою нежностью, он почти пренебрегал им. Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение. Что же, спросил я, ты напечатаешь его в следующей книжке? Да, как бы не так, отвечал он, pas si bête: * подписчиков баловать нечего. Нет, я приберегу стихотворение для нового тома сочинений своих. Он впоследствии, когда запряг себя в журнальную упряжь, сердился на меня, что я навязал ему название «Современника», при недоумении его, как окрестить журнал [1].

Повторяем: Пушкин мог бы еще долго предаваться любимым занятиям своим и содействовать славе отечественной литературы и, следовательно, самого отечества. Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще более

---

* Я не так глуп.

внутренними колебаниями не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, столь необходимого для правильного руководства своего, он мог увлекаться или уклоняться от цели, которую имел всегда в виду и к которой постоянно возвращался после переходных заблуждений. Но при нем, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей он нередко отрезвлялся и успокоивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовью к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет божий и облекались в звуки, краски, в глаголы, очаровательные и поучительные. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть немощь уныния, восстановлялись расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокоивался, мужал, перерождался. Эта живительная, плодотворная деятельность иногда притаивалась в нем, но ненадолго. Она опять пробуждалась с новою свежестью и новым могуществом. Она никогда не могла бы совершенно остыть и онеметь. Ни года, ни жизнь с испытаниями своими не могли бы пересилить ее.

В последнее время работа, состоящая у него на очереди, или на ферстаке (верстаке), как говаривал граф Канкрин, была история Петра Великого.

Труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это целый мир! В Пушкине было верное пониманье истории; свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость. Он был чужд всех систематических, искусственно составленных руководств; не только был он им чужд, он был им враждебен. Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки, для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее. Он не задал бы себе уроком и обязанностию во что бы то ни стало либеральничать в истории и философничать умозрительными анахронизмами.

Пушкин был впечатлителен и чуток на впечатления; он был одарен воображением и, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что мог отрешать себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все эти качества — необходимые для историка, и Пушкин обладал ими в достаточной мере.

ЗАМЕТКИ

I

Я не нашел у Анненкова («Вестник Европы»)* отметки Пушкина о 1814 годе.

Во всяком случае, не мог он видеть Карамзина в течение этого года. Может быть, ребенком видал он его в Москве у отца своего, да и то невероятно. По крайней мере, не помню Сергея Львовича в Москве ни у Карамзина, ни у себя. Карамзин, вероятно, знал его, но у него не бывал.

Из Москвы в Петербург в 1816 году с Карамзиным ехал я один. Жуковский был уже в Петербурге. Василий Львович приехал в Петербург или пред нами, или вслед за нами, но положительно не с нами, а в обратный путь примкнул к нам. С ним по дороге и заезжали мы в Лицей, вероятно, по предложению Василия Львовича. Оставались мы там с полчаса, не более. Не помню особенных тогда отношений Карамзина к Пушкину. Вероятно, управляющие Лицеем занимались Карамзиным. А меня окружила молодежь: я и сам был тогда молод. Тут нашел я и Сергея Ломоносова, который за несколько лет пред тем был товарищем моим или в иезуитском пансионе, или в пансионе, учрежденном при Педагогическом институте,— в точности не помню. Пушкин был не особенно близок к Ломоносову ** — может

* Разумеется, статья П. В. Анненкова «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» в «Вестнике Европы», 1873, XI—XII, и 1874, I—II. *(Примеч. К. Грота.)*

** По рассказу И. И. Пущина (его «Записки», с. 9—10), Пушкин познакомил его еще до открытия Лицея (когда все уже съехались в Петербург) при представлении будущих лицеистов министру, с Ломоносо-

быть, напротив, Ломоносов и тут был уже консерватором, а Пушкин в оппозиции против Энгельгардта и много еще кое-кого и кое-чего. Но как-то фактически сблизили их и я, и дом Карамзиных, в котором по летам бывали часто и Пушкин и Ломоносов, особенно в те времена, когда наезжал я в Царское Село. Холмогорского в Ломоносове ничего не было, то есть ничего литературного. Он был добрый малый, вообще всеми любим и, вероятно, не без служебных способностей, потому что совершил довольно блистательную дипломатическую карьеру, любим был Поццо-ди-Борго и занимал посланнические посты. Упоминание о нем Василия Львовича ничего не значит, кроме обыкновенной и вежливой любезности.

О предполагаемой поездке Пушкина incognito в Петербург в декабре 25-го года верно рассказано Погодиным в книге его «Простая речь», страницы 178—179 *. Так и я слыхал от Пушкина. Но, сколько помнится, двух зайцев не было, а только один. А главное, что он бухнулся бы в самый кипяток мятежа у Рылеева в ночь 13-го на 14 декабря: совершенно верно.

II

⟨Граф Ян Потоцкий⟩ известен в ученом и литературном мире историческими, писанными на французском языке, изысканиями о славянской древности. После смерти его напечатан был, также на французском языке, фантастический роман его: «Les trois pendus» [1]. Сказывают, что он написал в угоду жене и по следующим обстоятельствам. Во время продолжительной болезни жены своей читал он ей арабские сказки «Тысячи и одной ночи». Когда книга была дочитана, графиня начала скучать и требовала продолжения подобного чтения: чтобы развлечь ее и удовлетворить желанию ее, он каждый день писал по главе романа своего, которую вечером и читал ей вслух. Пушкин высоко ценил этот роман, в котором яркими и верными красками выдаются своенравные вымыслы арабской поэзии и не менее своенравные нравы и быт испанские.

вым и Гурьевым, и все они четверо потом часто сходились у В. Л. Пушкина и у Гурьевых. *(Примеч. К. Грота.)*

* Изд. 2, 1874, отд. II, с. 22—23; о том же рассказывает и В. И. Даль. См.: Л. Майков, «Пушкин и Даль», в своей книге «Пушкин». СПб., 1899, с. 420—421. *(Примеч. К. Грота.)*

ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

В одно из своих странствований по России Пушкин остановился обедать на почтовой станции в какой-то деревне. Во время обеда является барышня очень приличной наружности. Она говорит ему, что, узнав случайно о проезде великого нашего поэта, не могла удержаться от желания познакомиться с ним, отпуская различные приветствия, похвальные и восторженные.

Пушкин слушает их с удовольствием и сам с нею любезничает. На прощанье барышня подает ему вязаный ею кошелек и просит принять его на память о неожиданной их встрече. После обеда Пушкин садится опять в коляску; но не успел он еще выехать из селения, как догоняет его кучер верхом, останавливает коляску и говорит Пушкину, что барышня просит его заплатить ей десять рублей за купленный им у нее кошелек. Пушкин, заливаясь звонким своим смехом, любил рассказывать этот случай авторского разочарования.

В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:

Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.

Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные.

Александр Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих; но не в его натуре было быть хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям; редко и бывал у них, когда живал с ними в одном городе. «Давно ли видел ты отца?» — спросил его однажды NN. «Недавно».— «Да как ты понимаешь это? Может быть, ты недавно видел его во сне?» Пушкин был очень доволен этою уверткою и, смеясь, сказал, что для успокоения совести усвоит ее себе.

Отец его, Сергей Львович, был также в своем роде нежный отец, но нежность его черствела ввиду выдачи

денег. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его Лев, за обедом у него, разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. «Можно ли (сказал Лев) так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?» — «Извините, сударь (с чувством возразил отец), не двадцать, а тридцать пять копеек».

Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина; наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек». Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.

Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границею, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любекскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый.

К н я з ь *** *(хозяин за ужином)*. А как вам кажется это вино?

П у ш к и н *(запинаясь, но из вежливости)*. Ничего, кажется, вино порядочное.

К н я з ь ***. А поверите ли, что тому шесть месяцев нельзя было и в рот его брать.

П у ш к и н. Поверю.

16 июня 1853 года узнал я о смерти Льва Пушкина. С ним, можно сказать, погребены многие стихотворения брата его, неизданные, может быть, даже и незаписанные, которые он один знал наизусть. Память его была та же типография, частию потаенная и контрабандная. В ней отпечатлевалось все, что попадало в ящик ее. С ним сохранились бы и сделались бы известными некоторые драгоценности, оставшиеся под спудом; и он же мог бы изобличить в подлоге другие стихотворения, которые невежественными любителями соблазна несправедливо приписываются Пушкину. Странный обычай чтить память славного человека, навязывая на нее и то, от чего он отрекся, и то, в чем неповинен он душою и телом. Мало ли что исходит от человека! Но неужели сохранять и плевки его на веки веков в золотых и фарфоровых сосудах?

Пушкин иногда сердился на брата за его стихотворческие нескромности, мотовство, некоторую невоздержность и распущенность в поведении; но он нежно любил его родственною любовью брата, с примесью родительской строгости. Сам Пушкин не был ни схимником, ни пуританином; но он никогда не хвастался своими уклонениями от торной дороги и не рисовался в мнимом молодечестве. Не раз бунтовал он против общественного мнения и общественной дисциплины; но, по утишении в себе временного бунта, он сознавал законную власть этого мнения. Как единичная личность, как часть общества, он понимал обязанности, по крайней мере, внешне приноровляться к ней и ей повиноваться гласною жизнью своею, если не всегда своею жизнью внутреннею, келейною. И это не была малодушная уступчивость. Всякая свобода какою-нибудь стороною ограничивается тою или другою обязанностию, нравственною, политическою и взаимною. Иначе не быть обществу, а будет дикое своеволие и дикая сволочь. Лев Пушкин, храбрый на Кавказе против чеченцев, любил иногда и сам, в мирном житии, гарцевать чеченцем и нападать врасплох на обычаи и условия благоустроенного и взыскательного общества. Пушкин старался умерять в младшем брате эти порывы, эти избытки горячей натуры, столь противоположные его собственной аристократической натуре: принимаем это слово и в общепринятом значении его, и в первоначальном этимологическом смысле. Не во гнев демократам будь сказано, а слово *аристократия* соединяет в себе понятия о силе и о чем-то *избранном и лучшем, то есть о лучшей силе.*

Лев, или, как слыл он до смерти, Левушка, питал к Александру некоторое восторженное поклонение. В любовь его входила, может быть, и частичка гордости. Он гордился тем, что был братом его, и такая гордость не только простительна, но и естественна и благовидна. Он чувствовал, что лучи славы брата несколько отсвечиваются и на нем, что они освещают и облегчают путь ему. Приятели Александра, Дельвиг, Баратынский, Плетнев, Соболевский, скоро сделались приятелями Льва [1]. Эта связь тем легче поддерживалась, что и в нем были некоторые литературные зародыши. Не будь он таким гулякою, таким гусаром коренным или драгуном, которому Денис Давыдов не стал бы попрекать, что у него на уме все Жомини да Жомини, может быть, и он внес бы имя свое в летописи нашей литературы. А может быть, задерживала и пугала

его слава брата, который забрал весь майорат дарования. Как бы то ни было, но в нем поэтическое чувство было сильно развито. Он был совершенно грамотен, вкус его в деле литературы был верен и строг. Он был остер и своеобразен в оборотах речи, живой и стремительной. Как брат его, был он несколько смуглый араб, но смахивал на белого негра. Тот и другой были малого роста, в отца. Вообще в движениях, в приемах их было много отцовского. Но африканский отпечаток матери видимым образом отразился на них обоих. Другого сходства с нею они не имели. Одна сестра их, Ольга Сергеевна, была в мать и, кстати, гораздо благообразнее и красивее братьев своих.

Первые годы молодости Льва, как и Александра, были стеснены, удручены неблагоприятностью окружающих или подавляющих обстоятельств. Отец, Сергей Львович, был не богат, плохой хозяин, нераспорядительный помещик. К тому же, по натуре своей, был он скуп. Что ни говори, как строго ни суди молодежь, а должно сознаться, что нехорошо молодому человеку, брошенному в водоворот света, не иметь, по крайней мере, несколько тысяч рублей ежегодного и верного дохода, хотя бы на ассигнации. Деньги, обеспечивающие положение в обществе,— это необходимый балласт для правильного плавания. Сколько колебаний, потрясений, крушений бывает от недостатка в уравновешивающем и охранительном балласте. Когда-то Баратынский и Лев Пушкин жили в Петербурге на одной квартире. Молодости было много, а денег мало. Они везде задолжали, в гостиницах, лавочках, в булочной; нигде ничего в долг им больше не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар; да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовали они себя несколько дней.

Последние годы жизни своей Лев Пушкин провел в Одессе, состоя на службе по таможенному ведомству. Под конец одержим он был водяною болезнью, отправился по совету врачей в Париж для исцеления, возвратился в Одессу почти здоровый, но скоро принялся за прежний образ жизни; болезнь возвратилась, усилилась, и он умер.

После смерти брата Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызвать на роковой поединок барона Геккерена, урожденного Дантес; но приятели отговорили его от этого намерения.

Пушкин забавно рассказывал следующий анекдот. Где-то шла речь об одном событии, ознаменовавшем начало нынешнего столетия. Каждый вносил свое сведение. «Да чего лучше,— сказал один из присутствующих,— академик ** (который также был налицо) — современник той эпохи и жил в том городе. Спросим его, как это все происходило». И вот академик ** начинает свой рассказ: «Я уже лег в постель, и вскоре пополуночи будит меня сторож и говорит: извольте надевать мундир и идти к президенту; а там уже пунш». Пушкин говорил: «Рассказчик далее не шел; так и видно было, что он тут же сел за стол и начал пить пунш. Это значит иметь свой взгляд на историю».

Пушкин спрашивал приехавшего в Москву старого товарища по Лицею про общего приятеля, а также сверстника-лицеиста, отличного мимика и художника по этой части: «А как он теперь лицедействует и что представляет?» — «Петербургское наводнение».— «И что же?» — «Довольно похоже»,— отвечал тот. Пушкин очень забавлялся этим *довольно похоже* [2].

Он вовсе не был лакомка. Он даже, думаю, не ценил и не хорошо постигал тайн поваренного искусства; но на иные вещи был он ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним духом двадцать персиков, купленных в Торжке. Мочеными яблокам также доставалось от него нередко.

Пушкин, во время пребывания своего в южной России, куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою.

Пушкин, в медовые месяцы вступления своего в свет, был маленько приворожен ею (кн. Голицыной). Надолго ли, неизвестно, но, во всяком случае, неправдоподобно. В сочинениях его встречаются стихи, на имя ее написанные, если не страстные, то довольно воодушевленные [3]. Правда, в тех же сочинениях есть и оборотная сторона

медали. Едва ли не к княгине относится следующая заметка, по поводу появления в свет первых восьми томов «Истории Государства Российского»: «Одна дама, впрочем, весьма почтенная (в первоначальном тексте сказано милая), при мне, открыв 2-ю часть (Истории), прочла вслух: «*Владимир усыновил Святополка, однако не любил его...* Однако! зачем не но? Как это глупо! Чувствуете ли вы всю ничтожность вашего Карамзина?»

Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя, после вечера, у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта. Пушкин, обратно, нередко бывал строг и несправедлив к поэту, но всегда увлекался остроумною и любезною речью его.

Забавный чудак, служивший когда-то при Московской театральной дирекции, был, между прочим, как и следует русскому человеку, а тем паче русскому чиновнику, охвачен повальною болезнью чинолюбия и крестолюбия. Он беспрестанно говорил и писал кому следует: «Я не прошу кавалерии чрез плечо или на шею, а только маленького *анкураже* (encouragé) в петличку» [4]. Пушкин подхватил это слово и применял его к любовным похождениям в тех случаях, когда в обращении не капитал любви, а мелкая монета ее, то есть с одной стороны ухаживание, а с другой снисходительное и ободрительное кокетство. Таким образом, в известном кругу и слово *анкураже* пользовалось некоторое время правом гражданства в московской речи.

Немного парадоксируя, Пушкин говаривал, что русскому языку следует учиться у просвирен и у лабазников; но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко простонародничал.

Несчастная смерть Пушкина, окруженная печальною и загадочною обстановкою, породила много толков в петербургском обществе; она сделалась каким-то интернациональным вопросом. Вообще жалели о жертве; но были и такие, которые прибегали к обстоятельствам, облегчающим вину виновника этой смерти, и если не совершенно

оправдывали его (или, правильнее, их), то были за них ходатаями. Известно, что тут было замешано и дипломатическое лицо. Тайна безыменных писем, этого пролога трагической катастрофы, еще недостаточно разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик. Хотя Елизавета Михайловна, по семейным связям своим, и примыкала к дипломатической среде, но здесь она безусловно и исключительно была на русской стороне. В Пушкине глубоко оплакивала она друга и славу России.

ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК»

1828 год

⟨*Декабрь*⟩ Мне известно, что до правительства было доведено в последний мой приезд в Петербург слово, будто сказанное Александром Пушкиным обо мне: *вот приехал мой Демон!* Этого не сказал Пушкин, или сказал, да не так. Он не мог придать этим словам ни политический, ни нравственный смысл, а разве просто шуточный и арзамасский, если только и произнес их (в Арзамасе прозвище мое Асмодей). Они ни в духе Пушкина, ни в моем. По сердцу своему, он ни в каком случае не скажет предательского слова, по уму, если и мог бы он быть под чьим влиянием, то не хотел бы в том сознаться, а я ничьим, а еще менее пушкинским соблазнителем быть не могу.

...во время Турецкой кампании был прислан в главную квартиру донос на меня. По всем догадкам, это была булгаринская штука. Узнав, что в Москве предполагают издавать газету, которая может отнять несколько подписчиков у «Северной пчелы», и думая, что буду в ней участвовать, он нанес мне удар из-за угла. Я не мог иметь иных неприятелей, кроме литературных, и по ходу дела видно, что все это не что иное, как литературная интрига. Пушкин уверял, что обвинение в развратной жизни моей в Петербурге не иначе можно вывести, как из вечеринки, которую давал нам Филимонов и на которой были Пушкин и Жуковский и другие. Филимонов жил тогда черт знает в каком захолустье, в деревянной лачуге, точно похожей на бордель. Мы просидели у Филимонова до утра. Полиции было донесено, вероятно, на основании подозрительного дома Филимонова, что я провел ночь у девок [1].

15-го июня... Был у меня поэт-литератор, молодой Перец, или Перцев, принес свою книжку: «Искусство брать взятки». В шутке его мало перца, но в стихах его шаловливых, которые Александр Пушкин читал мне наизусть, много перца, соли и веселости [2]. Он теперь, говорят, служит при «Северной пчеле»...

18-го августа. Остафьево... Французская миссия показалась мне жалко глупа в эти важные обстоятельства. ⟨...⟩ С Пушкиным спорили мы о *Пероне*. Он говорил, что его должно предать смерти и что он будет предан pour crime de haute trahison *. Я утверждал, что не должно и не можно предать ни его, ни других министров, потому что закон об ответственности министров заключался доселе в одном правиле, а еще не положен и, следовательно, применен быть не может. Существовал бы точно этот закон, и всей передряги не было, ибо не нашлось бы ни одного министра для подписания ⟨пяти⟩ знаменитых указов. Утверждал я, что и не будет он предан, ибо победители должны быть и будут великодушны. Смерть Нея и Лабедоиера опятнали кровью Людовика XVIII. Неужели и Орлеанский, или кто заступит праздный престол, захочет последовать этому гнусному примеру. Мы побились с Пушкиным о бутылке шампанского. Говорят о каком-то завещательном письме Людовика XVIII, в котором предсказывал всю эту развязку [3].

10 ⟨-го⟩ выехали мы из Петербурга с Пушкиным в дилижансе. Обедали в Царском Селе у Жуковского. В Твери виделись с Глинкою [4]. 14-го числа утром приехали мы в Москву...

Остафьево, 25-го ⟨августа⟩. Бедный Василий Львович скончался 20-го числа в начале третьего часа пополудни. Я приехал к нему часов в одиннадцать. Смерть уже была на вытянутом лице и в тяжелом дыхании его. Однако же он меня узнал, протянул мне уже холодную руку свою, и на вопрос Анны Николаевны: рад ли он меня видеть? (с приезда моего из Петербурга я не видал его) отвечал он слабо, но довольно внятно: очень рад. После того, кажется, раза два хотел он что-то сказать, но уже звуков не было. На лице его ничего не выражалось, кроме изнеможения. Испустил он дух спокойно, безболезненно, во время чтения молитвы

* За государственную измену.

при соборовании маслом. Обряда не кончили, помазали только два раза. Накануне был уже он совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему: «Как скучен Катенин!» Перед этим читал он его в «Литературной газете» [5]. Пушкин говорит, что он при этих словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически. Пушкин был, однако же, очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее. На погребении его была депутация всей литературы, всех школ, всех партий: Полевые, Шаликов, Погодин, Языков, Дмитриев и Лже-Дмитриев, Снегирев. Никиты-мученика протопоп в надгробном слове упомянул о занятиях его по словесности и вообще говорил просто, но пристойно. Я в Пушкине теряю одну из сердечных привычек жизни моей.

...Одно утро собрались у нас с Пушкиным: Бартенев-Костромской, Сергей Глинка, Сибилев, Нащокин Павел Воинович...

19-го ⟨декабря⟩... Третьего дни был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок 8 и 9 главу Онегина, ею и кончает; из 10-й, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника. Куплеты: «Я мещанин, я мещанин», эпиграмму на Булгарина за Арапа; написал несколько повестей в прозе, полемических статей, драматических сцен в стихах: «Дон-Жуана», «Моцарта и Салиери». *«У вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи»* [6].

1831

7 января... 4-го приезжали в Остафьево Денис Давыдов, Пушкин, Николай Муханов, Николай Трубецкий.— Элиза говорила о себе «que ma destinée est singuliére, si jeune encore et deux fois veuve» *. Мы разговорились с Пушкиным о грусти ее по причине польских дел: она очень любит великого князя. «Да,— сказал Пушкин,— и он может сказать: si jeune encore et deux fois veuf — d'un empire et d'un royaume» ** [7].

14 сентября. Вот что я было написал в письме к Пушкину сегодня и чего не послал: «Попроси Жуковского прислать мне поскорее какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы,

* Как исключительна моя судьба, я еще так молода и дважды вдова.

** Еще так молод и дважды вдов — потеряв империю и королевство.

которые в Москве ходят в шинеле по домам с поздравительными одами) и не совестно ли «Певцу во стане русских воинов» и «Певцу на Кремле» сравнивать нынешнее событие с Бородином? Там мы бились один против десяти, а здесь, напротив, десять против одного. Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии. Можно было дивиться, что оно долго не делается, но почему в восторг приходить от того, что оно сделалось. Слава богу, русские не голландцы: хорошо им не верить глазам и рукам своим, что они посекли бельгийцев. Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свободу свою, но все же нет тут вдохновений для поэта. Зачем перекладывать в стихи то, что очень кстати в политической газете».

Признаюсь, что мне хотелось здесь оцарапнуть и Пушкина, который также, сказывают, написал стихи. Признаюсь и в том, что не послал письма не от нравственной вежливости, но для того, чтобы не сделать хлопот от распечатанного письма на почте...

15-го ⟨сентября⟩... Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича: во-первых, потому, что этот род восторга анахронизм, что ничего нет поэтического в моем кучере, которого я за пьянство и воровство отдал в солдаты и который, попав в *железный фрунт*, попал в махину, которая стоит или подается вперед без воли, без мысли и без отчета, а что *города* берутся именно этими махинами, а не полководцем, которому стоит только расчесть, сколько он пожертвует этих махин, чтобы навязать на жену свою Екатерининскую ленту; во-вторых, потому, что курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось наконец наложить лапу на мышь. В поляках было геройство отбиваться от нас так долго, но мы *должны* были окончательно перемочь их: следовательно, нравственная победа все на их стороне.

22-го ⟨сентября⟩. Пушкин в стихах своих: «Клеветникам России» кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, нравственному и политическому. Мы вне

возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней. *Народные витии*, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим, или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим.

Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: «От Перми до Тавриды» и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от *мысли* до *мысли* пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура. Велик и Аникин, да он в банке.

Вы грозны на словах, попробуйте на деле.

А это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: да что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы-то! Неужли Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости, и еще против совести, и более всего без пользы? Хорошо иногда в журнале политическом *взбивать слова*, чтобы заметать глаза *пеною*, но у нас, где нет политики, из чего пустословить, кривословить? Это глупое ребячество или постыдное унижение. Нет ни одного листка «Journal de Débats», где не было бы статьи, написанной с большим жаром и с большим красноречием, нежели стихи Пушкина. В «Бородинской годовщине» опять те же мысли или то же безмыслие. Никогда *народные витии* не говорили и не думали, что 4 миллиона могут пересилить 40 миллионов, а видели, что эта борьба обнаружила немощи *больного, измученного колосса*. Вот и все: в этом весь вопрос. Все прочее физическое событие. Охота вам быть на коленях пред кулаком. И что опять за святотатство сочетать *Бородино с Варшавою?* Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо «Инвалиду» сближать эпохи и события в календарских своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно [8]. Одна мысль в обоих стихотворениях показалась мне уместною и кстати. Это мадригал молодому Суворову [9]. Незачем было Суворову вставать из гроба, чтобы благословить страдание Паскевича, которое милостью божиею и без того обойдется. В Паскевиче ничего нет суворовского, а война наша с Польшею тоже вовсе не Суворовская, но хорошо было дедушке полюбоваться внуком.

После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские, Нессельроде

за подписание мира. Когда решишься быть поэтом *событий*, а не *соображений*, то нечего робеть и жеманиться — пой, да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что мы *не сожжем Варшавы их*. И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее. Вы так уже сбились с пахвей в своем патриотическом восторге, что не знаете, на чем решиться: то у вас Варшава — неприятельский город, то наш посад.

1841

В одно время с выпискою из письма Жуковского дошло до меня известие о смерти Лермонтова. Какая противоположность в этих участях. Тут есть, однако, какой-то отпечаток провидения. Сравните, из каких стихий образовалась жизнь и поэзия того и другого, и тогда конец их покажется натуральным последствием и заключением. Карамзин и Жуковский: в последнем отразилась жизнь первого, равно как в Лермонтове отразился Пушкин. Это может подать повод ко многим размышлениям. Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Лудвига Филиппа: во второй раз, что не дают промаха [10].

Для некоторых любить отечество — значит дорожить и гордиться Карамзиным, Жуковским, Пушкиным и тому подобными и подобным. Для других любить отечество — значит любить и держаться Бенкендорфа, Чернышева, Клейнмихеля и прочих и прочего.

1853

13 апреля... Читал «Полтаву» Пушкина. Как дарование его созревало и совершенствовалось с годами и как «Полтава» выше «Кавказского пленника», «Цыганов», «Бахчисарайского фонтана». Два стиха только тут слабы: «Иль выйдет следствие плохое». Следствие тут тем хуже, что речь идет о следственном деле. И еще: «А волчьи — видишь: какова!» Явление Марии, сон ли Мазепы? Или сошла она с ума? Не ясно. Фантастические попытки неудачны у Пушкина. Например, сон в «Евгении Онегине». В первый раз Пушкин читал нам «Полтаву» в Москве у Сергея Киселева при Американце Толстом, сыне Башилова, который за обедом нарезался и которого во время чтения вырвало чуть ли не на Толстого.

1859

25 ноября... Пушкин был всегда дитя вдохновения, дитя мимотекущей минуты. И оттого все создания его так живы и убедительны. Это Эолова арфа, которая трепетала под налетом всех четырех ветров с неба и отзывалась на них песнью. Рассекать эти песни и анатомизировать их — и вообще создание всякого поэта — и искать в них организованную систему с своею строгою и неуклончивою системою — значит не понимать Пушкина в особенности, ни вообще поэта и поэзии.

1863

Ближайшее общество Карамзина в Петербурге составляли одновременно и разновременно: Александр Тургенев, Жуковский, Батюшков, Дмитрий Николаевич Блудов, Полетика, Северин, Дашков, Николай Кривцов, а летом, в Царском Селе, и Александр Пушкин, тогда еще лицеист, который проводил в его доме каждый вечер.

1876

На похоронах Пушкина и в предсмертные дни его был весь город.

Н. А. МАРКЕВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я вступил в пансион 7 сентября в 1817 году, оставил его 2-го февраля в 1820.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович, учитель русской словесности, соученик и один из друзей Александра Пушкина, Дельвига и Баратынского, поклонник Карамзина, обожатель Жуковского, благороднейшее, добрейшее, чистейшее существо.

Мое сближение с ним началось эпиграммой. Был у нас товарищ, лентяй неслыханный и дурак набитый: Шмидт. Арсеньев спросил у него, где экватор? Он начал искать у Новой Земли.

«Хорошо, хорошо! близко оттуда, а где Париж?» — Шмидт начал искать в Америке.

«Чем вы занимаетесь?» — закричал Арсеньев, подбежал ко мне и выхватил бумажку, на которой не засохло еще чернило; там было написано:

Того, что в мире бог создал,
Наш Шмидт на месте не оставил:
Экватор к полюсу послал,
Париж в Америку отправил.

«Браво, браво, чудно, славно! Дайте я вас обниму,— кричал Арсеньев.— Господа! Кто спишет мне 10 экземпляров?» Живо были готовы 10 экземпляров. За лекцией Арсеньева следовала лекция Кюхельбекера; в дверях класса они встретились. «Вот какие стихи у вас пишут»,— сказал Арсеньев, подавая эпиграмму Кюхельбекеру. «Кто? Кто?» — этот спросил. «Маркевич».

«Как бишь этот господин, у которого вы под Прилукою учились?» — спросил меня Кюхельбекер.— «Пав⟨ел⟩ Павл⟨ович⟩ Белецкий-Носенко».— «Учил он вас метри-

ке?» — «Я не знаю, что это такое».— «Размер стихов, сочетанье рифм. Теперь знаете, что это такое?» — «Нет-с».— «Как же вы сладили четыре таких превосходных стиха?» — «Так, просто; они сами пришли мне в голову; мне даже кажется, что я где-то их читал».— «Браво! браво! ответ еще лучше стихов. Приходите сегодня ко мне на чай».

Вечером я к нему явился на бельведер. У него были А. Пушкин, Дельвиг, Баратынский и Пущин.

«Господа! рекомендую вам г-на Маркевича, ему 13 лет; он незнаком с метрикой, но написал вот эти стихи; не угодно ли прочитать?» Пушкин несколько раз прочитал их и сказал: «О боги!.. господин Маркевич, примите меня в число друзей». Между нами тогда много, а после мало было разницы в летах. Пушкину было тогда 17 лет. Это разнеслось по пансиону, и не только товарищи — учителя глядели на меня как на кита.

Кюхельбекер дал мне Востокова, кое-что растолковал и обратил мое внимание на входившие тогда в употребление гексаметры. В ноябре 1817 года я подал ему 22 гексаметра под названьем «Гроб». Странность идеи, ужас картины поразили Пушкина, Дельвига, Ф. Глинку и Жуковского. Глинка признавал их одними из превосходнейших, какие на русском языке написаны; Баратынский вытвердил их наизусть, Жуковский после напечатал их в «Невском зрителе» [1]. Но Пушкин, сидя возле меня на классной скамье, советовал писать стихи с рифмами, «не отнимая у публики одного из наслаждений, к которому привыкла она». Это подлинные его слова.

Кюхельбекер был очень любим и уважаем всеми воспитанниками. Это был человек длинный, тощий, слабогрудый; говоря, задыхался, читая лекцию, пил сахарную воду. В его стихах было много мысли и чувства, но много и приторности. Пушкин этого не любил; когда кто писал стихи мечтательные, в которых слог не был слог Жуковского, Пушкин говорил:

И кюхельбекерно, и тошно [2].

При всей дружбе к нему Пушкин очень часто выводил его из терпения; однажды до того ему надоел, что вызван был на дуэль. Они явились на Волково поле и затеяли

стреляться в каком-то недостроенном фамильном склепе. Пушкин очень не хотел этой глупой дуэли, но отказаться было нельзя. Дельвиг был секундантом Кюхельбекера, он стоял налево от Кюхельбекера. Решили, что Пушкин будет стрелять после. Когда Кюхельбекер начал целиться, Пушкин закричал: «Дельвиг! Стань на мое место, здесь безопаснее». Кюхельбекер взбесился, рука дрогнула, он сделал пол-оборота и пробил фуражку на голове Дельвига. «Послушай, товарищ,— сказал Пушкин,— без лести — ты стоишь дружбы; без эпиграммы — пороху не стоишь»,— и бросил пистолет [3].

Соболевский Сергей Александрович, мой любимейший товарищ, участник во всех моих похождениях; три года кровать его была рядом с моею; три года жили мы дружно; с его именем соединены все лучшие мое воспоминания, все наслаждения, какие имел я в эти скучные годы заключения. ⟨...⟩

Длинный, длинный, длинноногий, неловкий, готовый сломаться, тощий, как кощей, волосы цвету льняного, глаза светло-голубые, цвету ижорского неба.

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И припомнил ваши взоры,
Ваши светлые глаза.

Нос острый и бесконечный,— короче, я назвал его «Ибис».

«Ибис птица не жирная; есть ее нельзя; но египетская мудрость ей поклонялась». В большом свете дали Соболевскому другое прозвище: «Мефистофель».

Соболевский получал в пансионе по 250 рублей в месяц на книги и на лакомства. Остальные доходы приобщались к капиталу. Часто он дарил мне книги. Шиллера, им подаренного, зажилил Масальский; Гомер и теперь у меня. Он помогал мне в торговле книгами, камнями, раковинами, и это приносило мне в год до 300 рублей. Мы с ним вдвоем сочинили роман; отрывки, его рукой писанные, вклеены в мой альбом. Гениальное произведение, купленное у нас книгопродавцем за 300 рублей. Отчего, заплатив деньги, книгопродавец его не напечатал, не знаю. Часто во время классов пения и танцевания мы, как неучастники, исчезали тайно из стен нашей тюрьмы, ходили и ездили в кондитерские или к Ал. Пушкину и возвращались к девяти часам.

Два *Плещеева*; черномазые цыгане, очень добрые люди, дети чтеца императрицы Екатерины и потом Марии Федоровны. Он положил на музыку баллады Жуковского и несколько басен Крылова. Уморительно! Он написал оперу «Аника и Парамон». Куплеты исправил ему Ал. Пушкин, и у меня сохранилось подлинника только несколько листов; остальное потеряно [4].

Пушкин Лев Сергеевич, белая курчавая голова, умные глаза, губы толстые, жирный, похож на портрет Ал. Пушкина в детстве. Я его иначе не называл, как «Левик». Он имел необыкновенное, врожденное чувство отличать хорошие стихи от дурных. Дать отчета, почему тот хорош, а этот дурен, он не мог, но если стих ему не нравился, должно было исправить или выбросить его. Критическое чувство было безошибочно. Сам он ничего не писал; часто, бывало, дарил он мне копии стихов брата своего, не могущих выдержать российской цензуры. Иногда дарил подлинники. Так, я от него имел «9 картин». Они мною потеряны и, кажется, украдены. Теперь они напечатаны в числе лицейских стихотворений, кажется, под названьем «Фавн и пастушка». Эта проба в роде Парни 30 картин [5].

Александр Пушкин, барон Ант. Антон. Дельвиг, Евгений Абрамович Баратынский были дружны с Кюхельбекером. Я тоже, несмотря на то, что был еще воспитанником, был принят в их компанию. Федор Николаевич Глинка, Греч, Гнедич, Крылов, Жуковский, Плетнев, Карамзин имели приязненные отношения не ко мне, но к моим приятелям. Все это открывало мне тайны литературные тех лет; вместе с ними доходили до меня и многие вести политические.

Это было время конгрессов; Агамемнон, вождь царей, как называли на Западе Александра, ездил в Верону, ездил в Лайбах, Священный союз процветал. Священный союз этот был не что иное, как заговор царей против народов. Окончив конгресс, царь с триумфом возвращался на родину, и Пушкин пел:

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот!

Я застал уже, что мысль о свободе и конституции была в разгаре. Кюхельбекер ее проповедовал на кафедре рус-

ского языка; Ал. Пушкин написал свою оду «Вольность», другую пьесу — «Кинжал», «Деревня»; все это я имел через Кюхельбекера и через Льва Пушкина.

А в Германии убивал студент Занд неповинного фон Коцебу, которого бесчисленные творения так ловко Александр Пушкин назвал «Коцебятиною» [6].— За что он его убил; какое участие Стурдза принимал в этом деле, не знаю. Знаю, что в конце марта в 1819 году нас, школьников, поразило известие о смерти Коцебу, что в Петербурге тоже много о ней говорили и что Александр Пушкин тогда же пустил по свету эпиграмму, обращенную к Стурдзе:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь славы Герострата
И звучной смерти Коцебу! [7]

Пушкин начал прославляться в 1815 году, когда он читал в Царскосельском лицее стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Дряхлый старик Державин одушевился.

Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

И потом:

О скальд России вдохновенный

и пр.

Эти стихи поразили наиболее Державина; он хотел Пушкина обнять; но его не нашли, он бежал. Пушкин не дописал анекдота в своих заметках; я слышал, что будто бы Державин сказал: «Вот кто займет мое место» [8].

До моего приезда в Петербург он уже много стихотворений напечатал по разным журналам. Все они помещены в издании 1838 года, в IX томе, в разделе «Лицейские стихотворения». Перебирая их теперь, мы видим, что они слабы; но в то время пушкинский стих был так нов, так блестящ, так пленителен, что все вылившееся из-под его пера нас восхищало. Все это было подражания отечественным и французским поэтам, пробы молодого пера.

«Бова» напоминает карамзинского «Илью Муромца». «Красавице», «К Наталье» напоминают дядю Пушкина.

Мелкие стихотворения Вольтера, а еще более Парни увлекали поэта; из Вольтера он даже перевел:

Ты мне велишь пылать душою [9].

А «Фавн и пастушка», 9 картин, из которых только 8 напечатано, это просто слепок с Парни:

C'est l'âge qui touche à l'enfance,
C'est Justine, s'est la candeur *, —

и с его же «Les déguisements de Vénus» **. Но как восхищало всех нас это стихотворение Александра Сергеевича. Я помню, как Левик подарил мне эту тетрадку, собственноручно писанную поэтом. Где делась она? Не знаю. Что за восторг был, когда я начал читать:

И томное дыханье,
И взоров томный свет,
И груди трепетанье,
И розы нежный цвет.

Мы не примечали тогда, что Пушкин взмахивал то на приемы Батюшкова, то на приемы Жуковского, например:

О, скоро ль, мрак ночной
С прекрасною луной,
Ты небом овладеешь?
О, скоро ль, темный лес,
В тумане засинеешь
На западе небес?

Мы не вспоминали и не сличали тогда послания к Воейкову:

О ветер, ветер, что ты вьешься?
Ты не от милого несешься?
Ты не принес веселья мне [11].

Мы не примечали и таких стихов:

Как вешний *ветерочек*,
Летит она в *лесочек* —

или

Малютку *бедокура*
И ты боготворишь.

---

* Это возраст на грани детства,
Это Жюстина, это любовный пламень [10].

** «Превращений Венеры».

Да и как нам было приметить их, когда завистники Пушкина, опытные, поседелые, не могли их найти. То правда, что только в этих стихах и находили красоты Бутырские, Каченовские. Публика привыкла к такому слогу, и мы также к нему привыкли, к этим сладостям, к этим словам уменьшительным и усеченным. Но к чему никто не привык, что было для всех ново — это музыкальность, округленность стиха, его благозвучность, непринужденность, легкость, точность выражений, картинность, сила.

Правда, что и в то время я сказал Льву Пушкину, что желанье брата его быть табаком, чтоб его внюхнула в себя красавица, нюхающая табак,— для меня такое желание странно. Пушкин говорит красавице:

Ты любишь *обонять* не утренний цветок,
А вредную траву *зелену*,
Искусством *превращенну*
В пушистый порошок.

И потом заключает:

Ах, если б, превращенный в прах,
И в табакерке в заточеньи
Я в *персты* нежные твои попасться мог,
Тогда б в *сердечном восхищеньи*
Рассыпался на грудь.

Наконец:

Ах!.. отчего я не ... табак? [12]

И в то время я говорил, что табак, прежде нежели б в сердечном восхищенье успел рассыпаться на грудь, попался бы в нос красавицы, по крайней мере большая часть его попалась бы туда, а в носу и у красавиц — гадость. Левик сердился; не знаю, пересказал ли он брату своему об этих замечаниях, но сам, вероятно, лучше моего чувствовал, что стихи плоховаты.

«Осгар», «Евлега» — напоминают Оссиана в баур-лормиановском переводе. «Застольная песня» [13], «Погреб» — напоминают Пирона. Короче: до 1817 года еще не взял талант Пушкина прямого направления, еще не основался ни на чем постоянном, но Пушкин стал уже знаменитостью, любимцем народа. Уже в народе пели:

Вчера за чашей пуншевою...

Да и как не любоваться такими стихами:

Слеза повисла на реснице
И канула в бокал.
Увы, одной слезы довольно,
Чтоб отравить бокал [14].

Где у военных, в кондитерских, в ресторациях, а иногда и на раздушенном туалете дамском не находили мы списка пьесы «Усы»:

Румяны щеки пожелтеют,
И черны кудри поредеют,
И старость выщиплет усы.

Помню, как мне нравилось его послание к Жуковскому, начинающееся словами: «Благослови, поэт!» В нем он говорит о Карамзине:

Сокрытого в веках священный судия,
Страж верный прошлых лет, наперсник, муж любимый [15]
И бледной зависти предмет неколебимый.

Ломоносова называет:

Веселье россиян, полу́нощное диво.

Хвалится приветом Дмитриева:

И Дми*трев* слабый дар с улыбкой похвалил.

Здесь любовь Пушкина к нашим великим поэтам заставляла меня всем сердцем прилепиться к самому Пушкину. Правда, что после он не сказал бы:

И Дми*трев* слабый дар...—

тем более что очень легко было управиться с фамилиею Ивана Ивановича:

И Дми*триев мой* дар...

Когда же я приехал в Петербург, тогда уже ода «Вольность» гремела повсюду; кто не повторял:

И на обломках самовластья
Напишут наши имена! [16]

Вскоре начали появляться «Кинжал», «Деревня», святочные вирши, эпиграммы, потом отрывки из восхититель-

ной поэмы «Руслана и Людмилы», а там неподражаемые мелкие стихотворения, и к 1820 году Пушкин стал знаменитостью окончательно. Везде повторялись, списывались его стихи. Не могущие пройти цензуру были у всех в копиях и в устах. Только и слышно было: «Читали ли вы новую пьесу Пушкина?» Будуары, Марьина роща, общая застольная в ресторации, место свидания с любовницею, плац в ожидании генерала, приехавшего делать смотр,— везде раздавались стихи Пушкина. Журналы, где он их помещал, расходились до последнего экземпляра. Наконец ему платили по золотому от стиха, и нередко он проигрывал в штосс свои строки, как чистые деньги.

Прибавим к этому его пылкий, довольно необузданный, но благородный, любящий нрав; его находчивость, остроумие, безбоязненность. Он был сам поэзия.

Впрочем, иные из его фарс были и не поэтические. Однажды он побился об заклад, что рано утром в Царском Селе он выйдет перед дворец, станет раком и подымет рубашку. Он был тогда еще лицеистом и выиграл заклад. Несколько часов спустя его зовут к вдовствующей императрице. Она сидела у окна, видела всю проделку, вымыла ему голову порядочно, но никому о том не сказала.

Гуляя по саду, он увидел, что царь идет один вдоль по аллее; тотчас он вышел в аллею из-за деревьев и, несколько сгорбясь, согнув локти, сжав кулаки, размахивая руками, пошел за ним вослед, корча его походку. Царь увидел это. «Пушкин!» Дрожа подошел он к царю. «Стань впереди меня. Ну! иди передо мною так, как ты шел».— «Ваше величество!» — «Молчать! Иди как ты шел! Помни, что я в третий раз не привык приказывать». Так прошли они всю аллею. «Теперь ступай своею дорогою, а я пойду своею, мне некогда тобою заниматься».

С Натальею Викторовною Кочубей, нынешнею Строгоновою, ему едва не обошлась дороже проделка. Не зная, кто она, он увидел ее в царскосельской аллее, бросился перед нею на колени и начал ее целовать, она кричала, кричала, наконец вырвалась и побежала к фрейлинским квартирам; на беду встретилась с царем, который, увидя ее расстроенную и туалет в беспорядке, спросил о причине. Она рассказала все. Государь решил Пушкина отправить солдатом в Финляндию. Дело дошло до обеих императриц. Они призвали графиню Наталью Викторовну и приказали ей, во что б ни стало, выпросить Пушкину у государя помилова-

ние. Долго мучилась графиня с царем. Слезы ее наконец победили.

Впоследствии он влюбился в графиню Наталью Викторовну.

Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон.

Вянет, вянет лето красно,—

были написаны под влиянием ее глаз [17].

Однажды шел он за царем по Невскому проспекту и, указывая на ту сторону, где крепость, приговаривал: «Молодец готовит там квартиру и мне».— «Не отгадал»,— сказал царь, услыша его слова, и продолжал спокойно свою прогулку.

Директор Лицея хотел его наказать, он ножом черкнул себя по руке и нанес себе такую глубокую рану, что принуждены были заняться не наказанием, а лечением.

Его ждали в театр на балет «Гензи и Тао»; для него товарищи взяли билет; кресло пустое оставалось, он был в Царском. В антракте после 1-го действия входит он. Его спрашивают, чего он опоздал. «Ах, какой там был дивный случай!» — «Что такое?» — «Царский медведь сорвался с цепи, поймал царя и чуть не задушил. Отняли!» — «Что ж с медведем?» — «Что! Разумеется, убили. В России и медведю умному не позволят жить» [18].

За святочные вирши, за «Горит без надписи кинжал» и за многие тому подобные стихи и проделки он попался наконец в руки Лаврова. Греч и другие старались скрыть подобные случаи с ними, хотя это старанье было безуспешно, хотя стыд этот был ложный стыд. Кто станет стыдиться подавать жалобу в суд на разбойника, который его высек? Жалоба в суд не может быть принесена на того, у кого есть Лавров и солдаты, надобно принесть эту жалобу, не стыдясь,— публике. Надобно ей растолковать, что каждый отдельно взятый может быть так же оскорблен. Пушкин, так ли рассуждая или просто от шалости, пришпилил надпись на верхнем стекле окна в своей комнате: «Грамота Екатерины о правах дворянства». А под этой вывеской выставил исписанную ж... [19].

Часто ездивши в Псков, он на каждой станции писал четверостишие; одно из этих четверостиший чуть не кончилось дуэлью. Пушкин нашел на станции камер-юнкера графа Хвостова, читающего книгу, по стенам ползало

множество тараканов, вдобавок в дверь влезла свинья, Пушкин написал:

В гостиной свиньи, тараканы
И камер-юнкер граф Хвостов.

В натуре было действительно так, но это не понравилось Хвостову в стихе. Уж не помню, как их помирили.

У Пушкина все вмещалось в стих; одному Ланову он года через два, через три сказал:

Не зли меня, болван болванов!
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей;
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.

Эти выходки у него выливались сотнями, тысячами, неожиданно; это были импровизации остроумия, иногда сопровождаемые de facto *, телодвижениями.

Таков был случай в Николе Морском. Я был в церкве, меня заметила сестра Пушкина Ольга Сергеевна и, кивнув, подозвала меня: «Брат здесь?» — «Здесь». — «Найдите его и расскажите ему, что вот уж с четверть часа меня вот этот старик мучит. Не знаю, чем я ему не понравилась. Он становится передо мною, крестится и, кланяясь, нарочно толкает меня задом; я отойду, он опять станет передо мною и опять то же. Позовите сюда брата». Все это сказано было шепотом. Я отыскал Пушкина, рассказал ему все дело и провел к сестре. Он занял место сестры, согнул колено правой ноги и, чтоб придать ей больше силы, взялся за нее обеими руками повыше ступни. Только что старик нагнулся, кланяясь, как получил такого здорового под〈.....〉ка, что стал на четвереньки. Он хотел объясниться; Пушкин отвечал: «Потише, или вас выведут; в церкве не разговаривают».

Другой раз у разъезда в театре какой-то мерзавец нарочно наступил ему на ногу и сказал: «Pardon!» **. Три раза повторил он это. Только что в четвертый раз он то же сделал, как Пушкин предупредил его словом и сказал «Pardon!» в свою очередь. Но это слово у него сопровожда-

---

* На деле *(лат.)*.
** Простите!

лось тычком палки в ступень ноги. Задирщик мерзавец закричал не своим голосом: на конце палки у Пушкина была железная толстая шпилька.

Пушкин шикал какой-то актрисе. Сидящий возле него генерал, влюбленный, вероятно, в актрису, генеральски повелительно сказал ему: «Перестаньте!» Пушкин продолжал шикать; генерал взглянул на него пристально и сказал: «Дурак!» — «Послушайте,— отвечал Пушкин,— если б публика не приняла оплеухи за аплодисмент этой дуре, я б вам дал оплеуху». Хохот всеобщий. «Кто вы такой?» — закричало разъяренное превосходительство. «Я — Александр Пушкин»,— кротко улыбаясь, отвечал поэт *.

Был у графини Мусиной-Пушкиной бал, куда и Пушкин был приглашен. Загулявшись в Кронштадте, он приехал, когда бал был уже в полном разгаре, и приехал подгулявши. Графиня, знаменитая гордостью, увидя его, громко кликнула: «Monsieur Pouschkine!» Он не услышал. Она повторила громче. Он опять не услышал; она подошла к нему, хлопнула рукой по плечу и громко спросила: «Не двоит ли у вас в глазах?» Едва улыбка общего одобрения явилась на лицах графининых низкопоклонников, как ответ Пушкина огорошил всех: «Нет-с: рябит!» — отвечал поэт. А графиня была рябая после оспы.

Я описывал уже его стычки с Кюхельбекером, его прощанье со мною, его отъезд в Бессарабию.

Из своих товарищей больше всех он любил Дельвига. Он до смерти остался верен этой дружбе. Смерть Дельвига его глубоко поразила. Тогда все это было так молодо, так бодро, весело, беспечно.

У Кюхельбекера я бывал и прежде, когда он квартировал у нас на бельведере, откуда виден был Кронштадт; и после, когда он квартировал в Конюшенной, когда я был уже не школьник, между днями моего выхода из пансиона и моего выезда из Петербурга. Дельвиг, Баратынский,

---

* *Ср. анекдот, записанный в дневнике И. М. Снегирева под 23 сентября 1836 г.:* «В Санкт-Петербурге один старик-сенатор, любовник Асенковой, аплодировал ей, тогда как она плохо играла. Пушкин, стоявший близ него, свистал. Сенатор, не узнав его, сказал: «Мальчишка, дурак!» Пушкин отвечал: «Ошибся, старик! Что я не мальчишка — доказательством жена моя, которая сидит здесь в ложе; что я не дурак, я — Пушкин; а что я тебе не даю пощечины, то для того, чтобы Асенкова не подумала, что я ей аплодирую» (*РА*, 1902, кн. III, с. 182) [20].

А. Пушкин съезжались к нему по вечерам, и это были превеселые часы. В прелестных стихах и в умных критиках недостатка не было. Чай с московскими сухарями услаждал поэтов, и эти сухари, которые по лавочкам в банках продаются, мне всегда напоминают вечера в Конюшенной у Кюхельбекера. Кроме нас, приезжали к Кюхельбекеру Фед⟨ор⟩ Ник⟨олаевич⟩ Глинка, Нащокин — мой соученик, Пущин, Чаадаев и другие лицеисты, которых я мало помню или вовсе не помню, да Михайло Карлович Кюхельбекер, родной брат Вильгельма Карловича, моряк. Около того времени его невеста умерла; Вильг⟨ельм⟩ Карл⟨ович⟩ написал к нему на этот счет послание, довольно немецкое, которое мне подарил для альбома на прощанье; оно и теперь в альбоме у меня.

Александр Сергеевич Пушкин жил в доме своего отца над Фонтанкою. К нему и прежде выхода моего из пансиона ходил я иногда, тайком ускользнув во время классов пения. В дни моей свободы, т. е. от 1 февраля по 20-е 1820 года, я у него бывал почти ежедневно. Он был болен, никуда не выезжал, обработывал 5-ю песнь «Руслана и Людмилы», дописывал шестую. В это время решено было сослать его в Испанию, где тогда была революция. «Меня венчанный солдат хочет кинуть в омут революции, где, думает он, я шею себе сверну,— говорил мне Пушкин.— Но он крепко ошибется: я сверну шею Фердинанду, научусь по-испански и стану испанцем в душе». Александр Сергеевич ошибся сам: царь изменил намерение и отправил его в Бессарабию. Старик Сергей Львович меня полюбил; он часто к нам приходил и вмешивался в литературные наши толки. Левик с необыкновенным критическим талантом, доходящим до какого-то ясновидения в поэзии, критиковал тирады и отдельные выражения в стихах брата своего, Баратынского, Дельвига, Глинки, Кюхельбекера и моих. Кюхельбекер, которого за ум и ангельскую доброту мы вполне чтили и любили, был наш конек; на водяных его стихах мы часто выезжали. При прощанье с Пушкиным я получил от него в подарок на память несколько пьес в стихах; он вырвал их для меня из своей красной книги. На одной из станций, едучи в Малороссию, опрокинувшись, я часть бумаг потерял; там погибли списки его сочинений, не могущих быть напечатанными. Две пьесы из красной книги, подарок Пушкина, уцелели. Они вклеены мною в альбом [21].

Один из последних моих прощальных визитов в Петербурге был к Пушкину и Кюхельбекеру.

В. А. ЭРТЕЛЬ

ИЗ «ВЫПИСКИ ИЗ БУМАГ ДЯДИ АЛЕКСАНДРА»

В это время сборища наши получили новую прелесть от принятого в них участия милым двоюродным братом моим, Е. Б⟨аратынским⟩, приехавшим из Финляндии посетить нас. Как ближайший родственник покойной моей матери, он еще ребенком бывал почти ежедневно в нашем доме; почему весьма естественно, что его приняли с живейшею радостию, и он без околичностей остановился у меня. Воспитанный в Пажеском корпусе, он впоследствии попал в армейский полк, расположенный в Финляндии. Достойный полковник Л ⟨утковский⟩ старался усладить его разлуку с родными, взял его к себе в дом и служил ему вторым отцом. Я не видал Евгения с нашего детства и признаюсь, что его наружность чрезвычайно меня удивила. Его бледное, задумчивое лицо, оттененное черными волосами, как бы сквозь туман горящий тихим пламенем взор придавали ему нечто привлекательное и мечтательное; но легкая черта насмешливости приятно украшала уста его. Он имел отличный дар к поэзии; но, несмотря на наружность, муза его была беспечно-игривое дитя, которое, убравшись розами и лилеями, шутя связывало друзей цветочными цепями и резвилось в кругу радостей. Неизъяснимая прелесть, которою проникнуто было все существо его, отражалась и в его произведениях. Наша детская дружба возобновилась и стала крепче, чем когда-либо. Я ввел его в круг моих приятелей, в котором он был принят с общею любовью.

В одно воскресенье Евгений рано утром вышел из дома. Я уже намерен был один пойти на гулянье, как вошел с другим молодым человеком, по-видимому, одинаких с ним лет, довольно плотным, в коричневом сюртуке. Большие, густыми темными бровями осененные глаза блистали

из-за черепаховых очков; на полном, но бледном лице его была написана мрачная важность и необыкновенное в его летах равнодушие. Как удивился я, когда Евгений назвал пришедшего б⟨арон⟩ А. А. Д⟨ельвиг⟩. Имя его было мне известно и драгоценно по его стихотворениям. Знав также, что он был задушевным приятелем двоюродного брата моего, я с ним никогда до тех пор не встречался. Я не знал, как согласить глубокое чувство, игривый характер и истинно русскую оригинальность, которые отражаются в его стихотворениях, с этою холодною наружностию и немецким именем. Ах! когда я короче познакомился с ним, какое неистощимое сокровище благородных чувствований, добродушия, чистой любви к людям и неизменной веселости открыл я в сем превосходном человеке!

Едва мы пробыли вместе с четверть часа, как всякая принужденность исчезла из нашей беседы и мне казалось, что мы уже давным-давно знакомы. Разговор обратился к новейшим произведениям русской литературы и, наконец, коснулся театра. «Непонятно,— сказал Д⟨ельвиг⟩,— что мы до сего времени почти ничего не имеем собственного в драматической поэзии, хотя русская история так богата происшествиями, которые можно было бы обработать для трагедии, и притом вокруг нас столько предметов для комедии».— «Вы забываете Озерова»,— сказал я. «Правда, что Озеров имеет большое достоинство,— отвечал Д⟨ельвиг⟩,— но хотя он обработал отечественное происшествие, однако ж в поэзии его нет народности. Трагедия его принадлежит к французской школе, и тяжелые александрийские стихи ее вовсе не свойственны языку нашему». Евгений назвал «Недоросля» Фонвизина, и мы рассыпались в похвалах сей истинно русской комедии. Когда я спросил барона, почему он сам не займется этим родом, он откровенно признался, что непреодолимая лень не позволяет ему ни рыться в исторических материалах для избрания предмета, ни принудить себя старательно обдумать план. Он прибавил, что уже несколько раз говорил о том с приятелем своим А⟨лександром⟩ С⟨ергеевичем⟩ П⟨ушкиным⟩; но что сей последний занят сочинением эпической поэмы и вообще слишком еще принадлежит свету. «Поверьте мне,— продолжал Д⟨ельвиг⟩,— настанет время, когда он освободится от сих суетных уз, когда обратит обширный дар свой к высшей поэзии и тогда создаст новую эпоху, а русский театр получит совершенно новую форму». Я уже давно желал узнать сего молодого человека, который

так много заставлял говорить о себе. Д⟨ельвиг⟩ обещал на днях зайти за мною и отвести к П⟨ушкину⟩, который в это время по болезни не мог выходить из комнаты.

При моей короткой связи с бароном Д⟨ельвигом⟩ я весьма естественно должен был познакомиться с прежними его товарищами по учению, воспитанниками Царскосельского лицея. Между ними были отличные молодые люди, коих способности, при благотворном влиянии сего заведения, развились в высокой степени. Особенно полюбил я одного из них, который по живости, остроумию, всегдашней веселости и вообще по всем качествам, требуемым в обществе, соединял в себе хорошие свойства отлично образованного француза. Это был князь Дмитрий Е⟨ристов⟩. Не знаю, где он теперь. Но если он еще жив и если время несколько охладило горячий темперамент его, то наверное он заслужит почетное место в отечественной литературе. А⟨лександр⟩ С⟨ергеевич⟩ также был товарищем по учению и другом барона. В одно утро сей последний зашел ко мне, чтобы по условию идти вместе к П⟨ушкину⟩. Евгений, который еще прежде был знаком с П⟨ушкиным⟩, пошел с нами.

Мы взошли на лестницу; слуга отворил двери, и мы вступили в комнату П⟨ушкина⟩. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкою на голове. Возле постели на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. При входе нашем П⟨ушкин⟩ продолжал писать несколько минут, потом, обратясь к нам, как будто уже знал, кто пришел, подал обе руки моим товарищам с словами: «Здравствуйте, братцы!» Вслед за сим он сказал мне с ласковою улыбкою: «Я давно желал знакомства с вами, ибо мне сказывали, что вы большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы». Я не знал, радоваться ли мне этому приветствию или сердиться за него, однако ж отвечал с усмешкою: «Разве вы думаете, что способность ощущать физические наслаждения, определять истинное их достоинство и гармонически соединять их проистекает из того же источника, как и нравственное чувство изящного, которое, вероятно, по сей причине на

всех языках означается одним и тем же словом «вкус»? По крайней мере, в отношении к себе я нахожу такое мнение совершенно правильным; ибо иначе не мог бы с таким удовольствием читать ваши прелестные произведения». Так как П⟨ушкин⟩ увидел, что я могу судить не об одних вине и устрицах, то разговор обратился скоро к другим предметам. Мы говорили о древней и новой литературе и остановились на новейших произведениях. Суждения П⟨ушкина⟩ были вообще кратки, но метки; и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая наклонность к насмешке, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всех чертах лица его, и думаю, что он способен возвыситься до той истинно поэтической иронии, которая подъемлется над ограниченною жизнию смертных и которой мы столько удивляемся в Шекспире. Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму [1]. Я знал уже из нее некоторые отрывки, которые совершенно пленили меня и исполнили нетерпением узнать целое. Я высказал это желание; товарищи присоединились ко мне, и П⟨ушкин⟩ принужден был уступить нашим усильным просьбам и прочесть свое сочинение. Оно было истинно превосходно. И теперь еще с восхищением вспоминаю я о высоком наслаждении, которое оно мне доставило. Какая оригинальность в изобретении! какое поэтическое богатство! какие блистательные картины! какая гибкость и сладкозвучие в языке! Откровенно признаюсь, что из позднейших произведений сего поэта ни одно не удовлетворило меня в такой степени, как сие прелестное создание юношеской его фантазии.

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

ЗНАКОМСТВО МОЕ С ПУШКИНЫМ

(Из моих памятных записок)

Puis, moi, j'ai servi le
grand homme!
Le Vieux Caporal *

В августе 1819 года приехал я в Петербург и остановился в доме графа Остермана-Толстого, при котором находился адъютантом. Дом этот на Английской набережной, недалеко от сената.

⟨...⟩Жизнь моя в Петербурге проходила в глубоком уединении. В театр ездил я редко. Хотя имел годовой билет моего генерала, отданный в полное мое владение, я передавал его иногда Н. И. Г⟨речу⟩. «Кого это пускаешь ты в мои кресла?» — спросил меня однажды граф Остерман-Толстой с видимым неудовольствием. Я объяснил ему, что уступаю их известному литератору и журналисту. «А! если так,— сказал граф,— можешь и вперед отдавать ему мои кресла». Говорю об этом случае для того только, чтобы показать, как вельможи тогдашние уважали литераторов.

Со многими из писателей того времени, более или менее известных, знаком я был до приезда моего в Петербург, с иными сблизился в интересные эпохи десятых годов. С. Н. Глинку узнал я в 1812 году, на Поклонной горе: восторженным юношей слушал я, как он одушевлял народ московский к защите первопрестольного города. С братом его, Федором Николаевичем, познакомился я в колонии гернгутеров, в Силезии, во время перемирия 1813 года и скрепил приязнь с ним около костров наших биваков в Германии и Франции. Никогда не забуду уморительных, исполненных сарказма и острот, рассказов и пародий поэ-

* Я послужил большому человеку. *Старый капрал.*

та-партизана Д. В. Давыдова. Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего. Этому также не надо было для бритья употреблять бритву, как говорили про другого известного остряка,— стоило ему только поводить языком своим. Часто слышал я его в городке Нимтше, в Силезии, в садике одного из тамошних бюргеров, где собирался у дяди Дениса Васильевича и корпусного нашего командира, Н. Н. Раевского, близкий к нему кружок. С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черною как смоль, бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем,— будто и теперь его в очи вижу и внимаю его остроумной беседе. Хохочут генералы и прапорщики. Раевский, в глубоком раздумье, может быть занесенный своими мыслями на какое-нибудь поле сражения, чертит хлыстиком какие-то фигуры по песку; но и тот, прислушиваясь к рассказу, воспрянул: он смеется, увлеченный общим смехом, и, как добрый отец, радостным взором обводит военную семью свою *. Батюшкову пожал я в первый и последний раз братски руку в бедной избушке под Бриенном. В эту самую минуту грянула вестовая пушка. Известно военным того времени, что генерал Раевский, при котором он тогда находился адъютантом, не любил опаздывать на такие вызовы. Поскакал генерал, и вслед за ним его адъютант, послав мне с коня своего прощальный поцелуй. И подлинно это был прощальный привет, и навсегда... С тех пор я уж не видал его. С А. Ф. Воейковым познакомился я в зиму 1814/15 года, в Дерпте, где квартировал штаб нашего полка. Можно сказать, что он с кафедры своей читал в пустыне: на лекции его приходило два, три студента, да иногда человека два наших офицеров или наши генералы Полуектов и Кнорринг. У него узнал я Жуковского, гостившего тогда в его семействе. Оба посещали меня иногда. Горжусь постоянно добрым расположением ко мне Василия Андреевича. С князем П. А. Вяземским имел я случай нередко видеться *замечательною* весною

* Брат мой имел честь находиться при нем на ординарцах во время маршей по Германии и в лейпцигской битве и много порассказал мне о нем. Николай Николаевич никогда не суетился в своих распоряжениях: в самом пылу сражения отдавал приказания спокойно, толково, ясно, как будто был у себя дома; всегда расспрашивал исполнителя, так ли понято его приказание, и если находил, что оно недостаточно понято, повторял его без сердца, называя всегда посылаемого адъютанта или ординарца голубчиком или другими ласковыми именами. Он имел особый дар привязывать к себе подчиненных.

1818 года, в Варшаве. Здесь, за дворцовой трапезой, на которую приходила вся свита государя императора, между прочими граф Каподистрия и другие знаменитости того времени, сидел я почти каждый день рядом с А. И. Данилевским-Михайловским, вступившим уже тогда на поприще военного писателя. Здесь же учился я многому из литературных бесед остроумного Жихарева, которого интересные мемуары помещаются ныне в «Отечественных записках». Но я еще нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего уже в зиму 1819/20 года «Руслана и Людмилу» [1], Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть,— Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем я был один из восторженных его поклонников. Следующий необыкновенный случай доставил мне его знакомство. Рассказ об этом случае прибавит несколько замечательных строчек к его биографии. Должен я также засвидетельствовать, что все лица, бывшие в нем главными деятелями (кроме историка, вашего покорного слуги), уже давно померли, и потому могу говорить о них свободно.

Квартира моя в доме графа Остермана-Толстого выходила на Галерную. Я занимал в нижнем этаже две комнаты, но первую от входа уступил приехавшему за несколько дней до того времени, которое описываю, майору ⟨Денисевичу⟩, служившему в штабе одной из дивизий ...ого корпуса, которым командовал граф. ⟨Денисевич⟩ был малоросс, учился, как говорят, на медные деньги и образован по весу и цене металла. Наружность его соответствовала внутренним качествам: он был очень плешив и до крайности румян; последним достоинством он очень занимался и через него считал себя неотразимым победителем женских сердец. Игрою густых своих эполет он особенно щеголял, полагая, что от блеска их, как от лучей солнечных, разливается свет на все, его окружающее, и едва ли не на весь город. Мы прозвали его дятлом, на которого он и наружно и привычками был похож, потому что без всякой надобности долбил своим подчиненным десять раз одно и то же. Круг своей литературы ограничил он «Бедною Лизой» и «Островом Борнгольмом», из которого особенно любил читать вслух: «Законы осуждают предмет моей любви», да несколькими песнями из «Русалки». К театру был при-

страстен, и более всего любил воздушные пируэты в балетах: но не имел много случаев быть в столичных театрах, потому что жизнь свою провел большею частию в провинциях. Любил он также покушать. Рассказывают, что во время отдыха на походах не иначе можно было разбудить его, как вложивши ему ложку в рот. Вы могли толкать, тормошить его, сколько сил есть,— ничто не действовало, кроме ложки. Впрочем, был *добрый малый.* Мое товарищество с ним ограничивалось служебными обязанностями и невольным сближением по квартире.

В одно *прекрасное* (помнится, зимнее) утро — было ровно три четверти восьмого,— только что успев окончить свой военный туалет, я вошел в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. ⟨Денисевича⟩ не было в это время дома; он уходил смотреть, все ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в нее три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с *арабским профилем,* во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погремыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения; другой — фронтовой офицер [2]. Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: «Позвольте вас спросить, здесь живет ⟨Денисевич⟩?» — «Здесь,— отвечал я,— но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его». Я только хотел это исполнить, как вошел сам ⟨Денисевич⟩. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку. «Что вам угодно?» — сказал он статскому довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать,— отвечал статский,— вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остается еще четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место...» Все это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. ⟨Денисевич⟩ мой покраснел как рак и, запутываясь в словах, отвечал: «Я не затем звал вас к себе... я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пиесу, что это неприлично...» — «Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях,— сказал более энергическим голосом статский,— я уж не школьник, и пришел переговорить с вами иначе.

Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно...» ⟨Денисевич⟩ не дал ему договорить. «Я не могу с вами драться,— сказал он,— вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер...» При этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой. Статский продолжал твердым голосом: «Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не *стыдно* иметь будет со мною дело».

При имени *Пушкина* блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его: «Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?»

— Меня так зовут,— сказал он, улыбаясь.

«Пушкину,— подумал я,— Пушкину, автору «Руслана и Людмилы», автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь ⟨Денисевича⟩; или убить какого-нибудь ⟨Денисевича⟩ и жестоко пострадать... нет, этому не быть! Во что б ни стало, устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой» [3].

— В таком случае,— сказал я по-французски, чтобы не понял нашего разговора ⟨Денисевич⟩, который не знал этого языка,— позвольте мне принять живое участие в вашем деле с этим господином и потому прошу вас объяснить мне причину вашей ссоры.

Тут один из ассистентов рассказал мне, что Пушкин накануне был в театре, где, на беду, судьба посадила его рядом с ⟨Денисевичем⟩. Играли пустую пиесу, играли, может быть, и дурно. Пушкин зевал, шикал, говорил громко: «Несносно!» Соседу его пиеса, по-видимому, очень нравилась. Сначала он молчал, потом, выведенный из терпения, сказал Пушкину, что он мешает ему слушать пиесу. Пушкин искоса взглянул на него и принялся шуметь по-прежнему. Тут ⟨Денисевич⟩ объявил своему неугомонному соседу, что попросит полицию вывесть его из театра.

— Посмотрим,— отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал повесничать.

Спектакль кончился, зрители начали расходиться. Тем и должна была бы кончиться ссора наших противников. Но мой витязь не терял из виду своего незначительного соседа и остановил его в коридоре.

— Молодой человек,— сказал он, обращаясь к Пушкину, и вместе с этим поднял свой указательный палец,— вы мешали мне слушать пиесу... это неприлично, это невежливо.

— Да, я не старик,— отвечал Пушкин,— но, господин штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?

⟨Денисевич⟩ сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра. Не был ли это настоящий вызов?..

— Буду,— отвечал Пушкин. Офицеры разных полков, услышав эти переговоры, обступили было противников; сделался шум в коридоре, но, по слову Пушкина, все затихло, и спорившие разошлись без дальнейших приключений.

Вы видите, что ассистент Пушкина не скрыл и его вины, объяснив мне вину его противника. Вот этот-то узел предстояло мне развязать, сберегая между тем голову и честь Пушкина.

— Позвольте переговорить с этим господином в другой комнате,— сказал я военным посетителям. Они кивнули мне в знак согласия. Когда я остался вдвоем с ⟨Денисевичем⟩, я спросил его, так ли было дело в театре, как рассказал мне один из офицеров. Он отвечал, что дело было так. Тогда я начал доказывать ему всю необдуманность его поступков; представил ему, что он сам был кругом виноват, затеяв вновь ссору с молодым, неизвестным ему человеком, при выходе из театра, когда эта ссора кончилась ничем; говорил ему, как дерзка была его угроза пальцем и глупы его наставления, и что, сделав формальный вызов, чего он, конечно, не понял, надо было или драться, или извиниться. Я прибавил, что Пушкин сын знатного человека (что он известный поэт, этому господину было бы нипочем). Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она разом не будет порешена. «В противном случае,— сказал я,— иду сейчас к генералу нашему, тогда... ты знаешь его: он шутить не любит». Признаюсь, я потратил ораторского пороху довольно, и недаром. ⟨Денисевич⟩ убедился, что он виноват, и согласился просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввел

его в комнату, где дожидались нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему: «Господин ⟨Денисевич⟩ считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас».

— Надеюсь, это подтвердит сам господин ⟨Денисевич⟩,— сказал Пушкин. ⟨Денисевич⟩ извинился... и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю»,— и удалился с своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.

Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в этот день — по каким причинам, вы угадаете сами. Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предрекавшего свое будущее величие; если б на месте моем был другой, не столь мягкосердый служитель муз, а черствый, браннолюбивый воин, который, вместо того чтобы потушить пламя раздора, старался бы еще более раздуть его; если б я повел дело *иначе*, перешел только через двор к *одному* лицу, может быть, Пушкина не стало б еще в конце 1819 года и мы не имели бы тех великих произведений, которыми он подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже:

Puis, moi, j'ai servi le grand homme!

Обязан прибавить, что до смерти Пушкина и ⟨Денисевича⟩ я ни разу не проронил слова об этом происшествии. Были маленькие неприятности у ⟨Денисевича⟩ в театрах с военными, вероятно, последствия этой истории, но они скоро кончились тем, что мой майор (начинавший было угрожать заочно Пушкину какими-то не очень рыцарскими угрозами), по моему убеждению, весьма сильному, ускакал скоро из Петербурга.

Через несколько дней увидал я Пушкина в театре: он первый подал мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом «Руслана и Людмилы», на что он отвечал мне: «О! это первые грехи моей молодости!»

— Сделайте одолжение, вводите нас почаще такими грехами в искушение,— отвечал я ему.

По выходе в свет моего «Новика» и «Ледяного дома», когда Пушкин был в апогее своей славы, спешил я послать к нему оба романа, в знак моего уважения к его высокому

таланту. Приятель мой, которому я поручал передать ему «Новика», писал ко мне по этому случаю 19 сентября 1832 года: «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили, увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна — его прелестный ум и знания. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: «Он умный человек. Такая скромность ему прилична». Совестно мне повторить слова, которыми подарил меня Пушкин при этом случае; но, перечитывая их ныне, горжусь ими. Отчего ж не погордиться похвалою Пушкина?.. [4]

Узнав, что он занимается историей Пугачевского бунта, я препроводил к нему редкий экземпляр Рычкова [5]. Вследствие этих посылок я получил от него письмо, которое здесь помещаю. Все лестное, сказанное мне в этом послании, принимаю за радушное приветствие; но мне всего приятнее, что великий писатель почтил мое произведение своею критикой, а ею он не всякого удостоивал, как замечено было недавно и в одной из биографий его. Вот это письмо, которое храню, как драгоценность, вместе со списком моего ответа:

«Милостивый государь, Иван Иванович!

Во-первых, должен я просить у вас прощение за медленность * и неисправность свою. Портрет Пугачева получил месяц тому назад и, возвратясь из деревни, узнал я, что до сих пор экземпляр его истории вам не доставлен [6]. Возвращаю вам рукопись Рычкова, коей пользовался я по вашей благосклонности.

Позвольте, милостивый государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такою жадностию и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении, «Ледяной дом» и выше «Последнего Новика», но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано [7], конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия

* Так писал это слово Пушкин.

Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно [8]. Нельзя его читать без негодования на его мучителя. О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты.

Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего разрешение для меня важно: * в каком смысле упомянули вы слово *хобот* в последнем вашем творении и по какому наречию?

Препоручая себя вашей благосклонности, честь имею быть с глубочайшим почтением,

Милостивый государь,
Вашим покорнейшим слугою
Александр Пушкин».

3-го ноября 1835 г.
С.-Петербург.

Ответ мой был на трех листах почтовой бумаги [9]. Он не может быть напечатан по многим причинам. Во-первых, я крепко защищал в нем историческую истину, которую оспаривает Пушкин. Прежде чем писать мои романы, я долго изучал эпоху и людей того времени, особенно главные исторические лица, которые изображал. Например, чего не перечитал я для своего «Новика»! ** Могу прибавить, я был столько счастлив, что мне попадались под руку весьма редкие источники. Самую местность, нравы и обычаи страны списывал я во время моего двухмесячного путешествия,

---

* Заметьте, как Пушкин глубоко изучал русский язык: ни одно народное слово, которого он прежде не знал, не ускользало от его наблюдения и исследования.

** Все, что сказано мною о Глике, воспитаннице его, Паткуле, даже Бире и Розе, и многих других лицах моего романа, взято мною из Вебера, Манштейна, жизни графа А. Остермана на немецком 1743 года, «Essai critique sur la Livonie par le comte Bray», Бергмана «Denkmäler aus der Vorzeit», старинных немецких исторических словарей, открытых мною в библиотеке сенатора графа Ф. А. Остермана, драгоценных рукописей канцлера графа И. А. Остермана, которыми я имел случай пользоваться, и, наконец, из устных преданий мариенбургского пастора Рюля и многих других на самых местах, где происходили главные действия моего романа.

которое сделал, проехав Лифляндию вдоль и поперек, большею частью по проселочным дорогам. Так же добросовестно изучил я главные лица моего «Ледяного дома» на исторических данных и достоверных преданиях.

В ответе моем я горячо вступился за память моего героя, кабинет-министра Волынского, который, быв губернатором в Астрахани, оживил тамошний край, по назначению Петра Великого ездил послом в Персию и исполнил свои обязанности, как желал царственный гений; в Немирове вел с турками переговоры, полезные для России, и пр. и пр. На Волынского сильные враги свалили преступления, о которых он и не помышлял и в которых не имел средств оправдать себя. Пушкин указывает на дело, вероятно, следственное. Беспристрастная история спросит, кем, при каких обстоятельствах и отношениях оно было составлено, кто были следователи? На него подавал жалобу Тредьяковский — и кого не заставляли подавать на него жалобы! доносили и крепостные люди его, белые и арапчонки, купленные или страхом наказания, или денежною наградой. Впоследствии один сильный авторитет, перед которым должны умолкнуть все другие, читавший дело, на которое указывает Пушкин, авторитет, умевший различать истину от клеветы, оправдал память умного и благородного кабинет-министра. В моем романе я представил его, каким он был — благородным патриотом и таким, каким были люди того времени, даже в высшем кругу общества, волокитой, гулякой, буйным, самоуправным.

Что касается до защиты Пушкиным Тредьяковского, источник ее, конечно, проистекал из благородного чувства; но смею сказать, взгляд его на тогдашнюю эпоху был односторонен... Признаюсь, когда я писал «Ледяной дом», я еще не знал умилительного донесения Василия Кириловича Академии о *причиненных* ему *бесчестии* и *увечьи. По истине* Волынской поступил с ним жестоко, пожалуй, бесчеловечно,— прибавить надо, если все то правда, что в донесении написано. Но этот поступок мелочь перед теми делами, которые тогда так широко и ужасно разыгрывались... Что ж делать? И я крайне скорблю о несчастии бедного стихотворца, еще более члена Академии де-сиянс, которому, может быть, мы обязаны некоторою благодарностию; но от уважения к его личности да избавит меня бог! И я негодую на бесчеловечный поступок Волынского, но все-таки уважаю его за полезные заслуги отечеству и возвышенные чувства в борьбе с могучим временщиком...

Увы! сожалениям и негодованиям не будет конца, если к самоуправству над Тредьяковским кабинет-министра присоединить все оскорбления, которые сыпались на голову Василия Кириловича. Грубые нравы того времени, на которые указывает сам Пушкин,— хотя в других отношениях и несправедливо,— и, прибавить надо, унизительная личность стихокропателя поставили его в такое мученическое положение. Если тогда обращались так дурно с людьми учеными, образованными в Париже, писавшими даже французские стишки; если в то время — вспомните, что это было с лишком за сто лет — князья не считали для себя унизительною должность официального шута, негодуйте, сколько угодно, на людей, поступавших так жестоко и так унижавших человечество; но вместе с тем вините и время *. Негодуйте, если хотите, и на самого писателя, что он был человек, как и вся раболепная толпа, его окружавшая, человек малодушный, не возвысившийся над нею ни на один вершок. Но — на *нет* и суда нет! Зачем же делать его благородным, возвышенным мучеником? Да и чьим, скажу опять, мучеником он не был?.. Неохотно должен здесь привести рассказ о том, как унижали бедного Тредьяковского и другие, кроме Волынского. Привожу здесь этот рассказ, потому что от меня требуют доказательств... Вот слова Ив. Вас. Ступишина (лица, весьма значительного в свое время и весьма замечательного), умершего девяностолетним старцем, если не ошибаюсь, в 1820 году: «Когда Тредьяковский являлся с своими одами... то он всегда, по приказанию Бирона, полз на коленях из самых сеней через все комнаты, держа обеими руками свои стихи на голове; таким образом доползая до тех лиц, перед которыми должен был читать свои произведения, делал им земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху». Несмотря на увечья, от которых Тредьяковский ожидал себе кончины и которые просил освидетельствовать, отка-

---

* Прочтите «Семейную хронику» (Аксакова) — эту живую картину нравов последних годов XVIII столетия — и особенно (что ближе к настоящему предмету моему) стр. 99. Это стоит жесткого обращения с Тредьяковским. А время этого происшествия поближе к нам!

В автографе после «стр. 99» следовало: «Там увидите, как простой генерал, в своем присутствии, в соседней комнате с церковью, при торжественном пении божественных славословий, зверски приказал отсчитать 300 ударов невинному юноше (офицеру, дворянину), запрещая ему даже кричать, как замертво свезли наказанного в лазарет и там должны были разорвать на нем мундир, так распухло его нежное, молодое тело (два месяца гнила у него спина и плечи).

зался ли он писать дурацкие стихи на дурацкую свадьбу? Нет, он все-таки написал их и даже прочел, встав с одра смерти.

Свищи, весна, свищи, красна! —

восклицает он в жару пиитического восторга и наконец повершает свое *сказание* такими достопамятными виршами:

Здравствуйте ж женившись, дурак и дурка,
Еще.... то-то и фигурка!

Посмотрите, как Тредьяковский жалуется. «Размышляя,— говорит он в рапорте Академии,— о моем *напрасном* бесчестии и увечье (за дело ничего бы?), раздумал поутру, избрав время, *пасть в ноги* к его высокогерцогской светлости и пожаловаться на его превосходительство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости поутру и ожидал времени *припасть к его ногам...»* И в доношении графу Разумовскому тоже: «*слезно припадает к ногам его*».

Если Пушкин приписывает духу времени и нравам народа то, в чем они совсем не повинны, что никогда не могло быть для них потребностью, почему ж не сложить ему было на дух и нравы того времени жестокого поступка Волынского с кропателем стихов, который сделался общим посмеянием? Разве это жестокое обращение, однажды совершенное, тяжелей (не говорю больней) того унижения, в котором влачил его беспрестанно другой мучитель его? Разве потому легче это унижение, что оно подслащалось некоторыми *эмульсиями* покровителя? К тому же, если винить одного, зачем оправдывать другого, на тех же данных, в делах, более вопиющих?..

Вопрос другой: должен ли я был поместить Тредьяковского в своем историческом романе? Должен был. Мое дело было нарисовать верно картину эпохи, которую я взялся изобразить. Тредьяковский драгоценная принадлежность ее: без Тредьяковского картина была бы неполна, в группе фигур ее недоставало бы одного необходимого лица. Он нужен был для нее, как нужны были шут Кульковский, барская барыня, родины козы, дурацкая свадьба и пр. А если я должен был поместить, то следовало его изобразить каким он был. Мы привыкли верить, что черное черно, в жизни ли оно человека или в его сочинениях, и не ухищрялись никогда делать его белым, несмотря ни на предков,

ни на потомков. Мы привыкли смеяться над топорными переводами и стишками собственной работы Василия Кириловича, как смеялись над ними современники; нам с малолетства затвердили, что при дворе мудрой государыни давали читать их в наказание. Говорили мы спасибо Василию Кириловичу за то, что он учил современников слагать стихи и ввел гексаметр в русскую просодию. Но и это доброе дело можно было легче сделать, не терзая нас тысячами стихов «Телемахиды», счетом которых он так гордился, не играя с нами в пиитические жмурки на острове Любви и не работая тридцать лет над переводом Барклаевой «Аргениды». Но и на добро наложена была, видно, тяжелая рука знаменитого труженика: гексаметр не пришелся по духу и крови русской, несмотря на великие подвиги, совершенные в нем Гнедичем и Жуковским. По крайней мере, это мое убеждение.

Упрекали меня, что я заставил говорить педанта в своем романе, как педанта. В разговоре-де Василий Кирилович был не таков, как в своих сочинениях,— сказал некогда один критик, впрочем, лицо, достойно уважаемое за его ум и ученость, несмотря на парадоксы, которыми оно любит потешаться [10]. Да кто ж, спрашиваю, слышал его разговоры? Кто потрудился подбирать эти жемчужины, которые мимоходом, по пути своему, сыпал этот великий человек, и сохранить их для потомства? Дайте нам их во всеведение!.. Ба, ба, ба! а донесение Академии? Перед ним-то вы, конечно, должны преклониться и умилиться. Извините, я и в донесении Академии не вижу ничего, кроме рабской жалобы на причиненные побои. Помилуйте, так ли пишут люди оскорбленные, но благородные, не уронившие своего человеческого достоинства?.. Положим еще, что и у Василия Кириловича была счастливая обмолвка двумя стишками и несколькими строчками в прозе: дают ли они диплом на талант, на уважение потомства? И дураку удается иногда в жизни своей умненькое словечко. Так и Василию Кириловичу если и удалось раз написать простенько, не надуваясь, языком, каким говорили современники, неужели все бесчисленные памятники его педантизма и бездарности должны уступить единственному клочку бумаги, по-человечески написанному?

Я распространился о Тредьяковском, потому что с появления «Ледяного дома» он сделался коньком, на котором поскакали кстати и некстати наши рецензенты. Поломано немало копий для восстановления памяти его. Даже

в одной журнальной статье, написанной в конце великого 1855 года, поставлен этот подвиг едва ли не в самую важную заслугу нашей современной критике. Как будто дело шло о восстановлении обиженной памяти, положим, Державина или Карамзина!.. Эта критика махнула еще далее. Нарочно для Василия Кириловича изобрели новых *исторических писателей*, в сонм которых его тотчас и поместили. Наконец, в утешение тени великого труженика, добавили, что через сто лет, именно в 1955 году, язык Гоголя будет не лучше того, каким для нас теперь язык Тредьяковского!.. Изобретатель этой чудной гипотезы подумал ли, что бесталанный Тредьяковский писал на помеси какого-то языка, ребяческого, пожалуй, ученического, а Гоголь, высоко даровитый писатель,— на языке, уже установившемся, в полном своем развитии и даже образовании? Подумал ли, что наш современный язык, воспитанный Карамзиным, Жуковским, Батюшковым, Пушкиным, Лермонтовым, вступил уже в эпоху своей возмужалости,— имеет *душу живу*, которая не умирает?..

Продолжайте, господа, ратоборствовать за непризнанного *исторического писателя* — вам и книги его в руки, хотя бы и в новом, самом роскошном издании!.. А я думаю, что игра не стоит свеч и что пора дать покой костям Василия Кириловича, и вживе не пощаженным. Есть у нас о чем подельнее и поважнее толковать, хотя б и по литературе. В противном случае попрошу полного *исторического* и *эстетического* разбора всех сочинений его...

Со всем уважением к памяти Пушкина скажу: оправдание Бирона почитаю непостижимою для меня *обмолвкой* великого поэта [11]. Несчастие быть немцем?.. Напротив, для всех, кто со времен царя Алексея Михайловича посвящал России свою службу усердно, полезно и благородно, никогда иностранное происхождение не было несчастием. Могли быть только временные несправедливости против них. В доказательство указываю на Лефорта, на барона, впоследствии графа, Андрея Ивановича Остермана, Миниха, Манштейна, Брюса и многих других. Поневоле должен высказать здесь довод, не раз высказанный. Отечество наше, занятое столько веков борьбою с дикими или неугомонными соседями, для того чтобы приготовить и упрочить свою будущую великую оседлость в Европе, стоящее на грани Азии, позднее других западных стран озарилось светом наук. И потому иноземцы пришедшие к нам поучить нас всему полезному для России, поступали ли они в вой-

ска, на флот, в академии, в совет царский, всегда были у нас приняты и обласканы, как желанные и почетные гости. Услуги их, если они были соединены с истинным добром для нас, всегда награждались и доброю памятью о них. Что ж заслужил Бирон от народа? Не за то, что он был немец, назвали его время бироновщиною; а народы всегда справедливы в названии эпох. Что касается до великого ума и великих талантов его, мы ждем им доказательств от истории. До сих пор мы их не знаем.

Винюсь, я принял горячо к сердцу *обмолвку* Пушкина, особенно насчет духа времени и нравов народа, требовавших будто казней и угнетения, и слова, которые я употребил в возражении на нее, были напитаны горечью. Один из моих приятелей, прочитав мой ответ, сказал, что я не поскупился в нем на резкие выражения, которые можно и должно было написать — только не Пушкину. «Рассердился ли он за них?» — спросил меня мой приятель. «Я сам так думал, не получая от него долго никакого известия»,— отвечал я. Но Пушкин был не из тех себялюбивых чад века, которые свое *я* ставят выше истины. Это была высокая, благородная натура. Он понял, что мое негодование излилось в письме к нему из чистого источника, что оно бежало несдержимо через край души моей, и не только не рассердился за выражения, которыми другой мог бы оскорбиться,— напротив, проезжая через Тверь (помнится, в 1836 году), прислал мне с почтовой станции следующую коротенькую записку. Как увидите, она вызвана одною любезностию его и доброю памятью обо мне.

«Я все еще надеялся, почтенный и любезный Иван Иванович, лично благодарить вас за ваше ко мне благорасположение, за два письма [12], за романы и пугачевщину, но неудача меня преследует. Проезжаю через Тверь на перекладных, и в таком виде, что никак не осмеливаюсь к вам явиться и возобновить старое, минутное знакомство. Отлагаю до сентября, то есть до возвратного пути; покамест поручаю себя вашей снисходительности и доброжелательству.

Сердечно вас уважающий
Пушкин».

Записка без числа и года. Подпись много порадовала меня: она выказывала добрую, благородную натуру Пушкина; она восстановляла хорошие отношения его ко мне, которые, думал я, наша переписка расстроила [13].

В последних числах января 1837 года приехал я на несколько дней из Твери в Петербург. 24-го и 25-го был я у Пушкина, чтобы поклониться ему, но оба раза не застал его дома... Нельзя мне было оставаться долее в Петербурге, и я выехал из него 26-го вечером...

29-го Пушкина не стало...

Потух огонь на алтаре!

П. А. КАТЕНИН

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

Знакомство мое с А. С. Пушкиным началось летом в 1817 году. Был я в театре, Семенова играла какую-то трагедию; [1] кресла мои были с правой стороны во втором ряду; в антракте увидел я Гнедича, сидящего в третьем ряду несколько левее середины, и как знакомые люди мы с ним раскланялись издали. Не дожидаясь маленькой пиесы и проходя мимо меня, остановился он, чтобы познакомить с молодым человеком, шедшим с ним вместе.

— Вы его знаете по таланту,— сказал он мне,— это лицейский Пушкин.

Я сказал новому знакомцу, что, к сожалению, послезавтра выступаю в поход, в Москву, куда шли тогда первые батальоны гвардейских полков; Пушкин отвечал, что и он вскоре отъезжает в чужие краи; мы пожелали друг другу счастливого пути и разошлись.

Из Москвы возвратился я через год; все офицеры жили тогда в верхнем этаже казарм, на углу Большой Миллионной и Зимней Канавки. Молодой товарищ мой, Д. П. Зыков, по какому-то случаю у себя угощал завтраком; пришел ко мне слуга доложить, что меня ожидает гость: Пушкин. Зная только графа В. В. ⟨Мусина-⟩ Пушкина, я подумал: не он ли? — Нет, отвечал слуга, молоденькой, небольшой ростом; тут я догадался и по галерее пошел к себе.

Гость встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря:

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

— Ученого учить — портить,— отвечал я, взял его за руку и повел в комнаты; через четверть часа все церемонии

кончились, разговор оживился, время неприметно прошло, я пригласил остаться отобедать; пришли еще кой-кто, так что новый знакомец ушел уже поздним вечером. Желая быть учтивым и расплатиться визитом, я спросил: где он живет? но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать; он упорно избегал посещений. Сам, напротив, полюбив меня с первого разу, очень часто запросто посещал, и едва ли эта первая эпоха нашего знакомства была не самая лучшая и для обоих приятная.

Помнится, с самого начала спросил он, каковы мне кажутся его стихотворения. Я, по неизлечимой болезни говорить правду, сказал, что легкое дарование приметно во всех, но хорошим почитаю только одно, и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» По счастию, выбор мой сошелся с убеждением самого автора; он вполне согласился, прибавя, что все прочие предаст вечному забвению, и, кажется, сдержал слово, ибо они появились опять в свет уже после смерти его, как прибавление в конце, под названием «Лицейских стихотворений» [2].

В то же время работал он над первым из своих крупных произведений и отрывок за отрывком прочитал мне две или три песни «Руслана и Людмилы». Без сомнения, сия поэма была уже гораздо выше ученических опытов; но и в ней еще много незрелого, и тут случилось мне в первый раз заметить в покойнике нечто, может быть, укоренившееся в нем едва ли в пользу его славы на будущее время: он сознавался в ошибках, но не исправлял их. Очень помню, что я заметил ему место, когда Руслан, потеряв меч, приезжает на старинное побоище, покрытое мертвыми телами и оружием, и между ними ищет себе меча; вдруг застонало, зашевелилось мертвое поле,— но Руслан не нашел себе меча по руке и поехал далее. Такой ничтожный конец после такого пышного начала крайне удивил меня; мне вспомнился стих Горация, как гора родила мышь, и я спросил у Пушкина, над кем он шутит? Он бесспорно согласился, что дело не хорошо, но, не придумав ничего лучшего, оставил как есть, в надежде, что никто не заметит, и просил меня никому не сказывать. Я отвечал, что буду молчать по дружбе, но моя скромность поможет ему ненадолго, и когда-нибудь догадаются многие. Он и в том не спорил, только надеялся, что время не скоро придет, и, может быть, не ошибся.

В ту же зиму просил Пушкин познакомить его с князем А. А. Шаховским, у которого по вечерам после спектакля

съезжалось много хороших людей, наипаче молодежи, и время весело шло. Кто-то из их общих знакомых уже прочитал Шаховскому несколько отрывков из поэмы Пушкина, и князь, страстный любитель святой Руси, пришел от них в восторг и также просил меня привезти к нему молодого поэта [3]. Радушный прием на первый раз тем приятнее был для гостя, что он за собою знал против Шаховского маленький грешок; когда мы с хозяином простились и я ночью отвозил товарища до известного угла неподалеку от его квартиры, в санях был разговор, и вот он слово в слово:

П у ш к и н. Savez-vous qu'il est très bon homme au fond? jamais je ne croirai qu'il ait voulu nuire sérieusement à Ozerow, ni à qui que ce soit.

К а т е н и н. Vous l'avez cru pourtant; vous l'avez écrit et publié; voilà le mal.

П у ш к и н. Heureusement, personne n'a lu ce barbouillage d'écolier; pensez-vous qu'il en sache quelque chose?

К а т е н и н. Non, car il ne m'en a jamais parlé.

П у ш к и н. Tant mieux; faisons comme lui, et n'en parlons plus *.

Ясно, что милому А. С. совестно стало, хотя, конечно, он неволею погрешил против старика [4].

По связям своей юности, слыша от всех близких одно и то же, он на веру повторял; но когда вступил в свет и начал ходить без помочей, на собственных ногах, встречая много людей, мыслящих каждый по-своему, он, как умный человек, тотчас сбросил или хоть скрыл односторонность чужих внушений и приметно старался, угождая каждому, со всеми уладить. Несмотря, однако, на врожденную ловкость, необходимо случалось ему впадать в противуречия с самим собою; я в шутках называл его за это le jeune Mr. Arouet **; сближение с Вольтером и каламбур: à rouer, где бранное слово, как у нас *лихой, злодей* и тому подобное, принимается в смысле льстивом, крайне тешили покойника, и он хохотал до упада.

---

* *П*. Знаете ли, что он, в сущности, очень хороший человек? Никогда я не поверю, что он серьезно желал повредить Озерову или кому бы то ни было.— *К*. Вы так думали, однако это писали и распространяли — вот что плохо.— *П*. К счастью, никто не прочел этого школьного бумагомарания; вы думаете, он знает что-нибудь о нем? — *К*. Нет, потому что он никогда не говорил мне об этом.— *П*. Тем лучше, поступим, как он, и никогда не будем больше говорить об этом.

** Юный господин Аруэ.

Другие люди не шутя старались вывести его из миролюбивого расположения духа; а как с хорошей целью все средства хороши, то и в выборе не затруднялись тем, что называется совесть; и вот пример. Вскоре после первого издания «Руслана и Людмилы» вышла на сию поэму в «Сыне отечества» критика в форме вопросов; я прочел ее в журнале с большим любопытством, не зная, на кого подумать. Она приметно выходила из круга цеховой журналистики; замечания тонкие, язык ловкий и благородный обличали человека из хорошего общества; поломал голову с полчаса и отстал. Через несколько дней встречает меня Пушкин в театре и говорит:

— Критика твоя немножко колется, но так умна и мила, что за нее не только нельзя сердиться, но даже...

Я перебил речь:

— С чего ты взял, что статья написана мною?

— Греч мне сказал.

За словом и Греч явился, мы его остановили при входе, и я спросил: на чем он основал свое сказание? С геройскою смелостью отвечал Николай Иванович:

— Почерк вашей руки.

Это уже выходило из рук вон; я с некоторой досадой заметил ему, что, если он не знает моего почерка, не следовало говорить наобум; а если, что вероятнее, знает, и подавно не следовало говорить неправды, и неправды нелепой; ибо кто хочет скрыть имя, скроет и руку, а писца найти нетрудно. Доказательства мои были так ясны, что Николаю Ивановичу оставалось одно средство: отыграться: с двусмысленной улыбкой сказал он мне:

— Простите, если ошибся; по уму и слогу не мог я другому приписать.

Я пожал плечьми и отворотился; мне хотелось только разуверить Пушкина, в чем и успел. Тому так давно, что я уже не уверен, при нем ли самом было объяснение или при В. А. Жуковском, который в отсутствии автора заботился об издании и успехе поэмы: тот или другой, для сущности дела все равно [5].

Сочинителя статьи открыл я несколько недель спустя в том самом Дмитрии Петровиче Зыкове, о ком уже было помянуто. Этот умный молодой человек, страстный к учению, несмотря на мелкие военного ремесла заботы, успел ознакомиться почти со всеми древними и новыми европейскими языками, известными по изящным произведениям;

он был не только скромен, но даже стыдлив и, не доверяя еще себе, таил свои занятия ото всех. Ранняя смерть, на тридцатом году, не позволила ему сотворить имя свое общеизвестным и уничтожила надежды его приятелей. Двое из них — князь Махайло Александрович Дундуков-Корсаков и Дмитрий Климович Тарасов — здравствуют доныне, и я смело ссылаюсь на их свидетельство во всем здесь мною сказанном.

С Пушкиным разнесла меня судьба на многие годы; меня заперла в деревне, а его пустила странствовать по свету. Я писал к нему однажды и получил ответ из Кишинева; мне показалось, что он задел меня за комедию «Сплетни» в послании к Чаадаеву, он, как из ответа видно, опасался: не задел ли я его в комедии, игранной без него; такие недоразумения случаются издали; но у порядочных людей одно слово — делу конец [6].

Возвратясь в Петербург в августе 1825 года, узнал я, что он проживает в Псковской губернии, сближение завело переписку, а после вступления на престол нового государя явился Пушкин налицо. Я заметил в нем одну только перемену: исчезли замашки либерализма. Правду сказать, они всегда казались угождением более моде, нежели собственным увлечением; еще прежде из тех стихов его, которые по рукам ходили, он всегда упорно отказывал мне что-нибудь прочесть, отзываясь, что они не про меня писаны, и показать их знающему стыдно, и т. п.

В этот раз помирился он, отчасти чрез меня, с А. М. Колосовой, особенно блиставшей на сцене в ту зиму 1826—1827 годов. Он провинился перед нею, вскоре после ее первых дебютов, довольно плохой эпиграммою, вероятно, также по чужому внушению: потом, в коротеньком послании на мое имя, принес повинную голову и просил моего ходатайства; оно было почти лишнее; умная женщина не может долго сердиться за безделицу.

В мае 1827 года вышел срок моей квартиры, а как до отъезда опять в деревню нужно было еще месяц либо полтора пробыть, давный мой друг и походный однокашник В. Я. Микулин, в то время командир первого баталиона Преображенского полка, предложил мне к нему переселиться, что я с радостью принял; когда настал последний день, пригласил я многих своих приятелей на прощальную вечеринку, но сам, озабоченный укладкою, коляскою, лошадьми и прочими скуками сбора в дорогу, попросил А. С. заменить меня в хозяйничании разговором с гостьми;

он согласился как раз и усердно весь вечер проработал; а когда уже и ночь (NB петербургская в июне) перешла в утро и я совсем готов был ехать, Пушкин, жалуясь, что со мной мало беседовал, предложил пешком проводить до Невской заставы; так мы прогулялись прекрасным утром и расстались за шлагбаумом; я сел в коляску, а ему попался запоздалый извозчик.

В деревню писал ко мне О. М. Сомов, уведомляя, что он вместе с бароном Дельвигом намерен издавать «Литературную газету» и прося в нее присылок; я начал отправлять туда по кускам свои «Размышления и разборы». Между тем попалась мне там статья без подписи под заглавием: «Ассамблея при Петре Первом»; я узнал перо Пушкина и спросил у Сомова: справедлива ли моя догадка? Он отвечал, что нет, что писал другой, кого, однако, назвать не может, ибо автор желает быть неизвестным. Не очень ему веря, я черкнул наоборот, что тем лучше, коли есть другой, и давай бог третьего, кто бы писал не хуже Пушкина. Хитрость не удалась, и Сомов признался с позволения сочинителя, который, видя, что меня обмануть нельзя, взял письмо со стола и в кармане унес домой [7].

Еще до отъезда показывал я ему же, милому А. С., начало «Старой были», почти не решаясь окончить; он, напротив, очень хваля сделанное, убеждал непременно доделать. Сотворив наконец по его воле осенью 1828 года, вздумал я ему посвятить; написал послание в стихах для света и простое письмо в прозе собственно для него, отправил все вместе; ответа не было, оттого ли, что он не озаботился, или что письмо пропало: не знаю. В генваре 1829-го получил я от издателей альманах «Северные цветы»; в нем нашел сообщенную Пушкиным при записке «Старую быль» и ответ его на Послание, а Послания не было, отчего и ответ выходил не совсем понятен. Несколько лет спустя я спросил у него: отчего так? Он отговорился тем, что, посылая «Быль» от себя, ему неловко показалось приложить посвящение с похвалами ему же. Я промолчал, но ответ показался мне не чист; похвалы мои были не так чрезмерны, чтобы могли ввесть в краску авторскую скромность, и я догадался, в чем истинная причина: шутка слегка над почтенным Историографом, и над почтенным Археологом, и над младыми романтиками — вот что затруднило милого А. С. Он боялся, напечатав мои дерзости без противуречия, изъявить род согласия и оставил под спудом.

Найденные после смерти в бумагах его стихи мои были помещены в «Современнике», хотя уже гораздо ранее напечатаны в моих сочинениях, вслед за «Старой былью», к которой относятся [8].

Такова была осторожность покойника, пока его не рассердят; но, уже рассердясь, он впадал в другую крайность. Некогда осудив меня в письме из Кишинева за очень умеренную полемику против Сомова и Греча, потому что мне неприлично выходить с ними in arena, он сам гораздо хуже поступил, схватясь с Каченовским и Булгариным, когда они его чем-то задели: точно, непристойно Поэту надевать на благородное лицо свое харю Косичкина и смешить ею народ, хотя бы насчет Выжигиных [9].

Приступаю к последнему приезду моему в Петербург, к последней эпохе нашего знакомства. Положение мое жестоко изменилось: имение, за неисправность винной поставки в казну, было взято в опеку; мучительная и опасная болезнь угрожала смертью. Три дела были необходимо нужны: вылечиться, напечатать свои стихотворения и снова вступить в службу; в первом помог граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин-Брюс, во втором — Николай Иванович Бахтин, в третьем — Владимир Федорович Адлерберг, что ныне граф. Я поминаю здесь почтенные имена их не затем, чтобы хвалиться тогдашним их благорасположением, но чтобы отчасти заплатить долг признательности.

Приехал я 1832 года июля 18-го прямо на дачу, где жил граф ⟨Мусин-⟩ Пушкин, на Петергофской дороге, неподалеку от городской заставы. Узнав о том, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между первыми А. С. Свидание было самое дружеское. Тут я поздравил его с окончанием «Евгения Онегина».

— Спи спокойно,— сказал я,— с «Онегиным» в изголовье; он передаст имя твое поздным векам, а конец увенчал все дело, последняя глава лучше всего.

Пушкин знал, что я редко хвалю без пути, а притворно никогда, и, конечно, был рад. Тут же заметил я ему пропуск и угадал, что в нем заключалось подражание «Чайльд-Гарольду», вероятно, потому осужденное, что низшее достоинство мест и предметов не позволяло ему сравниться с байроновым образцом. Не говоря мне ни слова, Пушкин поместил сказанное мною в примечании, в то же время, в первый раз издавая «Онегина» целиком, чему я даже

удивился, получив от него в подарок экземпляр вышедшей книги [10].*

Я прочел ее с несказанным удовольствием, и точно — она драгоценный алмаз в русской поэзии; есть погрешности, но где же их нет? и что они все вместе в сравнении с множеством достоинств? Какая простота в основе и ходе! как из немногих материалов составлено прекрасное целое! два лица на первом плане, два на втором, несколько групп проходных, и довольно, и больше не надо. Сколько ума без умничанья, сколько чувства без сентиментальности, сколько иногда глубины без педантства, сколько поэзии везде, где она могла быть! Какое верное знание русского современного дворянского быта, от столичных палат до уездных усадеб! какой хороший тон без малейшего жеманства, и как все это ново, как редко в нашей скудной словесности! Но я записался об «Онегине»; как ни хорош, пора его оставить.

Безденежье принудило меня на издаваемые сочинения открыть подписку; Пушкин принял в ней деятельное участие, взял для раздачи листов на сто экземпляров и частью из своих рук билеты поодиночке передал, а более с помощью Елисаветы Михайловны Хитровой, женщины по всему необыкновенной, которая была тогда дружна с ним и очень хорошо расположена ко мне [11].

Коль скоро здоровье позволило, я посетил его; но в своем доме показался он мне как бы другим человеком; приметна была какая-то принужденность, неловкость, словно гостю не рад; после двух или трех визитов я отстал, и хотя он не один раз потом звал и слегка корил, я остался при своем; когда, напротив, он посещал меня, что часто случалось, в нем опять являлся прежний любезный А. С., не совсем так веселый, но уже лета были не те.

Генваря 7-го 1833 года мы оба приняты в члены тогда существовавшей Российской Академии, куда и явились в первый раз вместе; сначала довольно усердно посещал он ее собрания по субботам, но вскоре исключительные толки

---

* *В письме к П. В. Анненкову от 24 апреля 1853 г. Катенин сообщал и другие подробности этого разговора:* «Об осьмой главе «Онегина» слышал я от покойного в 1832-м году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской пристани, Евгений видел *военные поселения,* заведенные гр. *Аракчеевым,* и тут были замечания, суждения, выражения слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудевшую» (*«Лит. критик»*, 1940, № 7—8, с. 231).

о Словаре ему наскучили, и он показывался только в необыкновенные дни, когда приступали к выбору новых членов взамен убылых [12].

Я был гораздо исправнее, только до сентября; тогда, уже поступив на службу и обмундированный, переселился я в Царское Село, прикомандированный, как и все вновь определяющиеся, к учебному образцовому полку. Отслужив там полгода и готовый отправиться в Тифлис, завернул я в Петербург на три дни; в гостинице, где я покуда жил, навестил меня Пушкин в последний раз; жена его была больна, и он казался грустен, однако зная, что нам расстаться надолго,— увы! навсегда,— с лишком три часа пробеседовал, обещаясь еще зайти на другой день, но не бывал [13].

Во время моего проживания в Ставрополе получил я от него два письма, из коих одно уцелело, а другое пропало; [14] в Кизляре узнал я о его несчастной смерти и вскоре потом познакомился там же с братом его, Львом Сергеевичем: мы довольно поговорили о покойнике, о котором есть что и сказать.

Человек погиб, но поэт еще жив; его творения, в коих светится и врожденный дар, и художнический ум, драгоценнейшее по нем наследство, оставленное не только детям его, но всем сколько-нибудь образованным людям, по крайней мере, в России. Скажу об них, как думаю, без лести и без зависти: та и другая мне равно противны, равно презренны.

Да будет позволено мне, ревностному поклоннику Гомера, взять из него подобие: у царя Приама было пятьдесят сынов, но Гектор один, таков у Пушкина «Онегин». Никто из братии не может стать с ним рядом, и все должны с почтением отступить; но о нем уже сказано довольно; обращаюсь к другим.

«Руслан и Людмила»: юношеский опыт, без плана, без характеров, без интереса; русская старина обещана, но не представлена, а из чужих образцов в роде волшебно-богатырском, выбран не лучший: Ариост, а едва ли не худший: M-r de Voltaire. Эпизод Финна и Наины искуснейший отрывок; он выдуман хорошо, выполнен не совсем; Наина-колдунья нарисована с подробностью слишком отвратной, почти как в виде старухи la Fée Urgèle в сказке того же Вольтера, которого наш автор в молодости слишком жаловал [15].

В продолжение десяти лет написанные поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава», «Медный всадник» имели все более или менее успеха в свое время; без сомнения, находятся в них прекрасные места, например: в «Фонтане» ночной приход Заремы к спящей сопернице; в «Цыганах» речь отца, когда роют могилу зарезанной дочери, и уезд всего табора, оставя в пустом поле убийцу одного; во «Всаднике» картина постепенного прилива и внезапного разлива реки, к сожалению, конченная совсем неуместной эпиграммой на доброго, ласкового старца, который во весь век ни против кого, кроме себя самого, грешен не бывал [16]. Все сии поэмы, однако, не выдержали еще ни разбора дельной критики, ни искуса времени, и судьба их не решена; правда, что если сравнить прочих наших стихотворцев, подобные эпиллии à la Byron, как-то: «Эдда», «Чернец», «Войнаровский», «Боярин Орша» и пр. и пр. и пр.— превосходство Пушкина во всем бросается в глаза.

«Борис Годунов» стоил автору труда, он им дорожил; несколько промахов, которые легко бы ему поправить, если б только заметил, грех небольшой; отдельно много явлений, достойных уважения и похвалы; но целого все же нет. Лоскутья, из какой бы дорогой ткани ни были, не сшиваются на платье; тут не совсем история и не совсем поэзия, а драмы и в помине не бывало. Гете едва ли не первый вздумал составлять драмы из сцен без связи: таковы у него «Гец фон Берлихинген» и «Фауст»; первого старался он, и не раз, поставить на сцену и принужден был всячески перекраивать, так что теперь в его сочинениях оный «Гец» напечатан трижды и в трех видах; однако ни в котором не устоял. От представления «Фауста» сочинитель уже отказался. Положим, «Фауст» имеет совсем иные достоинства: глубокую основную мысль, смелый титанский взгляд на целый мир, стихию чудесного и на страх и на смех, все, что мог иметь только гениальный немец в исходе протекшего столетия, и под покровительством хоть не сильного, однако независимого государя. Этого ничего не могло быть в «Годунове»; а своевольная форма, нигде слишком не похвальная, все же терпимее в таком же своевольном, фантастическом содержании, нежели в складном, степенном ходе земных событий истории. Пушкину хотелось видеть свою пьесу на сцене, но есть ли возможность? [17]

«Моцарт и Сальери» был игран, но без успеха; оставя

сухость действия, я еще недоволен важнейшим пороком: есть ли верное доказательство, что Сальери из зависти отравил Моцарта? Коли есть, следовало выставить его напоказ в коротком предисловии или примечании уголовной прозою; если же нет, позволительно ли так чернить перед потомством память художника, даже посредственного? [18] Жаль, что «Русалка» не кончена; основа почти та же, что в известной волшебной опере, переведенной с немецкого [19], но исполнение начала обещало нечто хорошее впредь, «Скупой рыцарь» и «Дон-Жуан» неудачно выбраны, и также не кончены: нечего о них и говорить.

Мелких стихотворений без числа; кроме весьма немногих решительно дурных, все читаются и перечитываются с удовольствием; иные невольно врезываются в память, а лучшие играют огоньком, как бриллиантики. Всего менее ценю я злые; человек с дарованием не должен злиться ни на кого, и часто на суде посторонних колкая брань меньше вредит тому, кто выбранен, чем тому, кто выбранил; притом надо всему меру знать: переступить за нее — значит провиниться перед обществом.

Из стихотворений среднего объема отменно люблю я три: повесть «Граф Нулин», балладу «Утопленник» и сказку «О рыбаке и рыбке»; каждая в своем роде прелесть, и как они разнообразны! Последняя написана чуть ли не слишком вольными стихами: я не мог добраться в ней никакого правильного размера. Хотя Пушкин редко выходил из привычных ямбов и хореев, он знал очень хорошо технику стихосложения и никогда не сбивался; ясно, что здесь он нарочно ото всех правил отдалился, желая приблизиться к говору простонародного сказальщика. Бог простит, лишь бы другие не пустились по примеру писать без складу и ладу: *куда конь с копытом, туда и рак с клешней.*

Из переводов — Анакреонова песенка «Кобылица молодая» и пр.— бурмицкое зернышко; но крупные не удались. Шекспир переделал повесть из Жиральда Чинтио в драму «Мера за меру»: весьма понятно, но драму опять переделывать в повесть с разговорами: странная мысль. «Пир во время чумы» вовсе не стоил чести перевода; но всего непростительнее «Песни западных славян». Тут не одна вина, а две: 1-я — поддельный товар, восковые бусы почел за жемчуг, 2-я, узнав, что сию иллирийскую старину сочинял от безделья на даче француз Мериме [20], своего перевода не бросил в огонь. Какой-нибудь адский судья Минос впра-

ве за то наложить на грешника тяжелую эпитимию: прочесть с доски до доски всего макферсоновского «Оссиана», и еще «Книдский храм» Монтескье, и вдобавок «Путешествия Антенора», все три такие же древности.

Проза Пушкина тем только хуже его стихов, что проза, и не знаю, кто бы у нас писал лучше, разумеется, в тех же родах, а в других нет ни причины, ни способа сравнивать. «История Пугачевского бунта» по языку очень хороша, но по скудости материалов, коими мог пользоваться сочинитель, в историческом отношении недостаточна; зато картинную, сценическую сторону любопытной эпохи схватил он и представил мастерски в «Капитанской дочке»; сия повесть, пусть и побочная, но все-таки родная сестра «Евгению Онегину»: одного отца дети и во многом сходны между собою. Другие маленькие романы его не так отличны, но все умны, натуральны и приманчивы; всех слабее, на мой вкус, «Барышня-крестьянка», где известная комедия Мариво «Les Jeux de l'amour et du Hazard» [21] так же переделана в рассказ, как Шекспирова драма в «Анжело»; мне, напротив, очень нравится «Импровизатор», ибо так следовало назвать, а не «Египетские ночи», что уже относится ко вставленной импровизации: крайне жаль, что ни ее, ни всего рассказа не успел кончить покойник. Остальное, что в прозе, маловажно, но и о том скажу тоже: всегда умно, и чисто написано.

Ни с живыми, ни с недавно умершими писателями сравнивать его не хочу, и нельзя, и не должно; мы все современники, сотрудники, волей и неволей соперники: не нам друг друга судить. Давно умершие — дело другое; к ним никто живой, ни так ни сяк, пристрастен быть не может; изо всех выберу двух главных.

Ломоносов оказал языку русскому заслуги бесценные; он его вновь создал, с него началась новая эра, и по его следам пошли все, кого можно читать; в сем важном отношении останется он до скончания века первым и несравненным. Но он был более ученый, профессор, ритор, филолог, нежели истинный поэт; для него поэзия была такая же наука, как математика или физика, и может быть, по его мнению, менее нужная, как роскошь, пусть и не лишняя, ибо служит к прославлению Великого Петра и августейшей дщери его, но в прочем почти бесполезная. Изо всех его стихотворений одни «Оды» остались доныне в некотором уважении; но кто может без скуки прочесть ряд од одно-

образных? что нового найдет в них иностранец, желающий своих земляков ознакомить с поэзиею русских? кто даже из наших, кроме занимающихся собственно словесностью, найдет в них для себя удовольствие или хоть препровождение времени? Будем благодарны Ломоносову, открывшему для поэтов сокровище родного языка, но перестанем его самого величать поэтом.

Державин получил от природы творческое, блестящее, крылатое воображение, какого ни прежде, ни после ни в ком не видали; но ему недоставало образования, и даже языка своего он порядком не знал. Хорошие и дурные стихи у него везде так перемешаны, что кажется, как будто он вовсе не умел различить, что хорошо и что худо; в ином стихотворении больше того, в ином сего: как удалось; тщательно написанного с начала до конца нет ни одного, разве самое маленькое; даже строфы его в десять стихов редко без греха, а рифмы часто так смело дурны, что и снисходительный слух ими оскорбляется. Лесть с восторгом уже в то время всем надоела; он начал льстить с примесью шутки, и успех был выше меры, похвалы без числа. Сверх чаянья вдруг получив славу, он утвердился в ложной мысли, что труд в поэзии не нужен, и даже вреден, тем что связывает волю и смущает порыв вдохновения; большинство чтецов то же подтвердило, и так без труда продолжал он сочинять до глубокой старости, что дальше, то хуже. Я бы причел ему в большое достоинство опыты новых, дотоле не употребляемых размеров, но, по очевидной небрежности сих опытов, приходит на ум: не для того ли он творил их, чтобы доказать примером кое-каким ценителям трудностей, как они легки, как нипочем рожденному с гением? Вот ради чего, не зная языков, он переводил и оды Пиндара, и кантаты Ж.-Б. Руссо, и даже Расинову «Федру». При всем том в «Водопаде», во многих посвященных Фелице стихотворениях, в некоторых анакреонтических, в «Порфирородном отроке» заключаются такие высокие красоты, что, разбранив его по всей справедливости, хочется просить на коленях прощения.

Прости меня и ты, милый мой, вечнопамятный А. С.! Ты бы не совершил, даже не предпринял неблагодарного труда Ломоносова, не достало бы твоего терпенья; но ведь и то молвить: ты белоручка, столбовой дворянин, а он был рыбачий сын, тертый калач. Скажи, свет мой! как ты думаешь, равен ли был твой гений гению старика Державина, от которого ты куда-то спрятался на лицейском собраньи?

Пусть потомство поставит вас в меру. Во всяком случае, благодари судьбу; ты родился в лучшее время; учился, положим, «чему-нибудь и как-нибудь», да выучился многому: умному помогает бог. Твои стихотворения не жмутся в тесном кругу России наших дедов; грамотные русские люди читают их всласть; прочтут и чужие, лишь бы выучиться им по-нашему; а не учатся покуда оттого, что таких, как ты, не много у нас. Будут ли? Господь весть! Но мне сдается, что — как говорит *Мельник* на вопрос Филимона: *Найдутся ли кони? — Найдутся, небось; да не скоро* [22].

А. М. КАРАТЫГИНА

МОЕ ЗНАКОМСТВО С А. С. ПУШКИНЫМ

1

В 1879 году на страницах «Русской старины» была напечатана эпиграмма, написанная на меня Александром Сергеевичем Пушкиным в лета нашей с ним юности.

⟨Все пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любови,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И огромная нога!⟩ [1]

Стихотворениям подобного рода знаменитый наш поэт не только не придавал никакого значения, но всего чаще, по миновании его безотчетной досады на лиц, не только совершенно безвинно, но и поделом им уязвленных, спешил залечить укол своей сатиры каким-нибудь любезным мадригалом или хвалебным дифирамбом. То же самое было и со стихами, которыми поэт ни за что ни про что ядовито посмеялся надо мною в роли «Эсфири».

Его «Послание к П. А. Катенину»:

⟨Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.

С досады, может быть, неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.

Погибни, злобы миг единый,
Погибни, лиры ложный звук!
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Моиной.

Так легкомысленной душой,
О боги! смертный вас поносит;
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит,—〉

должно было изгладить злую эпиграмму из памяти лиц, которым Пушкин читал ее; меня самое она более смешила, нежели огорчила: и теперь, по прошествии стольких лет, я не обратила бы особенного внимания на эту эпиграмму, явившуюся в печати, если бы это появление не было нарушением слова, данного мною Пушкину,— никогда не вспоминать о ней.

На эту строгость в исполнении данного слова мне могут возразить напоминанием о давности времени... Но Пушкин — вне законов давности: бессмертный в памяти всей России, он должен оставаться чист и безукоризнен в глазах потомства! Стихи, которых он впоследствии сам стыдился, не должны входить в собрание его сочинений, как бы мы ни дорожили его памятью... Скажу более: самое уважение к памяти Пушкина требует умолчания о тех из его мелких стихотворений, которым он сам не придавал никакой цены.

Как бы то ни было, но эпиграмма на мой третий дебют в роли *Эсфири* (3 января 1819 года) напечатана в весьма распространенном, уважаемом публикою издании; перепечатана во всех наших газетах. Эта огласка вызывает меня припомнить давно минувшее время и на страницах той же уважаемой «Русской старины» передать небольшой рассказ о моем знакомстве с незабвенным А. С. Пушкиным.

Готовясь к дебюту под руководством князя Шаховского (о котором так много любопытных рассказов в «Записках» моего покойного деверя П. А. Каратыгина, напечатанных в «Русской старине»), я иногда встречала Пушкина у него в доме. Князь с похвалою отзывался о даровании этого юноши, не особенно красивого собою, резвого, вертлявого, почти мальчика...

«Сашу Пушкина» он рекомендовал своим гостям покуда только как сына Сергея Львовича и Надежды Осиповны; лишь через пять лет для этого «Саши» наступила пора обратной рекомендации, и о родителях его говорили: «они

отец и мать Пушкина»; их озарил отблеск славы гениального сына.

Знакомцы князя Шаховского — А. С. Грибоедов, П. А. Катенин, А. А. Жандр — ласкали талантливого юношу, но покуда относились к нему как старшие к младшему; он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Изредка, к слову о театре и литературе, будущий гений смешил их остроумною шуткой, экспромтом или справедливым замечанием, обличавшим его тонкий эстетический вкус и далеко не юношескую наблюдательность.

Встречаясь у князя Шаховского, мы взаимно не обращали друг на друга особенного внимания; а между тем семейство Пушкиных, жившее тогда в доме рядом с графинею Екатериною Марковною Ивелич (на Фонтанке, близ Калинкина моста), было точно так же близко знакомо с нею, как и мы с матушкою.

Пушкины и графиня Ивелич на страстной неделе говели вместе с нами в церкви театрального училища (на Офицерской улице, близ Большого театра).

Помню, как графиня Екатерина Марковна рассказывала мне, что Саша Пушкин, видя меня глубоко растроганною за всенощною великой пятницы, при выносе святой плащаницы, просил сестру свою, Ольгу Сергеевну, напомнить мне, что ему очень больно видеть мою горесть, тем более что спаситель воскрес; о чем же мне плакать?

Этой шуткой он, видимо, хотел обратить на себя мое внимание; сам же, конечно, не мог быть равнодушен к шестнадцатилетней девочке.

— Vous aviez seize ans, lorsque je vous ai vue,— говорил он мне впоследствии,— pourquoi ne me l'avez vous pas dit?

— Et alors? — смеялась я ему.

— C'est que j'adore ce bel âge! *

В «Онегине» Пушкин жестоко нападает на альбомы провинциальных барышень и великосветских барынь:

...Разрозненные томы
Из библиотеки чертей...—

---

* Вам было шестнадцать лет, когда я вас увидел, почему вы мне этого не сказали? — А что бы тогда? — А то, что я обожаю этот прекрасный возраст!

но в то время альбом был такой же неизбежной принадлежностью каждой барышни, как во времена наших бабушек — опахала. Я завела себе хорошенький альбом еще в бытность мою в пансионе. Бережливости ради я обложила его сафьянный переплет листом чистой бумаги. Впоследствии эту обертку и я сама и мои подруги испестрили разными росчерками, «пробами пера», карикатурными рожицами.

Раз, бывши в гостях у графини Ивелич, Пушкин увидал мой альбом и принялся его рассматривать; потом начал приставать к графине, чтобы она тайком от меня одолжила ему этот альбом на несколько времени, обещая написать в него стихи и что-нибудь нарисовать...

Графиня уступила его просьбам. Пушкин сдержал свое обещание: исписал несколько страниц очень милыми стихами и что-то нарисовал.

Грустно мне каяться в моем вандализме: впоследствии я затеряла этот альбом, не придавая ни стихам, ни рисункам Пушкина никакого значения!.. Так, увы, в большинстве случаев относятся современники гениальных писателей к их автографам: не дорожат ими, не сберегают их, тогда как потомство вполне справедливо считает бесценным малейший лоскут бумаги, к которому прикасалась рука творца «Руслана», «Онегина», «Кавказского пленника».

Но стихами и рисунками в моем альбоме Пушкин не ограничился. Он имел терпение скопировать все росчерки и наброски пером на бумажной обложке переплета: подлинную взял себе, а копиею подменил ее, и так искусно, что мы с графинею долгое время не замечали этого «подлога».

— Зачем вы это сделали? — спрашивали мы его.

— Старую обложку я оставил себе на память! — смеялся милый шалун.

Наконец он познакомился с нами и стал довольно часто посещать нас. Мы с матушкой от души его полюбили. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, «Саша Пушкин», бывая у нас, смешил своею резвостью и ребяческою шаловливостью. Бывало, ни минуты не посидит спокойно на месте; вертится, прыгает, пересаживается, пероет рабочий ящик матушки, спутает клубки гаруса в моем вышиванье, разбросает карты в гранпасьянсе, раскладываемом матушкою...

— Да уймешься ли ты, стрекоза! — крикнет, бывало, моя Евгения Ивановна,— перестань, наконец!

Саша минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Как-то матушка пригрозилась наказать неугомонного Сашу: «остричь ему когти»,— так называла она его огромные, отпущенные на руках ногти.

— Держи его за руку,— сказала она мне, взяв ножницы,— а я остригу!

Я взяла Пушкина за руку, но он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают, и до слез рассмешил нас... Одним словом, это был сущий ребенок, но истинно благовоспитанный,— enfant de bonne maison.

В 1818 году, после жестокой горячки, ему обрили голову, и он носил парик. Это придавало какую-то оригинальность его типичной физиономии и не особенно ее красило.

Как-то в Большом театре он вошел к нам в ложу. Мы усадили его в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно. Ничуть не бывало! В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером [2]. Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах. Мы стали унимать шалуна, он же со стула соскользнул на пол и сел у нас в ногах, прячась за барьер; наконец кое-как надвинул парик на голову, как шапку: нельзя было без смеха глядеть на него! Так он и просидел на полу во все продолжение спектакля, отпуская шутки насчет пиесы и игры актеров. Можно ли было сердиться на этого забавника?

Но за что Пушкин мог рассердиться на меня, чтобы после наших добрых отношений бросить в меня пасквилем? Нет действия без причины, и в данном случае, как я узнала впоследствии, причиною озлобления Пушкина была нелепая сплетня, выдуманная на мой счет каким-то «доброжелателем».

Говоря о Пушкине у князя Шаховского, Грибоедов назвал поэта «мартышкой» (un sapajou). Пушкину перевели, будто бы это прозвище было дано ему — мною! Плохо же он знал меня, если мог поверить, чтобы я позволила себе так дерзко отозваться о нем, особенно о его наружности; но как быть! Раздраженный, раздосадованный, не взяв труда доискаться правды, поэт осмеял меня (в 1819 году) в этом пасквиле [3].

Катенин и Грибоедов пеняли ему, настаивали на том, чтобы он извинился передо мною; укоряя его, они говорили, что выходка его тем стыднее, что ее могут приписать угодливости поэта «Клитемнестре» (так называли они К. С. Семенову). Пушкин сознался в своей опрометчивости, ругал себя и намеревался ехать ко мне с повинной... Но тут последовала его высылка из Петербурга, и в течение семи или восьми лет мы с ним не видались.

Далее я расскажу о нашей встрече после этой долгой разлуки: теперь же, к слову, припомню о Катерине Семеновне Семеновой.

Никогда, во все продолжение одновременной моей службы с Семеновой, я не унижала себя завистью и, еще того менее, соперничеством с нею. Одаренная громадным талантом, но равномерно ему и себялюбивая, Семенова желала главенствовать на сцене. Желание неисполнимое! Превосходная трагическая актриса, она была невозможна в высокой комедии и современной драме (la haute comédie et le drame moderne), то есть именно в тех ролях, в которых я заслуживала лестное для меня одобрение публики. Каждому свое! Неподражаемая Федра, Клитемнестра, Гекуба, Медея, Семенова не могла назваться безукоризненною в ролях Моины, Химены, Ксении, Антигоны, Ифигении.

П. А. Каратыгин в своих «Записках» рассказывает, как однажды Катерина Семеновна Семенова и Софья Васильевна Самойлова играли наивных девочек в комедии И. А. Крылова «Урок дочкам»; в другой раз, по той же шаловливости, Семеновой вздумалось играть роль субретки Саши в «Воздушных замках» Н. И. Хмельницкого... Оно, действительно, было очень смешно; но с тем вместе это было глумление самой актрисы над собственным талантом и над сценическим искусством... Ни за какие блага в мире я не позволила бы себе, в бытность мою на сцене, играть роль в каком-нибудь водевиле!

Впоследствии времени, когда Катерина Семеновна, тогда уже княгиня Гагарина, приезжала в Петербург из Москвы по поводу несчастного семейного процесса ее дочери, она часто бывала у нас, обедывала и проводила вечера. Мы вспоминали с нею былое, ее беспричинную вражду, неосновательное подозрение меня в невозможном соперничестве и от души смеялись...

До самой кончины княгини Гагариной мы были с нею в самых добрых и приязненных отношениях. Когда она

скончалась, мы с мужем провожали ее прах на Митрофаниевское кладбище и присутствовали на отпевании. Немногие лица из театрального мира отдали последний долг знаменитой актрисе. При этих проводах я вспомнила погребение Ивана Афанасьевича Дмитревского (в октябре ⟨1821⟩ года); тогда представителями драматической труппы точно так же были: В. А. Каратыгин и я — тогда еще Колосова-младшая.

2

Пушкина, после его отъезда на юг России и возвращения из ссылки, я увидела в 1827 году, когда я была уже замужем за Василием Андреевичем. Это было на Малом театре (он находился на том самом месте, где теперь Александринский).

В тот вечер играли комедию Мариво «Обман в пользу любви» («Les fausses confidences»), в переводе П. А. Катенина. Он привел ко мне в уборную «кающегося грешника», как называл себя Пушкин [4].

— «Размалеванные брови»,— напомнила я ему, смеясь.

— Полноте, бога ради,— перебил он меня, конфузясь и целуя мою руку,— кто старое помянет, тому глаз вон! Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве!..

Слово было дано; мы вполне примирились... За «Сашу Пушкина» передо мною извинился Александр Сергеевич Пушкин — слава и гордость родной словесности!

С мужем моим он сблизился в доме покойного князя Владимира Федоровича Одоевского, где собирались: граф Михаил Юрьевич Виельгорский, Веневитинов, граф В. А. Соллогуб и многие другие [5].

Впоследствии времени, уже в начале тридцатых годов, Александр Сергеевич при И. А. Крылове читал у нас своего «Бориса Годунова». Он очень желал, чтобы мы с мужем прочитали на театре сцену у фонтана, Димитрия с Мариною. Несмотря, однако же, на наши многочисленные личные просьбы, гр. А. Х. Бенкендорф, с обычною своею любезностью и извинениями, отказал нам в своем согласии: личность самозванца была тогда запрещенным плодом на сцене [6].

После того Пушкин подарил моему мужу, для его бенефиса, своего «Скупого рыцаря»... Но и эта пьеса не была играна при жизни автора по каким-то цензурным недоразумениям...[7]

Одним словом, дружественные наши отношения к Пушкину продолжались по самый день его несчастной кончины. В самую ее минуту я дожидалась в санях у подъезда квартиры Александра Сергеевича, известясь о его положении: муж мой, выйдя ко мне с графом Виельгорским и князем Петром Андреевичем Вяземским, сообщил мне тогда роковую весть, что Пушкина не стало!

По присланному нам приглашению от Наталии Николаевны Пушкиной, мы с мужем присутствовали при отпевании великого поэта в Конюшенной церкви; мы оплакивали его, как родного... Да и могло ли быть иначе!

К сожалению, как говорят французы: le sinistre trébuche quelquefois sur le ridicule (печальное иногда спотыкается о смешное). Я стояла близ гроба в группе дам, между которыми находилась добрая, искренно мною уважаемая Елизавета Михайловна Хитрово. Заливаясь слезами, выражая свое сожаление о кончине Пушкина, она шепнула мне сквозь слезы, кивнув головою на стоявших у гроба официантов во фраках, с пучками разноцветных лент на плечах:

— Voyez, je vous prie, ces gens: sont-ils insensibles?* Хоть бы слезинку проронили! — Потом она тронула одного из них за локоть: — Что же ты, милый, не плачешь? Разве тебе не жаль твоего барина?

Официант обернулся и отвечал невозмутимо:

— Никак нет-с. Мы, значит, от гробовщика, по наряду.

— Плакать мне какая стать:
Ведь я не здешнего прихода! —

шепнул нам С. А. Соболевский.

— И можно ли требовать слез от наемника? — продолжал он, обращаясь к Елизавете Михайловне.— Да и вы сами, быть может, умерите ваши сетования, если я вам напомню, что покойный отзывался о вас не совсем-то благосклонно...

— Что же такое? — спросила Елизавета Михайловна.

— Но вы не рассердитесь? Оно, конечно, здесь и не

* Посмотрите, прошу вас, на этих людей: не бесчувственны ли они?

место и не время поминать лихом нашего Пушкина, однако же зачем скрываться. Как-то под веселый час Александр Сергеевич написал такого рода стишки:

Лиза в городе жила,
С дочкой Долинькой;
Лиза в городе слыла
Лизой голенькой [8].

Окончания не припомню; знаю только, что в этих стихах, прочитанных Соболевским, Пушкин довольно зло посмеялся над Елизаветой Михайловной, в особенности над ее слабостью рядиться не по летам.

При всей своей незлобивости и любви к Пушкину, она, видимо, рассердилась и во все продолжение церковной службы была угрюма и молчалива.

Эта выходка Соболевского, неуместная и неприличная,— тем более со стороны человека, имевшего притязания быть другом Пушкина,— раздосадовала и меня. Не ручаюсь за подлинность стихов, читанных Соболевским: не были ли они его собственным произведением, выданным за сочинение Пушкина? По окончании богослужения я заметила Сергею Александровичу, что эти стихи он мог бы прочитать при иной обстановке.

— Совершенно с вами согласен,— отвечал он,— но мне надоели стенания и причитывания Елизаветы Михайловны: вы видели, что после стихов она их прекратила!

Весьма сожалею, что с воспоминанием о прощании с останками Пушкина у меня сопряжен этот эпизод со стихами его или Соболевского... Не имею причин злословить памяти ни того, ни другого; тем не менее — факт налицо.

К слову о Пушкине, припомню о его отце, Сергее Львовиче. В одну из моих с ним встреч он рассказывал мне о своем участии в любительских спектаклях в Москве. Он отличался во французских пиесах, а Федор Федорович Кокошкин (по его словам) был его несчастным соперником в русских. Он играл в «Димитрии Донском» и в «Мизантропе» своего перевода. Шутливые свои рассказы он заключил анекдотом:

— Когда хоронили жену Кокошкина (рожденную Архарову) и выносили ее гроб мимо его кабинета,— куда отнесли лишившегося чувств Федора Федоровича,— дверь вдруг отворилась, и на пороге явился он сам, с поднятыми

на лоб золотыми очками, с распущенным галстухом и с носовым платком в приподнятой руке.

— Возьми меня с собою! — продекламировал он мрачным голосом вслед за уносимым гробом.

— C'était la scène la plus réussie de toutes celles que je lui ai vu représenter! * — заключил свой рассказ Сергей Львович Пушкин.

Когда я потом рассказывала это Александру Сергеевичу, он заметил, смеясь:

— Rivalité de métier! **

Вот все, что сохранилось в моей памяти о Пушкине, вместе с благоговением к его бессмертному имени.

---

* Это была сцена, наиболее удавшаяся из всех тех, которые я видел в его исполнении.

** Соперничество по ремеслу.

Ф. Н. ГЛИНКА

ПИСЬМО К П. И. БАРТЕНЕВУ С ВОСПОМИНАНИЯМИ О ВЫСЫЛКЕ А. С. ПУШКИНА ИЗ ПЕТЕРБУРГА В 1820 ГОДУ

1866 г. Тверь. Апреля 3-е число.

Милостивый государь,
Петр Иванович!

На письмо Ваше от 21-го марта [1] отвечал бы я сейчас, если б грыпп на несколько дней и затем наступившие *дни визитов* не помешали мне. Я с Вами уже вполовину знаком по Вашему прекрасному изданию, которым пользовался прежде в Клубе, а теперь выписал для себя и читаю, зачитываюсь и не могу начитаться «Русского архива». Тем охотнее отвечал бы я на Ваш вопрос, да время еще не пришло открывать всю подноготную, а потому с некоторою сдержанностью я расскажу, сколько можно короче, как дело было.

Познакомившись и сойдясь с Пушкиным с самого выпуска его из Лицея, я очень его любил как Пушкина и уважал как в высшей степени талантливого поэта [2]. Кажется, и он был ко мне постоянно симпатичен * и дозволял мне говорить ему прямо на прямо насчет тогдашней его разгульной жизни. Мне удалось даже отвести его от одной дуэли [3]. Но это постороннее; приступаю к делу. Раз утром выхожу я из своей квартиры (на Театральной площади) [4] и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был, как и всегда, бодр и свеж, но обычная (по крайней мере, при встречах со мною) улыбка не играла на его лице, и легкий оттенок бледности замечался на щеках. «Я к вам!» — «А я от себя!» И мы пошли вдоль площади. Пушкин заговорил первый: «Я шел к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих (под моим именем) пиесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера,

* В *РА* вместо «и он был ко мне постоянно симпатичен» — «и он это чувствовал и потому».

когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему *пятьдесят* рублей, прося дать ему на прочтение мои сочинения, уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги». При этом рассказе я тотчас узнал *Фогеля* * с его проделками. «Теперь,— продолжал Пушкин, немного озабоченный,— меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего с ним взяться?.. Вот я и шел посоветоваться с вами...» Мы прислонились к стенке ** и обсуждали дело со всех сторон. В заключение я сказал ему: «Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности». Тут, еще поговорив немного, мы расстались: Пушкин пошел к Милорадовичу,— а мне путь лежал в другое место. Часа через три явился и я к Милорадовичу, при котором, как при генерал-губернаторе,

---

* Кто таков помянутый здесь *Фогель? Фогель* был одним из знаменитейших, современных ему, агентов тайной полиции. В чине надворного советника он числился (для вида) по полиции; но действовал отдельно и самостоятельно. Он хорошо говорил по-французски, знал немецкий язык, как немец, говорил и писал, как русский. Молодежь называла его *Библейскою птицею:* потому что, кажется, у Сираха сказано: «Не говори худого о Властях, ибо Птица (Vogel) перенесет слова твои!» Во время *Семеновской истории* он много работал и удивлял своими донесениями. Служил он прежде у Вязмитинова, потом у Балашова, и вот один из фактов его искусства в ремесле.

В конце 1811-го года с весьма секретными бумагами на имя французского посла в С.-П-ге выехал из Парижа тайный агент. Его перехватили и провезли прямо в Шлюссельбургские казематы, а коляску его представили к Балашову, по приказанию которого ее обыскали, ничего не нашли и поставили в сарае с министерскими экипажами. *Фогеля* послали на разведку. Он разведал и объявил, что есть надежда открыть, если его посадят, как преступника, рядом с заключенным. Так и сделали. Там, отделенный только тонкою перегородкою от нумера арестанта, Фогель своими вздохами, жалобами и восклицаниями привлек внимание француза, вошел с ним в сношение, выиграл его доверенность и чрез два месяца неволи вызнал всю тайну. Возвратясь в С.-П-г, Фогель отправился прямо в каретный сарай, снял правое заднее колесо у коляски, велел отодрать *шину* и из выдолбленного под нею *углубления* достал все бумаги, которые, как оказавшиеся чрезвычайно важными, поднес министру. Вот какого полета была эта птица, носившаяся и над головою Пушкина! — *Ф.Г.* (В «Русском архиве» текст «Молодежь называла... ...слова твои!» опущен. *Примеч. ред.*)

** В *РА* вместо «Мы прислонились к стенке» — «Мы остановились».

состоял я, по высочайшему повелению, *по особым поручениям*, в чине полковника гвардии. Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, окутанный дорогими шалями, закричал мне навстречу: «Знаешь, душа моя! (это его поговорка) у меня сейчас был *Пушкин!* Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги, но я счел более *деликатным* (это тоже любимое его выражение) пригласить его к себе и уж от самого вытребовать его бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом, и, когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф! все мои бумаги сожжены! * — у меня ничего не найдете в квартире, но, если Вам угодно, все найдется *здесь* (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать десть ** бумаги [5], я напишу все, что когда-либо написано *мною* (разумеется, кроме печатного) с *отметкою*, что мое и что разошлось *под моим именем*». Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал *целую тетрадь*... вон *она* (указывая на стол у окна), полюбуйся!.. [6] Завтра я отвезу ее государю. А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным тоном и *манерою* (это тоже его словцо) обхождения». После этого перешли к очередным делам, а там занялись разговорами о собственных его делах — о *Вороньках* (имение в Полтавской губернии), где он выстроил великолепный дом, развел чудесный сад (он очень любил садоводство) и всем этим хотел пожертвовать для заведения *** института для бедных девиц Полт⟨авской⟩ губернии.

На другой день я постарался прийти к Милорадовичу поранее и поджидал возвращения его от государя. Он возвратился, и первым словом его было: «Ну, вот дело Пушкина и решено!» Разоблачившись потом от мундирной формы, он продолжал: «Я вошел к государю с своим сокровищем, подал ему *тетрадь* и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь! лучше этого не читать!» Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно, а наконец спросил: «А что ж ты сделал с автором?» — «Я?.. (сказал Милорадович) Я объявил ему от имени Вашего величества *прощение!*.. Тут мне показалось

* В *РА* вместо «все мои бумаги сожжены» — «все мои стихи сожжены».

** В *РА* слово «десть» опущено.

*** В *РА* вместо «для заведения» — «в пользу».

(продолжал Милорадович), что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с живостью сказал: «Не рано ли?!.» * Потом, еще подумав, прибавил: «Ну, коли уж так, то Мы ** распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить (его) на службу на Юг!» Вот как было дело. Между тем в промежутке двух суток разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. *Гнедич* с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах) бросился к Оленину; Карамзин, как говорили, обратился к государыне; [7] а (незабвенный для меня) Чеодаев хлопотал у Васильчикова, и всякий старался заложить слово за Пушкина. Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось буквально по решению.

Вот всё, милостивый государь! что в ответе на письмо Ваше я мог Вам написать с памяти о делах давно минувших лет и преданиях старины глубокой.

С истинным почитанием, имеет честь быть,
милостивый государь, Вам покорнопреданным
слугою

Ф. Глинка.

---

* В автографе слова «Не рано ли?!.» дважды подчеркнуты.

** В *РА* местоимение «Мы» передано с маленькой буквы, что исказило смысл автографа.

Е. П. РУДЫКОВСКИЙ

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

(Из записок медика)

Оставив Киев 19 мая 1820 года, я, в качестве доктора, отправился с генералом Раевским на Кавказ. С ним ехали две дочери и два сына, один полковник гвардии, другой капитан. Едва я, по приезде в Екатеринославль, расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала.

— Доктор! я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь; поспешите со мною!

Нечего делать — пошли. Приходим в гадкую избенку, и там, на дощатом диване, сидит молодой человек — небритый, бледный и худой.

— Вы нездоровы? — спросил я незнакомца.

— Да, доктор, немножко пошалил, купался: кажется, простудился.

Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага.

— Чем вы тут занимаетесь!

— Пишу стихи.

«Нашел,— думал я,— и время и место». Посоветовавши ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня [1].

Мы остановились в доме ⟨бывшего⟩ губернатора Карагеори. Поутру гляжу — больной уж у нас; говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Раевским по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма.

Пишу рецепт.

— Доктор, дайте чего-нибудь получше; дряни в рот не возьму.

Что будешь делать, прописал слабую микстуру. На рецепте нужно написать кому. Спрашиваю. «Пушкин»: фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу, как

самого простого смертного, и на другой день закатил ему хины. Пушкин морщится. Мы поехали далее. На Дону мы обедали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался, покушал бланманже и снова заболел.

— Доктор, помогите!

— Пушкин, слушайтесь!

— Буду, буду!

Опять микстура, опять пароксизм и гримасы.

— Не ходите, не ездите без шинели.

— Жарко, мочи нет.

— Лучше жарко, чем лихорадка.

— Нет, лучше уж лихорадка.

Опять сильные пароксизмы.

— Доктор, я болен.

— Потому что упрямы, слушайтесь!

— Буду, буду!

И Пушкин выздоровел. В Горячеводск мы приехали все здоровы и веселы. По прибытии генерала в город тамошний комендант к нему явился и вскоре прислал книгу, в которую вписывались имена посетителей вод. Все читали, любопытствовали. После нужно было книгу возвратить и вместе с тем послать список свиты генерала. За исполнение этого взялся Пушкин. Я видел, как он, сидя на куче бревен, на дворе, с хохотом что-то писал, но ничего и не подозревал. Книгу и список отослали к коменданту.

На другой день, во всей форме, отправляюсь к доктору Ц., который был при минеральных водах.

— Вы лейб-медик? приехали с генералом Раевским?

— Последнее справедливо, но я не лейб-медик.

— Как не лейб-медик? Вы так записаны в книге коменданта; бегите к нему, из этого могут выйти дурные последствия.

Бегу к коменданту, спрашиваю книгу, смотрю: там, в свите генерала, вписаны — две его дочери, два сына, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин.

Насилу я убедил коменданта все это исправить, доказывая, что я не лейб-медик и что Пушкин не недоросль, а титулярный советник, выпущенный с этим чином из Царскосельского лицея. Генерал порядочно пожурил Пушкина за эту шутку. Пушкин немного на меня подулся, и вскоре мы расстались. Возвратясь в Киев, я прочитал «Руслана и Людмилу» и охотно простил Пушкину его шалость.

М. Н. ВОЛКОНСКАЯ

ИЗ «ЗАПИСОК»

В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей третьей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой, которых я никогда не забуду: она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве, и несколько талантливых девиц. Прекрасное итальянское пение привело меня в восхищение, а мысль, что я слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее. Дорогой я простудилась и совершенно потеряла голос, а они пели как раз те вещи, которые я изучила лучше всего, и я мучилась от невозможности принять участие в пении. Я говорила им: «Еще, еще, подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки!» Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь; я знала его давно. Он был принят моим отцом в то время, когда его преследовал император Александр I за стихотворения, считавшиеся революционными.

Отец когда-то принял участие в этом бедном молодом человеке с таким огромным талантом и взял его с собой на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно подорвано. Пушкин никогда этого не забывал; связанный дружбой с моими братьями, он питал ко всем нам чувство глубокой преданности.

Как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было

покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта картинка была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет.

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Позже, в поэме «Бахчисарайский фонтан», он сказал:

...ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи.

В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел, но во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения: он хотел передать мне свое «Послание к узникам» для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александре Муравьевой. Вот оно:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра —
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора.

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Ответ князя Одоевского, государственного преступника, приговоренного к каторжным работам:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки
И — лишь оковы обрели.

Но будь спокоен, Бард,— цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
Обет святой пребудет с нами.

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Пушкин говорил мне: «Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на место происшествия, перевалю через Урал, проеду дальше и приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках». Он написал свою прекрасную книгу, которая привела всех в восхищение, но в наш край так и не попал.

В Чите я получила известие о смерти моего бедного Николая, моего первенца, оставленного мною в Петербурге.

Пушкин прислал мне на него эпитафию:

В сиянье, в радостном покое,
У трона Вечного Отца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца... [1]

РАССКАЗ, ЗАПИСАННЫЙ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

Раевский ехал на Кавказ с сыном Николаем, знакомцем Пушкина по Петербургу, двумя дочерьми, Марьею (14 лет) и девочкою Софьею, гувернанткой их — англичанкой Мятен, компаньонкою (крестная дочь Раевского, родом татарка, Анна Ивановна, сохранившая в выговоре и лице восточный отпечаток) и доктором-военным Рудыковским, довольно тяжелым человеком. Все это помещалось в двух каретах и коляске. Пушкина сначала поместили с младшим Раевским в коляске, а потом генерал взял его к себе в карету, потому что его сильно трясла лихорадка. Из Пятигорска, где уже находился старший сын Александр (он и после оставался на Кавказе), все они уезжали на горы Бешту пить железные, тогда еще вовсе не известные воды и жили

там в калмыцких кибитках, потому что никакого строения не было [1].

Раевского всюду встречали с большим почетом; в городах выходили к нему навстречу обыватели с хлебом и солью. При этом он, шутя, говаривал Пушкину: «Прочтика им свою Оду [2]. Что они в ней поймут?» Вообще он подразумевал, что Пушкин принадлежит к масонам [3], дразнил его и уверял, что из их намерений ничего не выйдет. Он взял слово с обоих сыновей, что они не вступят ни в какое тайное общество.

Броневский [4] был холостяк. Раевский ему покровительствовал.

Из Керчи в Юрзуф они плыли на военном бриге, который нарочно отдан был в распоряжение Раевским. Ночью Пушкин ходил по палубе и бормотал стихи [5].

Гурзуф — лучшая тогда дача на южном берегу принадлежала герцогу Ришелье, который предложил Раевскому поместиться в ней. Дом двухэтажный, с двумя балконами, один на море, другой в горы. Тут же вблизи татарская деревня. Там ждала путешественников остальная семья Раевского, жена Софья Алексеевна (Константинова) и еще две дочери, старшая всем Екатерина (теперь Орлова) и Елена лет 16-ти. Пушкин особенно любезничал с первой, спорил с ней о литературе и пр. Елена была девушка очень стыдливая, серьезная и скромная. Она отлично знала по-английски и переводила из Байрона и В. Скотта на французский язык; но втихомолку рвала свои переводы и бросала. Брат рассказал о том Пушкину, который под окном подбирал клочки бумаг и обнаружил тайну. Он восхищался этими переводами, уверял, что они необыкновенно близки. В Гурзуфе Пушкин достал какую-то старинную библиотеку и перечитывал Вольтера. Все разговоры иначе не велись, как по-французски.

Оттуда Пушкин с Раевским и сыном уехали раньше остальной семьи и заезжали под Киевом к бабушке Давыдовой.

Е. Н. РАЕВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ Е. Н. РАЕВСКОЙ В ЗАПИСИ Я. К. ГРОТА

Александр, страдая от раны в ноге, лечился на Кавказе еще до приезда туда Пушкина с некоторыми из членов этого семейства [1]. ⟨...⟩

Александр Раевский был чрезвычайно умен и тогда уже успел внушить Пушкину такое высокое о себе понятие, что наш поэт предрекал ему блестящую известность. Позднее, когда они виделись в Каменке и Одессе, Александр Раевский, заметив свое влияние на Пушкина, вздумал трунить над ним и стал представлять из себя ничем не довольного, разочарованного, над всем глумящегося человека. Поэт поддался искусной мистификации и написал своего «Демона». Раевский долго оставлял его в заблуждении, но наконец признался в своей шутке, и после они часто и много смеялись, перечитывая вместе это стихотворение, об источниках и значении которого так много было писано и истощено догадок [2].

С меньшим братом, Николаем, Пушкин был еще более дружен и считал себя ему обязанным за какую-то важную услугу [3]. Они познакомились еще в Петербурге. Николай Раевский страстно любил литературу, музыку, живопись и сам писал стихи. На обратном пути с Кавказа он как-то повредил ногу, и это было поводом остановки путешественников в Юрзуфе. Катерина Николаевна решительно отвергает недавно напечатанное сведение, будто Пушкин учился там под ее руководством английскому языку. Ей было в то время 23 года, а Пушкину 21, и один этот возраст, по тогдашним строгим понятиям о приличии, мог служить достаточным препятствием к такому сближению. По ее замечанию, все дело могло состоять разве только в том, что Пушкин с помощью Н. Н. Раевского в Юрзуфе читал Байрона и что когда они не понимали какого-нибудь слова, то, не имея лексикона, посылали наверх к Катерине Николаевне за справкой. Здесь же Николай Николаевич, первый, познакомил Пушкина с поэзией Шенье [4].

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

ИЗ «ЗАПИСОК»

При торжественном открытии Лицея находился Тургенев; от него узнал я некоторые о том подробности. Вычитывая воспитанников, сыновей известных отцов, между прочим назвал он одного двенадцатилетнего мальчика, племянника Василья Львовича, маленького Пушкина, который, по словам его, всех удивлял остроумием и живостью. Странное дело. Дотоле слушал я его довольно рассеянно, а когда произнес он это имя, то вмиг пробудилось все мое внимание. Мне как будто послышался первый далекий гул той славы, которая вскоре потом должна была греметь по всей России, как будто вперед что-то сказало мне, что беседа его доставит мне в жизни столько радостных, усладительных, а чтение его столько восторженных часов.

В начале 1817 года был весьма примечательный первый выпуск воспитанников из Царскосельского лицея; немногие из них остались после в безызвестности. Вышли государственные люди, как, например, барон Корф, поэты, как барон Дельвиг, военно-ученые, как Вальховский, политические преступники, как Кюхельбекер. На выпуск же молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» [1] как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата. Почти всегда со мною так было: те, которых предназначено мне было горячо любить, на первых порах знакомства нашего мне казались противны. Спросят: был ли и он тогда

либералом? Да как же не быть восемнадцатилетнему мальчику, который только что вырвался на волю, с пылким поэтическим воображением и кипучею африканскою кровью в жилах, и в такую эпоху, когда свободомыслие было в самом разгаре. Я не спросил тогда, за что его назвали «Сверчком»; теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос.⟨...⟩ Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказывать ему в таланте; другие искренно дивились его чудным стихам, но немногим открыто было то, что в нем было, если возможно, еще совершеннее,— его всепостигающий ум и высокие *чувства* прекрасной души его.

Три года прошло, как семнадцатилетний Александр Пушкин был выпущен из Лицея и числился в Иностранной коллегии, не занимаясь службой. Сие кипучее существо, в самые кипучие годы жизни, можно сказать, окунулось в ее наслаждения. Кому было остановить, остеречь его? Слабому ли отцу его, который и умел только восхищаться им? Молодым ли приятелям, по большей части военным, упоенным прелестями его ума и воображения, и которые, в свою очередь, старались упоевать его фимиамом похвал и шампанским вином? Театральным ли богиням, с коими проводил он большую часть своего времени? Его спасали от заблуждений и бед собственный сильный рассудок, беспрестанно в нем пробуждающийся, чувство чести, которым весь был он полон, и частые посещения дома Карамзина, в то время столь же привлекательного, как и благочестивого.

Он был уже славный муж по зрелости своего таланта и вместе милый, остроумный мальчик не столько по летам, как по образу жизни и поступкам своим. Он умел быть совершенно молод в молодости, то есть постоянно весел и беспечен: наука, которая ныне с каждым годом более забывается. Молодежь, охотно повторяя затверженные либеральные фразы, ничего не понимала в политике, даже самые корифеи, из которых я иных знал; а он, если можно, еще менее, чем кто. Как истый поэт, на весне дней своих, подобно соловью, он только что любил и пел. Как опыт, написал он уже чудесную свою поэму «Руслан и Людми-

ла», а между тем, как цветами, беспрестанно посыпал первоначальное свое поэтическое поприще прелестными мелкими стихотворениями.

Из людей, которые были его старее, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшому, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя, предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа генерала Ганнибала и гибкостию членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Стихи были хороши, не превосходны; слегка похвалив свободу, доказывал он, что будто она одна правителей народных может спасать от ножа убийцы; потом с омерзением и ужасом говорил в них о совершенных злодеяниях в замке, который имел перед глазами. Окончив, показал стихи, и не знаю, почему назвали их «Одой на Свободу». Об этом экспромте скоро забыли, и сомневаюсь, чтобы он много ходил по рукам. Ничего другого в либеральном духе Пушкин не писал еще тогда [2].

Заметя в государе наклонность карать то, что он недавно поощрял, граф Милорадович, русский Баярд, чтобы более приобрести его доверенность, сам собою и из самого себя сочинил нечто в виде министра тайной полиции. Сия часть, с упразднением министерства тайной полиции, перешла в руки графа Кочубея, который для нее, можно сказать, не был ни рожден, ни воспитан и который неохотно ею занимался. Для нее был нужен человек государственный, хотя бы не весьма совестливый, как у Наполеона Фуше, который бы понапрасну не прибегал к строгим мерам и старался более давать направление общему мнению. Отнюдь не должно было поручать ее невежественным и пустоголовым ветреникам, коих усердие скорее вредило, чем было полезно их государям, каковыми были, например, Милорадович и другой, которого здесь еще не время называть.

Кто-то из употребляемых Милорадовичем, чтобы подслужиться ему, донес, что есть в рукописи ужасное якобинское сочинение под названием «Свобода» недавно просла-

вившегося поэта Пушкина и что он с великим трудом мог достать его. Сие последнее могло быть справедливо, ибо ни автор, ни приятели его не имели намерения его распускать. Милорадович, не прочитав даже рукописи, поспешил доложить о том государю, который приказал ему, призвав виновного, допросить его. Пушкин рассказал ему все дело с величайшим чистосердечием; не знаю, как представил он его императору, только Пушкина велено... сослать в Сибирь [3]. Трудно было заставить Александра отменить приговор; к счастию, два мужа твердых, благородных, им уважаемых, Каподистрия [4] и Карамзин, дерзнули доказать ему всю жестокость наказания и умолить о смягчении его. Наш поэт причислен к канцелярии попечителя колоний южного края генерала Инзова и отправлен к нему в Екатеринослав, не столько под начальство, как под стражу. Это было в мае месяце.

Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен, надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали. Дотоле никто за политические мнения не был преследуем, и Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал. Он был в отношении к свободе то же, что иные христиане к религии своей, которые не оспаривают ее истин, но до того к ней равнодушны, что зевают при одном ее имени. И внезапно, ни за что ни про что, в самой первой молодости, оторвать человека от всех приятностей образованного общества, от столичных увеселений юношества, чтобы погрузить его в скуку Новороссийских степей. Мне кажется, у меня сердце облилось бы желчью и навсегда в ней потонуло. Если бы Пушкин был постарее, его могла бы утешить мысль, что ссылка его, сделавшись большим происшествием, объявлением войны вольнодумству, придаст ему новую знаменитость, как и случилось.

Если император Александр имел намерение поразить ужасом вольнодумцев, за безделицу не пощадив любимца друзей русской литературы, то цель его была достигнута. Куда девался либерализм? Он исчез, как будто ушел в землю; все умолкло. Но тогда-то именно и начал он делаться опасен. Люди, которые, как попугаи, твердили ему похвалы, скоро забыли о нем, как о брошенной моде. Небольшое же число убежденных или злонамеренных нашли, что

пришло время от слов перейти к действиям, и под спудом начали распространять его. И тогда начали составляться тайные общества, коих только пять лет спустя открылось существование.

Вольнолюбивые мнимые друзья Пушкина даже возрадовались его несчастию; они полагали, что досада обратит его наконец в сильное и их намерениям полезное орудие. Как они ошибались! В большом свете, где не читали русского, где едва тогда знали Пушкина, без всякого разбора его обвиняли, как развратника, как возмутителя. Грустили немногие, молча преданные правительству и знавшие цену не одному таланту изгнанника, но и сердцу его. Они за него опасались; они думали, что отчаяние может довести его до каких-нибудь безрассудных поступков или до неблагородных привычек и что вдали от нас угаснет сей яркий луч нашей литературной славы. К счастию, и они ошиблись.

Великая потеря, которую сделал он ⟨Алексеев⟩ с отбытием Бахметева, скоро заменена была прибытием дивизионного начальника, Михаила Феодоровича Орлова, который, как известно читателю, был опасной красой нашего «Арзамаса». Сей благодушный мечтатель более чем когда бредил въявь конституциями. Его жена, Катерина Николаевна, старшая дочь Николая Николаевича Раевского, была тогда очень молода и даже, говорят, исполнена доброты, которой через несколько лет и следов я не нашел. Он нанял три или четыре дома рядом и начал жить не как русский генерал, а как русский боярин. Прискорбно казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина. Домашний приятель, бригадный генерал Павел Сергеевич Пущин, не имел никакого мнения, а приставал всегда к господствующему. Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский (совсем не родня г-же Орловой) с жаром витийствовали. Тут был и Липранди ⟨...⟩. На беду, попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий, воспитанников московской Муравьевской школы, которые находились тут для снятия планов по всей области, с чадолюбием были восприняты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посе-

щал сей дом с другими соумышленниками русский генерал князь Александр Ипсиланти, шурин губернатора, когда

> На берега Дуная
> Великодушный Грек свободу вызывал.

Перед нашим Алексеевым, тайно исполненным дворянских предрассудков и монархических поверий, не иначе раскрылись двери, как посредством легонького московского оппозиционного духа. Для него, по крайней мере, знакомство сие было полезно, ибо оно сблизило его с Пушкиным, который и написал к нему известные послания в стихах.

Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии. Корпусной начальник Иван Васильевич Сабанеев, офицер суворовских времен, который стоял на коленях перед памятью сей великой подпоры престола в России, не мог смотреть на это равнодушно. Мимо начальника штаба Киселева, даже вопреки ему, представил он о том в Петербург. Орлову велено числиться по армии, Пущину подать в отставку. Охотников кстати умер, а Раевский заключен в Тираспольскую крепость; тем все и кончилось [5].

С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов поместил у себя жительством, поил, кормил его, оказывал ласки, и так осталось до самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать оказываемые ему одолжения, как Пушкин, хоть между прочими пороками, коим не был он причастен, накидывал он на себя и неблагодарность. Его веселый, острый ум оживил, осветил пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с начальником, сделался он смел и шутлив, никогда не дерзок; а тот готов был все ему простить. Была сорока, забавница целомудренного Инзова; Пушкин нашел средство выучить ее многим неблагопристойным словам, и несчастная тотчас осуждена была на заточение; но и тут старик не умел серьезно рассердиться. Иногда же, когда дитя его распроказничается, то более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания, сажал он его под арест, то есть несколько дней не выпускал его из комнаты. Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пушкин отзывался о нем.

«Зачем он меня оставил? — говорил мне Инзов,— ведь

он послан был не к генерал-губернатору, а к попечителю колоний; никакого другого повеления об нем с тех пор не было; я бы мог, но не хотел ему препятствовать. Конечно, в Кишиневе иногда бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода? Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней, сколько угодно? А с Воронцовым, право, несдобровать ему»[6].

Такие печальные предчувствия родительского сердца, хотя я и не верил им, трогали меня. Я писал к Пушкину, что непростительно ему будет, если он не приедет потешить старика, умолял его именем всех женщин, которых любил он в Кишиневе, навестить нас. И он в половине марта приехал недели на две, остановился у Алексеева и многих, разумеется, в том числе и меня, обрадовал своим приездом.

Он заставил меня сделать довольно странное знакомство. В Кишиневе проживала не весьма в безызвестности гречанка-вдова, называемая Полихрония, бежавшая, говорили, из Константинополя. При ней находилась молодая, но не молоденькая дочь, при крещении получившая мифологическое имя Калипсо и, что довольно странно, которая несколько времени находилась в известной связи с молодым князем Телемахом Ханджери. Она была не высока ростом, худощава, и черты у нее были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди приятного лица ее прилепив ей огромный ястребиный нос. Несмотря на то, она многим нравилась, только не мне, ибо длинные носы всегда мне казались противны. У нее был голос нежный, увлекательный, не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни; одну из них, с ее слов, Пушкин переложил на русский язык, под именем «Черной шали». Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она еще языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если б она жила в век Перикла, история, верно, сохранила бы нам ее вместе с именами Фрины и Лаисы.

Любопытство мое было крайне возбуждено, когда Пушкин представил меня сей деве и ее родительнице. В нем же самом не заметил я и остатков любовного жара, коим прежде горел он к ней. Воображение пуще разгорячено было

в нем мыслию, что лет пятнадцати будто бы впервые познала она страсть в объятиях лорда Байрона, путешествовавшего тогда по Греции. Ею вдохновенный, написал он даже известное, прекрасное послание к гречанке:

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей...— *и проч.*

Мне не соскучилось у этих дам, только и не слишком полюбилось. Не помню, ее ли мне завещал Пушкин, или меня ей, только от наследства я тотчас отказался. После отъезда Пушкина у этих женщин, не знаю, был ли я более двух раз.

В Одессе, где он только что поселился, не успел еще он обрести веселых собеседников; в Бессарабии звуки лиры его раздавались в безмолвной, а тут только что в шумной пустыне: никто с достаточным участием не в состоянии был внимать им. Встреча с человеком, который мог понимать его язык, должна была ему быть приятна, если б у него и не было с ним общего знакомства и он собою не напоминал бы ему Петербурга. Верно, почитали меня человеком благоразумным, когда перед отъездом Жуковский и Блудов наказывали мне стараться войти в его доверенность, дабы по возможности отклонять его от неосторожных поступков. Это было не легко: его самолюбие возмутилось бы, если б он заметил, что кто-то хочет давать направление его действиям. Простое доброжелательство мое ему полюбилося, и с каждым днем наши беседы и прогулки становились продолжительнее. Как не верить силе магнетизма, когда видишь действие одного человека на другого? Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое горе, часто заставляла меня забывать и собственное. С своей стороны, старался я отыскать струну, за которую зацепив мог бы я заставить заиграть этот чудный инструмент, и мне удалось. Чрезвычайно много

неизданных стихов было у него написано и между прочим первые главы «Евгения Онегина»; и я могу сказать, что я насладился примёрами (на русском языке нет такого слова) * его новых произведений. Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка. Часто со смехом, пополам с презрением, говорил он мне о шалунах-товарищах его в петербургской жизни, с нежным уважением о педагогах, которые были к нему строги в Лицее. Мало-помалу открыл я весь закрытый клад его правильных суждений и благородных помыслов, на кои накинута была замаранная мантия цинизма. Вот почему все заблуждения его молодости впоследствии от света разума его исчезли как дым.

Влюбчивого Пушкина нетрудно было привлечь миловидной ***, которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренно Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже об них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспалять их в других; и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его ⟨...⟩.

Еще зимой чутьем слышал я опасность для Пушкина, не позволял себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго. Он только что засмеялся [7].

Через несколько дней по приезде моем в Одессу встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько

* От *фр.* la première — свежесть, новизна.

самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унизительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отмене приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе *. Он ⟨Воронцов⟩ побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «Любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приязненных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце»,— а через полминуты прибавил: «Также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок.

Во всем этом было так много злого и низкого, что оно само собою не могло родиться в голове Воронцова, а, как узнали после через Франка, внушено было самим же Раевским. По совету сего любезного друга Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время, под диктовку того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу (aux travaux forcés), но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просить об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику, графу Нессельроде; в частном же письме к сему последнему поступки Пушкина представлены в ужасном виде. Недели через три после того, когда меня уже не было в Одессе, получен ответ: государь, по докладу Нессельроде, повелел Пушкина отставить от службы и сослать на постоянное жительство в отцовскую деревню, находящуюся в Псковской губернии [8].

---

* Раз сказал он ⟨Воронцов⟩ мне: «Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим?» — «Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами»,— отвечал я. «Так на что же они годятся?» — сказал он.

Не раз мне приходилось говорить о старшем сыне сестры моей Алексеевой, Александре Ильиче, которого оставил я в Ельце адъютантом при пьяном генерале графе Палене. Из особой милости к отцу покойный государь перевел потом обоих сыновей его в гвардию: старшего в конноегерский полк, а младшего в новый Семеновский. Хотя гвардейский конноегерский полк стоял в Новгороде, однако служивший в нем уже штабс-капитан Алексеев под разными предлогами жил почти безвыездно в Петербурге. Что он в нем делал? Почти одни шалости. Он любил поплясать, погулять, поиграть, но отнюдь не был буяном; напротив, какая-то врожденная ластительность (câlinerie) всегда в отношении к нему склоняла родителей и начальство к снисходительности, может быть, излишней.

Я сам был обезоружен его ласковым и услужливым характером, как вдруг в начале октября (1826 г.) я узнаю, что он схвачен и под караул отправлен в Москву. Вот что случилось. Кто-то еще в марте дал ему какие-то стихи, будто Пушкина, в честь мятежников 14 декабря; у него взял их молоденький гвардейский коннопионерный офицер Молчанов, взял и не отдавал, а тот об них совсем позабыл. Так почти всегда водилось между армейскими офицерами: немногие знали, что такое литература; возьмут, прочитают стишки, выдаваемые за лихие, отдадут другому, другой третьему и так далее. То же самое и с книгами: тот, который имел неосторожность дать их и кому они принадлежат, никогда их не увидит.

Между тем лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что у офицера Молчанова находятся возмутительные стихи. Бедняжку, который и забыл об них, схватили, засадили, допросили, от кого он их получил? Он указал на Алексеева. Как за ним, так и за Пушкиным, который все еще находился ссыльным в псковской деревне, отправили гонцов.

Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта, мнимого бунтовщика, показал ему стихи и спросил, кем они написаны? Тот не обинуясь сознался, что он. Но они были писаны за пять лет до преступления, которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны под названием «Андрей Шенье». В них Пушкин нападает на революцию, на террористов, кровожадных безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения, впрочем, одинакового содержания, неизвестно почему цензура не пропустила,

и этот непропущенный лоскуток, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики, послужил обвинительным актом против них [9]. Среди бесчисленных забот государь, вероятно, не захотел взять труда прочитать стихи; без того при малейшем желании увидел бы он, что в них не было ничего общего с предметом, на который будто они были написаны. Пушкин умел ему это объяснить, и его умная, откровенная, почтительно-смелая речь полюбилась государю. Ему дозволено жить, где он хочет, и печатать, что он хочет. Государь взялся быть его цензором с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу, и до конца жизни своей остался он под личным покровительством царя.

Иная участь ожидала бедных офицеров. По крайней мере, Молчанову, во мзду его признания, дозволено было оставить службу. Но Алексеев, который не хотел или, лучше сказать, не мог назвать того, кто дал ему стихи, по привезении в Москву, где нет крепости, посажен был в острог, в сырую, только что отделанную комнату, в которой скоро расстроилось его здоровье, и он едва не потерял зрение.

⟨...⟩ В креслах я встретил двух одесских знакомых, Пушкина и Завалиевского. Увидя первого, я чуть не вскрикнул от радости; при виде второго едва не зевнул. После ссылки в псковской деревне Москва должна была раем показаться Пушкину, который с малолетства в ней не бывал и на неопределенное время в ней остался. Я узнал от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать. Это было почти накануне моего отъезда, и оттого не более двух раз мог я видеть его; сомневаюсь, однако, если б и продлилось мое пребывание, захотел ли бы я видеть его иначе, как у себя. Он весь еще исполнен был молодой живости и вновь попался на разгульную жизнь: общество его не могло быть моим. Особенно не понравился мне хозяин его квартиры, некто Соболевский. Хотя у него не было ни роду ни племени, однако нельзя было назвать его не помнящим родства, ибо недавно умерла мать его, некая богатая вдова, Анна Ивановна Лобкова, оставив ему хороший достаток, и незаконный отец его, Александр Николаевич Соймонов, никак от него не отпирался, хотя и не имел больших причин его любить. Такого рода люди, как уже где-то сказал я, все берут с бою и наглостью стара-

ются предупредить ожидаемое презрение. Этот был остроумен, даже умен и расчетлив и не имел никаких видимых пороков. Он легко мог бы иметь большие успехи и по службе, и в снисходительном нашем обществе, но надобно было подчинить себя требованиям обоих. Это было ему невозможно, самолюбие его было слишком велико. Оставив службу в самом малом чине, он жил всегда посреди так называемой холостой компании. Слегка уцепившись за добродушного Жуковского, попал он и на Вяземского; без увеличения, без упоения разделял он шумные его забавы и стал искать связей со всеми молодыми литературными знаменитостями. Как Николай Перовский лез на знатность, так этот карабкался на равенство с людьми, известными по своим талантам. Находка был для него Пушкин, который так охотно давал тогда фамильярничать с собою: он поместил его у себя, потчевал славными завтраками, смешил своими холодными шутками и забавлял его всячески. Не имея ни к кому привязанности, человек этот был желчен, завистлив и за всякое невнимание лиц, ему даже вовсе посторонних, спешил мстить довольно забавными эпиграммами в стихах, кои для успеха приписывал Пушкину[10].

Ф. Н. ЛУГИНИН

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1822

17 мая, середа... Ввечеру был в саду, где ходит несколько офицеров, молдаваны в высоких круглых шапках (самые богатые и знатные); другие не так высоких шапках, но все вроде поповских ряс, полукафтанов разного цвета, снизу коих есть еще узкий кафтан, юбка и панталоны. Дамы одеваются по-европейски; здесь много греков, сербов, арнаутов, коих одеяние очень красиво. Турков очень <?> мало, есть сербы. Экипажей в городе видно очень много, все коляски и кареты. Город велик, но выстроен нехорошо. Улицы тесны, переулков тьма, домов каменных очень мало, деревянных также, все мазанки по причине недостатку леса. Домы очень малы и тесны. Кишинев расположен в долине по реке Бык.

Сегодня был я в саду с Метлеркампфом и познакомился там с Пушкиным, который написал оду...

21 мая воскресенье... Сегодня приехали в Кишинев двое наших, Вельтман и Горчаков, с которыми я познакомился. Весь день был я скучен.

26 мая пятница... Воротившись домой, было уже темно, и я, раздевшись, долго читал роман Атала и Шактас [1], который взял я у Стамати, бывши нынче после обеда у них.

2 июня пятница... Вечером зашел ко мне Горчаков. Сидели, разговаривали и между прочим читали комедию «Не любо, не слушай, а лгать не мешай»... [2]

4 июня, воскресенье. Наконец собрался и я сходить к обедне и был в здешней Митрополии, где бывает довольно много. Видел там Пушкина... [3]

5 июня, понедельник... Оставшись свободен, пошел я к Метлеркампфу, от коего узнал, что полковник очень сердит на меня и, по крайней мере, столько же, как на Полторацких, и что теперь буду ходить я в чертежную;

у Метлеркампфа был Ралли. Разговор начался мундирами, потом судили об дуэлях и, наконец, об войне, где, по словам капитана, главное иметь должно храбрость, но что она без силы! Посидев с час, капитан пошел в сад, а я с Ралли отправился к Стамати. Сестры и меньшего брата не было дома, и я провел часа два, разговаривая со стариками и еще какою-то дамою-старухою.

Бессарабия и Молдавия ужасно плодородны — жители свободны, отчего здесь пропасть русских, бежавших от господ. Господа имеют здесь только землю, мужики живут на условии работать несколько времени 25 и 30 дней на господина. В Молдавии главный город Яссы, в Валахии — Бухарест. Господа носят здесь огромные шапки двух фасонов. Но борода означает здесь чин, штаб-офицеры носят легкие шубы, меху что на царских мантиях, шлафороки с широкими рукавами, внизу коих есть это платье. Экипажей хотя здесь много, но особенного вкуса и рода от московских. Кучера одеваются по-гусарски и ездят более парами. Народ вообще бород не носит; булгары носят все красные ермолки, панталоны широкие, связанные внизу так, что заменяют чулок; носят усы. Посидев часу до 1-го у Стамати, пошел я домой, взяв у них книги Коцебу, Анахарзиса и Овидия «L'art d'aimer» * [4].

11 июня, воскресенье, в Кишиневе. Ныне был я опять у обедни в Митрополии, хотя и застал уже на конце. Там был также полковник наш — и я был в мундире. От обедни зашел я к Метлеркампфу и предложил отдать визит Ралли и Литке, которые вчера у меня были. Пошли, и я познакомился с этим домом. Старик Ралли Симфераки старый молдаванский бояр. Дочери его, одна за г-м Стамо, другая, Мария, еще не замужем, и трое больших сыновей. Я пробыл у них до обеда, но как впервой неловко было остаться обедать, то я и ушел. Познакомился также с одним офицером Герасимовским. У Ралли были Пушкин и Катаржи, капитан лейб-драгунский. Пришед от них, писал журнал и часов в 6 был в саду — где нынче было очень довольно и музыка была. Из знакомых мне были Стамати два и сестра их, все Симфераки, Пушкин и Катаржи.

P. S. Бессарабия, Крым и вся Валахия и Греция принадлежали римлянам. Бессарабия служила ссылкою Рима. Сюда был сослан Овид,— и вообще это была колония римлян, которые смешались с природными жителями:

* «Искусство любви».

молдаванами, валахами, сербами, татарами, что можно заметить из языка молдаванского, который очень похож на итальянский. Римляне для удержания татар построили при императоре Трояне трояновский вал. Сверх того, замечается, еще видна граница из огромных камней, прикрытых укреплениями... После того Молдавия и Бессарабия составляли одно княжество, также и Валахия. Они имели беспрестанно войны с татарами, турками, от чего народ получил вольность. Татары отняли Буджак. Молдавия приняла покровительство турок. Наконец в 12-м году часть Молдавии присоединяется к России, и теперь только жители ожили, а то татары делали беспрестанные набеги.

В Кишиневе садов и оранжерей мало, и оттого в половине июня нет огурцов; плоды — вишни, черешни, сливы, абрикосы, персики, апельсины, клубники, малины, земляники — ничего более нет, также арбузы и дыни.

В Кишиневе почти все говорят по-французски. Дамы любят музыку — танцы такие же, как и в Москве. Местоположение гористо, много колодцев. Лесу и ручейков мало. Недалеко от Кишинева есть отверстие между двумя хребтами, гора, которое идет до самого Черного моря. Бугров везде пропасть. Климат — от 10 до 3 часов жарко и несносно, бывает градусов до 30. Прочее время прохладно, ночи свежи. В марте месяце бывает зелень. Зимы бывают редко холодные — часто бывают большие ветры, земля плодородна, когда нет засухи,— очень способна к разведению садов, но здесь до этого не охотники. Губернатор здесь Инзов, вице-губернатор Крупенский. Молдаване ходят мало пешком. Ездят более всего все парами, экипажи хорошо разрисованы золотом. Хлеб более белой, народ ест все мамалыгу — из проса; пашут на волах — телеги здесь ужасно высоки, никогда не мажут, и скрып ужасный. Ночью в Кишиневе беспрестанный крик, чтоб береглись от огня, и вопрос — кто идет. Собак тьма, и их, стараясь перевести, бьют. Много винограду бывает, как говорят. Я до сих пор ем только вишни, черешни. Хлеба у мужиков нет, но мамалыга; дров нет, и топят навозом и тростником. Прошедший год в Кишиневе было землетрясение, земель казенных мало; деньги — пиастр или лев имеет 40 пар, золотая монета 3 пиастра — 6 — и 12. Пиастр по-нашему 60 копеек, 2 пары — 3 копейки, за 100 р. дают 140 лев, за целковый дают 5 лев и 10 пар. Для весу здесь око — три фунта, литра — около фунта. Пьют все вино молдавское, которое не хорошо.

12 июня, понедельник... был у Метлеркампфа, куда пришли также и Стамати двое, а потом и Ралли; когда жар там поспал немного, пошли в сад, где нынче было также довольно: семейство Ралли, Пушкин, Катержи и я, познакомился поболее с мадам Стамати, которая премилая дама. Из сада отправились все к Стамати, где составился небольшой бал; под фортепиано танцевали мазурку, экосез, кадриль и вальсы и было очень весело — потом дрался я с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь — часу в 11-ом распростились и, как все зашли к Симфераки оттуда, то был и я, но недолго...

15 июня, четверг. С вечера еще нарисовал цель и поутру пошел стрелять, но, пустя тринадцать пуль, не попал ни одной. В чертежной рисовал часу до 1-го; после обеда ел, по обыкновению, вишни и ходил рисовать примерную картину Бессарабии в чертежную.

Вечером был в саду, довольно поздно, застал Катаржи и Пушкина, с обоими познакомились покороче — и опять дрались на эспадронах с Пушкиным, он дерется лучше меня и, следственно, бьет. Из саду были у Симфераки, и тут мы уже хорошо познакомились с Пушкиным. Он выпущен из Лицея, имеет большой талант писать. Известные сочинения его Ode sur la liberté, Людмила и Руслан, также Черная шаль; он много писал против правительства и тем сделал о себе много шуму, его хотели послать в Сибирь или Соловецкий монастырь, но государь простил его, и как он прежде просился еще в южную Россию, то и послали его в Кишинев с тем, чтоб никуда не выезжал. В первый раз приехал он сюда с обритой головой и успел уже ударить в рожу одного молдавана. Носились слухи, что его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге имел он за это дуэль. Также в Москву этой зимой хочет он ехать, чтоб иметь дуэль с одним графом Толстым, Американцем, который главный распускает эти слухи [5]. Как у него нет никого приятелей в Москве, то я предложил быть его секундантом, если этой зимой буду в Москве, чему он очень обрадовался. Пробыли мы часу до 12-го у Симфераки. Сам Симфераки уже старик, бедный очень болен, крив и хромает...

17 июня, суббота. Поутру кончил рисовать тушью, то есть вытягивать свой Кишинев. После обеда покрыл все кварталы краской, и вышло очень неровно. Пришед из чертежной, нашел Ралли Фед. Он у меня посидел, напился чаю, и пошли в сад, оттуда к Симфераки, где и проводили

вечер. Были Катаржи, немного посидел Пушкин. Метлеркампф и я говорили о мундирах.

18 июня, воскресенье. К обедне сегодня иттить поленившись, остался дома. Я думал докончить примерную карточку Бессарабии, как приехал Фонтон, которого не видал я уже с год. Очень обрадовался, и почти целое утро провели в спросах и расспросах. В Кишинев приехал также Вельтман, который был у меня после обеда. С Фонтоном были мы у полковника, который его любит. Он объявил, что получил отпуск и завтра отправляет меня на съемку к Гастферу...

В Фонтоне нашел я перемену. Он вырос, сперва, быв колонновожатым, был он шалун, а теперь с офицерства сделался тих. В Кишинев приезжал он, чтоб посоветоваться об грудной болезни, полученной от съемки. Он уже много знает по-молдавански. Следуя примеру его, купил я грамматику и буду учиться... После обеда он пошел к доктору, а я, написав журнал, отправился в сад, где нашел и Фонтона. Было ветрено, играла музыка. Ходили, разговаривали, смеялись часу до 9-го, в который пошел я к Симфераки. Сбирались к Стамати, но М. Стамо, Марифи и М-е Стамо не было, Метлеркампфа также. Пушкин, Катаржи и я пошли потанцевали не более двух часов только мазурку и вальсы, после чего я распрощался со всеми, ибо еду завтра,— танцевали мы под фортепиано. Катаржи едет нынче же в Бендеры. Пришед домой, я с час еще читал с Фонтоном комедию «Не любо, не слушай» вслух.

19 июня оставил Кишинев.

В. П. ГОРЧАКОВ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА ОБ А. С. ПУШКИНЕ

Не стану подробно описывать разнообразие племен, составляющих жителей города; скажу только несколько слов о самом положении Кишинева. Город разделяется на две главные части, известные под именем Старого и Нового базара, или, что все равно, на Старый и Новый город. Старый город расположен на самом прибрежье речки Быка; по расположению и постройке более походит на малороссийское селение, нежели на город, несмотря на то, что в этой части находятся главные ряды, Верховное правление и дом полномочного наместника, о котором я буду говорить впоследствии. Новый же город, занимая плоскую возвышенность, расположен правильно, выключая особой улицы, называемой *Булгария*, по имени своих поселенцев болгар, которые и в Новом городе сохраняют свои сельские обычаи и все признаки патриархальной жизни.

Из числа замечательных зданий Нового города были в то время Митрополия и дома: вице-губернатора Крупянского и члена Верховного правления Варфоломея. В доме Крупянского помещался сам хозяин, казенная палата и театр кочевых немецких актеров.

Услужливый фактор Мошка, принесший мне афишку на первое представление, в которой объявлялось, что будут представлены никогда не виданные штуки, рассказывал, между прочим, о театральной зале, как о чем-то волшебном. «Ай, ай, ай, какая та зала, ваше сиятельство,— говорил фактор,— ну, вот посмотрите, ваше благородие,— прибавил он,— ну, вот посмотрите». На этот раз фактор не обманул меня; в самом деле, когда я вошел в залу, то несмотря на то что лож не было, а вся разноплеменная публика, при бедном освещении сальными свечами и плошками, помещалась в партере, восхваляемая зала казалась великолепной. Треть этой залы занимали оркестр и сцена;

плафон темнел в каких-то кабалистических знаках; но на стенах я мог заметить расписные колонны, поддерживающие фриз, составленный из военных арматур русских. Это украшение на первую минуту показалось мне странным; но тут же я узнал, что в этой зале бессарабское дворянство угощало, в 1818 году, императора Александра, в первый раз посетившего Кишинев. Все эти подробности сообщил мне сидящий возле меня какой-то господин, доброй и обязательной наружности. По праву соседства, я как-то скоро с ним познакомился. Это был Н. С. Алексеев, недавний переселенец из Москвы, назначенный состоять при полномочном наместнике Бессарабии. Скромность приемов Николая Степановича и какая-то исключительная вежливость невольно к нему располагали. С полным доверием старого приятеля я разговорился с ним и обо всем его расспрашивал. Алексеев охотно удовлетворял моему любопытству. В числе многих особенно обратил мое внимание вошедший молодой человек небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить: что с тобою? Какая грусть мрачит твою душу? Одежду незнакомца составлял черный фрак, застегнутый на все пуговицы и такого же цвета шаровары.

Кто бы это, подумал я, и тут же узнал от Алексеева, что это Пушкин, знаменитый уже певец Руслана и Людмилы. После первого акта какой-то драмы, весьма дурно игранной, Пушкин подошел к нам; в разговоре с Алексеевым он доверчиво обращался ко мне, как бы желая познакомиться; но это сближение было прервано поднятием занавеса. Неловкие артисты сыграли второй акт еще хуже первого. Во втором антракте Пушкин снова подошел к нам. При вопросе Алексеева, как я нахожу игру актеров, я отвечал решительно, что тут разбирать нечего, что каждый играет дурно, а все вместе очень дурно. Это незначащее мое замечание почему-то обратило внимание Пушкина. Пушкин начал смеяться и повторял слова мои; вслед за этим, без дальних околичностей, мы как-то сблизились разговором, вспомнили наших петербургских артистов, вспомнили Семенову, Колосову. Воспоминания Пушкина согреты были неподдельным чувством воспоминания первоначальных

дней его петербургской жизни, и при этом снова яркую улыбку сменила грустная дума. В этом расположении Пушкин отошел от нас и, пробираясь между стульев, со всею ловкостью и изысканною вежливостью светского человека, остановился пред какой-то дамою; я невольно следил за ним и не мог не заметить, что мрачность его исчезла, ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывною речью, оживляемой всею пышностью восторжений. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся; прекрасные его зубы выказывались во всем блеске, улыбка не угасала.

На другой день, после первого свидания в театре, мы встретились с Пушкиным у брата моего генерала, гвардии полковника Федора Федоровича Орлова, которого благосклонный прием и воинственная наружность совершенно меня очаровали. Я смотрел на Орлова, как на что-то сказочное; то он напоминал мне бояр времен Петра, то древних русских витязей; а его Георгиевский крест, взятый с боя с потерею ноги по колено, невольно вселял уважение. Но притом я не мог не заметить в Орлове странного сочетания умилительной скромности с самой разгульной удалью боевой его жизни. Тут же я познакомился с двумя Давыдовыми, родными братьями по матери нашего незабвенного подвижника XII года, Николая Николаевича Раевского. Судя по наружным приемам, эти два брата Давыдовы ничего не имели между собою общего: Александр Львович отличался изысканностью маркиза, Василий щеголял каким-то особым приемом простолюдина; но каждый по-своему обошелся со мною приветливо. Давыдовы, как и Орлов, ожидая возвращения Михаила Федоровича, жили в его доме, принимали гостей, хозяйничали и на первый же день моего знакомства радушно пригласили меня обедать. Все они дружески обращались с Пушкиным; но выражение приязни Александра Львовича сбивалось на покровительство, что, как мне казалось, весьма не нравилось Пушкину [1].

В это утро много было говорено о так названной Пушкиным Молдавской песне «Черная шаль», на днях им только написанной [2]. Не зная самой песни, я не мог участвовать в разговоре; Пушкин это заметил, и по просьбе моей и Орлова обещал мне прочесть ее; но, повторив вразрыв некоторые строфы, вдруг схватил рапиру и начал играть ею; припрыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника. В эту минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться, Друганов отказывался. Пушкин настоятельно требовал и, как

резвый ребенок, стал шутя затрогивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукою, Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтоб предупредить раздор новых моих знакомцев, я снова попросил Пушкина прочесть мне Молдавскую песню *. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением; каждая строфа занимала его, и, казалось, он вполне был доволен своим новорожденным творением. При этом я не могу не вспомнить одно мое придирчивое замечание: как же, заметил я, вы говорите: «*в глазах потемнело я весь изнемог*», и потом: «*вхожу в отдаленный покой*».

— Так что ж,— прервал Пушкин с быстротою молнии, вспыхнув сам, как зарница,— это не значит, что я ослеп.

Сознание мое, что это замечание придирчиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки. При этом Пушкин, смеясь, начал мне рассказывать, как один из кишиневских армян сердится на него за эту песню. «Да за что же?» — спросил я. «Он думает,— отвечал Пушкин, прерывая смехом слова свои,— что это я написал на его счет».— «Странно»,— сказал я и вместе с тем пожелал видеть этого армянина — соперника мнимого счастливца с мнимой гречанкой. И боже мой, кого же я увидел, если б вы знали! самого неуклюжего старичка, армянина,— впоследствии общего нашего знакомца, Артемия Макаровича, которым я не могу не заняться. Про А. М. нельзя сказать, что он просто был глуп — нет, в нем даже была какого-то рода смышленость и острота; но о иных вещах его понятия совершенно были исключительны и противны здравому смыслу; а поэтому я напрасно ему доказывал всю нелепость негодования на Пушкина.

— Да, оно, конечно,— говорил А. М.,— оно, конечно, все правда, понимаю; да зачем же Пушкину смеяться над армянами!

Каково покажется: «Черная шаль», эта драматическая песня, выражение самой знойной страсти, есть насмешка над армянами! Но где тут насмешка и в чем, кто его знает! А между тем тот же А. М. под влиянием своих подозрений, при толках о Пушкине, готов был ввернуть свое словцо, не совсем выгодное для Пушкина, и таким-то образом нередко Пушкин наживал врагов себе.

---

* При первом появлении Пушкин назвал это стихотворение «Молдавской песнею». Начиналась она прямо рассказом: «Когда легковерен и молод я был» — и проч.

Утром 8 ноября мне дали знать, что начальник дивизии возвратился в Кишинев. Я поспешил явиться к генералу. Генерал благосклонно принял меня, наговорил много лестного, радушного, обнял, расцеловал меня и в то же время, отведя в сторону, сделал легонькое замечание *насчет формы;* но это замечание не оставило в генерале и слабого выражения негодования; он снова обратился ко мне с ласковым словом. Вошел Пушкин, генерал его обнял и начал декламировать: «Когда легковерен и молод я был» — и пр. Пушкин засмеялся и покраснел. «Как, вы уже знаете?» — спросил он. «Как видишь»,— отвечал генерал. «То есть, как слышишь»,— заметил Пушкин, смеясь. Генерал на это замечание улыбнулся приветливо. «Но шутки в сторону,— продолжал он,— а твоя баллада *превосходна,* в каждых двух стихах полнота неподражаемая,— заключил он, и при этих словах выражение лица Михаила Федоровича приняло глубокомысленность знатока-мецената;[3] но в то же время, взглянув быстро на нас обоих, «вы незнакомы?» — спросил он и, не ожидая ответа, произнес имена наши. «Мы уже знакомы»,— сказали мы в один голос, и Пушкин подал мне руку.

В это утро, как в день именин генерала, многие приезжали с поздравлением, радушный прием был для каждого, слова привета рассыпались щедро.

Между многими я в особенности заметил одного посетителя в синей венгерке. Генерал обращался с ним с особенными знаками дружбы и уважения. Этот посетитель имел отличительную наружность: его открытое чело и резкие очерки придавали ему необыкновенную выразительность; а благородство и уверенность в приемах предупреждали в его пользу.

Генерал, заметив особенное мое внимание к незнакомцу, не замедлил ему представить меня, как нового сослуживца. В незнакомце я узнал князя Александра Ипсиланти, уже принадлежащего истории.

В это время все семейство князя, кроме брата Димитрия, находилось в Кишиневе. Это семейство составляли: мать князя, вдова бывшего господаря, две сестры — одна фрейлина двора нашего, а другая супруга бессарабского губернатора Катакази; два брата, из коих Николай, адъютант генерала Раевского, а другой Георгий, кавалергардский офицер,— оба были в отпуску в Кишиневе; Димитрий в это время был в Киеве при генерале Раевском.

Увеличенное избранным обществом, постоянное обще-

ство Кишинева в эти дни в особенности предавалось веселостям. Главными учредителями блестящих вечеров были: вице-губернатор Крупянский, женатый на Комнено, из потомства знаменитых Комнено; зять Ипсиланти — губернатор Катакази, сам Ипсиланти и член Верховного совета Варфоломей.

Семейству князя Ипсиланти везде оказывали особое уважение как семейству господаря, уваженному нашим правительством. Встретив князя на одном из первых балов в генеральском мундире нашем, мне показалось странным, отчего в первое мое знакомство я его видел в венгерке; но мне объяснили, что князь Александр состоит по кавалерии не в должности, намерен оставить службу и потому позволяет себе некоторые отступления; к тому же венгерка более приближается к родовому наряду греков, и тут же я узнал, что князь служил с честью в войсках наших и отличался замечательной храбростью. При этом рассказе Пушкин стоял рядом со мной; он с особым вниманием взглянул на Ипсиланти; Пушкин уважал отвагу и смелость как выражение душевной силы.

Говоря о балах в Кишиневе, я должен сказать, что Пушкин охотно принимал приглашения на все праздники и вечера, и все его звали. На этих балах он участвовал в неразлучных с ними занятиях — любил карты и танцы.

Игру Пушкин любил как удальство, заключая в ней что-то особенно привлекательное и тем как бы оправдывая полноту свойства русского, для которого удальство вообще есть лучший элемент существования. Танцы любил, как общественный проводник сердечных восторжений. Да и верно, с каждого вечера Пушкин сбирал новые восторги и делался новым поклонником новых, хотя мнимых, богинь своего сердца.

Нередко мне случалось слышать: «Что за прелесть! жить без нее не могу!» — а назавтра подобную прелесть сменяли другие. Что делать — таков юноша, таков поэт: его душа по призванию ищет любви и, обманутая туманным призраком, стремится к новым впечатлениям, как путник к блудящим огням необозримой пустыни.

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет; в нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное.

В числе минутных очаровательниц Пушкина была г-жа Е. [4], которой миловидное личико по своей привлекательно-

сти сделалось известным от Бессарабии до Кавказа. К ней-то писал Пушкин, в одном из шутливых своих посланий, что:

Ни блеск ума, ни стройность платья
Не могут вас обворожить;
Одни двоюродные братья
Узнали тайну вас пленить.
Лишили вы меня покоя,
Но вы не любите меня.
Одна моя надежда, Зоя:
Женюсь, и буду вам родня...— *и проч.*

Муж этой Е. был человек довольно странный, и до того заклятый нумизматик, что несравненно больше занимался старыми монетами, чем молоденькою женою, и наконец нумизматик до того надоел жене своей, что она смотрела на него как на такую монету, которая и *парале* * не стоит. У себя дома он был для нее посторонним, а в обществе,— как охранная стража,— ее окружали родственники: то Алеко, то Тодораки [5], то Костаки **. Все эти господа считались ей двоюродными братьями, так тут поневоле скажешь: «Одни двоюродные братья узнали тайну вас пленить».

Но все же у Е. искателей было много, и в числе их особенно общий наш приятель Алексеев. Но этот поклонник довольствовался одним только созерцанием красоты и вполне был счастлив повременным взглядом очей ее или мимолетным приветом радушного слова.

В домашнем быту муж Е. постоянно раскладывал пасьянс и толковал о монетах; она делала что-нибудь, то есть шила или вязала, а наш приятель, с своей чинною скромностью, усевшись в привычном уголку, занимался *меледою* [6].

Среди этого домашнего триумвирата нередко являлись Пушкин и я. Для нас, как для посторонних зрителей, подобное соединение составляло живую повесть или картину фламандской школы. Я в те дни, как мне кажется, еще и не имел понятия о волокитстве; а Е., при блеске красоты своей, положительно не имела понятия о блестящем уме Пушкина. Ограниченная, как многие, в развитии умственных сил, она видела в Пушкине ничего более как сти-

* Парале — самая мелкая монета Молдавии.
** Алеко — Александр, Тодораки — Федор, Костаки — Константин.

хотворца, и как знать, быть может, подобного молдавскому переводчику Федры * или одному из многих, которые только что пишут стишки.

Под влиянием подобного разумения та же Е., как другие, однажды обратилась к Пушкину с просьбою.

— Ах, monsieur Пушкин,— сказала она,— я хочу просить вас.

— Что прикажете? — отвечал Пушкин, с обычным ему вниманием.

— Напишите мне что-нибудь,— с улыбкой произнесла Е.

— Хорошо, хорошо, пожалуй, извольте,— отвечал Пушкин, смеясь.

Когда мы выходили от Е., то я спросил его:

— Что ж ты ей напишешь? Мадригал? да?

— Что придется, моя радость,— отвечал Пушкин.

Для тех, кто знал Пушкина, весьма понятно, что он не охотно соглашался на подобные просьбы. Он не любил выезжать на мадригалах, как иные прочие. Уничтожив собственным гением обязанность заказных восхвалений, до кого бы они ни относились, он не мог, по природе своей, хвалить, когда не хвалится. Хотя он и написал послание хорошенькой Е., о котором я уже говорил, но и это послание, по некоторым выражениям чересчур сильной речи, не могло быть не только напечатанным, но даже отдано той, к которой писано, особенно, что относилось до Зои, родственницы ее.

Однако первые четыре стиха этого послания как-то дошли до Е.; за намек на двоюродных братцев она надула губки; а сами братцы, ужасаясь толков, что на них написаны стихи (как это многие почитают чем-то страшным), рассердились на Пушкина; но этот гнев выразился явным бессилием, так что ни один не решился объясниться с Пушкиным, а между тем втихомолку также могли вредить Пушкину, как и наш Артемий Макарович <...>

При воспоминании о Е. я невольно вспомнил об отношениях Пушкина к иной женщине; но эта иная не совсем

* Г. Стамати действительно перевел «Федру» на молдавский язык; но, сохраняя должное уважение к его личным достоинствам и образованию, нельзя было не согласиться, что выходили странные звуки; а между тем Стамати слыл стихотворцем. Где-то он и что с ним?

была то, что Е.; ибо Аделаида Александровна * (так будем называть ее) принадлежала к числу *светских затейниц*, избалованных каждением многих.

По отношениям Пушкина к Аделаиде, она не имела никаких особых прав на его преданность; но так же, как Е., обратилась к нему с просьбою, только с тою разницею, что просьба Аделаиды не была просто просьбою простодушного сердца, чем-то вроде требования по праву.

Пушкин верно постигал тех, с кем имел столкновения, и потому в словах просьбы Аделаиды не пропустил ни одной полунотки; да и качества Аделаиды не ускользнули от его взора.

— Вот вам альбом мой,— сказала Аделаида, обратясь к Пушкину,— напишите-ка что-нибудь.

— Я не мастер писать в альбомы,— запинаясь, отвечал Пушкин.

— Э, полноте, m-r Пушкин,— заметила баловень,— к чему это, что за умничанье, что вам стоит!

Пушкин вспыхнул, но согласился.

И действительно, ему ничего не стоило: на другой же день, утром, когда к светской красавице собрались ее поклонники, от Пушкина принесли альбом ее. Но в эти минуты Аделаида была занята своими *проделками*; она сердила какого-то барина, унижая его своими насмешками.

Барин защищался сколько мог, но бой оказался не равен.

Среди этой *битвы салона* Аделаида не заметила, как ее лакей, принесший альбом, вышел; она даже забыла велеть поблагодарить Пушкина; но, быстро вспомнив, обратилась к какому-то поклоннику,— вроде прислужника:

— Андрей Андреевич, мой милый,— сказала она,— велите благодарить Пушкина, да прикажите сказать, что я на днях его ожидаю.

Вслед за Андреем Андреевичем кинулись многие исполнять ее приказание, а остальные обратились к Аделаиде с расспросами: что за альбом, чей альбом, от Пушкина, не правда ли?

— Да, да, господа,— прервала Аделаида,— от Пушкина. Я вчера только просила его написать что-нибудь, и вчера он было упрямился, да я на своем поставила.

---

* Заменяя NN, мы поставили Аделаида Александровна; но, разумеется, это имя вымышленное, хотя самый рассказ исторически верен.

Говоря все это, Аделаида искала в альбоме новый листок побед своих.

— Как поупрямился? — восклицали поклонники,— неужели, возможно ли? Да не только Пушкин, сам Парни, Мильвуа были бы у ног ваших.

— Полноте, полноте, господа, это так кажется, все это фальшивая репутация, наружность обманчива,— замечала Аделаида.

— Mais, madame *,— сказал кто-то.

— Mais oui, oui, m-r **,— прервала Аделаида, продолжая уже с нетерпением перебирать альбом свой.

Быть может, вы думаете, мои читатели, что Пушкин возвратил альбом, не написав ни слова, как бы желая тем выразить, что пред силою чародейки немеет слово, или, в пылу негодования за неуместный тон просьбы, он хотел дать почувствовать, что она не стоит речей его? — ошиблись: стихи были. И вот стихи уже отысканы. Аделаида пробегает их взорами, глаза Аделаиды вспыхнули самодовольствием, на щеках мелькает румянец волнения. «Cha-armant!» *** — произносит она во всеуслышание; «cha-armant!» — повторяет она вполголоса; а при этом те из поклонников, которых Аделаида отличала в это утро особым вниманием, как будто выросли, сделались как-то важнее, да и есть от чего: разве не их героиня имеет поэта!

— Очень, очень мило, признаюсь, я не ожидала,— проговорила Аделаида, окончив чтение, и с каким-то особым вниманием положила альбом свой на столик, возле козетки.— Да, господа,— заметила чародейка,— вы там что ни говорите, а у Пушкина, право, есть талант.

— Да, конечно, вы правы,— произнес какой-то господин с оловянными глазами, имеющий сам притязание прослыть писателем,— совершенно правы: у Пушкина действительно есть способность, но ничего особенного.

— Я не понимаю ваших особенностей,— насмешливо заметила Аделаида,— но вот что тут, так очень мило.— При этом Аделаида постучала пальчиком по альбому.

Все общество Аделаиды, кроме оловянных глаз, просило прочесть стихи. Один попросил позволения, желая, разумеется, угодить той, к кому они писаны; иные из любопыт-

* Но, сударыня.
** Да, да, сударь.
*** Оча-ровательно!

ства, а большая часть повторяла ту же просьбу по привычке повторять то, что говорят другие.

— Да зачем вам, господа? — нараспев произнесла Аделаида,— право, мне совестно,— прибавила она. Но просьба усилилась — Аделаида согласилась.

Нашелся охотник декламировать; начал читать вслух с декламацией. Другие слушали, восхищались. Но что он читал, я передать не в состоянии, и к тому же это тайна альбома Аделаиды; а знаю только то, что в этом послании каждый стих Пушкина до того был лучезарен, что казалось, брильянты сыпались по золоту, и каждый привет так ярок и ценен, как дивное ожерелье, нанизанное самою Харитою в угоду красавицы; описание же красоты Аделаиды до того было пленительно, что все красавицы Байрона не годились ей и в горничные: словом, трудно было произвесть что-нибудь блистательнее.

Господин с оловянными глазами прослушал послание со вниманием, задумался, нахмурил брови, оттянул губу и милостиво заметил, что Пушкин отроду ничего не писал лучше этого, да вряд ли и напишет, прибавил авторитет; а притом, продолжал он, мне приятно заверить вас, что вы отлично читаете, в вас что-то есть *катенинское:* я это дело, могу сказать, понимаю: именно отлично прочли, а это много значит.

При слове *много*, сказанном с выдержкою и ударением, многие согласились с мнением авторитета; но Аделаида Александровна возразила.

— Я совершенно согласна,— сказала она,— что Иван Иванович читает отлично; но и самые стихи Пушкина, сколько я понимаю, превосходны.

— Я и не спорю,— заметил авторитет,— стихи весьма и весьма недурны; а главное, я вам скажу,— продолжал он,— что самое замечательное в этом гимне, так это то, что в нем все правда,— все, все, все, все, до последнего слова: c'est la plus pure verité, ce qu'on dit *,— и при этом оловянные глаза авторитета умильно взглянули на Аделаиду, а все общество несвязным гулом поддержало его мнение.

Аделаида отвечала оловянным глазам только улыбкою; но этой улыбкою как бы высказывалось: «К чему все эти фразы и на что они мне?»

— Mais, mon dieu, madame, ce n'est pas pour vous dire

* Это чистейшая правда, которую высказывают.

un compliment *; но что правда, то правда: это вот так вас и видишь,— произнес авторитет.

— Верю, верю,— бегло проговорила Аделаида.

А Андрей Андреевич, во все продолжение приветствия авторитета, забегал в глаза Аделаиде. Этот поклонник-прислужник все что-то хотел сказать ей, и уже не один раз шевелились уста, но не разрешались словом; однако наконец он решился и почти сквозь слезы начал просить позволения списать стихи: сейчас, говорит, спишу, в одну минуту спишу-с, уверяю вас, au nom du ciel ** позвольте, Аделаида Александровна, ей-богу позвольте.

— Вздор, не стоит,— отвечала Аделаида.

И поплелся мой Андрей Андреевич от козетки, как индюшка, облитая шаловливым ребенком.

Другие еще петушились и говорили свое. Они утверждали: чем все это списывать да переписывать, лучше всего сейчас же отправить к *Гречу* и просить напечатать.

При этом заключении некоторые из утренних посетителей Аделаиды начали разъезжаться. Одним Аделаида кричала в след: «до свидания»; другим: «merci»; а иных, как, по ее мнению, обязанных бывать у нее, пропускала без внимания; крепостные же двора ее медлили отъездом, и между последними какой-то господин в очках при слове: «просить Греча», заметил Аделаиде: тут просить нечего, только позвольте, так вы обяжете Греча, он рад будет, я его знаю, он мой приятель.

— Да к чему же делать это известным? — лукаво заметила Аделаида.

— Как к чему? — возразил приятель Греча,— ваша известность придаст новую славу венцу поэта.

Это замечание как будто соблазнило Аделаиду.

— Ну пожалуй,— произнесла она в рассеянии.

— Вот и прекрасно,— произнес господин в очках,— а между тем,— прибавил он,— позвольте-ка мне прежде пересмотреть их самому: мне кажется, что в этих стихах, в одном слове ударение не совсем верно; это бывает с Пушкиным.

— О, какой вы *пюрист*,— заметила Аделаида.

— Это необходимо,— сказал *пюрист*,— впрочем, Греч все поправит: он не раз поправлял стихи Пушкина.

---

* Да, бог мой, нет, сударыня, это не для того, чтобы сказать вам комплимент.

** Во имя неба.

— Да, и очень,— заметил авторитет с важностью. При этом слове господин в очках взял альбом и начал перебирать его.

— Однако вы не вздумайте увезти альбом сегодня: сегодня я не дам, а завтра пожалуй,— проговорила Аделаида.

— О нет,— отвечал пюрист,— я только хочу кой-что проверить.

Но между тем как он проверял стихи, какой-то господин, имеющий притязание на ловкость и успех в свете, над которым, как мы знаем, Аделаида негостеприимно трунила в это утро, заглянул в альбом ее, что-то там заметил, злобно улыбнулся и исчез, не прощаясь. Аделаида не обратила на это внимание, продолжала любезничать, рассыпаясь в похвалах Пушкину. Авторитет и другие поклонники поддерживали ее мнение, уступая, разумеется, ей, как царице салона, первенство разговора; как вдруг, среди этой полутишины, раздался возглас приятеля Греча: боже, что это!

Этот возглас обратил общее внимание.

— Что с вами? — сказала Аделаида,— что вы там нашли такое? — повторила она с недоумением,— подайте альбом!

— Ничего-с, ничего-с, право, ничего,— отвечал взволнованный пюрист, не трогаясь с места; но даже и очки не могли скрыть его волнения.

— Подайте, говорю вам!

— Да зачем же? ведь вы читали,— произнес, заикаясь, пюрист.

— Ах, какие вы несносные,— вскрикнула Аделаида и, вскочив с козетки, вырвала альбом.

«Как мила!» — подумал Андрей Андреевич. «Что за огонь в этой женщине!» — подумал авторитет; но приятель Греча настолько перемешался, что схватил огромную шляпу авторитета, а свою малютку оставил, и сам удрал потихоньку.

Аделаида, раскрыв альбом свой, медленно возвращалась к своему месту, быстро пробегая строки; вдруг вся вспыхнула, на лице выступили пятна, глаза сверкнули, и альбом полетел в другую комнату.

Андрей Андреевич кинулся было поднять альбом, но окрик Аделаиды «прошу не хозяйничать!» до того смутил прислужника, что он весь сжался в булавочную головку и юркнул в угол.

Все общество Аделаиды притихло; все как будто за-

мерли; один маятник на часах погасшего камина продолжал свой тюк-тюк, как полевой кузнечик, который резче слышится в удушливой тишине перед бурею. Но вот в глазах Аделаиды сверкнула молния, Аделаида заговорила.

— Хорош Пушкин,— сказала она,— хорош! Вот благодарность за мое покровительство! Merci, г. рифмоплет, merci!

Господин с оловянными глазами, хранящий постоянную важность, при слове рифмоплет засмеялся.

— Ah, comme vous êtes caustique *,— заметил он Аделаиде. Но это замечание пропало, Аделаида не обратила внимания.

— M-e-r-c-i! — повторила она шепотом, и губы ее дрожали; но это относилось к Пушкину.

Авторитет, желая рассеять непонятное волнение Аделаиды, пустился было разбирать слово рифмоплет, сравнивать его с другими и тут же выражал свое участие к Аделаиде.

Аделаида взглянула на него с презрением:

— Благодарю,— сказала она,— благодарю, но я не от всех же требую участия.

Глаза авторитета покрылись ржавчиной; авторитет задумался, но отвечал:

— Mais, mon dieu, madame **,— сказал он,— все это я говорю только включительно, разбирая наших писателей.

— О, полноте, пожалуйста, с вашей полемикой, она мне и в журналах надоела,— быстро проговорила Аделаида, и снова пятна и снова гнев исказили лицо ее.

И как знать, чем бы еще разразилась новая буря, но вдруг неожиданно вошла старая графиня, тетка героини нашей.

— Ах, тетушка! — произнесла Аделаида с улыбкой.

«Эта зачем притащилась?» — подумала она.

— Я к тебе, милая,— начала графиня.

— Я это вижу-с, тетушка.

— Ну, да,— продолжала графиня с расстановкою,— была у Лизаветы Михайловны, да думаю, дай заеду к племяннице; да вот, как видишь, и заехала, вошла и не велела о себе докладывать. Bonjour, m-rs,— проговорила графиня,

---

* Ай, как вы язвительны!

** О, мой бог, мадам.

обращаясь к посетителям, и, взглянув на племянницу, прибавила: — Да что с тобою, милая, ты как будто не в духе? не вы ли, господа, ее прогневали?

Все молчали, не находя ответа.

— Да я ничего, тетушка, это вам так кажется, — отвечала Аделаида.

— Чего, матушка, кажется: я тебя знаю; ну, да ничего, пройдет; это что-нибудь *нервное,* — заключила графиня.

— Я совершенно разделяю ваше мнение, — произнес господин с оловянными глазами, — действительно, это что-нибудь нервическое.

— Что это у вас все за нервы такие! — быстро прервала Аделаида, — и кто нынче страдает нервами!

— Но однако, — начал было авторитет, не привыкший к возражениям.

— Ну, что-с однако? ваше однако ничего не значит! — резко заметила Аделаида. — Кончимте это, — заключила она.

— В самом деле, кончимте, — сказала графиня, — при нервах самое вредное — это споры; начнем лучше о том, что для нее несравненно будет приятнее. У тебя, милая, я слышала, вчера был Пушкин, — продолжала графиня.

— От кого вы все это знаете, тетушка? — произнесла Аделаида дрожащим голосом.

— Мне Лизавета Михайловна сказывала; знаю и то, что ты ему заказала стихи, — прибавила графиня с расстановкою.

«Этого только недоставало», — подумала Аделаида.

— Стало быть вы все знаете, — сказала она вполголоса, — все, с чем вас и поздравляю!

Но графиня не обратила внимания на это замечание и продолжала свое.

— Ну что ж, и прекрасно, — сказала она, — это наш маленький Вольтер.

— Э, графиня, позвольте сказать, — возразил авторитет, — какой он Вольтер! это просто рифмоплет, как удачно заметила Аделаида Александровна: вот это так-так, — продолжал авторитет с важностью и до того был доволен своим заключением, что оловянные глаза его потеряли ржавчину.

— Да и я говорю: маленький Вольтер, маленький, понимаете.

— Да вот только разве маленький,— заметил авторитет.

— Ну, да, конечно,— продолжала графиня,— я-то совершенно с вами согласна, куда Пушкину до Вольтера! Вольтер esprit fort *, Вольтер философ, автор, поэт! Куда, например, я люблю его Генриаду и в особенности это начало — помните вы:

Je chante ce héros qui régna sur la France
Et par droit de conquête, et par droit de naissance.

— Mais c'est sublime **,— прибавила графиня.

— Конечно, конечно,— произнес авторитет с важностью.

— Да как же неправда,— продолжала графиня,— и написал ли у нас кто-нибудь и что-нибудь подобное! Кто-нибудь, говорю я, не только Пушкин, который пишет какие-то сказочки да песенки.

При этом авторитет не столько из любви к родному, как из желания блеснуть сведениями, начал возражать графине:

— Ну нет, графиня, нам нельзя жаловаться,— сказал он,— вот, например, Херасков: он дал нам поэму, да не одну, но, конечно, это уже прошлое; нынче никто ничего подобного написать не в состоянии; подобные гении родятся веками; а в заключение скажу вам, что по мне уже конечно тот не поэт, кто не сделал ни одной поэмы... поэмы, что называется...

Что под этим разумел авторитет, понять, как кажется, трудно; но графиня поняла и согласилась:

— Это правда,— сказала она,— совершенно с вами согласна, и при том смело можно сказать, что у нас нынче вообще ничего не перенимают хорошего: вот хоть бы и Пушкина взять...— При этом слове графиня обратилась к Аделаиде.— Извини, милая,— сказала она,— он твой приятель. «Хорош приятель, подумала Аделаида, но не отвечала ни слова».— Да-с,— продолжала графиня,— хоть бы и Пушкина взять,— мне говорили, что он совершенный атеист, да чего говорят, я и доказательства имею: ну, да представьте себе, что он родную мать свою называет арап-

---

* Вольнодумец.

** Пою героя, царившего над Францией и по праву завоевания, и по праву рождения.— Да это величественно!

кою, родного дядю прозвал Буяновым; а уж по мне, кто не почитает родственников, тот и в бога не верует.

— Это на него похоже,— с злобою проговорила Аделаида.

— А, ну поздравляю,— сказала графиня, обращаясь к Аделаиде,— поздравляю,— повторила она,— слава богу: наконец-то ты нас удостоила словом; стало быть, тебе лучше, не правда ли? ну, очень рада.

— Нет-с, тетушка, нисколько ни хуже, ни лучше; а если я молчала, так это оттого, что боялась помешать вам, и признаюсь, мне было даже страшно, мне казалось, что я в обществе профессоров.

«Э-э,— подумала графиня,— да как она раздражена еще! каково меня отделала, каково? это стоит Пушкина: в профессоры меня пожаловала, а я ее девчонкой знала!..»

— Нет, милая,— произнесла графиня,— я ни профессором, ни профессоршей не была, да надеюсь, и не буду; а вот на эту минуту и без профессорства вижу, что ты действительно нездорова.

— Да я не знаю, тетушка, отчего вам это кажется?

— Чего, матушка, кажется! таки просто нездорова. Право, полечись, полечись, послушайся меня.

С этими словами графиня встала и начала собираться к отъезду, Аделаида ее не удерживала.

Сборы графини обыкновенно были продолжительны, но тут как-то особенно, под влиянием неприятных впечатлений она спешила забрать все свои утвари, и рабочий мешок, и муфту, и табакерку, и разные мелочи, которые обыкновенно возила с собою.

Андрей Андреевич, по привычке, схватил в это время какой-то пузырек и держал наготове.

Графиня как ни спешила, но продолжала искать чего-то: муфта здесь, говорила она вполголоса, бинокль здесь, лорнет также.

— Да чего вы ищете, тетушка? — с нетерпением спросила Аделаида, желая поскорее спровадить графиню: Аделаиде было не до тетушки.

— Ничего, милая, не беспокойся, авось найду.— И графиня, продолжая свои поиски, повторяла шепотом:— Неужели я выронила, как выходила? да нет, мне кажется, я сейчас его видела. Косыночка здесь, английский пластырь здесь, готовальня здесь...— И при этом графиня взглянула в сторону и свой пузырек увидела в руках Ан-

дрея Андреевича.— Ах! он у вас,— проговорила графиня, кашляя,— а я ищу! Вот какие бывают странности!— прибавила она.

Прислужник почтительно подал. Графиня благодарила. Андрей Андреевич извинялся, что не догадался подать ей прежде.

— Ничего, ничего,— говорила графиня, кашляя и смеясь,— ничего, очень вам благодарна, хорошо, что увидела.

— Вечно вы там, где вас не спрашивают,— мимоходом заметила Аделаида прислужнику; а прислужник скрылся, как испуганный заяц, сбежал с лестницы и, увидев возок графини, остановился, чтобы посадить графиню и извиниться снова.

Графиня как ни спешила уехать, но с обычными остановками прощалась с племянницей. Аделаида ее провожала.

— Воротись, милая, воротись,— говорила графиня,— ты в самом деле нездорова; право, полечись, послушайся меня.

— Я последую вашему совету, тетушка, и с сегодняшнего дня засяду дома и не велю никого принимать к себе.

— Это опять лишнее,— произнесла графиня, возвысив голос.

— Уж это позвольте мне знать, тетушка,— заметила Аделаида.

— Конечно, конечно, ты не маленькая: это совершенно в твоей...— при этом графиня закашлялась, и слово: *воле* раздалось у подъезда.

Вслед за графиней все посетители исчезли.

Господин с оловянными глазами, приехавший к Аделаиде с утренним визитом в санях, на лихом рысаке, не знал, как укрыть свою голову; оставалось одно: из воротника шубы сделать себе род капора. Будь это все в другое время, он, под предлогом размена шляп, остался бы у Аделаиды на все утро; да и как знать, быть может, просидел бы до вечера, а теперь скачи, да еще, быть может, схватишь ревматизм или горячку: а кто виноват? — приятель Греча? — совсем нет: виноват Пушкин, этот *рифмоплет, в котором нет ничего особенного.* Так по крайней мере думал авторитет, страдая от могучего ветра нашего севера; а между тем, несмотря на то что голова его прозябла донельзя и широкая важность начинала сжиматься, сколько в этой голове роилось предположений: что могло рассердить Аделаиду?

Кажется, в стихах ничего нет двусмысленного, и стишки само по себе преизрядные; не вздумал ли он вложить какую-нибудь записочку да, ни с того ни с сего, сделать вдруг декларацию, искать ее взаимности?.. так! это понятно! напиши я или мне подобный — другое дело... а Пушкин... Ну, конечно, есть на что рассердиться; или, может быть, не было ли тут акростиха в роде объяснения? а ведь от подобных господчиков все станется!.. Но при этой мысли вдруг с перекрестка такой дунул ветер, что все предположения авторитета застыли и он, крикнув: пошел! — исчез в капюшоне.

В комнате Аделаиды было тепло, но ее щеголеватые ручки застыли как льдины; напрасно она приказала развести камин, напрасно она расхаживала по комнате — теплота отказалась ее лелеять, а Пушкин, которого она вздумала обидеть унизительным покровительством, так и веял на нее холодом.

— Что, как вздумает он напечатать! — подумала Аделаида,— да нет, это быть не может...— И бедная Аделаида на эту минуту и забыла, что сплетни такая типография в свете, которая все и о всех и без цензуры печатает, и от блестящей столицы до темного захолустья рассылает все, как по телеграфу. И вот вечером того же дня, в лучшем обществе города, говорили о стихах Пушкина, написанных Аделаиде; все оценили их по достоинству, хотя каждый посвоему, но всего более занимало всех — это самая коротенька строчка прозы; она-то и наделала столько шуму, как самой героине нашей, так и в городе. Что ж было это такое? да так, ничего, безделица: вместо должного числа, при похвальных стихах, было выставлено *1-е апреля*[7].

Само собой разумеется, что рассказ мой о Аделаиде Александровне есть отступление от хронологического порядка дневника моего. Все это было несколько лет позднее 20-го года, а именно в котором году, определить трудно: да и к чему это? довольно того, что этот рассказ, как мне кажется, достаточно выражает, какое имели превратное понятие о Пушкине.

Вот и в Кишиневе, в 20-м году, я помню разговор мой с одним чиновником Областного правления, с которым, вскоре по приезде моем в Бессарабию, я как-то случайно познакомился [8].

До сих пор не знаю почему, этот человек отличал меня своим вниманием. Общего между нами, кажется, ничего не было: я молодой военный офицер,— он пожилой канцелярский чиновник; я пылок и юн, он стар и хладнокровен: почему бы, кажется, сойтись нам, разве потому только, что *крайности сходятся.* Но как бы то ни было, а при каждом свидании, где бы мы ни встретились, чиновник всегда первый подходил ко мне, начинал разговор о погоде, о том о сем и кончал одним и тем же приветствием, что меня уважает душою. Спасибо ему, да что из этого?

Но вот, после двух-трех подобных встреч, чиновник подходит ко мне и начинает делать запросы.

— Давно я собирался спросить вас,— начал он,— да как-то все не удавалось.

— Что такое?

— Знакомы вы с бывшим нашим председателем уголовной палаты?

— С кем это?

— Да вот-с с Иваном Ферапонтовичем.

— Нет, незнаком; а что-с?

— Да так-с, хороший человек, и семейство у него прекрасное, жена, доложу вам, отличная дама, а хозяйка такая, что другой в городе не отыщешь. Уж что ни подадут, так все отличное: варенье ли, соленье ли, наливочка ли — все, словом сказать, язык проглотишь.— При этих словах лицо моего знакомца как-то прояснилось, уста смаковали.— Так-таки и незнакомы? — заключил чиновник.

— Нет, да и не буду,— отвечал я.

— Отчего же, а я бы советовал.

— Да боюсь, язык проглотишь,— отвечал я, смеясь.

— Проказник вы эдакий,— заметил чиновник дружески,— а нуте-с,— продолжал он,— с нашим секретарем правления знакомы?

— Также нет.

— Странное дело,— заметил чиновник, нахмуря брови,— странное дело,— повторил он,— а вот, я вам доложу, я так послужил на свой пай, и там и сям был, и по таможне, и по разным частям; ну, да уж нечего говорить, не в по-

хвальбу сказать, даром надворным советником не сделают.

— Конечно,— заметил я.

— Да-с, не к тому,— прервал чиновник,— я ведь, извольте видеть,— продолжал он,— я, признаться сказать, много в свою жизнь видел разного быта: так вот-с, как эдак где завернут военные, полк там, что ли, команда ли какая: ну, глядишь, со всеми и познакомился, тот зовет на фриштик, тот на обед, тот на ужин, везде винцо, закусочка; глядишь, и не видишь, как время уходит; занялся службою, а там, глядишь, и пошли и поехали, то к тому, то к другому.

— Время на время не приходит,— заметил я.

— Кто говорит,— произнес чиновник,— действительно, ваша правда; а, однако, все-таки бы можно; ну да там как угодно. А вот-с позвольте спросить, с Пушкиным, например, вы знакомы?

— Знаком, и очень,— отвечал я.

При этом толстенький мой чиновник с красноватым носиком значительно нахмурил брови и произнес таинственно:

— Напрасно-с, доложу вам.

— Отчего же? — произнес я с удивлением.

— Да так, знаете. Конечно,— продолжал чиновник,— и наш Иван Никитич его покровительствует, ну да их дело другое: наместник *, ему никто не указ; а откровенно вам доложу, так-с, между нами будь сказано, я, на месте Ивана Никитича, я бы эдакого Пушкина держал в ежовых рукавицах, в ежовых что называется.

Я улыбнулся, а он продолжал:

— Ну да что там о наместнике: наместник как угодно, а вам все бы, казалось, подальше лучше,— прибавил он.

— Да отчего же вы так думаете? — прервал я.

— Да, так-с, доложу вам: Пушкин сорвиголова, а что он значит, например: мальчишка, да и только; велика важность — стишки кропает, а туда же — слова не даст выговорить; ну, а ему ли с нашим братом спорить; тут и поопытнее, да и не глупее его. Ну, да представьте себе, намедни-с как-то столкнулся я с ним нечаянно; да я, признаться, и говорить-то бы с ним не стал, да так как-то пришлося; так что бы вы думали?

---

* В наместнике Пушкин имел благодушного и внимательного начальника. Просвещенный ум и прекрасное сердце Ивана Никитича Инзова не могли быть не отрадны в положении Пушкина.

— Право, не знаю,— сказал я.

— Не слыхали-с? просто доложу вам: я что-то рассказывал дельное, разумеется, пустого говорить я не привык, да и не буду; а он вдруг, как бы вы изволили думать, вдруг, ни с того ни с сего, говорит: позвольте усомниться. При этом, грешный человек, меня взорвало: что ж, мол, это такое, значит, стало, я вру, ну и посчитались немножко. Да это все не беда, а все бы я вам советовал: подальше лучше.

— Все это может быть,— заметил я,— что вы и посчитались; но я из этого еще ничего не вижу.

— Да как ничего? — продолжал мой знакомец,— ну-с, а о наряде что вы скажете?

— Какой наряд, чей наряд?

— Да Пушкина-с.

— Что ж такое?

— Как что? да то, что ни на что не похоже, что за белиберда такая: фрак на нем как фрак, а на стриженой голове молдавская шапочка, да так и себе погуливает.

— Так что ж такое?

— Да то, что нехорошо. Послушали бы вы, что говорят люди опытные, как, например, Аверий Макарович, Иван Ферапонтович, да вот этот еще, как бишь его, он из немцев... дай бог память, статский советник, еще у него жена красавица.

— Не Е. ли? — прервал я с нетерпением.

— Ну, да, точно, точно Е., умнейший человек, доложу вам, ученейший; а вот послушали бы, что они говорят, да и я то же скажу; а впрочем, как угодно,— заключил чиновник,— не наше дело.

Так мы расстались. Из всего разговора моего знакомца при этой встрече я не понял, как говорят у нас по-татарски, *ни бельмеса*, но заметил, что при прощании чиновник не повторил обычного привета: «душевно вас уважаю» — и вообще расстался со мною холоднее обыкновенного; видно, Пушкин насолил ему.

После этого разговора, при свидании с Пушкиным, я как-то забыл спросить его о чиновнике; но вскоре другие мне рассказали, как очевидцы, в чем заключался спор между моим знакомцем, душевно мне преданным, как он выражался, и Пушкиным.

Вот как это было: его пригласили на какой-то обед, где находился и Пушкин; за обедом чиновник заглушал своим говором всех, и все его слушали, хотя почти слушать было нечего, и наконец договорился до того, что начал доказы-

вать необходимость употребления вина как лучшего средства от многих болезней.

— Особенно от горячки,— заметил Пушкин.

— Да таки и от горячки,— возразил чиновник с важностью,— вот-с извольте-ка слушать: у меня был приятель, некто Иван Карпович, отличный, можно сказать, человек, лет десять секретарем служил; так вот, он-с просто нашим винцом от чумы себя вылечил: как хватил две осьмухи, так как рукой сняло.— При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая: ну, что вы на это скажете?

У Пушкина глаза сверкнули: удерживая смех и краснея, он отвечал:

— Быть может, но только позвольте усомниться.

— Да чего тут позволить,— возразил грубо чиновник,— что я говорю, так-так; а вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится.

— Да почему же? — спросил Пушкин с достоинством.

— Да потому же, что между нами есть разница.

— Что ж это доказывает?

— Да то, сударь, что вы еще молокосос.

— А, понимаю,— смеясь, заметил Пушкин,— точно есть разница: я *молокосос*, как вы говорите, а вы *виносос*, как я говорю.

При этом все расхохотались, противник не обиделся, а ошалел. По воспитанию и понятиям он держался поговорки простолюдинов: брань на вороту не виснет; но Пушкин уронил его во мнении: с этой поры, пожалуй, не многие станут его слушать и заслушиваться, не возражая. «Да уж так бы и быть,— думал чиновник,— а то, прошу покорно, добро бы терпеть от человека, а то от мальчишки, который только что стишки кропает!»

Впоследствии Пушкин сам подтвердил мне справедливость этих рассказов.

Мой знакомец был из числа тех бахарей, которые почему-то в своем кругу получают исключительное право разговора, несмотря на то что разговор их без всякой остроты и мысли, сам по себе ничего не значит, а состоит по большей части из пошлых анекдотов, сплетней и перестановок имен собственных.

Подобные говоруны подобны тем писателям, в сочинениях которых, кроме болтовни, ничего нет, а посмотришь — сочинение раскуплено, все прочли. Отчего бы это? Не оттого ли, что подобные произведения не трогают самолюбия читателя, каждый прочтет, да и подумает, если не

скажет, что «этот, дескать, г. NN, хотя и сочинитель, не умнее же меня, так, вздор какой-то пишет»,— скажет, да и не ошибется; глядишь, и другие говорят то же; а между тем читают да читают.

При подобных сочинениях ни ум не восстает с своим требованием, ни сердце не просит участия; брось книгу, да и садись смело за карты, брось книгу, да и спи покойно; а между тем знаешь, что тогда-то вместо обыкновенных каблуков носили красные, что не всегда ходили в пальто: вот тебе и историческое сведение.

Кстати о наряде. Мы знаем из приведенного рассказа, что Пушкин носил молдавскую шапочку, но не знаем причины, по которой он носил ее. Выдержав не одну горячку, он принужден был не один раз брить голову; не желая носить парик (да к тому же в Кишиневе и сделать его было некому), он заменил парик фескою и так являлся в коротком обществе. Кажется, очень просто; но люди, так называемые глубокомысленные, как мой знакомец и ему подобные, привыкнув о всех толковать по-своему и всему давать свой толк, подозревали и в этом какой-то таинственный смысл, а какой — кто их знает.

Прежде моего знакомства с Пушкиным, в 20-м же году, он посетил Кавказ и Крым, где и начаты им его поэмы: «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» [9].

Первым начатком последней поэмы была его песня: Фонтан Бахчисарайского дворца: «Фонтан любви, фонтан живой...» — и проч.

Прочитав мне это стихотворение, Пушкин заметил, что, несмотря на усилие некоторых заменить все иностранные слова русскими, он никак не хотел назвать фонтан водометом, как никогда не назовет бильярда шарокатом [10].

Пушкин не прежде начала осени 20-го года основался на житье в Кишиневе, и первое помещение Пушкина в этом городе была небольшая горенка в гостинице русского переселенца — Ивана Николаева, этого пресловутого члена Кишиневской квартирной комиссии, о котором было мне заговорил фактор Мошка при въезде моем в Кишинев. Разговорясь как-то о наших первых пристанищах, в свою очередь, я рассказал Пушкину о гостинице Беллы и при этом невольно вспомнил могилевскую Беллу, и восторженными словами описал красоту ее и ту лунную ночь на Днестре, когда я впервые увидел воздушные виноградники, облегающие живописное прибрежье М. Атак, среди светлой ночи отделяющееся от позлащенных полей и серебристых

волн. Эти лозы темнели как простые кустарники, но воображение, воспламененное присутствием красавицы, придавало и им особую прелесть.

Пушкин внимательно слушал мои восторженные рассказы и тут же прочел мне свое стихотворение:

Виноград

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

При этом я вспомнил античные формы рук Беллы, которой персты действительно были продолговаты и прозрачны. Это воспоминание я также сообщил Пушкину. Пушкин задумался, взглянул на меня, улыбнулся и как бы в раздумье повторил последние два стиха: «Продолговатый и прозрачный, как персты девы молодой» [11].

К произведениям 20-го года принадлежат стихотворения Пушкина: «Дорида» и «Дориде», «Погасло дневное светило», «Дочери Карагеоргия», «Редеет облаков летучая гряда», «Подражание турецкой песне» и «Послание Чаадаеву», писанное с морского берега Тавриды.

К чему холодные сомненья,
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды;
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
. . . .
Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Все это было читано и перечитано вместе с Пушкиным. Казалось, моя восторженность была по душе ему.

В конце декабря того же года, отправляясь на короткое время с Михаилом Федоровичем Орловым в Москву, я должен был расстаться с Пушкиным;[12] но канун отъезда мы провели вместе у генерала. В этот вечер много было говорено о напечатанной уже поэме «Руслан и Людмила». Генерал сам прочел несколько строф, делал некоторые замечания и, обратясь к Пушкину, приветливо спросил его: не знает ли он автора этого колоссального произведения? Пушкин, вместо ответа, улыбнулся той выразительной улыбкой, которой он как-то умел с особою яркостью выражать свои ощущения. При этом разговоре почему-то припомнили «Душеньку» Богдановича, некоторые начали сравнивать и, желая похвалить Пушкина, уверяли с полным самодовольствием в знании дела, что его поэма нисколько не хуже «Душеньки».

— А ты как думаешь? — спросил меня Михаил Федорович. Я отвечал, что другого ничего не могу сказать, как повторить известный ответ о пушке и единороге...— То есть пушка сама по себе, а единорог сам по себе,— прибавил, смеясь, генерал.

— Да, конечно,— произнес я с некоторым смущением. При этом Пушкин засмеялся и все захохотали. Я еще более смутился; но вскоре общее одобрение уверило меня, что ответ мой делен.

В поздний час вечера мы разошлись. На другой день я оставил Кишинев и уехал в Москву.

Тяп да ляп, и корабль! Легко сказать: оставил Кишинев и уехал в Москву; но прежде надо собраться. Итак, после всех толкований о делах давно минувших лет, преданьях старины глубокой, я кое-как должен был добраться до своей квартиры, где неминуемо ожидали меня дорожные сборы взамен вдохновенных рассказов Пушкина и где мечты воображения непременно уступят простым заботам действительности, а яркие образы Руслана, Ратмира и Людмилы сменятся вседневными лицами двух моих слуг, Ивана и Прокофья, да еще сварливою моею хозяйкою — пилипонкою *.

* Всех русских переселенцев в Бессарабии и вообще в Новороссийских краях называют пилипонами или кацапами.

На другой день утром, часов в десять, мы приехали в Тульчин. Генерал с Федором Федоровичем [13] остановился у начальника главного штаба,[14] а я отправился к старому приятелю К...,[15] которого радушие и гостеприимство встретили меня у порога; я говорю: к старому, потому что мы все называли его *стариком*, хотя ему не было еще и тридцати лет, но сравнительно с нами он был старик,— знакомство же мое с ним едва ли восходило до одного года. В военной жизни все сближения совершаются быстро; кто раз с кем пообедал или позавтракал вместе да ласково взглянул — тот и приятель, сейчас же французское *вы* к черту, а русское *ты* вступает в права свои, как заветный, лучший признак приязни.

— Ну, здорово! здорово! откуда, куда и как?

— В Москву, любезный.

— Экой счастливец! ну да тебе лафа, везет. Хочешь чаю, водки, завтракать?

— Спасибо, любезный, покуда некогда и ничего не хочу; пора одеваться и идти являться. Главная квартира не свой брат.

— И то дело; между тем, как вернешься, завтрак будет готов. Эй, Гаврило, Гаврило! — кричал мой приятель.

— Сейчас, сударь, что прикажете?

— Ну, живо! изволь приготовить свиных котлет с красной капустой, понимаешь? да еще чего-нибудь вроде зразы; да хорошенько, не так, как третьего дня испакостил.

— Виноват-с, подгорели маленько.

— Ну то-то, подгорели; да возьми у Розенблюма шампанского, понимаешь? *Родера* возьми! нет, постой, *Жаксона*, слышишь?

— Слушаю-с.

— Ну, ступай, это и к стороне.

— Да пошли Ивана! — кричал я вслед уходящему Гавриле.

— Оставь ты своего Ивана, он возится с чемоданами; разве людей мало. Эй, Жозеф, Жозеф!

— Monsieur! — возгласил Жозеф.

— Ну, скорей умываться Горчакову.

— Сейчас,— было ответом, и Жозеф, кавалер Почетного легиона, солдат *великой армии*, бежал, переваливаясь куропаткой, с рукомойником, чтоб подать мне умыться.

Нарядясь поспешно в полную форму, я отправился являться к генерал-квартирмейстеру, дежурному генералу и начальнику главного штаба. Всеми был принят милости-

во, а начальник штаба в присутствии моего генерала и Федора Федоровича удостоил меня благосклонным приветом и таким, как мне казалось, искренним и радушным, что я вообразил себя переселенным в родную семью; но, однако, с подобными родственниками оставаться долго не следует, я откланялся, получив приглашение к обеду.

Возвратясь к К....ву, я встретил у него прежних моих тульчинских сослуживцев-товарищей; некоторые зашли случайно, а иные нарочно, чтоб меня видеть.

Подали завтрак, полилось шампанское, а за ним расспросы и говор, и около могучей русской речи увивались, как любимцы-приемыши, то французские, то немецкие звуки, и, по свойству многих приемышей, они отбивали лавочку у родного слова. Весьма замечательно, что из числа тогдашней тульчинской образованной молодежи, в которой недостатка не было, для французского и немецкого языков являлись заклятые *пюристы*, как мой приятель К....в и другие. Но для русского *чисторечия* не нашлось ни единого; был, правда, один Б....., да и того чуть-чуть не окрестили *педантом*. При этом невольно обратишься к Пушкину. Конечно, не им началась речь русская, но Пушкина юная муза своим увлекательным словом дала ей право гражданства в быту общественном и простотою наряда заставила русских домашних маркизов смотреть равнодушнее на пудру и фижмы, полюбить повязку Людмилы, подивиться отваге Руслана.

И в это утро, среди разноязычного приятельского гула и расспросов о том о сем, главным вопросом стал Пушкин.

— Ну, расскажи, расскажи,— повторяли мне многие,— что поделывает Пушкин, не написал ли чего новенького, мы ждем и не дождемся.

— А знаете, господа, его Молдавскую песню? — спросил я.

— Я что-то слышал,— сказал кто-то; но все остальные повторили в один голос: прочти, прочти, сделай милость! И когда я прочел, то надобно было видеть всеобщий восторг, чтобы судить, как электрически действовало каждое слово Пушкина; но эта Молдавская песня, при всем достоинстве, еще не столь ценное создание, как другие его произведения.

— Браво, браво,— кричали многие и, тут же бросив завтрак и шампанское, начали списывать Молдавскую песню со слов моих.

Не прошло и нескольких минут по приезде нашем в Киев, как за Федором Федоровичем кто-то прислал, и он велел сказать мне, что сейчас вернется; но прошло более часа, а Федора Федоровича не было. Наконец какой-то лакей, я слышу, спрашивает меня. Я вышел.

— Генерал Великопольский,— сказал лакей,— приказал вам кланяться и приказал просить вас к себе [16].

— Да я, любезный, не знаю твоего генерала.

— Помилуйте, их превосходительство вас знают-с; они приказали вас просить не беспокоиться, пожаловать-с по-дорожному, в сюртучке-с. У нас Федор Федорович,— и они приказали просить.

— А, это дело другое; но где же генерал стоит?

— Да здесь-с вверху-с.

— Ну, нечего делать, давай сюртук, эполеты, эксельбант.

Вхожу к генералу: маленький, толстый генерал в сюртуке, без эполет, в молдавской феске, мечет банк, Федор Федорович понтирует.

Увидев меня, генерал встал, благодарил за посещение и тут же предложил играть. Но я отказался. Игра продолжалась; меня заняла наружность генерала и еще более какая-то милостивая государыня, исполняющая, как казалось, должность хозяйки: она была молода и недурна собою, приветливо улыбалась мне, предложила чаю и трубку, а вслед за тем поставить карточку, а именно даму, уверяя, что дамы никогда не обманывают.

Я отказался, сказав, что карточным дамам я никогда не верил. Вице-хозяйка улыбнулась.

В эту минуту поставленная дама Федором Федоровичем была убита.

— Вот видите,— сказал я.

— «Погибла гречанка»,— сказал генерал.

— А, ваше превосходительство, вы знаете Пушкина песню? — заметил Федор Федорович.

— Как же, милый,— отвечал генерал,— всю наизусть выучил.

Эта песня перекинула меня в Кишинев, и в эту минуту я подумал: что бы сказал А. М., мой надворный советник и нумизматик Е., если бы они увидели генерала в молдавской шапочке!

«Ничего бы не сказали,— отвечал я сам себе,— их суждение о людях не восходит выше коллежского асессора:

это, говорят они обыкновенно, человек порядочный, коллежский асессор».

Нельзя не уважать чины; но и сан человека что-нибудь да значит.

Киев 1820 г. Дек. 28.

Хозяин в красной шапочке продолжал метать, Федор Федорович понтировал, но только уже с большим счастием, нежели тогда, как я вошел к Великопольскому.

Великопольский проигрывал, но не терялся, а попрежнему продолжал свои прибаутки с придачею стихов Пушкина. Иногда слова были повторяемы во всей чистоте их создания, а подчас с вольными изменениями: дав как-то карты три кряду, хозяин заметил:

— Эге, Федор Федорович, да ты эдак всего меня обыграешь.

— Ничего, ваше превосходительство, вы у меня и не постольку выигрывали.

— Ну, да это что там: это, сударь мой,— говорил Великопольский,— дела давно минувших лет, преданье старины глубокой,— и в это время, дав еще карту, прибавил:— Вот, изволишь видеть, как счастье-то перевернулось.

— Ничего, ваше превосходительство, все это в наших руках, вы эту науку-то понимаете.

— Да, хорошо тебе подсмеиваться, но перед счастия законом моя наука не сильна.— Сказав это, хозяин взглянул на меня, улыбнулся и подмигнул мне.

— О, да как вы помните Пушкина,— заметил я.

— А как же, батюшка, мы тоже хоть и не вам чета — армейщина, что называется, а тоже на старости кое-что почитываем, а уж Пушкина не грех и помнить; до́ка малый растет, что-то из него будет, не все, чай, станет сказки рассказывать.

Да, видно, генерал прочел Руслана, и не один раз, и не только помнил стих о Черноморе, но даже изменил его посвоему, заменив слово *время* словом *счастие.*

В эти дни пребывания моего в Киеве, в доме Л. В., по усилившемуся моему нездоровью, я сделался совершенным затворником. Генерал и Л. В. принимали во мне родственное участие, но вместе с тем генерал шутя называл меня неженкой.

— В наше время,— говорил Михаил Федорович,— молодежь твоих лет лечилась скачкою да балами. Чем сидеть да хандрить, просто натянул бы мундирчик да ехал со мною к Николаю Николаевичу.

— Очень бы рад иметь эту честь, да что делать, когда рука головы не слушает.— И в самом деле, проехав на морозе до 20-ти градусов более 500 верст в одной щеголеватой шинельке, в которой, кроме бобрового воротника, меха ни на волос, рука до того у меня разболелась, что я не в силах был надеть мундира как облитого в струнку, по тогдашнему покрою.

Но на мое *что делать* Михаил Федорович заметил свое.

— Что это такое,— сказал он,— как рука головы не слушает. Это что-то вроде *нельзя*, а слово *нельзя* должно быть выключено из военного лексикона, как ненавистные Суворову слова: *не могу знать* или *не знаю*. А ты знаешь анекдот о *нельзя?*

— Нет-с,— отвечал я просто, не прибавляя,— не знаю, как бы из уважения к памяти великого.

— Да вот в чем дело,— произнес генерал,— кто-то из начальников спросил опытного гренадера: «Как ты думаешь, можно ли взять эту батарею?» — «Нельзя, ваше превосходительство»,— отвечал гренадер. «Ну, а если прикажут?» — возразил начальник.— «Тогда другое дело,— отвечал гренадер,— возьмем, ваше превосходительство».

При этом рассказе мне представилось, как наши неодолимые усачи кинулись на батарею и в несколько мгновений уже русские штыки среди порохового облака блистали, как лучи солнца среди редеющего тумана.

— Прикажите, это другое дело, ваше превосходительство, скажу и я, как гренадер рассказа вашего.

— Нет, нет,— произнес Михаил Федорович,— я сам вижу, что ты действительно болен; но мне жаль, что ты не будешь на бале у Николая Николаевича; мы бы вместе встретили Новый год.

Весь этот разговор происходил накануне 1 января 1821 года, следовательно, выздороветь и явиться на бал я уже не имел времени; но меня огорчало не то, что я не буду участвовать в торжественной встрече Нового года

и вместо бала просижу один-одинехонек в своей комнатке; но я жалел о том, что не могу быть представлен Николаю Николаевичу; по крайней мере, на эту минуту он занимал меня более самого бала.

Николая Николаевича Раевского, в числе других подвижников 12-го года, еще с моего младенчества я уважал душою. «Певец во стане русских воинов» породнил юное мое воображение со многими из знаменитых того времени. Это произведение Жуковского я знал и помнил, как первое произведение, выученное мною наизусть после пророческого гимна Державина на рождение порфирородного отрока.

И на это время я не мог не вспомнить отзыва Жуковского, что

Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами —
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

И вот в это же утро я познакомился с одним из его сыновей-сподвижников, а именно с Александром Николаевичем, о котором нередко упоминает Пушкин в своих записках.

Александр Николаевич, по расстроенному здоровью, тогда уже был в отставке, в чине полковника, и жил при отце в Киеве. До этой встречи я знал А. Н. понаслышке; но при отъезде моем из Кишинева Пушкин советовал мне познакомиться с ним как с человеком образованным и вообще замечательным.

•

Быстро протекали дни моего отпуска, но и в эти немногие дни много мне довелось переслушать толков о Пушкине.

Поэму «Руслан и Людмила» все прочли, и каждый судил о ней по-своему: иной возглашал, что подобную поэму не следовало называть поэмою; другие же, что это такого рода сказка, что не стоило бы писать ее стихами, давая при этом рифме какое-то особое значение. А встречались и такие, которые, разумеется, бессознательно, а так, как говорится, *зря*, сравнивали саму поэму с Еруcланом Лазаревичем.

Отзывы «Вестника Европы» находили своих поборников: приговоры *жителя Бутырской слободы* почитались не

только дельными, но в особенности замечательными и остроумными [17].

Князь П. А. Вяземский, сочувствуя развивающемуся с такою быстротою таланту Пушкина, не одолел своего негодования против издателя «Вестника Европы» и тогда же написал свое послание к Каченовскому:

Перед судом ума сколь, Каченовский, жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил...— *и проч.*

Это послание везде читали и перечитывали, но большею частью читателей занимало не самое послание, а *кунштик* первого стиха. Это стихотворение Вяземского,— до напечатания в том же «Вестнике»,— ходило по рукам в списках. Тогда как-то в особенности любили переписывать, и поэтому не удивительно, что Грибоедов в своей комедии «Горе от ума» заметил эту страсть к переписыванию чего бы то ни было стихотворного, а не только замечательного послания Вяземского. Хотя альбомы и до сих пор сохраняют права свои, но в настоящую минуту они более составляют украшение письменных столов, на которых почасту ничего не пишут,— отличаются более щеголеватостию наружной отделки, нежели внутренними вкладами; а в описываемый мной период времени, то есть 21-го года, страсть к альбомам и списывание стихов были общею страстью: каждая девочка от пятнадцати лет возраста и восходя до тридцати, непременно запасалась альбомом; каждый молодой человек имел не одну, а две, три или более тетрадей стихов, дельных и недельных, позволительных и непозволительных. Нигде не напечатанные стихотворения как-то в особенности уважались некоторыми, несмотря на то что хотя бы стихи сами по себе и не заслуживали внимания, как по цели, так равно и по изложению.

В подобных сборниках не раз мне случалось встречать стихи Пушкина, и не редко в таком безобразном искажении, что едва можно понять было, в чем дело; но между тем каждое стихотворение непременно было скреплено его именем; так, например, стихи его «Дориде», написанные в 20-м году, в 21-м я прочел у одной из любительниц с следующими изменениями: во-первых: «К ней», а далее:

Я верю: я любим, возможно ль вам не верить;
Вы милы, хороши, так можно ль лицемерить;
Все непритворно в вас: ланит весенних жар,
Стыдливость милая, богов бесценный дар,

Уборов и плечей живая белоснежность
И ласковых имен младенческая нежность.

Тогда как в подлинных к «Дориде»:

Я верю: я любим, для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, Харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

Прочитав предыдущее подражание, я невольно спросил у владетельницы альбома: кто вам сказал, что это Пушкин?

— О, наверное,— отвечала она простодушно.

— То-то и есть, что ваше верное, смею сказать, не совсем верно.

— Да как же так? — возразила она с удивлением,— эти стихи мне написал мой *кузен* А., а он должен знать, он сам сочиняет, да и очень дружен с Пушкиным. Мой *кузен* сам говорит,— заключила она,— что Пушкин ничего не пишет без его совета.

— Все это, положим, может быть,— заметил я, смеясь,— но этот список не совсем-то верен.

Можно себе представить, как была удивлена моя любительница стихов, *кузина* мнимого наперсника Пушкина, когда я прочел ей подлинные стихи «Дориде».

— Эти стихи «Дориде»,— сказала она,— несравненно лучше моих; я мои непременно уничтожу.— И с этим словом листок вырван, и настоящее заменило поддельное; но давно ли та же *кузина* А. восхищалась стихами «К ней». Так нередко большая часть довольствуется иногда посредственным, не зная лучшего, и блестящие фразы принимает за что-то дельное.

Но одно ли это произведение Пушкина без всякой основной причины потерпело искажение? Сколько выходило и до сих пор выходит, под его именем, таких произведений, которые по содержанию и изложению недостойны поэта.

Конечно, не стану спорить, что, в первоначальные дни поэтической его жизни, Пушкин, под влиянием современных умозрений, под влиянием общества разгульной молодежи, писал много кой-чего такого, которое по звучности стиха хотя и могло быть увлекательно, но по изложе-

нию, цели и последовательности не могло выдерживать достодолжной критики, словом, было ярко, но неблаготворно для жизни слова.

Все подобные произведения хотя и имели некоторый успех в рукописном обращении, но не могли иметь и не имели успеха глубокого впечатления, как не проникнутые творческою силою убеждения самого поэта.

Об этом отделе произведений Пушкина выскажем впоследствии собственное его мнение: оно, по личному, высокому беспристрастию самого Пушкина даже к собственным своим произведениям, говорит лучше, нежели все умствования посторонних мыслителей.

Но, однако, и этот отдел его произведений у некоторых не оставался без замечаний: иные свои отметки излагали даже стихами; из подобных стихотворений предложу одно, написанное, как мне говорили, тогда же одним поэтом-юношею. Это стихотворение как-то случайно сохранилось в моих бумагах; за верность его списка не ручаюсь, но, во всяком случае, нахожу его замечательным. Вот оно:

Счастлив, кто гласом твердым, смелым
Вещать в пороках закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом,
О муз любимец, награжден!
Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей неистовых пристрастья
В друзей добра и правоты.
Но граждан не смущай покоя,
Поэта не мрачи венца
И, лиру дивную настроя,
Смягчай, а не тревожь сердца [18].

В этих стихах, как мне кажется, видны начатки сознания о назначении поэта, благотворность направления, а не та жгучесть, которая почасту только что разрушает, но не творит; впрочем, не спорим *со Скалозубом*, который в простоте сердца полагал, что Москва оттого хорошо выстроилась, что сгорела:

Пожар способствовал ей много к украшенью.

Что до этого, каждый может сказать, как ему угодно; но при воспоминании о Пушкине невольно возникает вопрос — был ли он таким в действительности, каким казался некоторым, готовым на порицание? О, конечно, нет: ми-

нутное увлечение, порыв юности, соприкосновение с людьми исключительного направления разве составляет основу главного свойства даже и в обыкновенных людях, а не только в такой личности, как Пушкин.

Но об этом после.

В первых числах марта я возвратился в Кишинев. Киевские слухи о восстании греков совершенно подтвердились; я уже не застал князей Ипсилантиев; все они перешли в заграничную Молдавию; вскоре и последний из них, князь Дмитрий *, также через Кишинев проехал в Яссы.

Явясь к генералу Орлову, я снова свиделся с Пушкиным, который встретил меня выражениями приязни и радушия. Наружность его весьма изменилась. Фес заменили густые темно-русые кудри, а выражение взора получило более определительности и силы. В этот день Пушкин обедал у генерала. За обедом Пушкин говорил довольно много и не скажу, чтобы дурно, вопреки постоянной придирчивости некоторых, а в особенности самого Михаила Федоровича, который утверждал, что Пушкин так же дурно говорит, как хорошо пишет; но мне постоянно казалось это сравнение преувеличенным. Правда, что в рассказах Пушкина не было последовательности, все как будто в разрыве и очерках, но разговор его всегда был одушевлен и полон начатков мысли. Что же касается до чистоты разговорного языка, то это иное дело: Пушкин, как и другие, воспитанные от пеленок французами, употреблял иногда *галлицизмы*. Но из этого не следует, чтоб он не знал, как заменить их родной речью.

Во время этого же обеда я познакомился с капитаном Раевским, большим пюристом — грамматиком и географом. Этот капитан, владея сам стихом и поэтическими способностями, никогда не мог подарить Пушкину ни одного ошибочного слова, хотя бы то наскоро сказанного, или почти неуловимого неправильного ударения в слове. Капитан Раевский, по назначению генерала, должен был постоянно находиться в Кишиневе при дивизионной квартире. Простое обращение капитана Раевского с первой минуты как-то сблизило нас, и до того, что, несмотря на разность лет наших, в несколько дней мы сошлись с ним на «ты». Но

* Впоследствии правитель Греции.

это сближение тут же не помешало нам о чем-то поспорить; да и вообще при каждом разговоре спор между нами был неизбежен; особенно если Пушкин, вопреки мнению Раевского, был одного мнения со мною. В подобных случаях для каждого капитан Раевский показался бы несносным, но мы, как кажется, взаимно тешились очередным воспламенением спора, который, продолжаясь иногда по несколько часов, ничем не оканчивался, и мы расходились по-прежнему добрыми приятелями, до новой встречи и неизбежного спора.

Вскоре по возвращении моем из Москвы в Кишинев генерал Орлов уехал в Киев для женитьбы на дочери Н. Н. Раевского. Начальство над дивизией принял бригадный генерал Пущин.

Обязательное обращение Павла Сергеевича Пущина, его образованный ум и постоянная любезность в коротком обществе невольно сближали с ним многих; мне же, как служащему, по обязанностям службы часто приходилось бывать у генерала. Пушкин, как знакомый, нередко навещал Павла Сергеевича, и так почти ежедневно мы с Пушкиным бывали вместе. Еще же нередко по вечерам мы сходились у подполковника Липранди, который своею *особенностью* не мог не привлекать Пушкина.

В приемах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического,— не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях. Липранди поражал нас то изысканною роскошью, то вдруг каким-то презрением к самым необходимым потребностям жизни, словом, он как-то умел соединять прихотливую роскошь с недостатками. Последнее было слишком знакомо Пушкину. Не имея навыка к расчетливой и умеренной жизни и стесняемый ограниченностью средств, Пушкин также по временам должен был во многом себе отказывать.

Молодость и почти кочевая жизнь Пушкина, видимо, облегчали затруднения; к тому же с каждым днем Пушкин ожидал перемены своего назначения; ему казалось, что удаление его в южный край России не могло долго продолжаться.

Нередко при воспоминании о царскосельской своей жизни Пушкин как бы в действительности переселялся в то общество, где расцвела первоначальная поэтическая жизнь его со всеми ее призраками и очарованием. В эти минуты Пушкин иногда скорбел; и среди этой скорби воля рас-

судка уступала впечатлению юного сердца; но Пушкин недолго вполне оставался юношею, опыт уже холодел над ним; это влияние опыта, смиряя порывы, с каждым днем уменьшая его беспечность, заселяло в нем новые силы.

Развитое Ипсилантием знамя и движение греков нисколько не воспламенили Пушкина [19], и вначале ни один из поэтических его звуков не был посвящен делу греков; может быть, потому, что первоначальные действия самого Ипсилантия, несмотря на всю важность неожиданных последствий, не имели в себе ничего уважительного: Ипсилантий в Яссах и в окрестностях предался вполне обычным веселостям, окружил себя одним блеском власти, не утвердив ее силы.

В самой главной квартире Ипсилантия и отдельных отрядах *Этерии* возникшие беспорядки и неповиновение разрушили единство действия; но, несмотря на подобное разрушение, с весною 21-го года, среди мрака долголетней неволи, уже загорались лучи независимости греков.

Странное столкновение событий: в то же время, когда возникала угнетенная Греция и восходила звезда древней Эллады, среди пустынного океана угасала иная звезда лучезарной славы *. И тот, кто так недавно возмущал племена и народы своею неодолимою силою, исчезал с лица земли, как невольник, при кликах крамол и неволи.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПУШКИНЕ

...Жил в то время в Кишиневе известный своим гостеприимством Егор Кириллович Варфоломей, который, как говорится, жил открытым домом, был богат или казался богатым, состоял на службе и был членом Верховного совета. Все это, вместе взятое, давало ему право на так называемое положение в свете. Знаем и помним, что гостеприимство Егора Кирилловича и радушие жены его Марьи Дмитриевны постоянно сближали с ними многих. Мы

* В Кишиневе везде читали и перечитывали статью, перепечатанную в наших газетах из «Гамшейрского телеграфа», в которой было сказано, что Бонапарте, с некоторого уже времени находившийся в опасной болезни, изъявил желание говорить с губернатором острова Св. Елены сиром Гудсоном Ловом. Полагали, что Наполеон чувствовал приближение конца своего.

с Пушкиным были постоянными их посетителями. Случалось ли нам заходить к Егору Кирилловичу утром, когда он возвращался из Верховного совета, Егор Кириллович непременно оставлял нас у себя обедать; зайдешь ли, бывало, вечером, так от ужина не отделаешься: Егор Кириллович уверял нас, что нам следует остаться у него то потому, что он заказал *плацинду*, то потому, что Марья Дмитриевна сама приготовила *каймак.* Эти по преимуществу молдавские кушанья, как и вообще стряпня цыгана-повара, и его одобести *, конечно, не совсем соответствовали нашему вкусу, но самая сердечность, с какою нас принимали, не могла не привлекать нас: юность чутка к радушию и не так взыскательна, как возмужалые годы. И вот, как теперь помню, в конце января, в четверг, часов в шесть вечера, проходя с Пушкиным мимо дома Варфоломея, в угольной его комнате, носившей звание кабинета, мы заметили огонек: этот приветный свет приветного дома в одно мгновение побудил нас войти в него, и мы вошли. Егор Кириллович встретил нас с каким-то особенным радушием; сильнее обыкновенного он захлопал в ладоши, призывая своего чубукчи-арнаута Иордаки, быстрее обыкновенного проговорил: «Ада фрате чубучи, кум дулица» ** и все это появилось, как будто поспешнее обыкновенного: даже сама Марья Дмитриевна ускорила обычную быстроту своего появления из боковых дверей и при встрече с нами обрадовалась нам как-то сильнее обыкновенного. Что все это значило на первую минуту, нам было трудно понять; но вскоре все дело объяснилось тем, что в этот день после обеда Егор Кириллович проснулся веселее обыкновенного и при этом расположении пожелал устроить у себя вечеринку; но эта импровизация сразу же была поражена затруднением: как пригласить свитских офицеров, а без этой блестящей молодежи тогдашнего кишиневского общества бал не в бал, вечер не в вечер. И вот на выручку из затруднений вдруг сама судьба посылает нас, постоянных членов милой молодежи. Егор Кириллович, поверив нам свой замысел, сожалел, что эта же мысль не пришла ему утром, что тогда бы он успел всех объездить и попросить; но теперь он совершенно не понимает, как бы это устроить. «К Костаки Прункулу, к Костаки Крупенскому и другим из наших, как могу сказать, — говорит он, — я послал, и они

* Известное молдавское вино.
** То есть дай трубки и варенья.

будут; но ваши приятели, это другое дело, как могу сказать, свита императорская — это нельзя». Но за этим *нельзя* и любимым его *как могу сказать* последовало *фортомульцемеско*, или покорнейше благодарю, когда мы, в один голос с Пушкиным, объявили, что все это устроим и что нам для этого нужно только сейчас же видеть Пульхерию Егоровну. Обрадованный старик, без дальних расспросов зачем и почему, в то же мгновение, чтоб исполнить наше требование, крикнул: «Ге! фрате! м-о-й!» — и на этот повелительный возглас явился тотчас тот же арнаут Иордаки, мгновенно принял и исполнил повеление своего властелина. Из той же боковой двери, в полунаряде, со словом: «Что угодно?» — вошла Пульхерия. Неожиданность встречи с нами до того смутила бедную, что она с словом: «Ах!..» — чуть было не скрылась снова. Но отец, смеясь и радуясь застенчивости милой дочери, остановил ее уверением, с примесью обычного его *как могу сказать*, что с такими приятелями, как мы, ей церемониться не следует, и в то же время рассказал ей, что мы взялись пригласить наших кавалеров. Обрадованная Пульхерия, в свою очередь, рассказала нам, кто из молодых дам и девиц приглашены ею, и мы предложили еще пригласить некоторых, на что она охотно согласилась. При этом Егор Кириллович с самодовольствием взглянул на Марью Дмитриевну и, смеясь, заметил: «Ну, как могу сказать, Марья Дмитриевна, изволь, как знаешь, а приготовляйся: у меня прошу, как могу сказать, чтоб всего было вдоволь». С тем же радушным смехом и улыбкою Марья Дмитриевна уверяла Егора Кирилловича, что все будет как следует, многое готово, а другое приготовляют. И действительно, до нас долетали металлические звуки пестика. По всем вероятиям, это было приготовление аршада, этого неизбежного угощения на всех балах и вечерах того времени. Пестик продолжал звучать, а мы спешили кончать наши *депеши*, приглашая добрых товарищей — Полторацкого 1-го, Полторацкого 2-го [1], Вельтмана и других — разделить с нами вечер у Варфоломея. Содержание наших записок приблизительно было следующее: приезжай, любезный друг, сегодня вечером к Варфоломею, и мы с Пушкиным там будем. Варфоломей убедительно просит, и Катенька [2] или Елена [3], там будет весело... К некоторым, более взыскательным относительно светских приличий, записки были писаны с оговоркою: Варфоломей не смеет просить, но мы взяли это на себя, не откажи доброму старику, не измени нам, и проч. Несколько подобных записок, по рас-

поряжению хозяина, быстро разнесены по городу. Вскоре вся главная зала была освещена, люстра уже ярко озаряла расписной плафон, на котором красовалась среди полупрозрачного облака полногрудая Юнона, с замечательными атрибутами: она опиралась одною рукою на глобус, на котором в одном размере лентообразно извивались слова, обозначавшие четыре части света и Мунчешты, подгородную деревеньку самого хозяина; в одну из полновесных округлостей самой Юноны, соответствовавшей серединной точке плафона, был ввинчен люстровый крюк, и, судя по цвету лица богини, она, казалось, не только не страдала от подобного притеснения, но даже как бы радовалась вместе с нами, что зала быстро наполнялась посетителями. Нежданно-негаданно устроился вечер, в котором человек до восьмидесяти приняли участие. Явились и наши друзья — Полторацкий 1-й и Полторацкий 2-й, Вельтман.

Дальнейшие подробности этого вечера мы, может быть, расскажем впоследствии, когда вздумаем печатать продолжение выдержек из нашего дневника, часть которого была напечатана в «Москвитянине» 1850 г. (№ 2, 3 и 7), а на этот раз мы находим, кстати заметить, что на всех подобных вечерах музыку выполняли домашние музыканты Варфоломея. Его музыканты из цыган отличались от других подобных музыкантов как искусством в игре, так и пением. В промежутках между танцами они пели, аккомпанируя себе на скрипках, *кобзах* и *тростянках*, которые Пушкин по справедливости называл цевницами. И действительно, устройство этих тростянок походило на цевницы, какие мы привыкли встречать в живописи и ваянии, переносящих нас ко временам древности. В этот вечер Пушкина занимала известная молдавская песня «*Тю юбески питимасура*», и еще с большим вниманием прислушивался он к другой песне — «Ардема́ — фриде — ма́», с которою, уже в то время, он породнил нас своим дивным подражанием, составив из нее известную песню в поэме «Цыганы», именно: «*Жги меня, режь меня...*» и проч. Его заняла и *Мититика* *, но в особенности он обратил внимание на танец, как называемый *Сербешти* **,

* Мититика — молдавский танец, сопровождаемый большею частию пением.

** Этот, собственно, сербский танец употребляется и у молдаван.

который протанцевал сам хозяин, пригласив для этого одну из приятельниц жены своей и еще некоторых своих приятелей. Вообще как-то все, принимавшие участие в этом вечере, от души веселились; одного нам было жаль, что наш общий друг Николай Степанович Алексеев хотя и имел приглашение, но не мог приехать. В этот вечер он был у вице-губернаторши Крупенской: там была Е.....

Но очень может быть, почтенный Карл Иванович [4], что вам вздумается написать возражение на наш отзыв, и тогда, пожалуй, вы нам грозно заметите, поставив знак удивления в конце заметки: мог ли, скажете вы, не быть Алексеев, когда он был один из первых друзей Варфоломея? И замечание ваше будет на первый раз справедливо; но чтобы не вовлечь вас в спор с нами, подобный спору о Берлине, в котором один утверждает, что Берлин город, а другой — карета, мы предупредим вас, что Алексеев действительно был, но не Николай Степанович, а Алексей Петрович, родом серб, полковник нашей службы, занимавший тогда, как нам небезызвестно, должность областного почтмейстера. Знаем и помним мы Алексея Петровича и его добрую семью, помним и то, что полковник Алексеев просил начальство не о том, как иные, чтоб его наградили чином, но о том, чтобы избавили его от подобной награды, ибо с повышением в гражданский чин, по тогдашнему положению, он лишался военного мундира; а георгиевский кавалер наш до того любил свой драгунский отставной мундир и золотую саблю, что везде и всюду являлся не иначе, как одетым в полную форму. Эта привязанность его к мундиру и крестам для иных казалась странною; но она понятна, как память о полке, с которым он делил опасности и славу, что же касается до крестов, то Алексеев не хуже денщика Суворова мог рассказать, не краснея, за что и когда именно каждый получен им. Пушкин, по преимуществу уважавший самоотвержение и неподдельную отвагу, с наслаждением выслушивал все рассказы Алексеева, как участника в битвах при Бородине и на высотах Монмартра. К концу описываемого нами вечера Алексеев до того развеселился, что, не принимая никогда участия в танцах, решился пройтись польский, но когда этот польский обратился в попурри, то старый служака сознался, что должен отступить и что этот бой ему не под силу. Когда начался разъезд, Алексеев объявил нам секрет: он очень любил секреты, и до того даже, что ему выпал на долю один такой секрет, кото-

рый сгубил бедного старика; но секрет, объявленный нам, нисколько не был ни для кого из нас гибельным. По связям с хозяином, Алексеев проведал, что в первый понедельник Варфоломей намерен дать бал на славу и что пригласит, сверх своих музыкантов, еще музыкантов Якутского полка, этого знаменитого полка 16-й дивизии, который после войны нашей и славного мира оставался с Воронцовым в окрестностях Мобежа. Музыканты этого полка были все артисты и отличались в сравнении с музыкантами иных полков какой-то особенною складкою. На другой день утром мы свиделись с Пушкиным, потолковали об импровизированном вечере и обещанном Алексеевым бале; но состоится ли самый бал, мы нисколько не были уверены. Встречаясь с Пушкиным всякий день и по несколько раз, мы в остальную часть этого дня почему-то не видались, а на другой день я получил его записку следующего содержания:

Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградила путь,
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как-нибудь.
Сижу я дома, как бездельник;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей...— *и проч.* [5]

⟨...⟩ Пушкин действительно имел столкновение ⟨...⟩ с командиром одного из егерских полков наших, замечательным во всех отношениях полковником С. Н. Старовым. Причина этого столкновения была следующая: в то время вы, верно, помните, так называемое *Казино* заменяло в Кишиневе обычное впоследствии *собрание*, куда все общество съезжалось для публичных балов. В кишиневском *Казино* на то время еще не было принято никаких определительных правил; каждый, принадлежавший к так называемому благородному обществу, за известную плату мог быть посетителем *Казино*; порядком танцев мог каждый из танцующих располагать по произволу; но за обычными посетителями, как и всегда, оставалось некоторое первенство, конечно, ни на чем не основанное. Как обыкновенно бывает во всем и всегда, где нет положительного права, кто переспорит другого или, как говорит пословица: «Кто раньше встал, палку взял, тот и капрал». Так случилось и с Пушкиным. На одном из подобных вечеров в *Казино*

Пушкин условился с Полторацким и другими приятелями начать мазурку; как вдруг никому не знакомый молодой егерский офицер полковника Старова полка, не предварив никого из постоянных посетителей *Казино*, скомандовал играть кадриль, эту так называемую русскую кадриль, уже уступавшую в то время право гражданства мазурке и вновь вводимому *контрдансу*, или *французской кадрили*. На эту команду офицера Пушкин по условию перекомандовал: «Мазурку!» Офицер повторил: «Играй кадриль!» Пушкин, смеясь, снова повторил: «Мазурку!» — и музыканты, несмотря на то что сами были военные, а Пушкин фрачник, приняли команду Пушкина, потому ли, что он и по их понятиям был не то что другие фрачники, или потому, что знали его лично, как частого посетителя: как бы то ни было, а мазурка началась. В этой мазурке офицер не принял участия. Полковник Старов, несмотря на разность лет сравнительно с Пушкиным, конечно, был не менее его пылок и взыскателен, по понятиям того времени, во всем, что касалось хотя бы мнимого уклонения от уважения к личности, а поэтому и не удивительно, что Старов, заметив неудачу своего офицера, вспыхнул негодованием против Пушкина и, подозвав к себе офицера, заметил ему, что он должен требовать от Пушкина объяснений в его поступке. «Пушкин должен,— прибавил Старов,— по крайности, извиниться перед вами; кончится мазурка, и вы непременно переговорите с ним». Неопытного и застенчивого офицера смутили слова пылкого полковника, и он, краснея и заикаясь, робко отвечал полковнику: «Да как же-с, полковник, я пойду говорить с ним, я их совсем не знаю!» — «Не знаете,— сухо заметил Старов,— ну, так и не ходите; я за вас пойду»,— прибавил он и с этим словом подошел к Пушкину, только что кончившему свою фигуру. «Вы сделали невежливость моему офицеру,— сказал Старов, взглянув решительно на Пушкина,— так не угодно ли вам извиниться перед ним, или вы будете иметь лично дело со мною».— «В чем извиняться, полковник,— отвечал быстро Пушкин,— я не знаю; что же касается до вас, то я к вашим услугам».— «Так до завтра, Александр Сергеевич».— «Очень хорошо, полковник». Пожав друг другу руку, они расстались. Мазурка продолжалась, одна фигура сменяла другую, и на первую минуту никто даже не воображал о предстоящей опасности двум достойным членам нашего общества. Все разъехались довольно поздно. Пушкин и полковник уехали из последних. На другой день

утром, в девять часов, дуэль была назначена: положено стрелять в двух верстах от Кишинева; Пушкин взял к себе в секунданты Н. С. Алексеева. По дороге они заехали к полковнику Липранди, к которому Пушкин имел исключительное доверие, особенно в делах этого рода, как к человеку опытному и, так сказать, весьма бывалому. Липранди встретил Пушкина поздравлением, что он будет иметь дело с благородным человеком, который за свою честь умеет постоять и не способен играть честию другого. Подобные замечания о Старове и мы не раз слыхали, и не от одного Липранди, а от многих, и между многими можем назвать: Михаила Федоровича Орлова, Павла Сергеевича Пущина, этих участников в битвах 12-го года и под стенами Парижа, где и С. Н. Старов также участвовал, и со славою, еще будучи молодым офицером. Мы не имели чести видеть Старова в огне, потому что сами в то время не служили и не могли служить; но зато впоследствии, смеем уверить каждого, мы ни разу не слыхали, чтоб кто-нибудь упрекнул Старова в трусости или в чем-либо неблагородном. Имя Семена Никитича Старова всеми его сослуживцами и знакомыми произносилось с уважением. Расставаясь с Пушкиным, Липранди выразил опасение, что очень может статься, что на этот день дуэль не будет кончена. «Это отчего же?» — быстро спросил Пушкин. «Да оттого,— отвечал Липранди,— что метель будет». Действительно, так и случилось: когда съехались на место дуэли, метель с сильным ветром мешала прицелу: противники сделали по выстрелу и оба дали промах; секунданты советовали было отложить дуэль до другого дня, но противники с равным хладнокровием потребовали повторения; делать было нечего, пистолеты зарядили снова — еще по выстрелу, и снова промах; тогда секунданты решительно настояли, чтоб дуэль, если не хотят так кончить, была отложена непременно, и уверяли, что нет уже более зарядов. «Итак, до другого разу»,— повторили оба в один голос. «До свидания, Александр Сергеевич!» — «До свидания, полковник!»

На возвратном пути из-за города Пушкин заехал к Алексею Павловичу Полторацкому и, не застав его дома, оставил ему записку следующего содержания:

Я жив,
Старов
Здоров,
Дуэль не кончен.

В тот же день мы с Полторацким знали все подробности этой дуэли и не могли не пожалеть о неприятном столкновении людей, любимых и уважаемых нами, которые ни по чему не могли иметь взаимной ненависти. Да и сама причина размолвки не была довольно значительна для дуэли. Полторацкому вместе с Алексеевым пришла мысль помирить врагов, которые по преимуществу должны быть друзьями. И вот через день эта добрая мысль осуществилась. Примирители распорядились этим делом с любовью. По их соображениям, им не следовало уговаривать того или другого явиться для примирения первым; уступчивость этого рода, по свойственному соперникам самолюбию, могла бы помешать делу; чтоб отклонить подобное неудобство, они избрали для переговоров общественный дом ресторатора Николети, куда мы нередко собирались обедать и где Пушкин любил играть на бильярде. Без дальнего вступления со стороны примирителей и недавних врагов примирение совершилось быстро. «Я вас всегда уважал, полковник, и потому принял ваше предложение»,— сказал Пушкин. «И хорошо сделали, Александр Сергеевич,— отвечал Старов,— этим вы еще более увеличили мое уважение к вам, и я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стояли под пулями, как хорошо пишете». Эти слова искреннего привета тронули Пушкина, и он кинулся обнимать Старова. Итак, в сущности, все дело обделалось, как и можно было ожидать от людей истинно благородных и умеющих уважать друг друга. Но так называемая публика, всегда готовая к превратным толкам, распустила с чего-то иные слухи: одни утверждали, что Старов просил извинения; другие то же самое взвалили на Пушкина, а были и такие храбрецы на словах, постоянно готовые чужими руками жар загребать, которые втихомолку твердили, что так дуэли не должны кончаться. Но из рассказа нашего ясно, кажется, видна вся несправедливость подобных толков.

Дня через два после примирения Пушкин как-то зашел к Николети и, по обыкновению, с кем-то принялся играть на бильярде. В той комнате находилось несколько человек туземной молодежи, которые, собравшись в кружок, о чем-то толковали вполголоса, но так, что слова их не могли не доходить до Пушкина. Речь шла об его дуэли с Старовым. Они превозносили Пушкина и порицали Старова. Пушкин вспыхнул, бросил кий и прямо и быстро подошел к молодежи. «Господа,— сказал он,— как мы кончили с Старо-

вым — это наше дело, но я вам объявляю, что если вы позволите себе охуждать Старова, которого я не могу не уважать, то я приму это за личную обиду, и каждый из вас будет отвечать мне, как следует!» Знаменательность слов Пушкина и твердость, с которою были произнесены слова его, смутили молодежь, еще так недавно получившую в Вене одно легкое наружное образование и притом нисколько не знакомую с дымом пороха и тяжестью свинца. И вот молодежь начала извиняться, обещая вполне исполнить его желание. Пушкин вышел от Николети победителем.

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕССАРАБИИ

Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна,
Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов...

Пушкин.
«Баратынскому. Из Бессарабии»

Когда приостановишься на пути и оглянешься назад, сколько там было света и жизни в погасающем, сумрачном отдалении, сколько потеряно там надежд, сколько погребено чувств! *Теперь* и *тогда, здесь* и *там*... Сколько времени и пространства между этими словами! И все это населено уже бесплотными образами, безмолвными призраками!

Когда пронеслась печальная весть о смерти Пушкина, вся прошедшая жизнь его воскресла в памяти знавших его, и первая грусть была о Пушкине-человеке. Все перенеслось мыслию в прошедшее, в котором видело и знало его, чтобы потом спросить себя: где же он? Я узнал его в Бессарабии...

Когда я приехал в Кишинев, это был уже не тот город, который я оставил за два или за три месяца. Народ кишел уже в нем. Вместо двенадцати тысяч жителей тут было уже до пятидесяти тысяч на пространстве четырех квадратных верст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате. Но не один Кишинев наполнился выходцами из Молдавии и Валахии; население всей Бессарабии, по крайней мере, удвоилось. Кишинев

был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств; в каждом дому, имеющем две-три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Ясс и Букареста. Тут был проездом в Италию и господарь Молдавии Михаил Суццо; тут поселилось семейство его, в котором блистала красотой Ралу Суццо; тут была фамилия Маврокордато, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Еллада, в виде божественной девы, появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки. Прежде было приятно жить в Кишиневе, но прежде были будни перед настоящим временем. Вдруг стало весело даже до утомления. Новые знакомства на каждом шагу. Окна даже дрянных магазинов обратились в рамы женских головок; черные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы ни подошли, так как на портретах была постоянная улыбка. На каждом шагу загорался разговор о делах греческих: участие было необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра, по всему греческому миру Кишинева. Чалмы князей и кочулы бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом, с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход; всему верили, все служило пищей для толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться надвое: одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фанариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих. Между тем в саду выстроилась зала клубная, в которой победа была всегда на стороне военных, а в зале Крупенского открыли театр немецкой труппы актеров, переселившейся из Ясс, которая продекламировала нам всего Коцебу, причем не были упущены, к удовольствию публики, и балеты.

Между тем в Молдавии дела шли очень плохо; у главнокомандующего греческих войск не было войска, у начальника его штаба не было текущих дел. В составляемую Ипсиланти гвардию, под именем «бессмертного полка», шли только алчущие хлеба, но не жаждущие славы; весь же боевой народ — арнауты, пандуры, гайдуки, гайдамаки и талгари — нисколько не хотел быть в числе бессмертных

и носить высокую мерлушковую *кушму* (шапку), украшенную Адамовою головой. Им не нравилось управление штаба и гораздо было привольнее в шайках Йоргаки Олимпиота и Тодора Владимиреско, которого цели были совсем иные. Вместо того чтобы соединиться с Ипсиланти, он отвечал ему: «Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я — на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем; вы борйтесь с турками, а я буду бороться с злоупотреблениями». Таким образом, Ипсиланти был не в своей тарелке; его маневры против турок не удались, и он принужден был оставить поле чести, предав вечному проклятию бояр Савву Дуку, Василия Парлу, Георгия Мано, Григораша Суццо, Николая Скуфо и Василия Каравию. Остаток армии етеристов был преследован турками до переправы Скулянской через Прут. Здесь был последний бой пред вратами спасения. В это время от ожесточенных турок сбежались толпы жителей Молдавии к переправе. Истощив последние силы, сжатые турками в кучу, етеристы бросили оружие, побежали к переправе, смешались с переправляющимся народом; но турки ринулись к переправе и воздержались только готовностью нашей батареи, а между тем испуганные беглецы кинулись вплавь через реку, переплыли и тонули, подстреливаемые турками. Почти этим, исключая нескольких битв в оградах монастырей Молдавии и Валахии, кончилась етерия этих княжеств.

Не помню, но, кажется, в исходе этого года пронеслись слухи, что едет в Кишинев прославленный уже юный поэт Пушкин. Пушкин приехал в Кишинев в то время, как загорелась греческая война; не помню, но кажется, что он был во время Скулянского дела, и стихотворение «Война» внушено ему в это время общего голоса, что война с турками неизбежна:

Война!.. Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести,
Засвищет вкруг меня губительный свинец!

И наконец, в конце он с нетерпением восклицает:

Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?.. [1]



Надежда Осиповна Пушкина,
рожд. Ганнибал. Ксавье де Мэстр,
1800-е годы, миниатюра.



Сергей Львович Пушкин.
Сент-Обен, 1807,
рисунок.



Ольга Сергеевна Павлищева.
Неизвестный художник, 1833,
рисунок.



Лев Сергеевич Пушкин.
А. Орловский, 1820-е годы,
рисунок.



Лицейские профессора, спасающие Кюхельбекера.
А. Илличевский, карикатура из рукописного журнала «Лицейский мудрец», 1815.

Царское Село. Часть Екатерининского парка, литография, 1815.



И. И. Пущин.
Ф. Верне, 1817,
рисунок, пастель.



С. Д. Комовский.
Неизвестный художник. 1810-е годы,
акварель.



Актовый зал Лицея.
В. Лангер, литография. 1820-е годы.

А. С. Пушкин.
Е. Гейтман. 1822,
гравюра.



Свидетельство министра юстиции И. И. Дмитриева, представленное при поступлении Пушкина в Лицей. 1811.

606

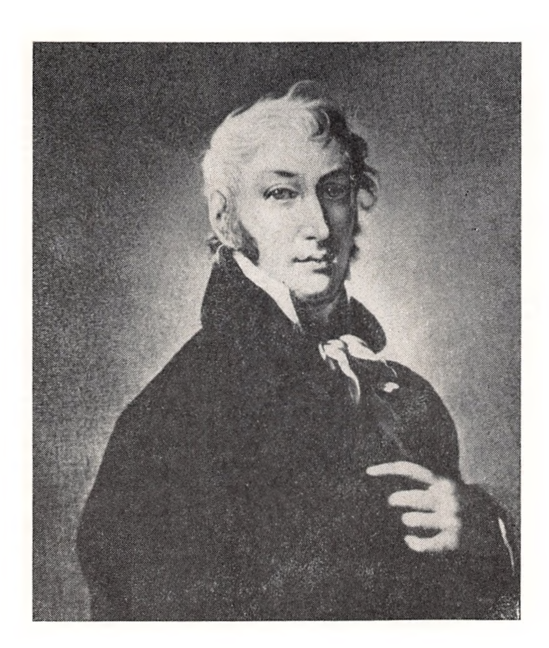
1810 ГОДА ЦѢНА 50 КОПѢЕКЪ ЛИСТЪ

Свидѣтельствую симъ, что недоросль Александръ Пушкинъ есть дѣйствительно законный сынъ служащаго въ коммиссаріатскомъ штатѣ 7го класса Сергѣя Львовича Пушкина.

Марта дня 1811 года.

Министръ Юстиціи Дмитріевъ

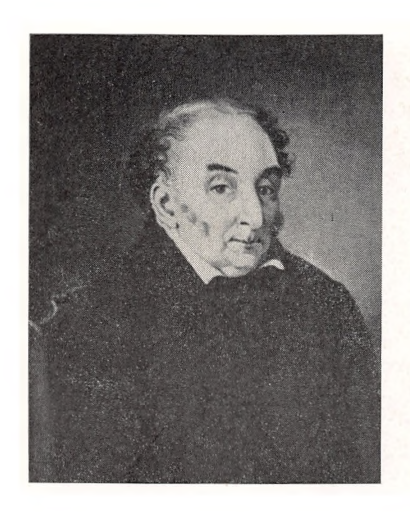
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Графъ Сергій Салтыковъ.



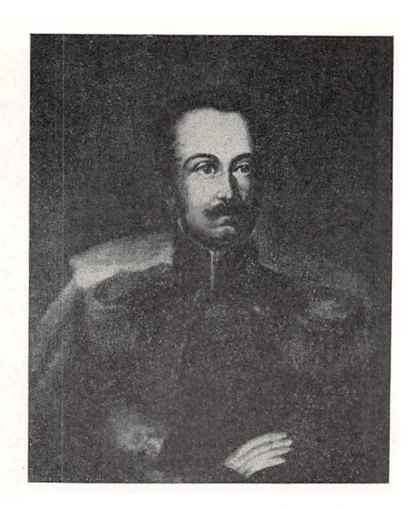
Н. М. Карамзин.
Дамон-Ортелани,
ок. 1805 г.,
холст. Масло.



Е. А. Карамзина.
Дамон-Ортелани, 1805,
холст, масло.



А. А. Шаховской.
Неизвестный художник,
1-я четверть XIX в.,
холст, масло.



П. А. Катенин.
Неизвестный художник,
1-я четверть XIX в.,
холст, масло.

Петербург. Большой театр.
Неизвестный художник. 1-я половина XIX в.,
холст, масло.



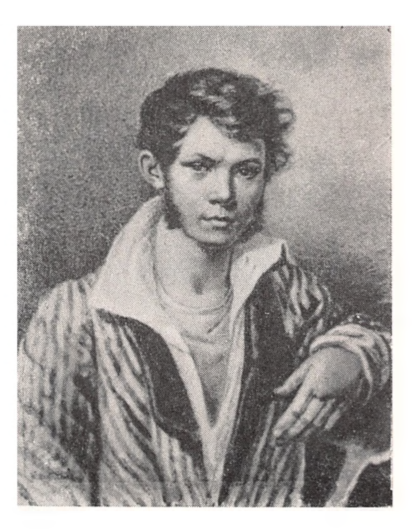
А. М. Каратыгина.
Литография с рисунка
В. Баранова.
1820-е годы.



В. Ф. Вяземская.
Э. В. Бинеман, конец 1810-х —
начало 1820-х годов, рисунок.



К. Н. Батюшков.
О. Кипренский, 1815,
рисунок.



П. А. Вяземский.
И. Зонтаг, 1821,
рисунок, акварель.



М. Н. Раевская.
П. Соколов, 1821,
рисунок.

М. Н. Раевская.
Рисунок Пушкина в беловом автографе «Кавказского пленника», 1821.





А. Н. Раевский.
Неизвестный художник, 1821,
холст, масло.

Ек. Н. Раевская.
Неизвестный художник,
1-я половина XIX в.,
холст, масло.



Н. Н. Раевский-старший.
П. Соколов, 1826,
акварель (справа).

Н. Н. Раевский.
Неизвестный художник,
1820-е годы, холст, масло.







И. П. Липранди.
Г. Гец, 1820-е годы,
акварель.



И. Н. Инзов.
М. Клюквин, литография
с оригинала Г. Доу.



Ф. Ф. Вигель.
Литография.

М. С. Воронцов.
К. Гампельн, 1-я четверть
XIX в., рисунок.



Е. К. Воронцова.
Г. Доу, 1820-е годы,
холст, масло.



А. П. Керн.
Неизвестный художник, 1-я половина XIX в., миниатюра.



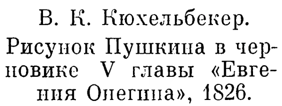
А. Н. Вульф.
Григорьев, 1828, акварель.

Автопортрет на лошади и портрет А. Ризнич.
Рисунок Пушкина в черновике V главы «Евгения Онегина», 1826.



Портрет Арины Родионовны (в молодости и в старости).
Рисунок Пушкина, 1828.

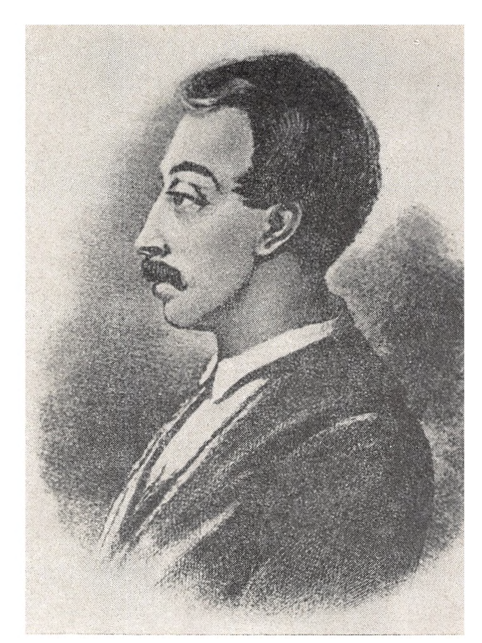




В. К. Кюхельбекер.
Рисунок Пушкина в черновике V главы «Евгения Онегина», 1826.

В. К. Кюхельбекер.
И. Матюшин, гравюра, 1880-е годы (вверху справа).

В. К. Кюхельбекер.
П. Яковлев, 1820-е годы, акварель.



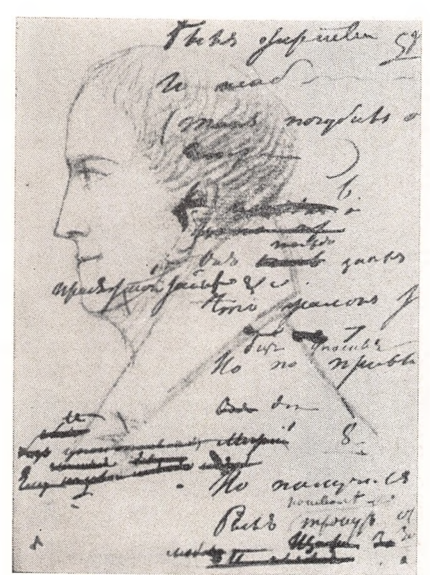




П. Я. Чаадаев. С рисунка Ж. Вивьена, 1820-е годы (слева).



Ф. Н. Глинка.
И. Бегров, литография по рисунку неизвестного художника, 1820-е годы.



П. Я. Чаадаев.
Рисунок Пушкина в черновике IV главы «Евгения Онегина», 1824.



И. Д. Якушкин.
П. Соколов, 1818, рисунок по оригиналу художника Н. Уткина, 1816.



А. Ф. Вельтман.
Гравюра с акварели Бодри, 1839.



И. И. Лажечников.
А. Тыранов, 1837, холст, масло.

В это время исправлял должность наместника Бессарабии главный попечитель южных колоний России генерал Инзов. Вскоре узнали мы, что под его кровом живет Пушкин. Наконец Пушкин явился в обществе кишиневском.

Здесь не пропущу я следующее, касающееся до тогдашнего моего самолюбия. В Кишинев русская поэзия еще не доходила. Правда, там, за несколько лет до меня, жил Батюшков;[2] но круг военных русских его времени переменился; с переменой лиц и память об нем опять исчезла; притом же он пел в тишине, и звуки его не раздавались на берегах Быка. После него первый юноша со склонностью плести рифмы был я; хотя эта склонность зародилась еще на двенадцатом году в молельной комнате Московского университетского благородного пансиона, и потом, воспаленная песнью В. А. Жуковского «Во стане русских воинов», породившею трагикомедию «Изгнание французов из Москвы», была самая жалкая, но я между товарищами носил имя «кишиневского поэта». Причиною этому названию были стихи на кишиневский сад, в которых я воспел всех посещающих оный, профанически подражая воспеванию героев русских. Не стыдясь, однако, пеленок своих, я сознаюсь, что если чудные звуки В. А. Жуковского породили во мне любовь к поэзии, то приезд Пушкина в Кишинев породил чувство ревности к музе. Но все мое поприще ограничивалось письмами; по какой-то непреодолимой страсти я не мог написать всего письма в прозе: непременно, нечувствительно прокрадывались в него рифмы. Да еще я начинал писать какую-то огромную книгу в стихах и прозе (заглавия не помню; кажется, «Этеон и Лаида»), что-то вроде поэмы из крестовых походов,— только действие на Ниле. Встречая Пушкина в обществе и у товарищей, я никак не умел с ним сблизиться: для других в обществе он мог казаться ровен, но для меня он казался недоступен. Я даже удалялся от него, и сколько я могу понять теперь тайное, безотчетное для меня тогда чувство, я боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал ему при мне: «Пушкин, вот и он пописывает у нас стишки».

Слава Пушкина в Кишиневе гремела только в кругу русских; молдавский образованный класс знал только, что поэт есть такой человек, который пишет «поэзии». Пушкин заметнее других, носящих фрак, был только потому, что принадлежал, по их мнению, к свите наместника; в обще-

стве же женщин шитый мундир, статность, красота играли значительнее роль, нежели слава, приобретенная гусиным пером. Однако ж живым нравом и остротой ума Пушкин вскоре покорил и внимание молдавского общества; все оригинально-странное не ушло от его колючих эпиграмм, несмотря на то что он их бросал в разговоры как будто только по одной привычке: память молодежи их ловила на лету и носилась с ними по городу.

Отец Пульхерии, некогда стоявший с чубуком в руках на запятках *бутки* (коляски) ясского господаря Мурузи, но потом владетель больших имений в Бессарабии, председатель палаты и откупщик всего края, во время Пушкина жил открыто; ему нужен был зять русский, сильная рука которого поддержала бы предвидимую несостоятельность по откупам. Предчувствуя сбирающуюся над ним грозу, он пристроил к небольшому дому огромную залу, разрисовал ее как трактир и стал давать балы за балами, вечера за вечерами. Свернув под себя ноги на диване, как паша, сидел он с чубуком в руках и встречал своих гостей приветливым: «пуфтим» (просим). Его жена, Марья Дмитриевна, была во всей форме русская говорливая, гостеприимная помещица; Пульхерица была полная, круглая, свежая девушка; она любила говорить более улыбкой, но это не была улыбка кокетства, нет, это просто была улыбка здорового, беззаботного сердца. Никто не помнит из знавших ее в продолжение нескольких лет, что она на кого-нибудь взглянула особенно; казалось, чтоб каждый, кто бы он ни был и каков бы ни был, для нее был не более как человек с головой, с руками и с ногами. На балах со всеми кавалерами она с одинаким удовольствием танцевала, всех одинаково любила слушать, и Пушкину так же, как и всякому, кто умел ее рассмешить или польстить ее самолюбию, она отвечала: «Ah, quel vous êtes, monsieur Pouchkine!» * Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти.

Но Пульхерица была необъяснимый феномен в природе; стоит, чтоб сказать мои сомнения насчет ее. Многие искали ее руки, отец и мать изъявляли согласие, но, едва желающий быть нареченным приступал к исканию сердца, все вступления к объяснению чувств и желаний Пульхерица прерывала: «Ah, quel vous êtes! Qu'est-ce que vous

* Ах, какой вы, мосье Пушкин!

badinez!» * И все отступались от исканий; сердца ее никто не находил; может быть, его и не было, или, по крайней мере, оно было на правой стороне, как у анатомированного в Москве солдата. Когда по делам своим отец ее предвидел худую будущность, он принужден был влюбиться, вместо дочери, в одного из моих товарищей, но товарищ мой не прельщался несколькими стами тысяч приданого и поместьями бояр. «Мусье Горчаков,— говорил ему Варфоломей,— вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам».— «Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить». — «Поверьте мне, что она вас любит»,— говорил Варфоломей. Но товарищ мой не верил клятвам отцовским.

Смотря на Пульхерию, которой по наружности было около восемнадцати лет, я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. «Отчего,— думал я,— у Варфоломея только одна дочь, тогда как и он и жена еще довольно молоды?» Все движения, которые она делала, могли быть механическими движениями автомата. «Не автомат ли она?» И я присматривался к ее походке: в походке было что-то странное, чего и выразить нельзя. Я присматривался на глаза: прекрасный, спокойный взор двигался вместе с головою. Ее лицо и руки так были изящны, что мне казались они натянутою лайкой. Но Пульхерия говорит... Говорил и Альбертов андроид с медным лбом. Я обращал внимание на ее разговоры; она все слушала кавалера своего, улыбалась на его слова и произносила только: «Qu'est-ce que vous dites? Ah, quel vous êtes!», и иногда: «Qu' est-ce que vous badinez?» ** Голос ее был протяжен, в произношении что-то особенное, необъяснимое. «Неужели это — новая Галатея?» — думал я... Но последний опыт так убедил меня, что Пульхерия — не существо, а вещество, что я до сих пор верю в возможность моего предположения. Я замечал, ест ли она. Поверит ли мне кто-нибудь? Она не ела; она не садилась за большой ужин, ходила вокруг столиков, расставленных вокруг залы, за которыми располагались гости по произволу кадрили, обращаясь то к тому, то к другому, она повторяла: «Pourquoi ne mangez-vous pas?» *** И если кто-нибудь отвечал, что он устал и не может есть, она гово-

---

* Ах, какой вы! Все-то вы шутите!
** Что вы говорите? Ах, какой вы... Все-то вы шутите!
*** Почему вы не кушаете?

рила: «Ah, quel vous êtes!» — и отходила. «Пульхерия не существо,— думал я,— но каким же образом ее отец, сам ли гений механического искусства или приобревший за деньги механическую дочь, хлопочет, чтоб выдать ее замуж?» И тут находил я оправдание своего предположения: ему нужно утвердить за дочерью бо́льшую часть богатства, чтоб избежать от бедствий несостоятельности, которую он предвидел уже по худому ходу откупов; зятю же своему он запер бы уста золотом; притом же, кто бы решился рассказывать, что он женился на произведении механизма? Странно однако, что никто не женился на Пульхерии. Спустя восемь лет я приезжал в Кишинев и видел вечную невесту в саду кишиневском: она была почти та же, механизм не испортился, только лицо немного поистерлось.

Пушкин часто бывал у Варфоломея. Добрая, таинственная девушка ему нравилась, нравилось и гостеприимство хозяев. Пушкин посвятил несколько стихов Пульхерице, которые я, однако же, не припомню.

Происходя из арапской фамилии, в нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение. В нем проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах — воинственность и бесстрашие, в отношениях — справедливость, в чувствах — страсть благоразумная, без восторгов, и чувство мести всему, что́ отступало от природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжалом. Он не щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и всегда готов был отвечать за удары свои [3].

Я уже сказал, что Пушкин, по приезде, жил в доме наместника. Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе; стены дома треснули, раздались в нескольких местах; генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постеле и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город, с карандашом и листом бумаги; по возвращении лист был исписан стихами, но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскош-

ные нити событий в поэмах: «Кавказский пленник», «Разбойники», начало «Онегина» и мелкие произведения, напечатанные и ненапечатанные. Во время этих-то прогулок он писал «К Овидию» и сказал:

Но если обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенной,—
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье...

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал,
И ни единый друг мне в мире не внимал,—
Но не унизил в век изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям [4].

Чаще всего я видал Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая, веселая беседа, écarté * и иногда, pour varier **, «направо и налево», чтоб сквитать выигрыш. Иногда забавы были ученого рода. В Кишинев приехал известный физик Стойкович. Узнав, что он будет обедать в одном доме, куда были приглашены Липранди и Раевский, они сговорились поставить в тупик физика. Перед обедом из первой попавшейся «Физики» заучили они все значительные термины, набрались глубоких сведений и явились невинными за стол. Исподволь склонили они разговор о предметах, касающихся физики, заспорили между собою, вовлекли в спор Стойковича и вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего таких познаний в военных.

Читателям «Евгения Онегина» известна фамилия Ларин. Ларин — родня Илье Ларину, походному пьяному шуту, который потешал нас в Кишиневе. Отставной унтерцейгвахтер Илья Ларин, подобно Кохрену, был enjambeur *** и исходил всю Россию кругом не по страсти путеше-

* карточный термин.
** для разнообразия.
*** Здесь: ходок, бродяга.

ствовать, но по страсти к разнообразию для снискания пищи и особенно пития между военною молодежью. Не имея ровно ничего, он не хотел быть нищим, но хотел быть везде гостем. Прибыв пешком в какой-нибудь город, он узнавал имена офицеров и, внезапно входя в двери с дубиной в руках, протягивал первому руку и говорил громогласно: «Здравствуй, малявка! Ну, братец, как ты поживаешь? А, суконка, узнал ли ты Ларина, всесветного барина?» Подобное явление, разумеется, производило хохот, а Ларин между тем без церемоний садился, пил и ел все, что́ стояло на столе, и, вмешиваясь в разговор, всех смешил самым серьезным образом. Покуда странность его была новостью, он жил в обществе офицеров, переходя гостить от одного к другому; но когда начинали уже ездить на нем верхом и не обращали внимания на его хозяйские требования, он вдруг исчезал из города и шел далее незваным гостем. Ларин явился в Кишинев во время Пушкина как будто для того, чтоб избавить его от затруднения выдумывать фамилию для одного из лиц «Евгения Онегина» [5].

Чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит через толпу мирно; раздраженный неуважением людей к своему божеству, как человек, он так же забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступается за правоту своего приговора: на *поле* дело решается *божьим судом...* Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной, — только не от русского слова *малина*: здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем «полю». Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу, под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза «полевал» и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного «поля», и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах.

Пушкин так был пылок и раздражителен от каждого неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость. «Вы должны отвечать за дерзость жены своей»,— сказал он ее мужу. Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей. «Так я вас заставлю знать честь и отвечать за нее»,— вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женою, отозвалась на муже. Этим все и заключилось; только с тех пор долго бояре дичились Пушкина; но время скоро излечило рожу на лице Тодора Бальша, и он теперь заседает в диване князя Молдавии.

Я полагаю, что поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на талгаря Урсула (*талгарь* — разбойник, *урсул* — медведь) [6]. Это был начальник шайки, составившейся из разного сброда войнолюбивых людей, служивших етерии молдавской и перебравшихся в Бессарабию от преследования турок после Скулянского дела. В Молдавии и вообще в Турции разбойники разъезжают отрядами по деревням, берут дань, пируют в корчмах, и их никто не трогает. Урсул с несколькими из отважных ограбил на дороге от Бендер к Кишиневу купца. Вздумали пировать в корчме при въезде в город. В то время еще никто не удивлялся, видя несколько вооруженных с ног до головы арнаутов; но ограбленный Урсулом прибежал в Кишинев и, заметив разбойников в корчме, закричал: «Талгарь, талгарь!» Народ сбежался; письменная почта была подле; почтмейстер Алексеев, отставной храбрый полковник гусарский, собрал команду почтальонов и бросился с ними к корчме, дав знать между тем жандармскому командиру. Урсул с товарищами, видя себя окруженными, вскочив на коней, понеслись во весь опор чрез город. Только крики: «Талгарь, талгарь!» — успевали их преследовать по улицам. Народ заграждал им путь, но выстрелами прокладывали они себе дорогу вперед, однако же выбрали плохой путь — через Булгарию (улицу Булгарскую). Булгары осы́пали их и принудили своротить в сторону к огородам. Огороды лежали на равнине по берегу Быка. Принадлежа разным владельцам, все пространство было в загородях. Лихие кони разбойников перелетали через плетни, но загородок было много, а толпы булгар преследовали их бегом и догоняли; постепенно утомленные кони падали с отважными седоками, и булгары, как пчелы, осыпа́ли их и перевязывали. На окованного Урсула съезжался

смотреть весь город. Это был образец зверства и ожесточения, когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал осыпанный червями, но не охал. Я уверен, что Урсул подал Пушкину мысль написать картину «Разбойников», в которой он подражал рассказу Байрона в «Шильонском узнике» только привычным своим размером.

Точно так же и кочующие цыгане по Бессарабии подали Пушкину мысль написать картину «Цыган», хотя это несчастное племя Ром, истинные потомки плебеев римских; изгнанные плоты, там не столь милы, как в поэме Пушкина.

Говоря о цыганах бессарабских и молдавских, должно упомянуть, что они издавна составляют собственность, рабов боярских, между тем как молдаване — народ вольный, зависящий только от земли. В Бессарабии есть несколько деревень, землянок цыганских; по большей части они живут на краях селений в землянках, платят владетелю червонец с семьи и отправляются табором кочевать по Бессарабии на заработки. Они — или ковачи, или певцы-музыканты; скрипица и кобза — два инструмента их. Лошадиной меной там они не занимаются. Почти каждая деревня Бессарабии нанимает постоянно двух или нескольких цыган-музыкантов для *джоков* (хороводной пляски) по воскресеньям и во время свадеб. Почти каждый бояр также содержит у себя несколько человек музыкантов. В дополнение вся почти дворня каждого бояра состоит из одних цыган, повара и служанки из цыган. Служанки в лучших домах ходят босиком, повара — чернее вымазанных смолою чумаков, и если вы сильно будете брезгливы, то не смотрите, как готовится обед в кухне, которая похожа на отделение ада: это — страшно! Их кормят одною *мамалыгой* или мукой кукурузною, сваренною в котле густо, как саламата. Ком мамалыги вываливают на грязный стол, разрезывают на части и раздают; кто опоздал взять свою часть, тот имеет право голодать до вечера. По праздникам прибавляют к обеду их гнилой *бринзы* (творог овечий). Зато не нужно мыть тарелок во время обедов боярских: эти несчастные оближут их чисто-начисто. Я не говорю, чтоб это было так везде, но так по большей части; по одному, по нескольким примерам я бы даже не упомянул об этом, но это — просто обычай в Бессарабии, в Молдавии и Валахии, во всяком доме, где огромная дворня цыган составляет прислугу. Страсть к наружному великолепию и вместе

отвратительную неопрятность de la maison culinaire * невозможно достаточно сблизить в воображении.

Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю, полную арнаутов, перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей; пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод, перед вами вправо или влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную; тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платья в какой-нибудь кацавейке, *фермеле*, без рукавов, шитой золотом, или застанете хозяина, про которого невольно скажете:

Он важен, важен, очень важен:
Усы в три дюйма, и седа
Его в два локтя борода,
Янтарь в аршин, чубук в пять сажен.
Он важен, важен, очень важен [7].

Вас сажают на диван; арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной броне, в чалме из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук,— подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая, неопрятная цыганочка, с всклокоченными волосами, подает на подносе дульчец и воду в стакане. А потом опять пышный арнаут или нищая цыганка подносят *каву* в крошечной фарфоровой чашечке без ручки, подле которой на подносе стоит чашечка серебряная, в которую вставляется чашечка с кофе и подается вам. Турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, подается без отстоя.

Между девами-цыганками, живущими в доме, можно найти Земферску, или Земфиру, которую воспел Пушкин и которая, в свою очередь, поет молдавскую песню:

Арды ма, фрыджи ма,
На карбуне пуне ма!
(Жги меня, жарь меня, на уголья клади меня [8].)

* Кухни.

Но посреди таборов нет Земфиры.

Я сказал уже, что я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным; но странный случай свел нас. Заспорив однажды с кем-то, что фамилия Таушев, произносящаяся *у* с краткою, должна и писаться правильно с краткою, ибо письмо не должно изменять произношению, я доказывал, что должно ввести в употребление *у* с краткою, и привел наобум следующие четыре стиха:

Жуковский, Батюшков и Пушкин —
Парнаса русского певцы,
Пафнутьев, Таушев и Слепушкин —
Шестого корпуса писцы.

— Над *у* не должно быть краткой, *и* — лишнее в стихе; должно сказать:

Пафнутьев, Таушев, Слепушкин,—

кричали все. Я из себя выходил, доказывая, что если в произношении *у* — краткое, то *и* должно быть. В это время вошел Пушкин; ему объяснили спор; он был против меня, и тщетно я уверял, что *у* в фамилии Таушев — то же, что краткое *и*, и что, следовательно, в стихе:

Пафнутьев, Таушев, Слепушкин,—

и необходимо. Ничто не помогло: Пушкин не хотел знать *у* с краткою.

Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже пописываю стишки и сочиняю молдавскую сказку в стихах, под заглавием «Янко-чабан» (пастух Янко), навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему что-нибудь из «Янка» [9]. Три песни этой нелепой поэмы-буффы были уже написаны; зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего «Янка», великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что вскоре не стало места в хате отцу и матери и младенец, проломив ручонкой стену, вылупился из хаты, как из яйца.

Через несколько дней я отправился из Кишинева и не видел уже Пушкина до 1831 года. Он посетил *странника* уже в Москве. «Я непременно буду писать о «Страннике»,— сказал он мне. В последующие свидания он всегда

напоминал мне об этом намерении. Обстоятельства заставили его забыть об этом; но я дорого ценю это намерение [10].

«Пора нам перестать говорить друг другу *вы*»,— сказал он мне, когда я просил его в собрании показать жену свою. И я в первый раз сказал ему: «Пушкин, ты — поэт, а жена твоя — воплощенная поэзия». Это не была фраза обдуманная: этими словами невольно только высказалось сознание умственной и земной красоты.

Теперь где тот, который так таинственно, так скрытно даже для меня пособил развертываться силам остепенившегося *странника*?..

И. П. ЛИПРАНДИ

ИЗ ДНЕВНИКА И ВОСПОМИНАНИЙ

Заметки эти взяты из моего дневника и в некоторых местах дополнены из памяти (могут быть найдены неуместно пространными; но они не предназначались к напечатанию): целью их было исправление некоторых вкравшихся в статью о Пушкине погрешностей касательно местности, лиц и событий, что бывает всегда неразлучно с тяжелым трудом соединения множества повествований в одно целое. Встречающиеся здесь подробности набросаны только для соображения будущим биографам Пушкина ⟨...⟩.

Период времени пребывания Пушкина в Кишиневе, относительно общества, должен делиться на две части: *первая*, с сентября 1820 г., когда он приехал, до мая 1821-го, когда Кишинев начал наводняться, по случаю гетерии, боярами из Придунайских княжеств, преимущественно из Молдавии, и несколькими семействами фанариотов [1] из Константинополя и других мест Турции. *Вторая* часть — с мая 1821-го и по июль 1823 года, когда Пушкин оставил Кишинев и переехал в Одессу. Оба периода представляют большую между собой разницу относительно общества. Очень справедливо сказано, что кишиневское общество слагалось «из трех довольно резких отделов». В первом — мир чиновный; второй — составляли молдаванские бояре, одни находились на службе, другие — зажиточные помещики; и наконец, третий, «самый замечательный» отдел — из людей военных ⟨...⟩.

Коллежский секретарь Николай Степанович Алексеев, по крайней мере, десятью годами старее Пушкина, был вполне достоин дружеских к нему отношений Александра Сергеевича. У них были общие знакомые в Петербурге и Москве; и в Кишиневе Алексеев, будучи старожилом, ввел Пушкина во все общества. Русская и французская литература не были ему чужды. Словом, он из гражданских

чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишиневе подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть ⟨...⟩

«Чиновник горного ведомства» был не «Эльфрект», как он везде в статье называется, а Эйхфельдт, Иван Иванович, обер-берггауптман. Он был в полном смысле ученый немец, флегматик, равнодушный ко всему и к самой жене своей; он придерживался одного пунша, но и это делал не так, как другие: он любил поймать кого-нибудь и засесть за столик с поставленным чайником и бутылкой рому *. Я был очень близко знаком с ним, а потом и в тесных служебных отношениях; но в первый раз слышу, что он был страстный охотник до старых монет. Здесь это передано неправильно; одинаково неверно и то, что Пушкин часто посещал его.

Я должен сказать о нем еще несколько слов и именно потому, что ниже опять говорится о нем: «Одна из родственниц Крупянского (урожденная Мило) была за чиновником горного ведомства, статским советником Эльфректом (то есть Эйхфельдтом), и слыла красавицей. Пушкин хаживал к ним и некоторое время был очень любезен с молоденькою женой нумизмата, в которую влюбился и его приятель Н. С. Алексеев и которая, окружая себя разными родственниками, молдаванами и греками, желала казаться равнодушной к русской молодежи». Далее следуют стихи, как бы упрекающие Алексеева в ревности, и т. д. Из выноски видно, что это выдержки из дневника В. П. Горчакова.

Как ни уважаю я засвидетельствование Владимира Петровича, разделявшего с Алексеевым дружеские сношения с Пушкиным, но здесь не разделяю сказанного. Алексеев находился в Кишиневе с 1818 года, и когда я приехал, то уже молва носилась, что он был поклонником Марьи Егоровны, следовательно, слово *влюбился*, сказанное в 1820 году, должно бы быть заменено *влюблен*. Пушкин был любезен со всеми хорошенькими, а Эйхфельдт не слыла, а действительно была хороша и хорошо образованна; муж ее не соответствовал ей ни тем, ни другим; и чуть ли не Пушкин первый дал этой паре кличку «Земира и Азор», сделавшуюся скоро общей. Образование Ивана Ивановича Эйхфельдта состояло в тяжелой учености горного дела.

---

* Он кончил им и жизнь, вступив в состязание с генералом Ферстером на вечере у генерала князя Пхейзе в Бендерах. Развившаяся водяная в груди скоро свела его в могилу.

Сколько я понимал Пушкина, то он, зная связи Алексеева, не посягнул бы на его права [2].

⟨...⟩ Начну с чиновного мира, включавшего в себе несколько оригиналов, которые не могли вначале не поразить Пушкина, перенесшегося из столицы. Но он скоро постигнул слабые стороны каждого из них и, так сказать, покорил их под свое влияние. Только с одним из них он имел столкновение, после которого не было примирения: рассвирепевший противник никогда не мог равнодушно слышать имени Пушкина (который и не обращал внимания). Это был старший член управления колониями, статский советник Иван Николаевич Ланов, бывший ординарец Потемкина и старинный знакомец с Инзовым. О столкновении его с Пушкиным упомянуто в статье ниже, но без имени. Я опишу это столкновение подробно в числе других, бывших у Пушкина в Кишиневе ⟨...⟩

Второй оригинал был статский советник Иван Иванович Комнено, маленький, худенький, с натянутой кожей на лице (с преглупым выражением); старичок, так же, как и Ланов, имел шестьдесят пять лет, одинаково служил при Потемкине в легкоконном полку, но родом молдаванин, из последовавших за Румянцевым и поселенных на Днепре. Будучи с хорошим состоянием, он женился на дочери смотрителя Криулянского карантина, пригожей двадцатилетней девушке. Из Кишинева она поехала для первых родов к матери, не захотела более возвращаться к мужу и там прижила еще двух сыновей. Муж начал хлопотать о разводе (она, со своей стороны, предъявила виновность мужа и в исчислении этом включила также и то, что муж спит в фланелевых подштанниках и т. п.). Когда же она увидела, что дело клонилось не в ее пользу и что духовное завещание, по которому ей назначалась знатная часть имущества, уничтожается законом и на место этого завещания сделано другое, в котором, за отделением половины имения своим родным, другая половина назначается сыну Ивану (которого только отец признавал своим, а других двух отвергал), тогда жена, в отмщение мужу за проигрываемое ею дело, формально в суде объявила, что муж ее не имеет права располагать родовым имением, ибо и первый ее сын не от него, присовокупив к тому самые скандалезные доказательства. Бедный старик сделался посмешищем. Пушкин, который так же, как и многие другие, читал копию с этого объяснения, всякий раз, как встречался с Комнено, очень серьезно входил в подробности его дела,

а этот добродушно всякий раз рассказывал ему и получал советы. Мне несколько раз случалось быть свидетелем сего и видеть, как Александр Сергеевич умел сдерживать себя в речах, прикидываться принимающим участие. Даже физиономия его выражала это; но едва отвертывался, как, под другим предлогом, разражался хохотом, который слушателями продолжался во все время их разговора. Он так обворожил старика, что тот, втайне от других, некоторые частности показывал из подлинных бумаг Пушкину.

Третий субъект был армянин, коллежский советник Артемий Макарович Худобашев, бывший одесский почтмейстер, но за битву свою с козлом между театром и балконом, где находилось все семейство графа Ланжерона, оставил эту должность и перешел на службу в Кишинев. Это был человек лет за пятьдесят, чрезвычайно маленького роста, как-то переломленный набок, с необыкновенно огромным носом, гнусивший и бесщадно ломавший любимый им французский язык, страстный охотник шутить и с большой претензией на остроту и любезность. Не упускал кстати и некстати приговаривать: «Что за важность, и мой брат Александр Макарыч тоже автор»,— и т. п. Пушкин с ним встречался во всех обществах и не иначе говорил с ним, как по-французски *. Худобашев был его коньком; Александр Сергеевич при каждой встрече обнимался с ним и говорил, что когда бывает грустен, то ищет встретиться с Худобашевым, который всегда «отводит его душу»; Худобашев в «Черной шали» Пушкина принял на свой счет «армянина». Шутники подтвердили это, и он давал понимать, что он действительно кого-то отбил у Пушкина. Этот, узнав, не давал ему покоя и, как только увидит Худобашева (что случалось очень часто), начинал читать «Черную шаль». Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно оканчивались смехом и примирением, которое завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приемов Пушкина с некоторыми и другими), приговаривая: «Не отбивай у меня гречанок!» Это нравилось Худобашеву, вообра-

* В это время приезжал из Баварии армянин Агуб, женатый на младшей сестре жены Лазарева, дочери Манук-бея. Агуб был гоф-ратом в Баварии; Худобашев очень тщеславился его знакомством и, говоря о нем по-французски, называл его «conseiller de couz de Bavars». Пушкину достаточно было, чтобы всегда начинать в обществе с Худобашевым разговор об Агубе и утверждать, что русский не иначе должен говорить потому, что королевство это по-русски называется не Бавиерия 〈Baviere〉, а Бавария, и утвердил это мнение в Худобашеве.

жавшему, что он может быть соперником. Худобашев был вырезан на печати верхом на козле с надписью кругом «Еду не свищу, а наеду — не спущу». Я привез одну из трех печатей в Одессу Пушкину.

Четвертый субъект был надворный советник Константин Петрович Литка. Это также был маленький человек, лет под сорок, с лицом, часто нарумяненным, напомаженный, вялый в разговоре, но не лишенный остроумия и большой виртуоз на фортепиано. На этом основании он приглашен был на квартиру к бояру Рали, или более известному под названием — Земфираки. У него была дочь Мариола, красивейшая из всех своих кишиневских подруг, о которой скажу далее. Литка играл с ней на фортепиано и жил во флигеле с тремя ее братьями. Пушкин очень часто заходил к ним и умел обратить Литку более чем в шута; он обличал его в разных грехах; сцены бывали тут уморительные, ибо когда Александр Сергеевич развертывался, то не было уже пределов его шуткам, и, если он замечал только, что Литка начинает сердиться, примирение следовало такое же, как и с Худобашевым, а иногда еще и скандалезнее.

Здесь в первый раз услышал я от него четырехстишие, вывезенное из Петербурга за три года до приезда Вигеля. В стихах этих упоминался Вигель и Вульф. Пушкин, зная от меня историю Вигеля в Париже, в 1818 году, уверил всех, что Литка — чистый «вигилист» [3].

Из других семейных домов Пушкин часто посещал семейство Рали, где, как замечено выше, жил Литка. У Рали, или Земфираки, кроме трех сыновей, из коих в особенности один был очень порядочный молодой человек, было две дочери: одна Екатерина Захарьевна, лет двадцати двух, была замужем за коллежским советником Апостолом Константиновичем Стамо, имевшим более пятидесяти лет. Пушкин прозвал его «bellier conducteur» *, и действительно, физиономия у него как-то схожа была с бараньей, но он был человек очень образованный, всегда щеголевато одетый. Жена его, очень малого роста, с чрезвычайно выразительным смуглым лицом, очень умная и начитанная и резко отличалась от всех своими правилами; была очень любезна, говорлива и преимущественно проповедовала нравственность. Пушкин любил болтать с нею, сохраняя приличный разговор, но называл ее «скучною мадам Жанлис» — прозвание, привившееся ей в обществе, чем она,

---

* «Баран-вожак».

впрочем, гордилась *. Сестра ее Марья (Мариола) была девушка лет осьмнадцати, приятельница Пулхерицы, но гораздо красивее последней и лицом, и ростом, и формами, и к тому двумя или тремя годами моложе **. Пушкин в особенности любил танцевать с ней. У Рали танцевали очень редко, но там были чаще музыкальные вечера. В последний год пребывания Пушкина в Кишиневе она вышла замуж за капитана Селенгинского полка барона Метлеркампфа, впоследствии гусарского майора, и сделалась очень несчастной ⟨...⟩

Пушкин любил всех хорошеньких, всех свободных болтуний. Из числа первых ему нравилась Марья Петровна Шрейбер, семнадцатилетняя дочь председателя врачебной управы с. с. Петра Ивановича, но она отличалась особенной скромностию, или, лучше сказать, застенчивостью; ее он видал только в клубах. Она скоро вышла замуж за адъютанта генерала Желтухина, Сычугова, и уехала в Казань. К числу вторых принадлежала Виктория Ивановна Вакар, жена подполковника этого имени; она была дочь вдовы Кешко, богатой помещицы, вышедшей потом замуж за Друганова. Вакарша была маленького роста, чрезвычайно жива, вообще недурна и привлекательна, образованная в Одесском пансионе и неразлучная приятельница с Марьей Егоровной Эйхфельдт. Пушкин находил удовольствие с ней танцевать и вести нестесняющий разговор. Едва ли он не сошелся с ней и ближе, но, конечно, ненадолго. В этом же роде была очень миленькая девица Аника Сандулаки, впоследствии замужем за помещиком города Бельцы, Катаржи. Пушкин любил ее за резвость и, как говорил, за смуглость лица, которому он придавал какое-то особенное значение. Одна из более его интересовавших была Елена Федоровна Соловкина, жена полкового командира Охотского полка, урожденная Бем, внука генерала Катаржи. Она иногда приезжала в Кишинев к сестре своей Марье Федоровне, жене подполковника Камчатского полка П. С. Лишина. Но все усилия Пушкина, чтобы познакомиться

---

* *В. П. Горчаков:* «У губернатора Катакази была сестра, девица некоторых лет, некрасивая, но умная и образованная. Ее-то Пушкин называет «кишиневскою Жанлис», и далее — «Будь глупа, да хороша», и все это говорится в одном шутливом и неизданном стихотворении, написанном Пушкиным в 1821 году «Дай, Никита, мне одеться» [4].

** *В. П. Горчаков:* «В 1823 году еще Пушкин не без восторга выражался о Пулхерице, говоря: Что наша дева-голубица, || Моя Киприда, мой кумир? *и проч.*» [5].

в доме, были тщетны. (Муж казался из бурбонов. В другом месте скажу об этом.) Недоумеваю, как при исчислении домов, знакомых Пушкину в Кишиневе, упоминаются даже и такие, в которых никогда не было приема, как, например, у Катакази, которого Пушкин мог только встречать в митрополии, в большие праздники у Инзова, пожалуй, и у Орлова, в особенные торжественные дни в клубе, но, конечно, не у него самого. Сестра его, Тарсиса, дева лет сорока, некрасивая, но образованная (вроде урода с претензией) и прозванная «кишиневская Жанлис», посещала одна Крупянского. Точно так же говорится и о доме Прункула, также решительно никого и никогда не принимавшего у себя, кроме обычных визитов в большие годовые праздники; но ни слова не говорится о двух самых гостеприимных домах, и домах совершенно на европейской ноге и образованных. Это были два дома князей Кантакузиных ⟨...⟩. Князь Георгий был женат на княжне Елене Михайловне Горчаковой, сестре нынешнего министра иностранных дел, женщине замечательного характера, как в другом месте это будет видно. Дня через три после приезда Пушкина я обедал у князя; зашла речь о приехавшем поэте. Князь просил меня ввести его в дом, а княгиня присовокупила, что брат ее тоже лицеист и недавно приезжал к ним на несколько дней. Я обещал это сделать впоследствии, присовокупив, что сам только вчера у Михаила Федоровича Орлова поменялся с ним несколькими словами. Но с Пушкиным знакомство склеивалось скоро, и на другой день, встретив его у Ф. Ф. Орлова, я имел случай сообщить ему желание княгини Кантакузин. Федор Федорович Орлов вызвался ехать с нами, и Пушкин сел на его дрожки, через полчаса возвратился во фраке, и мы отправились. Нас оставили обедать, и князь Георгий, любя покутить, задержал далеко за полночь. Здесь Пушкин познакомился с братом князя Георгия, Александром Матвеевичем, начал посещать и его, но реже, нежели князя Георгия, у которого этикет не столько был соблюдаем, как у первого. Из князей Ипсиланти, Александр, когда бывал в Кишиневе, посещал князя Георгия чаще, нежели князя Александра, что впоследствии объяснилось их отъездом в Яссы. Раза два они уезжали вместе в Скуляны. Князю Ипсиланти не было такого предлога, как князю Георгию, у которого была в Яссах мать. С открытием гетерии оба дома Кантакузиных выехали из Кишинева: семейство одного в Атаки, другого в Хотин. Мужья увлечены были в гетерию.

Я умалчиваю здесь о некоторых других домах, в которые Пушкин иногда с знакомыми являлся, как, например, к Ивану Дмитриевичу Стрижескулу, у которого чересчур дородная жена Мария Ивановна имела забавние претензии; к мадам Майе, некогда содержавшей девичий пансион в Одессе, а потом в Кишиневе *; к Кешко, куда очень часто заходил есть дульчецу, в особенности когда у ней квартировал В. Ф. Раевский.

Но Пушкину, кажется, по преимуществу нравились собрания и общество Крупянского и Варфоломея: у первого была на первом плане игра и неотменно с сим изрядный ужин, а у второго — танцы. В обоих этих местах он встречал военных, и в каждом из этих обществ был у него его интимный: у Крупянского Н. С. Алексеев, у Варфоломея В. П. Горчаков. Что касается до обедов, то в те дни, когда он не оставался у Инзова, то, конечно, предпочитал всякому туземному столу обед у Орлова и у Бологовского и с приятелями в трактире.

Не заключа еще первого и второго отделов кишиневского общества в первую половину пребывания среди оного Пушкина, нахожу нелишним заметить сказанное на стр. 1156-й:

«Нередко хаживал он ⟨Пушкин⟩ также обедать к вице-губернатору Крупянскому, жена которого Екатерина Христофоровна жила и кормила по-русски, что не могло не нравиться Пушкину, потому что ему надоели плацинды и каймаки других кишиневских хлебосолов».

Пушкин часто хаживал к Матвею Егоровичу Крупянскому по вечерам, а не обедать. Если же стол его был лучше других «кишиневских хлебосолов» (у которых, впрочем, никто не обедывал без особенного зова, и то только изредка у Варфоломея), то уже, во всяком случае, он был несравненно хуже обеда Орлова, Бологовского, Инзова, Черемисинова, Кантакузиных, где Пушкину не пришлось бы скучать за плациндами и каймаками. Пушкин и пользовался этим, но действительно не для того только, чтобы избегнуть упомянутых блюд, а, как я думаю, потому, что Пушкин предпочитал всему беседу с людьми, его понимающими. ⟨...⟩

С открытием гетерии, перед половиной марта 1821 года, из бывшего до того времени кишиневского общества выбы-

---

* *В. П. Горчаков:* «Во время Пушкина М. Майе уже не содержала пансиона, а промышляла, как говорили, закладами».

ли два дома Кантакузиных, а равно и все Инсилантиевы ушли в Молдавию. Но взамен сего, с половины марта, начался наплыв буженаров (так называют там выходцев), и наплыв этот более и более усиливался.

⟨...⟩ Эта новая общественная сфера, казалось мне, пробудила Пушкина; с одной стороны она предоставляла более, так сказать, разгулу его живому характеру, страстно преданному всевозможным наслаждениям, с другой — он встречал в некоторых фанариотах, как, например, в Ризо, в Скине, людей с глубокими, серьезными познаниями. В особенности ему нравился последний, как потому, что он был едва ли не вдвое моложе Ризо, так и потому, что он не прочь был иногда серьезное перемешивать с болтовней, очень нравившейся Пушкину; сверх того, Скина обладал огромной памятью и мог читать наизусть целые французские поэмы. Однажды, завернув к Пушкину, я его застал отвечающим Скине на записку, при которой этот прислал ему «Le méthamorphoses» d'Apulée *. На вопрос мой, что ему вздумалось читать эту книгу, он отвечал, что давно желал видеть французский перевод, и потом опять дал мне слово не брать прямо от греков книг **. Во всяком случае, я заметил перемену в Пушкине в эту вторую половину пребывания его в Кишиневе, как это в замечаниях на третий, военный отдел кишиневского общества будет разъяснено.

В другом месте говорится о некоторых отдельных женских личностях кишиневского общества, во вторую половину пребывания Пушкина в этом городе, как, например, о Марье Балш, о Альбрехтине и пр. Но здесь, в заключение, должно сказать о пресловутой Калипсе Полихрони. Она бежала из Константинополя вначале в Одессу и около половины 1821 года поселилась в Кишиневе. Она была чрезвычайно маленького роста, с едва заметной грудью; длинное сухое лицо всегда, по обычаю некоторых мест

---

* «Метаморфозы» Апулея.

** Однажды с кем-то из них в разговоре упомянуто было о каком-то сочинении. Пушкин просил достать ему. Тот с удивлением спросил его: «Как! вы поэт и не знаете об этой книге?!» Пушкину показалось это обидно, и он хотел вызвать возразившего на дуэль. Решено был так: когда книга была ему доставлена, то он, при записке, возвратил оную, сказав, что эту он знает, и пр. После сего мы и условились: если что нужно будет, а у меня того не окажется, то я доставать буду на свое имя.

В. П. Горчаков: «И. П., постоянно и явно выражающий свое презрение к молдаванам, валахам и грекам, из участного самолюбия в ограду Пушкину мог придумать подобную хитрость, но принять ее к делу Пушкин мог согласиться только шутя».

Турции, нарумяненное; огромный нос как бы сверху донизу разделял ее лицо; густые и длинные волосы, с огромными огненными глазами, которым она еще более придавала сладострастия употреблением «сурьме». Мать ее, вдова, была очень бедная женщина, жена логофета [6], и потерявшая все, что имела, во время бегства; она нанимала две маленькие комнаты около Мило. В обществах она мало показывалась, но дома радушно принимала. Пела она на восточный тон, в нос; это очень забавляло Пушкина, в особенности турецкие сладострастные заунывные песни, с аккомпанементом глаз, а иногда жестов. Там была еще певица в таком же роде, но несравненно красивее и моложе, дочь ясского доктора грека Самуркаша, Роксандра. А. Ф. Вельтман, конечно, ее помнит, и помнит так ему тогда нравившуюся песню «Прим-амория Дульчеца» и пр. Очень справедливо замечено в статье, что Пушкин не был влюблен в Калипсу: были экземпляры несравненно лучше, и, как я полагаю, что ни одна из всех бывших тогда в Кишиневе не могла в нем порождать ничего, более временного каприза; и если он бредил иногда Соловкиной, то и это, полагаю, не по чему другому, как потому только, что не успел войти в ее дом, когда она по временам приезжала из Орхея в Кишинев.

Говоря о Калипсе, нельзя не упомянуть о Ф. Ф. Вигеле, который писал записки свои «зря». Так, между прочим, говоря, что Пушкин будто бы познакомил его с Калипсой, утверждает он (часть VI, гл. 10), что Александр Сергеевич одну из турецких песен, петых Калипсой, переложил на «Черную шаль». Калипса приехала в Кишинев после гетерии, в половине 1821 года, а «Черная шаль» написана в октябре 1820 года (это еще более, нежели, как сказано на стр. 50, что Пушкин переложил с песни какой-то Мариолы). Но для Вигеля это нипочем, точно так, как он, не довольствуясь тем, что не мог равнодушно видеть Пушкина, трунившего иногда над ним в глаза, репетируя какие-то стихи, вывезенные им из Петербурга, где намекается на [известную слабость] Филиппа Филипповича, но и в «Записках» клеймит его вольнодумцем и пр. * ⟨...⟩

Теперь обращаюсь к описанию третьего отдела кишиневского общества. На стр. 1125-й так сказано о нем:

---

* По окончании «Записок» Вигеля я укажу на множество мест, где он грешит против истины. Его начали уже уличать относительно Чаадаева, Тургенева и Потемкина, но мне нужно окончание для полного обзора их.

«В третьем, самом замечательном для нас, отделе были люди военные». Назван начальник 16-й дивизии генерал-майор М. Ф. Орлов и бригадный командир генерал-майор Павел Сергеевич Пущин, к которому, между прочим, приложено «и почитавшийся масоном». Он действительно был масон и имел самую неприятную по сему случаю историю в Кишиневе, много ему повредившую; * и Бологовский очень хорошо оценил его (здесь как и по другим его некоторым выходкам) «гвардейским прапорщиком». Пушкин и он безжалостно острили над этим происшествием. ⟨...⟩

Все офицеры генерального штаба того времени составляли как бы одно общество, конечно, с подразделениями, иногда довольно резкими. С одними Пушкин был неразлучен на танцевальных вечерах, с другими любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в тех или других местах, но не сближался с ними, как с первыми, по несочувствию их к тем забавам, которые одушевляли первых. Наконец, он умел среди всех отличить А. Ф. Вельтмана, любимого и уважаемого всеми оттенками **. Хотя он и не принимал живого участия ни

---

* Масонская ложа была устроена в доме Кацики, занимаемом дивизионным доктором Шулером (родом из Эльзаса, взятым в плен в 1812 году на Березине из младших хирургов одного конного французского полка). Он или Пущин был главным мастером, не знаю. В числе привлеченных выходцев-простаков был один болгарский архимандрит Ефрем. Дом Кацика находился в нижней части города, недалеко от старого собора, на площади, где всегда толпилось много болгар и арнаутов, обративших внимание на то, что архимандрит, въехав на двор, огражденный решеткой, отправил свою коляску домой, что сделали и некоторые другие, вопреки существовавшего обычая. Это привлекло любопытных к решетке тем более, что в народе прошла молва, что в доме этом происходит «судилище диавольское». Когда же увидели, что дверь одноэтажного длинного дома отворилась и в числе вышедших лиц был и архимандрит с завязанными глазами, ведомый двумя под руки, которые, спустившись с трех-четырех ступенек крыльца, тут же вошли в подвал, двери коего затворились, то болгарам вообразилось, что архимандриту их угрожает опасность. Подстрекнутые к сему арнаутами, коих тогда было много из числа бежавших гетеристов, болгары бросились толпой к двери подвала (арнауты не трогались), выломали дверь и через четверть часа с триумфом вывели, по мнению их, спасенного архимандрита, у которого наперерыв тут же каждый просил благословения. Это было до захода солнца, и вечером весь город знал о том. Рассказывалось много сказок, повредивших Пущину. Излишне говорить о подробностях. Пушкин знал из первых, ибо он случился дома, когда Инзову донесли об этом.

** *В. П. Горчаков:* «Разделяя вполне мнение И. П. о многих достоинствах А. Ф. и его способностях, не могу согласиться, однако, в подробностях ⟨два слова неразборчивы⟩, тем более о короткости его сближения

в игре в карты, ни в кутеже и не был страстным охотником до танцевальных вечеров у Варфоломея, но он один из немногих, который мог доставлять пищу уму и любознательности Пушкина, а потому беседы с ним были иного рода. Он, безусловно, не ахал каждому произнесенному стиху Пушкина, мог и делал свои замечания, входил с ним в разбор, и это не не нравилось Александру Сергеевичу, несмотря на неограниченное его самолюбие *. Вельтман делал это хладнокровно, не так, как В. Ф. Раевский. В этих случаях Пушкин был неподражаем; он завязывал с ними спор, иногда очень горячий, в особенности с последним, с видимым желанием удовлетворить своей любознательности, и тут строптивость его характера совершенно стушевывалась.

Обращаюсь к Друганову, Калакуцкому и Охотникову ⟨...⟩ С Другановым и Калакуцким Пушкин никогда не мог быть — «ни в более, ни в менее близких отношениях и знакомстве», ни по образу их жизни, ни по их образованию ⟨...⟩. Не думаю, обменивались ли они с Пушкиным и несколькими словами.

Что касается до Охотникова, то этот, в полном смысле слова, был человек высшего образования и начитанности, что иногда соделывало его очень скучным в нашей беседе, где педантическая ученость была неуместна. Он пользовался самым дружеским отношением Орлова и посещал только одного меня, где всегда брал в руки какую-нибудь книгу и редко принимал участие в живой беседе собиравшихся лиц. Пушкин прозвал Охотникова «père conscrit», и это было вот по какому случаю. Однажды вечером собралось ко мне человек десять, людей различных взглядов. Шумно высказывал каждый свое мнение о каком-то предмете, с помощью неотменного тогда полынкового. Пушкин был в схватке с Раевским; одни поддерживали первого, другие второго, и один из спорящих обратился узнать мнение Охотникова, не принимавшего никакого участия

с Пушкиным, ибо в первоначальный период пребывания Пушкина в Кишиневе Вельтман, по свойственной ему исключительной самобытности, не только ⟨не⟩ сближался, но даже до некоторой степени избегал сближения с Пушкиным. О тех же, кто имел бессознательную способность восхищаться каждым стихом, потому только, что это стих Пушкина, и говорить не стоит».

* *В. П. Горчаков:* «Это также не совсем так. Сознание всех духовных сил едва ли может быть названо самолюбием, особенно в тех личностях, которые умеют сохранять сознание пр⟨авды⟩ сердечной, искренней, но глупостью было отнести это к Пушкину».

в споре и сидевшего на диване с книгой, взятой им наудачу с полки. В этот раз ему попался один из томов Тита Ливия, и он, с невозмутимым хладнокровием глядя на наступивших на него Пушкина и Раевского, для разрешения их спора, не обращая никакого внимания на делаемые ему вопросы, очень спокойно предлагал прослушать прекрасную речь из книги и начал: «pères Conscrits» *. Это хладнокровие выводило Пушкина и Раевского, одинаково пылких, из терпения; но на каждый приступ к Охотникову тот приглашал их выслушать только прежде эту, знаменитую по красноречию, речь и, несмотря на общий шумный говор, несколько раз принимался начинать оную, но далее слов «pères Conscrits» не успевал. После этого Пушкин за глаза и при встрече с Охотниковым не иначе обзывал «père Conscrit», чему последовал Раевский и некоторые другие. Впрочем, Александр Сергеевич уважал Охотникова и не раз обращался к нему с сериозным разговором, что по большей части случалось у Орлова **.

Наконец, я должен сказать и о себе, как упомянутом выше в числе пяти лиц. В первую половину пребывания Пушкина в Кишиневе я не посещал ни Крупянского, ни Варфоломея, потому что в карты не играл ***, а еще менее танцевал, и при всем этом мне оба дома не нравились, первый уже потому, что Крупянский разыгрывал роль какого-то вельможи, а жена его, при всей любезности своей, действительно думала представлять себя потомкой Комниных, которым, впрочем, и самим едва ли было чем гордиться. Варфоломей мог доставлять удовольствие только танцующей молодежи, которую он созывал для рассеяния своей Пульхерицы, а сам, поджавши ноги, с трубкой в зубах, с наслаждением смотрел на плясунов, не будучи в состоянии об чем бы то ни было обменяться речью. В дамском обществе я в этот период времени видал Пушкина только у Земфираки, которых я иногда посещал и где встречал Стамо, Стамати, двух братьев Руссо. Я ограничивался русским военным обществом генералов: Орлова, Бологовского и Черемисинова, старых своих соратников, князьями

---

* Отцы-сенаторы.

** К счастью, Охотников умер и избег участи, ожидавшей его по происшествию 14 декабря. Я, который был с ним ближе всех в продолжение почти двух лет, не мог заметить и тени того, в чем его после обвиняли печатно.

*** Иногда я захаживал к брату его Тодору в том же доме, и он бывал у меня вместе с младшим братом, офицером Камчатского полка.

Георгием и Александром Кантакузиными, где встречался с Пушкиным,— и, наконец, другими. Из оседлых же жителей я посещал одного действительного статского советника Федора Ивановича Недобу, нашего дипломатического агента, вместе с Родофиникиным и архиереем Леонтием (из греков же) игравшего знаменательную роль в Сербии, во время побега из оной Георгия Черного в Австрию *.

Три-четыре вечера, а иногда и более, проводил я дома, постоянными посетителями были у меня: Охотников; майор, начальник дивизионной ланкастерской школы В. Ф. Раевский; Камчатского полка майор М. А. Яновский, замечательный оригинал, не лишенный интереса по своим похождениям в плену у французов после Аустерлицкого сражения; гевальдигер 16-й дивизии поручик Таушев, очень образованный молодой человек из Казанского университета; майор Гаевский, переведенный из гвардии в Селенгинский полк вследствие истории Семеновского полка и здесь назначенный Орловым начальником учебного баталиона; из офицеров генерального штаба преимущественно бывали А. Ф. Вельтман, В. П. Горчаков и некоторые другие. Пушкин редко оставался до конца вечера, особенно во вторую половину его пребывания. Здесь не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией **. Я тем более убеждаюсь в этом, что Пушкин неоднократно после таких споров, на другой или на третий день, брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин как строптив и вспыльчив ни был ***, но часто выслушивал от

---

* С Недобой я познакомился прежде всех по рекомендации сослуживца и потом коменданта в Мобеже, подполковника Бароци, на сестре коего Недоба был женат. Я было ввел Пушкина к нему, но хозяин ему не нравился.

** Это иногда доходило до смешного, так, например, один раз как-то Пушкин ошибся и указал местность в одном из европейских государств не так. Раевский кликнул своего человека и приказал ему показать, на висевшей на стене карте, пункт, о котором шла речь; человек тотчас исполнил. Пушкин смеялся более других, но на другой день взял «Мальтебрюна». Не могу утверждать, но мне кажется, В. П. Горчаков был свидетелем говоримому.

*** *В. П. Горчаков:* «Это качество, как мне кажется, не принадлежало Пушкину».

Раевского, под веселую руку обоих, довольно резкие выражения и далеко не обижался, а напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским, когда этот утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц Древней Греции и Рима, что у нас и то и другое есть свое и т. п. Так как предмет этот меня вовсе не занимал, то я и не обращал никакого внимания на эти диспуты, неоднократно возобновлявшиеся. Остроты с обеих сторон сыпались. Здесь же Раевскому, всегда в весело-мрачном расположении духа, пришла мысль переложить известную песню Мальборуга по поводу смерти подполковника Адамова. Раевский начал, можно сказать, дал только тему, которую стали развивать все тут бывшие, и Пушкин, которому, хотя личности, долженствовавшие войти в эту переделку, и не были известны, а не менее того, он давал толчок, будучи как-то в особенно веселом расположении духа. Но, несмотря на то что, может быть, десять человек участвовали в этой шутке, один Раевский поплатился за всех: в обвинительном акте военного суда упоминается и о переложении Мальборуга. В Кишиневе все, да и сам Орлов, смеялись; в Тирасполе то же делал корпусный командир Сабанеев, но не так думал начальник его штаба Вахтен, который упомянут в песне, а в Тульчине это было принято за криминал. Хотя вначале песни этой в рукописи и не было, но потом, записанная на память и не всегда верно, она появилась у многих и так достигла до главной квартиры через Вахтена.

Несмотря, часто, на очень шумливые беседы, на которых излагались мнения разнородных взглядов, ни одно из них не достигало тех размеров, которые начали уясняться через два и три года, а через четыре так разразились во 2-й армии, в Петербурге и в окрестностях Киева. Ни один собеседник того времени не принадлежал к тому, и впоследствии один Охотников был посвящен в тайну, но тут он всегда хранил глубокое молчание [7]. Об этом далее должно будет сказать еще несколько слов.

Вот несколько личностей, с которыми Пушкин был гораздо ближе, нежели с Другановым и Калакуцким.

В статье о Пушкине ничего не сказано о бригадном генерале Дмитрии Николаевиче Бологовском, у которого Александр Сергеевич часто обедал, вначале по зову, но потом был приглашен раз навсегда. Стол его и непринужденность, умный разговор хозяина, его известность очень

нравились Пушкину, но один раз он чуть-чуть не потерял расположение к себе генерала из одного самого неловкого поступка. Случилось, что мы обедали у Дмитрия Николаевича. Тут был его бригады подполковник Дережинский, о производстве которого в тот день получен приказ. После обычного сытного с обилием разных вин из Одессы обеда хозяин приказал подать еще шампанского, присовокупив, что позабыл выпить за здоровье нового подполковника. Здоровье было выпито, бокалы были дополнены. Вдруг, никак неожиданно, Пушкин, сидевший за столом возле Н. С. Алексеева, приподнявшись несколько, произнес: «Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье».— «Это за что?» — спросил генерал. «Сегодня 11 марта»,— отвечал полуосоловевший Пушкин.

Вдруг никому не пришло в голову [8], но генерал вспыхнул, за столом было человек десять; но скоро нашелся. «А вы почему знаете?» — сказал он Пушкину и, тотчас оборотясь к Лексу, тоже смолянину, присовокупил: «Сегодня Леночки рожденье» (его племянницы). Лекс поддержал: «Точно так-с, имею честь и я поздравить, совсем позабыл». Лекс это говорил от чистого сердца, хотя знал о существовании племянницы генерала, может, и видел ее в Смоленске, но никак уже не знал дня ее рождения, и только после узнал неловкое здоровье, произнесенное Пушкиным. Да едва ли и не большая половина не поверила сказанному генералом. Пушкин опомнился: он сослался на Лекса, что тот его предупредил, и к счастью, что вставали из-за стола, и объяснение тем и кончилось. Генерал, видимо, сделался не в своей тарелке, и, когда он сел за шахматы, мы вышли. Алексеев начал упрекать Пушкина; этот начал бранить свой язык и просил нас как-нибудь уладить. Мы оба отказались наотрез, ибо это было бы еще более растравить воспоминания, а советовали ему поранее утром самому идти и извиниться; он это и сделал. Дмитрий Николаевич после этого по-прежнему принимал его, но был гораздо сдержаннее и мне раза два назвал его повесой. Пушкин не мог простить себе это здоровье. Их отношения, к счастию, уладились, ибо Пушкин откровенно сознался, что всему причиной было его шипучее, и продолжал бывать, но как-то реже.

С генералом П. С. Пущиным Пушкин не так был близок, как бы дается понимать в статье. Пущин своего стола не держал: обедал очень часто у Крупянской, за которой ухаживал; обедывал у Орлова, Бологовского и Кантакузи-

на. Пушкин неоднократно подсмеивался над ним, в особенности после истории с болгарским архимандритом, и разделял мнение Бологовского, что «Павел Сергеевич почел бы себя счастливейшим, если бы опять государь перевел его прапорщиком в гвардию, потому что, как он слышал, генерал этот ведет себя у Крупянского настоящим прапорщиком, забывая свое значение между молдаванской сволочью» *. Бологовский не посещал Крупянского.

На странице 1126-й есть отзыв Пушкина о Пестеле; он справедлив, и я очень хорошо помню, что когда Пушкин в первый раз увидел Пестеля, то, рассказывая о нем, говорил, что он ему не нравится и, несмотря на его ум, который он искал выказывать философическими сентенциями, никогда бы с ним не мог сблизиться. Однажды за столом у Михаила Федоровича Орлова Пушкин, как бы не зная, что этот Пестель сын иркутского губернатора, спросил: «Не родня ли он Сибирскому злодею?» — Орлов, улыбнувшись, погрозил ему пальцем [9].

На стр. 1131-й между прочим сказано, что к Орлову, когда он уже женился на Екатерине Николаевне Раевской, приезжали и гостили: Раевские, Давыдовы и родной брат его Федор Федорович и т. д. Раевские были всею семьею в июле 1821 года и сам Николай Николаевич, а на четыре дня приезжали Александр и Василий Львовичи Давыдовы; с ними, проездом в Одессу, заезжали киевские знакомцы Михаила Федоровича, граф Олизар и Швейковский; из Вильны в то же время Валевский и Ромер, также знакомые генералу по ежегодному их приезду на Киевские контракты. Пушкин все четыре дня провел у генерала, как знакомый с Давыдовыми, у которых прежде гостил в Каменке. Брат же генерала приезжал прежде и уехал после их, пробыв около двух недель.

Что же касается до того, что... и «там-то, за генеральскими (Орлова) обедами, слуги обносили его (Пушкина) блюдами, на что он так забавно жалуется», — я позволяю себе торжественно отвергать это, и если это говорил сам Пушкин, то, конечно, поэтизировал. Прислуга Михаила Федоровича была в высшей степени вежлива и никогда бы не осмелилась сделать того, особенно в глазах своего господина, образца вежливости и хлебосольства; никто чаще меня не обедывал у генерала, и я, конечно, не упустил бы

* *В. П. Горчаков:* «Даже танцевал».

заметить в то же время, если бы что-нибудь произошло в подобном роде *.

Одинаково никогда не допущу себе поверить, что будто бы (стр. 1132) «однажды кто-то заметил генералу (Орлову), как он может терпеть, что у него на диванах валяется мальчишка в шароварах!» — и т. д. **. Во-первых, никто из окружавших, еще менее посторонних, не осмелился бы сказать это лично Михаилу Федоровичу; при всей его обходительности, он грозно импозировал каждому; а во-вторых, и Пушкин никогда бы не позволил себе сделать какую-либо невежливость в доме столь уважаемого лица; тем более что он мог видеть обращение Охотникова, который был всех ближе к Михаилу Федоровичу, как равно и некоторых других. В разговоре Пушкин был часто свободнее других, да и то всегда не иначе, как по инициативе самого генерала. Но за всем тем, хотя А. С. иногда и делал свои замечания довольно резко ***, я не думаю, чтобы когда-нибудь могло быть сказано Михаилом Федоровичем приведенное на этой странице двухстишие о «сапоге» [10]. Это никак на него не похоже, а равно и ответ о «слоне» не похож на Пущкина: так, по крайней мере, я понимал и того и другого, и ничего подобного не встречал. Другое дело в домах молдаван; там Пушкин позволял себе многое, в особенности когда он уже оценил их.

В заключение этой статьи о кишиневском обществе,

---

* *В. П. Горчаков:* «Это так, да не так».

** *В. П. Горчаков:* «Как и подобный рассказ, не без оснований, но передан без пояснений».

*** Так, например, не помню, по какому случаю обедал у Михаила Федоровича Инзов; но помню, что никакого торжественного дня не было. За столом было человек двадцать; из них один Пушкин был не военный. Перед концом обеда хозяин предложил выпить за здоровье Ивана Никитича и, окинув глазами присутствовавших, сказал ему, что довольно замечательно, что после семи лет, как война кончилась, из находившихся за столом три четверти георгиевских кавалеров. У Инзова одного был этот знак на шее, а потому приказано было налить еще по бокалу, чтобы еще выпить за его здоровье. Речь пошла: как и где каждый получил этот крест и какое он имеет значение. Вдруг Пушкин, обратясь к Орлову и указывая на меня и на есаула, сказал, что наши Георгиевские (я не имел еще 4-й степени, а только серебряный) имеют более преимуществ, нежели все другие. «Это откуда ты взял?» — спросил Орлов. «Потому,— отвечал Пушкин,— что их кресты избавляют от телесного наказания!» Это вызвало общий смех, без всяких других явных последствий; но, тотчас после стола, Пушкин сознал всю неловкость этого фарса. Эта выходка, вместе с тою, что Пушкин сделал за столом у Бологовского, было одно, где язык его говорил без участия ума; других в таком роде не было, и напрасно много подобного ему приписывают.

говоря (стр. 1140-я) о книгах, которые брал Пушкин из библиотеки в Юрзуфе, от Раевских в Киеве, от Давыдовых в Каменке, присовокуплено: «В Кишиневе он брал книги у Инзова, Орлова, Пущина, а всего чаще у И. П. Липранди, владевшего в то время отличным собранием различных этнографических и географических книг».

Не знаю, какие книги Александр Сергеевич брал у помянутых лиц в Кишиневе, но у меня не было никаких других, кроме тех, которые говорили о крае с самой глубокой древности; я тогда занимался некоторыми разысканиями и сводом повествований разных историков, древних и им последовавших, вообще о пространстве, занимающем Европейскую Турцию. В первую половину пребывания Пушкина в Кишиневе он, будучи менее развлечен обществом, нежели во вторую, когда нахлынули молдаване и греки с их семействами, действительно интересовался многими сочинениями, и первое сочинение, им у меня взятое, был — Овидий; потом Валерий Флакк («Аргонавты»), Страбон, которого, впрочем, возвратил на другой день, Мальтебрюн * и некоторые другие, особенно относящиеся до истории и географии; но, исключая вышеприведенных, которые он держал долго, другие возвращал скоро и завел было журнал, но потом как-то я спросил его о нем уже в Одессе, он отвечал мне: «Скучно; бросил, кое-что есть, а сам не знаю что».

Во вторую же половину он собирал изустно, более от выходцев, в особенности от сербов, песни и т. п.; но в Одессе я узнал от него, что многое растерял и пр. В другом месте я должен буду сказать об этом несколько слов.

Стр. 1132. Пушкин приехал в Кишинев 21 сентября, а 22-го этого месяца я возвратился из Бендер, где пробыл три дня, и в тот же вечер, в клубе, увидев новое вошедшее лицо с адъютантом Инзова, майором Малевинским, спросил его о нем и получил ответ, что «это Пушкин, вчера прибывший в штат генерала». 23-го числа я обедал с ним у М. Ф. Орлова и здесь только узнал, какой это Пушкин. С этого дня началось наше знакомство, о котором в своем месте скажется.

Точно, Пушкин остановился в заезжем доме «у Ивана Николаева» Наумова, но напрасно приложено к нему

---

* Это до сих пор отмечено в моем каталоге: «у Пушкина». Я заметил, что Пушкин всегда после спора о каком-либо предмете, мало ему известном, искал книг, говорящих об оном.

название «мужика». Он был мещанин и одет, как говорится, в немецкое платье. А еще менее правильно слово «глиняной мазанки» — дом и флигель очень опрятные и не глиняные; тут останавливались все высшие приезжавшие лица, тем более что в то время, кроме жидовок Гольды и Исаевны, некуда было заехать. В 1821 году армянин Антоний открыл заезжий дом, но он был невыносимо грязен во всех отношениях и содержим на азиатский манер — караван-сераем. Пушкин впоследствии посещал иногда бильярдную, находившуюся в этом трактире.

Пушкин скоро переехал в нижний этаж дома, занимаемого Инзовым. На стр. 1128-й в выноске (№ 39) неправильно сказано, что дом принадлежал Инзову. Он принадлежал бессарабскому помещику Доничу и всегда нанимался под помещение главноуправляющего областью лица; так, перед Инзовым в нем жил А. Н. Бахметев. Дом этот никогда не принадлежал Ивану Никитичу.

Не сороку, а попугая *, в стоявшей клетке, на балконе, Пушкин выучил одному бранному молдаванскому слову ⟨...⟩ Я был свидетелем, как в первый раз узнал об этом Иван Никитич. В день пасхи 1821 года преосвященный Димитрий (Сулима) был у генерала; в зале был накрыт стол, установленный приличными этому дню блюдами; благословив закуску, Димитрий вошел в открытую дверь на балкон, за ним последовал Инзов и некоторые другие. Полюбовавшись видом, Димитрий подошел к клетке и что-то произнес попугаю, а тот встретил его помянутым словом, повторяя его и хохоча. Когда Инзов проводил преосвященного, то, встретив меня и других, также удаляющихся, в числе которых был и Пушкин, Иван Никитич, с свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим, сказал Пушкину: «Какой ты шалун! преосвященный догадался, что это твой урок». Тем все и кончилось ⟨...⟩

Стр. 1135. Пушкин никогда не видал дочери Кара-Георгия [11]. Мать ее, в начале 1820 года, приезжала на некоторое время в Кишинев, провожая обратно в Россию старшего сына Кара-Георгия, корнета наших войск, скоро умершего. В Кишиневе находился младший сын, впоследствии князь, обучался под надзором жившего в Кишиневе воеводы Вучича, но как с мальчиком никак нельзя было

* У Инзова на балконе было две сороки, каждая в особой клетке, но рассказываемое было с серым попугаем.

совладать *, то она взяла его и, месяца за три до приезда Пушкина, возвратилась в Хотин; Пушкин же, что я знаю положительно, никогда в Хотине не был, а притом в это время дочь Кара-Георгия имела не более 6—7 лет **.

Там же. Рассказы о Кара-Георгие Пушкин мог слышать от всех, но уже ни в коем случае от А. П. Алексеева, человека неспособного к рассказам, а притом он никогда не служил в войне против турок. 〈...〉 Пушкин мог получить некоторые сведения о Сербии от Алексеева, но только не от этого, а от Николая Степановича, который, по поручению Киселева, занимался выпиской из архива дипломатических сношений с Сербиею наших главнокомандующих, начиная от Михельсона, Прозоровского, Багратиона, Каменского и Кутузова. Главное же, Пушкин очень часто встречался у меня с сербскими воеводами, поселившимися в Кишиневе, Вучичем, Ненадовичем, Живковичем, двумя братьями Македонскими и пр., доставлявшими мне материалы. Чуть ли некоторые записки Александр Сергеевич не брал от меня, положительно не помню. Впрочем, мне не случалось читать что-либо писанное им о Сербии, исключая здесь упоминаемые стихи, как плоды вдохновения. От помянутых же воевод он собирал песни и часто при мне спрашивал о значении тех или других слов для перевода. На короткое время приезжал Стойкович, профессор Харьковского университета; он был серб, но виделся с Пушкиным раза два и очень ему не понравился.

Теперь представляю замечания на отрывочные, недостаточно выясненные упоминания Пушкина о месте ссылки Овидия и пр.

На стр. 1140-й статьи «Пушкин в Южной России» сказано: «Другим его (Пушкина) любимцем был тогда Овидий, которого он читал, вероятно, во французском переводе» — и т. д.

Действительно, Овидий очень занимал Пушкина; не знаю, читал ли он его прежде, но знаю то, что первая книга, им у меня взятая, был Овидий, во французском переводе, и книги эти оставались у него с 1820 по 1823 год.

Думаю, что для памяти Александра Сергеевича следовало определить положительно, что он, по прибытии в Киши-

* Особенная страсть молодого Александра была — лазить по голубятням и крышам, чтобы красть голубей; за это не раз доставалась ему преизрядная трепка.

** Здесь на стр. 1135 сказано, что «Хотин недалеко от Кишинева». Хотин от Кишинева — 300 верст.

нев. хотя и не очень твердо был ознакомлен с историческою и современною географией, но знал положительно, что Овидий не мог быть сослан Августом на левый берег Дуная, страну, в которой в первый раз появились римские орлы только при Траяне в 105 году по Р. Х.; следовательно, 91 год после смерти Августа.

Не раз случалось мне быть свидетелем разговора об этом предмете Пушкина с В. Ф. Раевским и К. А. Охотниковым, разговора, к которому приставал иногда и я. Пушкин одинаково, как и мы все, смеялся над П. П. Свиньиным, вообразившим Аккерман местом ссылки Овидия и, вопреки географической истории, выводившего, что даже название одного близлежащего от Аккермана озерка сохранило название Овидиева озера *, и на этом основании давал волю своему воображению до самых безрассудных границ. Название лежащей против Аккермана (через лиман, 9 верст) крепостцы Овидиополя служило также поводом к заключению, что Овидий был изгнан в Аккерман, но в таком случае почему же он не назван Овидиополем? Конечно, в то время, когда выстроен был Овидиополь, то правый берег Днестра нам еще не принадлежал, но в 1806 году ничто уже не препятствовало назвать Аккерман по принадлежности Овидиополем. Словом, я очень хорошо помню, что Раевский и Пушкин, при чтении записок Свиньина, были неистощимы на остроты [12]. Ничто меня не убедит, чтобы Пушкин колебался минуту в убеждении, что Овидий не мог быть сослан в Аккерман; и Александр Сергеевич не мог, наконец, произвольно, голословно отвергать историю, определяющую место ссылки Овидия — в Томи, лежавшем на правом берегу южного рукава Дуная, при устье оного в Черное море, и где поэт, после почти девятилетнего пребывания своего и уже при Тиверии, не освободившем его, окончил и жизнь. На месте древнего Томи находится местечко, прозванное венгерскими историками Томис-Вар, а турками Керман, или Кара-Керман — Черный Керман, в противоположность Ак-Керману, то есть Белому Керману, и очень может быть, что это тождество названий и было

* На юго-запад от Аккермана есть несколько небольших озер, из коих только в одном пресная вода. Озерко это названо было чабанами (пастухами) «Лакул — Овиолуй», то есть Овечье озеро, или Озеро Овец, потому что оно было единственное, к которому они подгоняли стада для водопоя. Овцы по-молдавански Овио. Очень хорошо помню, что, когда Пушкин услышал это объяснение, он расхохотался и заметил, что Свиньину следовало тут как-нибудь припутать и Лукулла и т. д.

поводом (когда и кому первому — неизвестно) принять Аккерман за могилу Овидия.

Хотя я и не знаток отыскивать смысл в поэтических творениях, но из всего того, что привелось мне читать в Пушкине, не вижу, однако же, чтобы он полагал Аккерман местом ссылки любимого им поэта, а напротив, если он и не определяет места, то ищет его на берегах Дуная, а не Днестра. ⟨...⟩

В декабре 1821 года, по поручению генерала Орлова, я должен был произвести следствие в 31-м и 32-м егерских полках. Первый находился в Измаиле, второй в Аккермане. Пушкин изъявил желание мне сопутствовать, но по неизвестным причинам Инзов не отпускал его. Пушкин обратился к Орлову, и этот выпросил позволения. Мы отправились прежде в Аккерман, так как там мне достаточно было для выполнения поручения нескольких часов. В Бендерах, так интересовавших Пушкина по многим причинам (как это скажу после), он хотел остановиться, но был вечер, и мне нельзя было потерять несколько часов, а потому и положили приехать в другой раз. Первая от Бендер станция, Каушаны, опять взбудоражила Пушкина: это бывшая до 1806 года столица буджацких ханов. Спутник мой никак не хотел мне верить, что тут нет никаких следов, все разнесено, не то что в Бакчи-Сарае; года через полтора, как видно будет далее, он мог убедиться и сам в том, что ему все говорили; до того же времени оставался неспокойным. Развалины древней башни в Паланке, мимо которых мы проезжали днем, интересовали его гораздо менее.

В Аккермане мы заехали прямо к полковому командиру Андрею Григорьевичу Непенину (старому моему соратнику и бывшему в 1812 и 1815 годах адъютантом у князя Щербатова) и поспели к самому обеду, где Пушкин встретил своего петербургского знакомца подполковника Кюрто, кажется, бывшего его учителем фехтованья и месяца за два назначенного комендантом Аккерманского замка на место полковника фон Троифа. Обед кончился поздно, идти в замок было уже незачем, к тому же было и снежно, дождливо. Вечер проведен был очень весело. Старик Кюрто, француз, был презабавен. Об Овидии не было и помину. Кюрто звал всех на другой день к себе обедать.

Рано утром я отправился по поручению к ротам, оставя Пушкина еще спящим; но когда возвратился, то он ушел уже к коменданту, куда вскоре последовали и мы. Пушкин в это время ходил с Кюрто осматривать замок, сложенный

из башен различных эпох, но мы не долго их прождали. Все обедавшие не прочь были, как говорится, погулять, и хозяин подавал пример гостям своим. Пушкин то любезничал с пятью здоровенными и не первой уже молодости дочерьми хозяина, которых он увидал в первый раз, то подходил к столикам, на которых играли в вист, и, как охотник, держал пари, то брал свободную колоду и, стоя у стола, предлагал кому-нибудь срезать (в штос); звонкий его смех слышен был во всех углах. Далеко за полночь возвратились мы домой. Поутру мне хотелось повидаться со швейцарцем Тарданом, учредившим колонию в д. Шабо, в трех верстах на юг от Аккермана. Пушкин поехал со мной. Тардан очень ему понравился, а Пушкин Тардану, удовлетворявшему бесчисленным вопросам моего спутника. Мы пробыли часа два и взяли Тардана с собой обедать к Непенину. Отобедав, выехали в шесть часов в Измаил.

В этот раз Пушкин в Овидиополь не ездил, да было бы и весьма трудно в декабре месяце, при тогдашних переправах, которые в хорошую погоду совершались в сутки один только раз. В эту поездку Пушкин не проводил ночи на прибрежной Аккерманской башне, смотря на Овидиополь,— как свидетельствовал уездный учитель (стр. 1163) [13]. Может быть, это было в следующем году, когда я уезжал на пять месяцев из Бессарабии, но и в таком случае мне пришлось бы узнать о том.

До Татар-Бунара не было между нами произнесено имени Овидия, хотя разговор не умолкал: я должен был удовлетворять вопросы о последних войнах и некоторых лицах, участвовавших в оных, так и о некоторых бессарабских, которых не вполне еще узнал. Непенин ему не понравился, о причине тому скажу в своем месте. В Татар-Бунар мы приехали с рассветом и остановились отдохнуть и пообедать. Пока нам варили курицу, я ходил к фонтану, а Пушкин что-то писал, по обычаю, на маленьких лоскутках бумаги и как ни попало складывал их по карманам, вынимал опять, просматривал и т. д. Я его не спрашивал, что он записывает, а он, зная, что я не сторонник до стихов, ничего не говорил. Помню очень хорошо, что он жалел, что не захватил с собою какого-то тома Овидия; я засмеялся и сказал, что я вдвое жалею, что не захватил у Непенина чего-нибудь поесть; он тоже засмеялся и проговорил какую-то латинскую пословицу. Услышав из моих расспросов о посаде Вилково, лежащем при самом устье левого берега Дуная (Килийского, самого северного из рукавов) и славя-

щемся ловлею сельдей, что со второй станции есть поворот на Килию, от которой идет туда дорога, он неотступно желал, чтобы заехали туда, и даже несколько надулся; но я ему доказал, что теперь этого сделать никак нельзя, что к послезавтрему два баталиона стянутся в Измаил для моего опроса, а завертывая в Вилково, мы потеряем более суток, ибо в настоящее время года и при темноте от Килии до посада по дороге, или, лучше сказать, по тропинке, идущей по самым обрывам берега Дуная, ночью ехать невозможно. Он скоро сознал это, опять повеселел, и мы отправились. ⟨...⟩

В Измаил, или, правильнее, в Тучков, мы приехали в 10 часов вечера и заехали прямо к Славичу, негоцианту, которому я дал слово всегда у него останавливаться. Нас приняли с славянским радушием. Напившись чаю и тотчас сытно поужинав в своей комнате, измученные, разместились мы на диванах. Я вышел по делам рано, оставив Пушкина еще спящим; часа через два возвратился: он был уже как свой в семействе Славича и отказался ехать со мной обедать к коменданту генерал-лейтенанту Сандерсу (участнику под Ларгой и при Кагуле, большому оригиналу); я поехал один и возвратился уже в полночь. Пушкин еще не спал и сообщил мне, что он со Славичем обошел всю береговую часть крепости и, как теперь помню, что он удивлялся, каким образом Де-Рибас, во время суворовского штурма, мог, со стороны Дуная, взобраться на эту каменную стену и пр. Подробности штурма ему были хорошо известны. Тогда же сообщил он, что свояченица хозяина продиктовала ему какую-то славянскую песню; но беда в том, что в ней есть слова иллирийского наречия, которых он не понимает, а она, кроме своего родного и итальянского языка, других не знает, но что завтра кого-то найдут и растолкуют. В десять часов утра, когда я совсем был уже готов идти для исполнения служебного поручения, вошел ко мне лейтенант И. П. Гамалей; я свел его с Пушкиным, а сам отправился к собранным ротам; кончив, я возвратился, чтобы взять Пушкина и ехать обедать к начальнику карантина Жукову; но Пушкин и Гамалей опять ушли осматривать город и пр. В этот день я возвратился в полночь, застал Пушкина на диване с поджатыми ногами, окруженного множеством лоскутков бумаги.

— Не добрались ли вы до папильотков Ирены? (свояченицы) — спросил я его. Он засмеялся, подобрал все кое-

как, положил под подушку и рассказал мне, что Гамалей возил его опять в крепость; потом на место, где зимует флотилия, в карантин; а после обеда хозяин водил их в кассино; наконец, ужинали, и Гамалей недавно ушел вместе с другим лейтенантом, Щербачевым: оба очень понравились Пушкину. Опорожнив графин систовского вина, мы уснули. Пушкин проснулся ранее меня. Открыв глаза, я увидел, что он сидел на вчерашнем месте, в том же положении, совершенно еще не одетый, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он держал в руках перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то понижал, то подымал голову. Увидев меня проснувшимся же, он собрал свои лоскутки, стал одеваться, и потом нам принесли чай и кофе. Часу в одиннадцатом пришли Гамалей и Щербачев, и Пушкин опять отправился с ними, как я узнал, вначале — в крепостную церковь, где есть надписи некоторым из убитых на штурме. Я остался дома и занялся рапортами; окончив, отдал переписывать пришедшему писарю, потом пошел к генералу С. А. Тучкову — основателю города. Почтенный старец этот, тогда еще в сильной опале, непременно пожелал видеть Пушкина и просил сказать Славичу, что и он будет к нему на щи. Все уже собрались, но Пушкин и его два спутника пришли к самому обеду. Пушкин был очарован умом и любезностью Сергея Алексеевича Тучкова, который обещал что-то ему показать, и отправился с ним после обеда к нему. Пушкин возвратился только в 10 часов, но видно было, что он был как-то не в духе. После ужина, когда мы вошли к себе, я его спросил о причине его пасмурности; но он мне отвечал неудовлетворительно, заметив, что если бы можно, то он остался бы здесь на месяц, чтобы просмотреть все то, что ему показывал генерал. «У него все классики и выписки из них»,— сказал мне Пушкин. Мы начали шутить насчет классических форм Ирены, и Пушкин сознался, что в настоящее время едва ли эти последние не лучше. Мы легли. Он сказал мне, что с полчаса посидит, чтобы кое-что записать для памяти. Я уснул. В полдень наша повозка была уже у крыльца. Позавтракав, мы поскакали и через пять часов были в Болграде, где прямо заехали к управлявшему болгарскими колониями, майору Малевинскому. Пушкин считался при Инзове, следовательно, Малевинский, видевший, как обращается с ним Инзов, оказывал всю предупредительность. Мы напились чаю, и нас оставляли ночевать ⟨...⟩ «По крайней мере, поужинаем»,— сказал я ему.

Пушкин нашел это дельным. В 11 часов, в ужасную темноту, мы отправились; я курил; Пушкин что-то приговаривал. Подъезжая ко второй станции, к Гречени, он дремал; но когда я ему сказал: жаль, что темно, он бы увидел влево Кагульское поле, при этом слове он встрепенулся, и первое его слово было: «Жаль, что не ночевали, днем бы увидели». Тут я опять убедился, что он вычитал все подробности этой битвы, проговорил какие-то стихи и потом заметил, что Ларга должна быть вправо, и пр. Через две станции от Гречени мы приехали в Готешти. Здесь мы толковали, что происхождение этого названия должно быть от какого-нибудь племени готов. Начало рассветать, когда я ему показал, через Прут, молдавский городок Фальчи. Не отвечая, он задумался, и на вопрос: «Не об Иренице ли?» — он засмеялся и потом сказал, что он где-то читал о Фальчи, но теперь не может вспомнить; когда же я ему назвал Кантемира, он вдруг припомнил все, но находил только, что происхождение Фальчи от тайфал, тут живших, находит очень натянутым. Я его спросил, как он думает, что тайфалы — не то ли же самое, что бессы, которые жили за несколько веков тут же, и что, на готском или германском языке, тайфал, пожалуй, то же, что по-славянски бессы [14]. «А пожалуй»,— отвечал он. Географическо-исторический разговор наш кончился приездом на станцию Леки. Я привожу этот разговор единственно только для того, чтоб показать, что Александр Сергеевич хотя и поверхностно еще, но и тогда уже знал историю этих мест, чтоб не впасть в ошибку насчет места ссылки Овидия.

В г. Леово мы въехали к подполковнику Катасанову, командиру казачьего полка. Он был на кордонах; нас принял адъютант, с ним живший. Было 10 ч. утра. Напившись чаю, мы хотели тотчас выехать, но он нас не отпустил, сказав, что через час будет готов обед. Мы очень легко согласились на это. Потолковали о слухах из Молдавии; через полчаса явилась закуска: икра, балык и еще кое-что. Довольно уставши, мы выпили по порядочной рюмке водки и напали на соленья; Пушкин был большой охотник до балыка. Обед состоял только из двух блюд: супа и жаркого, но зато вдоволь прекрасного донского вина. Желание Пушкина выпить кофе удовлетворено быть вскоре не могло, и он был заменен дульчецей. Когда мы уже сели в каруцу, нам подали еще вина, и хозяин, ехавший верхом, проводил нас за город. Я показал Пушкину Троянов вал, когда мы проезжали через него; он одинаково со мной не разделял

мнения, чтобы это был памятник владычества римлян в этих местах. Прошло, конечно, полчаса времени, что мы оставили Леово, как вдруг Александр Сергеевич разразился ужасным хохотом, так, что вначале я подумал, не болезненный ли какой с ним припадок. «Что такое так веселит вас?» — спросил я его. Приостановившись немного, он отвечал мне, что заметил ли я, каким образом нас угостили, и опять тот же хохот. Я решительно ничего не понимал и ничего особенного в обеде не заметил. Наконец, он объяснил мне, что суп был из куропаток, с крупно накрошенным картофелем, а жаркое из курицы. «Я люблю казаков за то, что они своеобразничают и не придерживаются во вкусе общепринятым правилам. У нас, да и у всех, сварили бы суп из курицы, а куропатку бы зажарили, а у них наоборот!» — и опять залился хохотом. На этот раз и я смеялся; действительно, я не заметил этого, потому ли, что более свычен с причудливым приготовлением в военное время. Пушкин заключил тем, что это, однако же, вкусно, и впоследствии в Кишиневе сообщил Тардифу. В 9 часов вечера, 23 декабря, мы были дома. Обед этот он никогда не забывал; даже через два года, в Одессе, он припоминал мне об этом.

Здесь нахожу нужным заметить, что в эту поездку из Кишинева, через Аккерман, Измаил и Леово, мы не встречали ни одного цыганского табора. Может быть, если только Пушкин ездил вторично между февралем и июлем 1822 года, когда меня не было в Бессарабии, то он мог их встретить в Буджацких степях, которые, впрочем, редко посещаются таборами; болгарские и немецкие колонии им враждебны. Цыгане снуют более, начиная от Бендер, на север, и их всегда можно было видеть около Кишинева. Любимое их расположение было за садами малины (так называемая виноградная долина в двух верстах от Кишинева, куда мы часто ездили в сад отставного израненного егерского поручика Кобылянского, которому Охотников, обязанный жизнию в одном из сражений 1813 года, кажется под Герлицем, купил и подарил его). Затем другие таборы располагались у Рышконовки и у Прункуловой мельницы, также под самым Кишиневом. Но Пушкин их мог очень часто встречать и прежде, нежели был в Бессарабии, а именно в поездку свою с Раевским на Кавказ, в Новороссийском крае: там таборы были часты. Они кочевали от берегов Прута далеко на восток. Не думаю, чтоб Пушкин до прибытия своего в Бессарабию не имел случая,

при своей наблюдательности, изучить их. Пылкое воображение и поэтический дар создали остальное ⟨...⟩.

Не только Пушкина, одаренного самым пламенным воображением, но и каждого из нас, внезапно перенесшегося в край, вовсе не схожий с тем, что мы видели в Европе, должно было занимать все встречающееся в Кишиневе, особенно в эпоху 1821 года. Впечатления эти, несомненно, должны были действовать сильнее на молодого поэта, нежели на всех других. Он ловил то, что более его поражало, и мы видим подражание одной из помянутых песен: «Жги меня, режь меня...» — и т. д. Все это так *[15].

Но мне удивительно, что я не встретил в помянутом исчислении двух современных исторических, народом сложенных песен, которые, как мне близко известно, в особенности занимали Александра Сергеевича. Первая, из Валахии, достигла Кишинева в августе 1821 года; вторая — в конце того же года. Куплеты из этих песен беспрерывно слышны были на всех улицах, а равно исполнялись и хорами цыганских музыкантов. Кто из бывших тогда в Бессарабии, и особенно в Кишиневе, не помнит беспрерывных повторений: «Пом, пом, пом, помиерами, пом» и «Фронзе верде шалала, Савва Бимбаша»?

Первая из них сложена аллегорически на предательское умерщвление главы пандурского восстания Тодора Владимирески по распоряжению князя Ипсиланти в окрестностях Тырговиста. Вторая, на такую же предательскую смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бим-баши Саввы, родом болгарина, подготовившего движение болгар, коим Ипсиланти не умел воспользоваться. Бим-баша Савва, по истреблении гетеристов в Драгошанах, с своими тысячью отборными арнаутами перешел, после разгромления Ипсиланти, по приглашению к туркам и присоединился к ним. Но турки, зная его влияние на болгар и не осмеливаясь открыто истребить его, прибегли к хитрости: паша заманил его к себе под тем предлогом,

* Помню очень хорошо, между Пушкиным и В. Ф. Раевским, горячий спор (как между ними другого и быть не могло) по поводу «режь меня, жги меня»; но не могу положительно сказать, кто из них утверждал, что «жги» принадлежит русской песне, и что вместо «режь» слово «говори» имеет в пытке то же значение, и что спор этот порешил отставной фейерверкер Ларин (оригинал, отлично переданный А. Ф. Вельтманом), который обыкновенно жил у меня. Не понимая, о чем дело, и уже довольно попробовавший за ужином полынкового, потянул он эту песню — «Ой жги, говори, рукавички барановые». Эти последние слова превратили спор в хохот и обыкновенные с Лариным проказы.

чтобы надеть на него присланный от султана почетный кафтан. Савва поддался и явился из митрополии, которую он занимал своим отрядом, только с шестьюдесятью всадниками, во двор паши в Букарест, в дом Беллы. Войдя в залу с капитаном Генчу, он был внезапно встречен несколькими пистолетными выстрелами, и труп его немедленно выброшен за окно на улицу. Из конвойных его только трое спаслись и в 1829 году находились у меня в отряде; песня эта не столь аллегорическая, как первая, и рассказывает главные эпизоды убийства.

Александр Сергеевич имел перевод этих песен; он приносил их ко мне с тем, чтобы поверить со слов моего арнаута Георгия. Но в декабре 1823 года, бывши в Одессе, Пушкин сказал мне, что он не знает, куда девались у него эти песни, и просил, чтобы я доставил ему копию с своего перевода; в январе 1824 года, опять приехавши в Одессу, я ему их и передал. Не знаю, как после, но тогда он обходился очень небрежно с лоскутками бумаги, на которых имел обыкновение писать.

Вместе с тем не вижу в собрании его сочинений даже и намека о двух повестях, которые он составил из молдавских преданий, по рассказам трех главнейших гетеристов: Василия Каравия, Константина Дуки и Пендадеки, преданных Ипсилантием, в числе других, народному проклятию за действие и побег из-под Драгошан, где, впрочем, и сам Ипсиланти преступно не находился.

Василий Каравия был нежинский грек, очень неглупый и с некоторым образованием; он попал в особенную милость к князю Ипсиланти за варварское убийство мирных турок в Галаце при самом начале гетерийских действий *. Пендадека тоже родом из Нежина, не лишенный ума и очень хитрый. Он был эфором в сброде Ипсиланти, имея чин полковника гетеристов; одно время правил Молдавией (до прибытия князя Георгия Кантакузина, из Тырговист). Дука, родом албанец, человек в высшей степени замечательный; он был поверенным в делах Али-паши Янинского, любимец его, владел, независимо от греческого, албанского,

* Напав неожиданно, ночью, на шестьдесят семейств, мирно живших в Галицах, занимавшихся ремеслами и торговлей, он, без всякого кровопролития, забрал их и с рассветом, поместив жен и детей на турецкое судно, отвел его на средину Дуная; прорубил дно судна и в глазах отцов и мужей погрузил его в волны. А потом, тут же на берегу, перерезал несчастных турок. Подвиг этот доставил ему звание генерала и начальника артиллерии.

валахского языков — италианским (в Албании довольно распространенным) и французским. Долго было бы говорить здесь о его похождениях и о том, как он попал в гетерию. Каравия, Пендадека и Дука были отвержены кишиневским греческим обществом; но я не находил нужным делать того же, напротив, как говорится, приголубил их, особенно Дуку, и в частых беседах с ним извлекал из него то, что мне было нужно. Пушкин часто встречал их у меня и находил большое удовольствие шутить и толковать с ними. От них он заимствовал два предания, в несколько приемов записывал их, и всегда на особенных бумажках. Он уехал в Одессу. Через некоторое время я приехал туда же на несколько дней и, как всегда, остановился в клубном доме у Отона, где основался и Пушкин. Он показал мне составленные повести; но некоторые места в них казались ему неясными, ибо он просто потерял какой-либо лоскуток, и просил меня, чтобы я вновь переспросил Дуку и Пендадеку и выставил бы года лицам, точно ли они находились тогда в Молдавии. Рассказчики времени не знают. «С прозой беда! — присовокупил он, захохотав.— Хочу попробовать этот первый опыт». Я это исполнил, с дополнением еще, от случайно в это время ко мне вошедшего Скуфо, также одного из проклятых Ипсилантием, и вскоре передал Пушкину. Месяца через два потом, когда я был в Одессе, Пушкин поспешил мне сказать, что он все сказания привел в порядок, но, не будучи совершенно доволен, отдал прочитать одному доброму приятелю (кажется, Василию Ивановичу Туманскому) и обещал взять от него и показать мне. Он это исполнил на другой день, прочитал сам, прося, если он в чем сбился и я помню рассказ, то ему заметить. Сколько я помнил, то поправлять слышанное мною было нечего, тем более что я не постоянно находился, когда ему передавали рассказ. Я нашел, разумеется, что все очень хорошо. Предмет повестей вовсе не занимал меня: он не входил в круг моего сборника; но, чтобы польстить Пушкину, я попросил позволения переписать и тотчас послал за писарем; на другой день это было окончено. В рукописи Пушкина было уже много переделок другой рукой, и он мне сказал, что в этот же вечер опять отдаст оную на пересмотр, что ему самому как-то не нравится. Что сделалось потом, я не знаю, но у меня остались помянутые копии, одна под заглавием «Дука, молдавское предание XVII века»; вторая: «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года» [16] 〈...〉.

Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертию, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью, при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед. На моем веку, в бурное время до 1820 года, мне случалось не только что видеть множество таких встреч, но не раз и самому находиться в таком же положении, а подобной натуры, как у Пушкина в таких случаях, я встречал очень немного. Эти две крайности, в той степени, как они соединились у Александра Сергеевича, должны быть чрезвычайно редки. К сему должно еще присоединить, что первый взрыв его горячности не был недоступным до его рассудка. Вот чему я был близким свидетелем *.

В конце октября 1820 года брат генерала М. Ф. Орлова, л.-гв. уланского полка полковник Федор Федорович, потерявший ногу, кажется, под Бауценом или Герлицем, приехал на несколько дней в Кишинев. Удальство его было известно. Однажды, после обеда, он подошел ко мне и к полковнику А. П. Алексееву и находил, что будет гораздо приятнее куда-нибудь отправиться, нежели слушать разговор «братца с Охотниковым о политической экономии!». Мы охотно приняли его предложение **, и он заметил, что

---

* Случай этот как-то попал в мой дневник, из которого вкратце извлекаю сцену, которая может послужить для оценки Пушкина теми, которые сумеют сделать это лучше меня. Не лишним считаю сказать здесь, что, когда сцена эта заносилась в дневник, я был знаком с Пушкиным едва ли более полутора месяца и, как нелитератор и плохой ценитель его дарований, не имел ничего с ним общего, исключая приятной, веселой с ним беседы, тогда как с Ф. Ф. Орловым я был близок с 1812 г. по некоторым особенным отношениям и, конечно, должен бы был быть пристрастнее к нему.

** Ф. Ф. Орлов начал службу в конной гвардии, но по какой причине: по любви ли, или вследствие проигрыша, ему пришла мысль застрелиться, и он предпринял исполнить это с эффектом, в особом наряде и перед трюмо. Сильный заряд разорвал пистолет, и пуля прошла через подбородок в шею. Его вылечили, но шрам был очень явствен. Он был переведен тем же чином, корнетом, в Сумский гусарский полк, и в 1812 г. очень часто приходилось ему быть ординарцем у Дохтурова, где я с ним и сблизился по одному случаю. Алексеев же в это время был в Мариупольском гусарском полку, в одной бригаде с Сумским. Оба были известны своей отвагой, а потому как бы сдружились. В 1813 г. Ф. Ф. Орлов был переведен в л.-гв. уланский полк. Орловых было четыре брата: Алексей и Михайло от одной матери, Григорий и Федор — от другой; оба последние потеряли по ноге в 1813 г.

надо бы подобрать еще кого-нибудь; ушел в гостиную к Михайле Федоровичу и вышел оттуда под руку с Пушкиным. Мы отправились без определенной цели, куда идти: предложение Алексеева идти к нему было единогласно отвергнуто, и решили идти в бильярдную Гольды. Здесь не было ни души. Спрошен был портер. Орлов и Алексеев продолжали играть на бильярде на интерес и в придачу на третью партию вазу жженки. Ваза скоро была подана. Оба гусара порешили пить круговой; я воспротивился, более для Пушкина, ибо я был привычен и находил даже это лучше, нежели не очередно *. Алексеев предложил на голоса; я успел сказать Пушкину, чтобы он не соглашался, но он пристал к первым двум, и потому приступили к круговой. Первая ваза кое-как сошла с рук, но вторая сильно подействовала, в особенности на Пушкина; я оказался крепче других. Пушкин развеселился, начал подходить к бортам бильярда и мешать игре. Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников проучивают... Пушкин рванулся от меня и, перепутав шары, не остался в долгу и на слова; кончилось тем, что он вызвал обоих, а меня пригласил в секунданты. В десять часов утра должны были собраться у меня. Было близко полуночи. Я пригласил Пушкина ночевать к себе. Дорогой он уже опомнился и начал бранить себя за свою арабскую кровь, и когда я ему представил, что главное в этом деле то, что причина не совсем хорошая и что надо как-нибудь замять; «Ни за что! — произнес он, остановившись.— Я докажу им, что я не школьник!» — «Оно все так,— отвечал я ему,— но все-таки будут знать, что всему виной жженка, а притом я нахожу, что и бой не ровный».— «Как не ровный?» — опять остановившись, спросил он меня. Чтобы скорей разрешить его недоумение и затронуть его самолюбие, я присовокупил: «Не ровный потому, что может быть из тысячи полковников двумя меньше, да еще и каких ничего не значит, а вы двадцати двух лет уже известны»,— и т. п. Он молчал. Подходя уже к дому, он произнес: «Скверно, гадко; да как же кончить?» — «Очень легко,— сказал я,— вы первый начали смешивать их игру; они вам что-то сказали, а вы им вдвое, и наконец, не они, а вы их вызвали. Следовательно, если они придут не с тем, чтобы

* Кто знал уловку круговой, то она выносится легче при одинаковой силе, но Пушкин не слушал меня.

становиться к барьеру, а с предложением помириться, то ведь честь ваша не пострадает». Он долго молчал и наконец сказал по-французски: «Это басни: они никогда не согласятся; Алексеев, может быть,— он семейный, но Теодор никогда: он обрек себя на натуральную смерть, то все-таки лучше умереть от пули Пушкина или убить его, нежели играть жизнью с кем-нибудь другим». Я не отчаивался в успехе. Закусив, я уложил Пушкина, а сам, не спавши, дождался утра и в осьмом часу поехал к Орлову. Мне сказали, что он только что выехал. Это меня несколько озадачило. Я опасался, чтобы он не попал ко мне без меня: я поспешил к Алексееву. Проезжая мимо своей квартиры, увидел я, что у дверей нет экипажа, который, с радостью, увидел у подъезда Алексеева, а еще более, и так же неожиданно, обрадовался, когда едва я показался в двери, как они оба в один голос объявили, что сейчас собирались ко мне посоветоваться, как бы окончить глупую вчерашнюю историю. «Очень легко,— отвечал я им,— приезжайте в 10 часов, как условились, ко мне; Пушкин будет, и вы прямо скажете, чтобы он, так как и вы, позабыл вчерашнюю жженку». Они охотно согласились. Но Орлов не доверял, что Пушкин согласится. Возвратясь к себе, я нашел Пушкина вставшим и с свежей головой, обдумавшим вчерашнее столкновение. На сообщенный ему результат моего свидания он взял меня за руку и просил, чтобы я ему сказал откровенно: не пострадает ли его честь, если он согласится оставить дело? Я повторил ему сказанное накануне, что не они, а он их вызвал, и они просят мира: «Так чего же больше хотеть?» Он согласился, но мне все казалось, что он не доверял, в особенности Орлову, чтобы этот отложил такой прекрасный случай подраться; но когда я ему передал, что Федор Федорович не хотел бы делом этим сделать неприятное брату,— Пушкин, казалось, успокоился. Видимо, он страдал только потому, что столкновение случилось за бильярдом, при жженке: «А не то славно бы подрался; ей-богу, славно!» Через полчаса приехали Орлов и Алексеев. Все было сделано, как сказано; все трое были очень довольны; но мне кажется, все не в той степени, как был рад я, что не дошло до кровавой развязки: я всегда ненавидел роль секунданта и предпочитал действовать сам. За обедом в этот день у Алексеева Пушкин был очень весел и, возвращаясь, благодарил меня, объявив, что если когда представится такой же случай, то чтобы я не отказал ему в советах — и пр.

Случай этот представился; но здесь мое вмешательство, как видно будет ниже, было уже бесполезно.

Повод к столкновению Пушкина с Старовым рассказан в главных основаниях — правильно. Вальс или мазурка — все равно, разве только одно, что тогда могло быть принято в соображение, есть то, что программа последовательных плясок была предварительно определена. В тот вечер я не был в клубе, но слышал от обоих противников и от многих свидетелей, и мне оставалось только жалеть о моем отсутствии, ибо с 1812 году, будучи очень близко знаком с Старовым, я, может быть, и отсоветовал бы ему из пустяков начать такую историю. Он сознавался мне, что и сам не знает, как он все это проделал.

Но здесь я должен объясниться на сказанное: «...секундантом Пушкина был Н. С. Алексеев, а одним из советников и распорядителей — И. П. Липранди, мнением которого поэт дорожил в подобных случаях» *.

В семь часов утра я был разбужен Пушкиным, приехавшим с Н. С. Алексеевым. Они рассказали случившееся. Мне досадно было на Старова, что он в свои лета поступил как прапорщик, но дела отклонить было уже нельзя, и мне оставалось только сказать Пушкину, что «он будет иметь дело с храбрым и хладнокровным человеком, непохожим на того, каким он, по их рассказам, был вчера». Я заметил, что отзыв мой о Старове польстил Пушкину. Напившись чаю, Алексеев просил меня ехать с ними; я долго не соглашался, на том основании, что если я поеду, то Пушкин будет иметь двух свидетелей, а Старов — одного: в таком случае должно было бы предупредить его вчера; но потом я рассудил, что бой будет не ровный, на том простом основании, что Пушкин был так молод, неопытен, и хоть в минуты опасности я думал, что он будет хладнокровным, но с его чрезвычайною пылкостью от самой ничтожной причины он очень легко мог выйти из подобного положения. Секундант его, правда, обладал невозмутимым хладнокровием, но в таких случаях был также неопытен, между тем как Старов был в полном смысле обстрелянный, и что меня более всего пугало, то это — необразованность его, как светского чело-

---

* За сими словами в скобках: «Вспомним опять, что повесть «Выстрел» слышана от Липранди». Не помню этого рассказа и желал бы знать источник.

века и не знающего значения некоторых слов, а одно такое, будучи произнесено без всякого умысла, было бы достаточно, чтобы произвести взрыв в Пушкине. За всем тем, однако же, я обещал быть, но с условием, что заеду предупредить Старова, чтобы и он взял еще одного свидетеля; но если он не успеет, то, конечно, поверит мне и сам, в чем я не сомневался. Формальность при таких случаях неотменно должна быть выполнена, а так как остается еще полтора часа времени, то я заеду с ответом к Алексееву, мимо которого должно будет ехать в Рышкановку. Мы выехали вместе; Старов, с полчаса передо мной, уехал к подполковнику Дережинскому, но и у него я никого не застал и поспешил к Алексееву. Они, обдумав, признали, что без согласия Старова мне быть на месте неловко, а потому согласились на предложение мое находиться на всякий случай вблизи, и мы отправились, ибо время уже подходило. На вопрос Алексеева об условиях я просил его только одного, чтобы барьер был не менее двенадцати шагов и отнюдь не соглашаться подходить ближе. Старов был вовсе не мастер стрелять, Пушкин, хотя иногда и упражнялся, но, лучше сказать, шалил, а потому оба, конечно, поспешат сойтися, и тогда последствия будут ужасны. Пушкин горел нетерпением; я ему что-то заметил, но он мне отвечал, что неотменно хочет быть на месте первый. Я остановился в одной из ближайших к месту мазанок. Погода была ужасная; метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета, и к этому довольно морозно. Войдя в мазанку, я приказал извозчику посматривать на дорогу или, скорее, прислушиваться колес, не поедет ли кто из города, и дать мне знать; я все еще думал встретить Старова, но напрасно. Через час я увидел Алексеева и Пушкина возвращающимися и подумал, что успех остался за ними. Но вот что тут же я узнал от них. Первый барьер был на шестнадцать шагов; Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов тоже и просил поспешить зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин сказал: «И гораздо лучше, а то холодно». Предложение секундантов прекратить было обоими отвергнуто. Мороз с ветром, как мне говорил Алексеев, затруднял движение пальцев при заряжении. Барьер был определен на двенадцать шагов, и опять два промаха. Оба противника хотели продолжать, сблизив барьер; но секунданты решительно воспротивились, и так как нельзя было помирить их, то поединок отложен до прекращения метели. Дрожки наши, в продолжение разговора, догребли

в город, ехали рядом и шагом, ибо иначе было нельзя. Я отправился прямо к Старову. Застав его за завтраком, рассказал ему, где я был. Он упрекнул меня за недоверие к нему и пригласил быть свидетелем, как только погода стихнет. Когда полковой адъютант вышел и мы остались вдвоем, я спросил его, как это пришло ему в голову сделать такое дурачество в его лета и в его положении? Он отвечал, что и сам не знает, как все это сошлось; что он не имел никакого намерения, когда подошел к Пушкину. «Да он, братец, такой задорный»,— присовокупил он. «Но согласись, с какой стати было тебе, самому не танцующему, вмешиваться в спор двух юношей, из коих одному хотелось мазурки, другому вальса?» На это он мне сказал, что всему виноват его офицерик, отказавшийся объясниться с Пушкиным. На замечание мое, что если офицер его был виноват, то он имел свою власть взыскать с него и даже выгнать из полка, а прилично ли ему взять на себя роль прапорщика и привязаться к молодому человеку, здесь по воле государя находящемуся и уже всем известному своими дарованиями? «Ну ты бы убил его, ведь все были бы твоими врагами, в особенности когда бы узнали повод к дуэли», и пр. Это несколько подействовало на него, и он начал было соглашаться, что ему не следовало вмешиваться, и заключил тем, что теперь уже делать нечего, надо кончить, и просил меня, если я увижу Алексеева, сказать ему, что не худо поспешить. «Покончить можно в клубной зале»,— прибавил он.

Я ничего не говорил Пушкину, опасаясь, что он схватится за мысль стреляться в клубном доме, но буквально передал Алексееву весь разговор, и он обещал повидаться в тот же день с Старовым. Вечером Пушкин был у меня, как ни в чем не бывало, так же весел, такой же спорщик со всеми, как и прежде. В следующий день, рано, я должен был уехать в Тирасполь, и на другой день вечером, возвратясь, узнал миролюбивое окончание дела, и мне казалось тогда видеть будто бы какое-то тайное сожаление Пушкина, что ему не удалось подраться с полковником, известным своею храбростью. Однажды как-то Алексеев сказал ему, что он ведь дрался с ним, то чего же он хочет больше, и хотел было продолжать, но Пушкин, с обычной его резвостью, сел ему на колени и сказал: «Ну, не сердись, не сердись, душа моя»,— и, вскочив, посмотрел на часы, схватил шапку и ушел.

Я изложил здесь с некоторою подробностью то, что мне

было известно об этом поединке; * советы же мои и распоряжения ограничивались только тем, что я сказал выше. Сколько я знаю, то главным деятелем в примирении Пушкина с Старовым был Н. С. Алексеев, обладавший, как замечено, невозмутимым хладнокровием, тактом и общим уважением; я не знаю никого, кто бы в то время мог с успехом уладить это трудное дело между такими противниками.

С того времени по 1831 год, находясь в одной армии и частях войск с Старовым, мы не раз вспоминали об этой встрече, и впоследствии, в пятидесятых годах, в продолжение двух лет, что Старов находился в Петербурге по своим делам, где и умер, мы как-то повели разговор о Пушкине и, кажется, по поводу нечаянно открытой им книги, лежавшей на столе у общего нашего знакомого. Ему было уже под семьдесят лет; тридцать два года после поединка он искренне обвинял себя и говорил, что это одна из двух капитальных глупостей, которые он сделал в жизни своей.

На стр. 1168-й рассказывается происшествие с Теодором или Тодораки Балшем и женой его Марьей **. Это случилось скоро после моего выезда 4 февраля 1822 г.; недели через две я получил о том в Херсоне известие, а по возвращении узнал и все подробности от обеих сторон. Происшествие изложено в статье, в главных чертах, верно; но если только признано будет не лишним некоторое пояснение, то оно заключается в следующем: 1-е. Столкновение произошло у того же Крупянского, у которого потом и последовала развязка. 2-е. Марья Балш, жена Тодораки, была дочь Богдана, о чем в другом месте сказано подробно. Она была женщина лет под тридцать, довольно пригожа, чрезвычайно остра и словоохотлива; владела хорошо французским языком, и с претензиями. Пушкин был также не прочь поболтать, и должно сказать, что некоторое время это и можно было только с ней одной. Он мог иногда доходить до речей весьма свободных, что ей очень нравилось, и она

---

* В. П. Горчаков: «Промахи прекратили дуэль, и Пушкин, возвращаясь с поля битвы, заехал к Полторацким и, не застав его дома, оставил записку:

Старов...
Слава богу здоров.

Но это столкновение повело к истории с Балшем. Подробности этого находятся в дневнике моем, еще не напечатанном.

** В. П. Горчаков: «Замечу мимоходом, что этот Балш не был «помещиком, кишиневским молдаваном». Он был из княжества, но по случаю гетерии не бежавший вместе с другими из Ясс, где он был «ворником», как бы у нас членом Государственного совета».

в этом случае не оставалась в долгу. Действительно ли Пушкин имел на нее какие виды или нет, сказать трудно; в таких случаях он был переметчив и часто без всяких целей любил болтовню и материализм; но как бы то ни было, Мария принимала это за чистую монету. В это время появилась в салонах некто Альбрехтша; она была годами двумя старше Балш, но красивей, с свободными европейскими манерами; много читала романов, многие проверяла опытом и любезностью своею поставила Балш на второй план; она умела поддерживать салонный разговор с Пушкиным и временно увлекала его. У Балш породилась ревность; она начала делать Пушкину намеки и, получив однажды от него отзыв, что женщина эта (Альбрехтша) историческая и в пылкой страсти, надулась и искала колоть Пушкина. Он стал с ней сдержаннее и вздумал любезничать с ее дочерью, Аникой, столь же острой на словах, как и мать ее, но любезничал так, как можно было только любезничать с двенадцатилетним ребенком. Оскорбленное самолюбие матери и ревность к Альбрехтше (она приняла любезничанье с ее дочерью-ребенком в смысле, что будто бы Пушкин желал этим показать, что она имеет уже взрослую дочь) вспыхнули: она озлобилась до безграничности. В это-то самое время и последовала описанная сцена ⟨...⟩ [17].

Не могу также пропустить без замечания и то, что, как мне кажется, с Алексеевым был и Пущин в кабинете Крупянского, когда Пушкин разделался с Балшем (через несколько лет возведенным в гетманы, то есть в главнокомандующие войсками Молдавии). О присутствии тут Пущина говорю не положительно, ибо в то время я был в отсутствии и возвратился через четыре месяца, а потому и не вполне нахожу этого в записках своих. В этом случае В. П. Горчаков может служить лучшим авторитетом, если Н. С. Алексеев, как свидетель, не оставил своих записок. Когда я возвратился, то Пушкин не носил уже пистолета, а вооружался железной палкой в осьмнадцать фунтов весу [18] ⟨...⟩. К числу столкновений Пушкина можно отнести и случай, рассказанный на стр. 1186-й, и дополнить его: «какой-то солидный господин», о котором идет речь и неназванный, принадлежит к числу четырех оригиналов, встреченных Пушкиным по приезде в Кишинев. Это был старший член в управлении колониями, статский советник Иван Николаевич Ланов; он был в беспрерывной вражде с Пушкиным, или, правильнее сказать, первый враждовал,

а второй отделывался острыми эпиграммами и шутками без всякой желчи и был счастлив, когда смеялись тому. Ланов, бывший адъютантом князя Потемкина, человек не без образования, на старинную руку и с понятиями о разделении лет и чинов. Ему было за 65 лет, среднего роста, плотный, с большим брюхом, лысый, с широким красным лицом, на котором изображалось самодовольствие; вообще он представлял собою довольно смешной экземпляр, налитый вином. Он постоянно обедал у Инзова и потому должен был часто встречаться за тем же столом с Пушкиным. Ланову не нравилось свободное обращение Александра Сергеевича и ответы его Инзову, который всегда с улыбкой возражал. Ланов часто в общем разговоре не удостаивал внимания того, что говорил Пушкин, и происшествие, описанное на 1186-й странице, было именно за столом у Инзова. Ланов назвал Пушкина молокососом, а тот его винососом; это случилось перед самым окончанием стола. Инзов улыбнулся, встав из-за стола, пошел к себе, а Ланов вызывал Пушкина на поединок. Пушкин только хохотал; видя, что тот настаивает, рассказывая о своих поединках при князе Таврическом, сказал ему: «То было тогда... А теперь:

Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что просит только киселя».

Ланов выходил из себя, тем более что сказанное Пушкиным вызвало более или менее сдерживаемый смех каждого из присутствующих...* Ланов несколько успокоился тогда только, когда Пушкин принял его вызов. Инзов, услышав смех в столовой или уведомленный о происшедшем, возвратился в столовую и скоро помирил их. Ланов, из чинопочитания к Инзову, согласился оставить все без последствий, а Пушкин был очень рад, чтобы не сделаться смешным. Инзов устроил так, что с тех пор Пушкин с Лановым не встречались уже за столом вместе. Это очень согласовалося

---

* В. П. Горчаков: «Ланов не вызывал Пушкина, и в наказание Ланову Пушкин ограничился только известным тогда стихотворением:

Ворчи, шуми, болван болванов,
Ты недостоин, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей!
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что просит только киселей».

с желанием Пушкина, и тот день, в который очередь была не его, он летел туда, где было более простора и где он не должен был глотать то, что уже готово сорваться с языка. Часто также он отделывался выдуманным приглашением к Орлову или Бологовскому и уже в тот день неотменно обедал у названного, и, как замечал Пушкин, Инзов всегда догадывался и всегда улыбался, что заставляло и Пушкина делать то же. Здесь следует заметить, что обедать у Инзова вовсе не было обязательно для Пушкина, хотя он и жил в доме его, и некоторые хотели даже думать, что Александр Сергеевич обязан был каждый раз, когда выходил, сказываться или как бы проситься. Этого ничего не было. Но Пушкин очень хорошо понял, что в то время было принято всеми начальниками держать открытый стол не только что для приближенных своих, но и для всех приезжающих того ведомства лиц. Пушкин же жил у Ивана Никитича, был им ласкаем, а потому он почитал приличием уведомлять его, и всегда лично, что он дома не обедает. Так он однажды выразился у меня, когда В. Ф. Раевский, приглашая к себе обедать тут бывших, обратился к Пушкину с шутливым видом, как это часто между ними бывало, присовокупив: «Отпустит ли тебя Инзов?» Не нужно было для сего и объяснения Пушкина, это всем было известно.

Вот все столкновения Пушкина в Кишиневе с сентября 1820 г. по июль 1823 ⟨...⟩ [19].

На стр. 1185-й (и на некоторых других) Пушкин изображен превосходно, в особенности как нельзя более верно, что «он был неизмеримо выше и несравненно лучше того, чем казался и чем даже выражал себя в своих произведениях». Здесь я говорю о Пушкине как о человеке, а не как о поэте: в этом последнем случае я не судья; но в первом опытность моя дает мне более права заявить и мое мнение, тем более что мне представлялось много разнообразных случаев, в которых я мог видеть его, как говорится, обнаженным, а потому все, что на этой странице о нем упоминается как о человеке, то это — прямая истина.

К числу некоторых противоречий в его вседневной жизни я присовокуплю еще одну замечательную черту, которую, как казалось, я мог подметить в нем: это неограниченное самолюбие, самоуверенность, но с тою резкою особенностью, что оно не составляло основы его характера, ибо там, где была речь о поэзии, он входил в жаркий спор, не отступая от своего мнения; конечно, об этом предмете в Кишиневе он мог только говорить с А. Ф. Вельтманом

и В. Ф. Раевским, а также еще с В. П. Горчаковым и Н. С. Алексеевым, но с этими последними мне не случалось его слышать: они были безусловными поклонниками непогрешимости его поэзии *, следовательно, и столкновения по этому предмету быть не могло. Другой предмет, в котором Пушкин никогда не уступал, это готовность на все опасности. Тут, по крайней мере в моих глазах, он был неподражаем, как выше было уже замечено. В других же случаях этот яро самопризнающий свой поэтический дар и всегдашнюю готовность стать лицом со смертью смирялся, когда шел разговор о каких-либо науках, в особенности географии и истории, и легким, ловким спором как бы вызывал противника на обогащение себя сведениями; этому не раз был я также свидетелем. В таких беседах, особенно с В. Ф. Раевским, Пушкин хладнокровно переносил иногда довольно резкие выходки со стороны противника и, занятый только мыслью обогатить себя сведениями, продолжал обсуждение предмета. Очень правильно замечено в статье, что «беседы у Орлова и пр. заставили Пушкина пристальней глядеть на самого себя и в то же время вообще направляли его мысли к занятиям умственным». По моему мнению, беседы его, независимо от Орлова, но с Вельтманом, Раевским, Охотниковым и некоторыми другими много тому содействовали; они, так сказать, дали толчок к дальнейшему развитию научно-умственных способностей Пушкина, по предметам серьезных наук.

Относительно самолюбия Пушкина к своему поэтическому дару, то оно проявлялось во всех случаях пребывания его в Кишиневе и в Одессе: не говоря уже о том, что он сам любил сравнивать себя с Овидием, но он любил, когда кто хвалил его сочинения и прочитывал ему из них стих или два. Вот, по моему мнению, несколько примеров, как бы оправдывающих это мое заключение. ⟨...⟩

Около половины 1822 года, возвращаясь из Одессы, я остановился ночевать в Тирасполе у брата, тогда адъютанта при Сабанееве. Раевский был арестован в Кишиневе 5 февраля (на другой день после моего выезда в Херсон, Киев, Петербург, Москву) и отвезен в Тираспольскую крепость. Мне хотелось с ним видеться, тем более что он и сам просил брата моего, что когда я буду проезжать, то чтобы как-нибудь доставить ему эту возможность. Брат советовал просить мне позволения у самого Сабанеева,

* В. П. Горчаков: «не всегда, что доказывали первые встречи».

который близко знал меня со Шведской войны, и отказа, может быть, и не было бы; но я, знавши, как Раевский дерзко отделал в лицо Сабанеева, на одном из допросов в следственной комиссии, не хотел отнестись лично, прежде нежели не попытаю сделать это через коменданта, полковника Сергиоти, с которым я был хорошо знаком, а потому тотчас отправился в крепость. Раевский был уже переведен из каземата на гауптвахту, в особенную комнату, с строгим повелением никого к нему не допускать. Тайно сделать этого было нельзя, и комендант предложил мне, что так как разрешалось отпускать Раевского с унтер-офицером гулять по гласису (крепость весьма тесная), то чтобы я сказал, в котором часу завтра поеду, то он через час, когда будет заря, передаст Раевскому, и он выйдет на то место, где дорога идет около самого гласиса. Я назвал час и на другой день застал Раевского (с унтер-офицером, ему преданным) сидящим в назначенном месте. Я вышел из экипажа и провел с ним полчаса, опасаясь оставаться долее. Он дал мне пиесу в стихах, довольно длинную, под заглавием «Певец в темнице», и поручил сказать Пушкину, что он пишет ему длинное послание, которое впоследствии я и передал Пушкину, когда он был уже в Одессе *.

Дня через два по моем возвращении в Кишинев Александр Сергеевич зашел ко мне вечером и очень много расспрашивал о Раевском, с видимым участием. Начав читать «Певца в темнице», он заметил, что Раевский упорно хочет брать все из русской истории, что и тут он нашел возможность упоминать о Новгороде и Пскове, о Марфе Посаднице и Вадиме, и вдруг остановился. «Как это хорошо, как это сильно; мысль эта мне нигде не встречалась; она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо», — и пр. Он продолжал читать, но, видимо, более серьезно. На вопрос мой, что ему так понравилось, он отвечал, чтобы я подождал. Окончив, он сел ближе ко мне и к Таушеву и прочитал следующее:

Как истукан немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе.

---

* Во время отъезда моего в 1851 году за границу Н. С. Алексеев взял у меня и то и другое, а равно и пять писем Пушкина; возвратясь, не нашел я его в Петербурге, и он вскоре умер в Москве. Здесь я слышал, что будто бы он кому-то отдал мне возвратить.

Он повторил последнюю строчку... и прибавил, вздохнув: «После таких стихов не скоро же мы увидим этого Спартанца».

Так Александр Сергеевич иногда и прежде называл Раевского, а этот его — Овидиевым племянником.

Таушев указал Пушкину на одно сладострастное выражение, которое, по его мнению, также оригинально, а именно, сколько помню, следующее:

Встречал ли девы молодой
Любовь во взорах сквозь ресницы?
В усталом сне ее с тобой
Встречал ли первый луч денницы?

Пушкин находил, что выражение «в усталом сне» — «хорошо, очень хорошо! но стихи не хороши, а притом это не ново»,— и вдруг начал бороться с Таушевым. Потом, обратясь ко мне, сказал: «А хорошо бы довести Соловкину до такой усталости»,— схватил Таушева под руку, надел на него фуражку и ушел. На другой день Таушев сказывал мне, что Пушкин ему говорил, что мысль первых стихов едва ли Раевский не первый высказал. «Однако,— прибавил он,— я что-то видел подобное, не помню только где, а хорошо»,— и несколько раз повторял помянутый стих; вторую же мысль он приписывал себе, где-то печатно и гораздо лучше высказанную.

Когда я приехал с Пушкиным в Аккерман прямо к полковнику Непенину и назвал своего сопутника, то, после самого радушного приема Пушкину и между тем как этот последний разговаривал с Кюрто, Непенин спросил меня вполголоса, но так, что Александр Сергеевич мог услышать: «Что, это тот Пушкин, который написал Буянова?» На такой вопрос и при тогдашних условиях, нас окружавших, мне не осталось ничего более отвечать, чтобы скорее прекратить дальнейшие расспросы, что «это тот самый, но он не любит, чтобы ему говорили об этом». Я боялся, что, пожалуй, Андрей Григорьевич за столом заведет о том разговор. После обеда, за который тотчас сели, Пушкин подошел ко мне, как бы оскорбленный вопросом Непенина, и наградил его многими эпитетами. Тут нельзя было много объясняться с ним; но когда мы пришли после ужина в назначенную нам комнату, Пушкин возобновил опять о том же речь, называя Непенина необтесанным, невежей и т. п., присовокупив, что Непенин не сообразил даже и лет его с появлением помянутого рассказа и пр. На

вопрос мой, что разве пьеса эта так плоха, что он может за нее краснеть? — «Совсем не плоха,— отвечал он,— она оригинальна и лучшая из всего того, что дядя написал».— «Так что же; пускай Непенин и думает, что она ваша». Пушкин показался мне как бы успокоившимся; он сказал только: «Как же, полковник и еще георгиевский кавалер не мог сообразить моих лет с появлением рассказа!» Мы легли, продолжая разговаривать о его знакомце Кюрто, которого он так неожиданно здесь встретил, и он после некоторого молчания возобновил опять разговор о Непенине и присовокупил, что ему говорили и в Петербурге, что лет через пятьдесят никто не поверит, чтобы Василий Львович мог быть автором «Опасного соседа», и стихотворение это припишется ему. Я заметил, что поэтому нечего сердиться и на Непенина, который прежде пятидесяти лет усвоил уже это мнение. Пушкин проговорил несколько мест из стихотворения, и мы заснули. Поутру он встал очень веселым и сердился на Непенина только за то, что он не сообразил его лет. Дорогой как-то зашла речь о том, и Александр Сергеевич повторил, что пьеса дяди так хороша и так отделяется от всего того, что он писал, что никто не отнесет к нему сочинение оной и пр. Пушкин охотно, как замечено было выше, входил в спор по всем предметам, но не всегда терпел какие-либо замечания о своих стихах, что свидетельствуется и на стр. 1134-й рассматриваемой статьи. В. П. Горчаков говорит, что когда он заметил Пушкину, что в «Черной шали» сказано: «В глазах потемнело, я весь изнемог»,— и потом: «Вхожу в отдаленный покой».— «Так что ж? — прервал Пушкин с быстротой молнии, вспыхнув сам, как зарница,— это не значит, что я ослеп!» На последующей странице видно то же самодовольствие при объяснении с Орловым.

Я уже имел случай сказать, что Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его славы и поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, сказавшей, что

она «в самом младшем чине пала бы в первом же сражении на поле славы» *.

Дуэль Киселева с Мордвиновым очень занимала его; в продолжение нескольких и многих дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других: что на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения и т. п.? Он предпочитал поступок И. Н. Мордвинова [20] как бригадного командира, вызвавшего начальника главного штаба, фаворита государя. Мнения были разделены. Я был за Киселева; мои доводы были недействительными. Н. С. Алексеев разделял также мое мнение, но Пушкин остался при своем, приписывая Алексееву пристрастие к Киселеву, с домом которого он был близок. Пушкин не переносил, как он говорил, «оскорбительной любезности временщика, для которого нет ничего священного», и пророчил Алексееву разочарование в своем идоле, что действительно этот, в полном смысле достойный человек, через тридцать лет и испытал. В сороковых (и в 1851-м) годах, видевшись почти ежедневно с Алексеевым, когда он после последней поездки своей в Саратовскую губернию, по частному делу Киселева, оконченному самым удовлетворительным образом, не видя поощрения ни по служебным понятиям, ни за оказываемые по частным делам удовлетворения, вынужден был оставить службу при Киселеве и искать другого ведомства, он как-то в разговоре со мной, с горькой улыбкой, припомнил прорицание Пушкина.

В заключение не лишним считаю сказать, что дуэли особенно занимали Пушкина [21]. ⟨...⟩

Стр. 1157-я. Действительно, Пушкин имел особенный дар юмористически изображать физиономии и вообще всю фигуру. В. П. Горчаков, передавая это относительно Крупянской, попеременно переходящей в Пушкина и обратно, должен помнить, что Александр Сергеевич на ломберном столе мелом, а иногда и особо карандашом, изображал сестру Катакази, Тарсису — Мадонной и на руках у ней младенцем генерала Шульмана, с оригинальной большой головой, в больших очках, с поднятыми руками, и пр. Пушкин это делал вдруг с поразительно-уморительным сходством **. ⟨...⟩

---

* Было до исправления Бартеневым: «не дожила бы до капитанского чина...»

** В. П. Горчаков: «Это действительно так. При этом не лишнее сказать, что в сочинении подобного рисунка Пушкин поступал пророчески; тогда еще никому на мысль не приходило рисовать фигуры с головой

В самом начале 1824 года, проезжая в Одессу, как обыкновенно, я заезжал к бендерскому полицеймейстеру, майору А. И. Бароцци, и там ожидал, пока приведут с почты переменных лошадей. В этот раз я застал у него человек пять поселян (все малороссы), по разбирательству какого-то дела. На одного из них Бароцци мне указал, что он помнит Карла XII. На вид Николая Искра имел лет шестьдесят, высокого роста, стан прямой, вообще сухощав, с густыми на голове и на груди (по обычаю, в том крае у малороссов ворот у рубашки не застегивается) волосами, желтовато-седыми, зубы целы. Я знал, что такое открытие будет находкой для графа Воронцова, который за год перед тем (в августе) ездил из Бендер на место, где была Варница, но мы тогда ничего не нашли; не менее того мне, занимавшемуся местной статистикой, поручил он обозреть подробно место, описать его и командировал ко мне чиновника Келлера (сына директора минц-кабинета при Эрмитаже), как хорошего рисовальщика, для снятия всевозможных видов с развалин Варницы и пр. Все это побудило меня порасспросить Искру подробнее, и я удостоверился, что действительно он помнит событие, которое было почти за 115 лет пред тем. И каких лет он мог быть тогда сам? Положительно лет себе Искра определить не мог, но говорил, что он тогда был уже — «добрым хлопцем», так что мать его, жившая на хуторе за восемь верст, где и поныне он живет, ежедневно посылала его на тележке в Варницкий лагерь с творогом, молоком, маслом и яйцами и что после того, как татары разорили лагерь шведов, на другой год он женился. Из сего надо было заключить, что Искре было около ста тридцати пяти лет. Он описывал короля (Карла XII), которого видел почти каждый раз и впервые принял его даже и не за офицера, а за слугу, потому что он, выйдя из занимаемого им домика, каждое яйцо брал в руку, взвешивал его и смотрел через оное на солнце.

Граф Воронцов был очень рад такому открытию и положил недели через две отправиться в Бендеры, приказав мне

обыкновенной величины, а остальные части двойного размера, что впоследствии до нашего времени сделалось обыкновенным. Сказав о рисовании, необходимо заметить, что Пушкин имел очевидную способность к рисованию. У меня еще на памяти мне сделанный им рисунок его собственной личности. Он нарисован карандашом во весь рост, в сюртуке, без шляпы, словом, точно такой, каким изображен в статуэтках, появившихся вскоре после его кончины. Это замечательно».

приехать к тому времени в Одессу и, проезжая через Бендеры, сказать Бароцци, чтоб вызвал к себе Искру, который бы ожидал нашего приезда. Я пробыл в Одессе только несколько часов и поспешил по некоторым делам обратно.

Через две недели, к назначенному дню, я выехал из Кишинева, захватив с собой все сочинения, специально говорящие о пребывании Карла XII около Бендер в Варнице *. Оставив все у Бароцци, я поспешил в Одессу. Первые два дня граф не отменял своего намерения, но на третий отложил поездку на неопределенное время, по случаю каких-то особенных дел **. Между тем Пушкин проведал о предначертании графа быть в Бендерах и выпросил позволения сопутствовать ему; но как решено было, что граф отложил поездку, то убедительно просил меня взять его с собой на обратном моем пути; граф отпустил его, и дня через два мы отправились.

Бендеры занимали Пушкина по многим отношениям, и, конечно, Варница была не на первом плане, хотя он и воображал в окрестностях Бендер найти следы могилы Мазепы, вполне полагаясь на указания Искры, которые бы он мог ему сделать. Во время пребывания Александра Сергеевича в Кишиневе в Бендерах совершилось несколько приключений, которые не могли не сделать сильного впечатления на его пылкие страсти. Здесь егерский капитан Сазонович был оскоплен и, соделавшись ярым последователем этой чудовищной секты, увлек в оную юнкера и несколько солдат (до тридцати!) своей роты. Он был судим и сослан в Соловецкий монастырь ***. Другой капитан, Бороздна, в Бендерах же, в противоположность товарищу своему Сазоновичу, предался содомитству и распространил оное в своей роте. Он также был судим и подвергся наказанию. Происшествие это было поводом к известному четырехстишию, экспромтом сказанному Пушкиным:

---

* Из них в особенности Нордберга, духовника короля, 2 части, в которых было изображение лагеря и пр. и пр., а равно путешествие Де ла Мотрея, 2 части, бывшего в этих местах год спустя, с приложением любопытных рисунков. В одном из этих сочинений я встретил план лагеря на Пруте с названием полков и пр.

** В августе того же года, возвращаясь из поездки по южной части Бессарабии и остановившись на ночлеге у генерала М. И. Понсета, в Леонтьеве, в 20-ти верстах от Бендер, мы вместе с ним осмотрели место бывшей Варницы, и граф выдал 25 червонцев Искре.

*** Впоследствии он принес покаяние, и рукопись его — высшего интереса, послужила мне к дальнейшим открытиям и пр., когда я был председателем скопческой комиссии с 1843 по 1852 г.

Накажи, святой угодник,
Капитана Бороздну,
Разлюбил он, греховодник,
Нашу матушку п. . .у *.

Затем самые Бендеры представляли особую характеристику своих жителей. Независимо от того, что здесь сосредоточивались всевозможные раскольничьи толки нашего исповедания и еврейского, но и фабрикация фальшивой мелкой монеты и в особенности турецких пар, выделываемых просто из старых солдатских манерок; подделка ассигнаций, паспортов и других видов. Чтобы запастись ими, стекались из отдаленных мест. Замечательнее всего было то, что до вступления на наместничество графа Воронцова в Бендерах, кроме солдат, никто не умирал с самого присоединения области, и народонаселение города, или форштата, быстро усиливалось. Бендерское население не иначе было известно, как под названием «бессмертного общества». Александр Сергеевич все это слышал, а в последнее время пребывания его в Бессарабии два происшествия, разъяснившиеся уже тогда, когда он был в Одессе, своею оригинальностью подстрекнули еще более его любопытство. Он с нетерпением желал видеть Бендеры и оттуда съездить в Каушаны, где все грезилось ему, что он найдет какие-либо следы столицы буджацких ханов, не допуская и мысли, чтобы могло все исчезнуть.

Около четырех часов пополудни мы были уже в Тирасполе и остановились у брата моего. Несмотря на все желание Пушкина тотчас же ехать в Бендеры, до которых оставалось десять верст, я не мог сделать того, ибо, по обыкновению, имел поручение от графа к И. В. Сабанееву. Я приглашал с собой Пушкина, который переменил уже мнение о Сабанееве, как это скажу в другом месте, но он ленился почиститься. Это, однако же, не помогло ему: когда Иван Васильевич спросил меня, где брат? — и получил в ответ, что он остался дома с Пушкиным, то тотчас был послан ординарец за ними. Пушкин не раскаивался в этом посещении, был весел, разговорчив даже до болтовни и очень понравился Пулхерии Яковлевне, жене Сабанеева. После ужина, в 11 часов, мы ушли. Простое обращение Сабанеева, его умный разговор сделали впечатление на Пушкина, и когда мы рассказали ему первый брак Сабане-

* *В. П. Горчаков:* «Это было в 1822 году составлено и прочитано на квартире Пущина».

ева, то он сделался для него, как выразился, «лицом очень интересным».

На другой день, в восемь часов утра, взяв с собой брата, мы отправились в Бендеры и через полтора часа были уже у Бароцци. Искра был налицо; для графа была приготовлена квартира у письмоводителя, о котором скажется далее. Пушкин неотменно желал, чтобы мы остановились там: ему хотелось видеть и узнать поближе это замечательное лицо. Бароцци не отпускал нас от себя, наконец согласился и сам пошел указать квартиру. Пушкин и брат отправились в нее, а я в крепость к коменданту Збиевскому, к которому также имел я от графа поручение. Хлебосол-старик неотменно хотел, чтобы мы обедали у него; я объяснил ему, что имею поручение тотчас осмотреть кой-какие места, но, несмотря на все мои отговорки, должен был обещать быть «на чашку», как старик называл пунш. Возвратясь, я нашел все готовым, и мы отправились на место бывшей Варницы, взяв с собой второй том Нордберга и Мотрея, где изображен план лагеря, окопов, фасады строений, находившихся в Варницком укреплении, и несколько изображений во весь рост Карла XII. Рассказ Искры о костюме этого короля поразительно был верен с изображением его в книгах. Не менее изумителен был рассказ его о начертании окопов, ворот, ведущих в оные, и некоторые неровности в поле соответствовали местам, где находились бастионы, и т. д.; но не это занимало Пушкина: он добивался от Искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе, а тот не только что не мог указать ему желаемую могилу или место, но и объявил, что такого и имени не слыхал. Пушкин не отставал, толкуя ему, что Мазепа был казачий генерал и православный, а не бусурман, как шведы,— все напрасно. Спрашивал, нет ли еще таких же стариков, как он, Искра; нет ли старинных церквей поблизости, и получил в ответ, что старее его нет никого; что церкви еще прежде были «спалены татарами» и т. п. С недовольным духом Пушкин возвратился с нами к полицеймейстеру. За обедом все повеселели, и кофе, по предложению Пушкина, пошли пить к письмоводительше, нашей хозяйке. Около 4-х часов Пушкин сел на перекладную вместе с квартальным, которого ему дал Бароцци, и отправился в Каушаны; ему не терпелось скорей увидеть развалины дворцов и фонтанов. Часа через два мы с братом отправились к Збиевскому и возвратились в 11 часов; Пушкин только что приехал разочарованный, так же как и в надежде открыть могилу

Мазепы. Вскоре после полуночи я уехал в Кишинев, а Пушкин с братом моим в Тирасполь, где, переночевав, рано продолжал путь в Одессу.

Теперь скажу о помянутых двух происшествиях, которые долго подавали Пушкину повод к остротам, иногда довольно резким, что многим из бюрократов, в обществе которых он был, очень не нравилось. Первое из этих происшествий было следующее. Губернатор Катакази, по вступлении графа Воронцова в должность, едва ли не в первый раз обозревал свою область. В Бендерах ему приготовлена была квартира в доме письмоводителя, ловкого малороссиянина или бог знает его породу. Жена его, толстая, предупредительная и словоохотливая русская женщина, лет сорока. Три комнаты, чрезвычайно чистые, потамошнему хорошо меблированные, с увешанными по стенам картинами, чисто вымытыми полами, с бездной канареек и других певчих птиц в клетках. Едва Катакази приехал, как явился самовар и пр. и пр. Кроткий, добрый Катакази был как бы очарован гостеприимством. Осмотрев, что ему было нужно, отобедав у Збиевского, вечером он принимал служащих и, оставшись один, пустился в разговоры с словоохотливой хозяйкой, передававшей ему все бендерские новости. Катакази призвал и мужа ее, расспрашивал о делах и получал самые удовлетворительные ответы, которых ему никак не мог дать Бароцци, созданный более для монашеской жизни, нежели для полицейской. Катакази узнал от своего хозяина, что он уже пятнадцать лет письмоводителем, и на вопрос, какого он чина? — удивился, что он не более как мещанин. На другой день, уезжая, он спросил у Бароцци, доволен ли он письмоводителем, и, получив самый удовлетворительный ответ, приказал представить его к чину. Представление послано в областное управление, оттуда поступило к Катакази, от Катакази к Воронцову с самым одобрительным отзывом, от графа к министру внутренних дел с прибавкой рекомендации; от министра — в герольдию. Герольдия возвратила представление на том основании, что не был приложен формуляр, ибо письмоводитель занимает штатное место и утвержден властью полномочного наместника. Представление пошло по тем же этапам до бендерского полицеймейстера. Формуляр был приложен, и представление двинулось опять в областное правление и из оного к Катакази, который, препровождая все это к графу, усилил еще более ходатайство о награждении «этого примерного человека». От графа

к министру и опять в герольдию. Надо полагать, что канцелярия герольдии была первым местом, где заглянули в формуляр, в котором значилось, что письмоводитель этот в 1809 году за участие в конокрадстве наказан был двадцатью пятью ударами плетей, в стенах, и оставлен на месте жительства под надзором полиции. Пушкин хотел видеть это лицо, говорить с ним, чтобы потом иногда, кого нужно, покалывать «усердием» к бюрократизму ⟨...⟩ [22]

Недели через две я должен был опять ехать в Одессу. В Тирасполе узнал, что Пушкин, возвращаясь из Бендер, после тщетной попытки отыскать могилу Мазепы и ханские дворцы с фонтанами в Каушанах, хотел продолжать путь ночью, и только внезапный холодный дождь заставил его отдохнуть, с тем чтобы назавтра выехать со светом; но трехсуточная усталость и умственное напряжение погрузили его в крепкий сон. Когда он проснулся, брат мой был уже у Сабанеева и, возвратясь, нашел Пушкина готовым к отъезду. Но предложение видеться с В. Ф. Раевским, на что Сабанеев, знавший их близкое знакомство, сам выразил согласие, Пушкин решительно отвергнул, объявивши, что в этот день, к известному часу, ему неотменно надо быть в Одессе. По приезде моем в сию последнюю, через полчаса, я был уже с Пушкиным, потому, как замечено мною выше, всегда останавливался в клубном доме Отона, где поселился и Александр Сергеевич. На вопрос мой, почему он не повидался с Раевским, когда ему было предложено самим корпусным командиром,— Пушкин, как мне показалось, будто бы несколько был озадачен моим вопросом и стал оправдываться тем, что он спешил, и кончил полным признанием, что в его положении ему нельзя было воспользоваться этим предложением, хотя он был убежден, что оно сделано было Сабанеевым с искренним желанием доставить ему и Раевскому удовольствие, но что немец Вахтен не упустил бы сообщить этого свидания в Тульчин, «а там много усерднейших, которые поспешат сделать то же в Петербург»,— и пр. Я переменил разговор, видя, что куплеты «Певца в темнице» были главной причиной отказа, и находил, что Пушкин поступил благоразумно: ибо Раевский не воздержался бы от сильных выражений, что, при коменданте или при дежурном, было бы очень неловко, и, как заключил я во время разговора, Александр Сергеевич принимал это в соображение. «Жаль нашего Спартанца»,— не раз вздыхая говорил он.

В этот день мне случилось в первый раз обедать с Пуш-

киным у графа. Он сидел довольно далеко от меня и через стол часто переговаривался с Ольгой Станиславовной Нарышкиной (урожденной графинею Потоцкой, сестрой С. С. Киселевой); но разговор почему-то вовсе не одушевлялся. Графиня Воронцова и Башмакова (Варвара Аркадьевна, урожденная княжна Суворова) иногда вмешивались в разговор двумя-тремя словами. Пушкин был чрезвычайно сдержан и в мрачном настроении духа. Вставши из-за стола, мы с ним столкнулись, когда он отыскивал, между многими, свою шляпу, и на вопрос мой — куда? — «Отдохнуть! — отвечал он мне, присовокупив: — Это не обеды Бологовского, Орлова и даже...» — не окончил, вышел, сказав, что когда я приеду, то дал бы знать. В эту ночь я должен был возвратиться в Кишинев, чтобы через несколько дней опять приехать в Одессу. Получив от графа еще кой-какие поручения, я объездил некоторых лиц, что было необходимо по службе; в восемь часов возвратился домой и, проходя мимо номера Пушкина, зашел к нему. Я застал его в самом веселом расположении духа, без сюртука, сидящим на коленях у мавра Али. Этот мавр, родом из Туниса, был капитаном, то есть шкипером коммерческого или своего судна, человек очень веселого характера, лет тридцати пяти, среднего роста, плотный, с лицом загорелым и несколько рябоватым, но очень приятной физиономии. Али очень полюбил Пушкина, который не иначе называл его, как корсаром. Али говорил несколько по-французски и очень хорошо по-итальянски. Мой приход не переменил их положения; Пушкин мне рекомендовал его, присовокупив, что — «у меня лежит к нему душа: кто знает, может быть, мой дед с его предком были близкой родней». И вслед за сим начал его щекотать, чего мавр не выносил, а это забавляло Пушкина. Я пригласил его к себе пить чай, сказав, что, по обыкновению, оба Сафоновы, Лекс и еще кое-кто обещали проводить меня. Пушкин принял это с большим удовольствием, присовокупив, что это напомнит ему Кишинев, и вызвался привести с собой Али; я очень был рад, ибо любил этого рода людей. Лекс уже знал Али, бывавшего в канцелярии гр. Воронцова по какому-то делу. Господствующий разговор был о Кишиневе, где переменялось все; Александр Сергеевич находил, что положение его во всех отношениях было гораздо выносимее там, нежели в Одессе, и несколько раз принимался щекотать Али, говоря, что он составляет здесь для него единственное наслаждение. После веселого ужина я отправился, дав

всем слово приехать к приближающейся масленице.

Дней через десять, в десять часов утра, я приехал опять в Одессу, вместе с Н. С. Алексеевым, и тотчас послал дать знать Пушкину. Человек возвратился с известием, что он еще спит, что пришел домой в пять часов утра из маскарада. Отправившись к графу и к некоторым еще другим лицам, я узнал, что маскарад был у графа. В час мы нашли Пушкина еще в кровати, с поджатыми, по обыкновению, ногами и что-то пишущим. Он был очень не в духе от бывшего маскарада; рассказал некоторые эпизоды и в особенности был раздражен на (тогда коллежского асессора) барона Брунова (ныне нашего посла в Лондоне) и на улыбку довольствия графа. Так как первым условием маскарада было костюмироваться (Пушкин был в домино с маской), то Брунов костюмировался валетом червей и сплошь обшил себя червонными валетами. Подойдя к графу и к графине и подавая какие-то стихи на французском языке, он сказал что-то вроде, что: «Le valet de coeur fait hommageau roi des coeurs» *. Пушкин не переваривал этих слов. «Милорд (так иногда он называл графа) и чета его приняли это с большим удовольствием»,— и вдруг расхохотался и, обняв Алексеева, продолжал: «А вот кто потешил меня — так это Иван Васильевич» (Сабанеев), и рассказал нам, что граф и графиня неотступно просили Сабанеева тоже быть в каком-либо костюме. Как ни отговаривался Иван Васильевич и ни ссылался на свою фигуру, но должен был наконец обещать и сдержал свое слово — «как подобает русскому»,— прибавил Пушкин. Генерал Сабанеев надел фрак, в котором фигура его, вообще взятая, не могла не быть смешной. Это было еще ничего, но он на шею и на фрак нацепил все имевшиеся у него иностранные ордена (а их было много, ибо, будучи начальником главного штаба главной армии в 1813 и 1814 годах, он получил оные от всех союзников и по нескольку) и ни одного русского. Пушкин был в восторге, что Сабанеев употребил иностранные ордена как маскарадный костюм. Восторг этот разделяли, однако же, не все, а иностранные консулы думали даже видеть в этом недоброжелательное намерение и как бы желание оскорбить значение их орденов в глазах русских **.

---

* Валет червей преподносит в дар королю сердец.

** Надо полагать, что это так и было передано в Петербург, ибо Иван Васильевич получил от князя П. М. Волконского сообщение, что государю такое костюмирование не было приятно.

В эту мою поездку в Одессу, где пробыл я неделю, я начал замечать, но безотчетно, что Пушкин был недоволен своим пребыванием относительно общества, в котором он, как говорится, более или менее вращался. Находясь в Одессе, я не проникал в эти причины, хотя очень часто с ним и еще с двумя-тремя делали экскурсии, где, как говорится, все распоясывались. Я замечал какой-то abandon * в Пушкине, но не искал проникать в его задушевное и оставлял, так сказать, без особенного внимания. В дороге, в обратный путь в Кишинев, мы разговорились с Алексеевым и начали находить в Пушкине большую перемену, даже в суждениях. По некоторым вырывавшимся у него словам Алексеев, бывший к нему ближе и интимнее, нежели я, думал видеть в нем как будто бы какое-то ожесточение.

В Одессе было общество, которое могло занимать Пушкина во всех отношениях. Не говоря о высших кругах, как, например, в домах гр. Воронцова, Л. А. Нарышкина, Башмакова, кишиневского его знакомца П. С. Пущина (женившегося в Одессе на дочери полковника Бриммера, сестре жены графа Ланжерона) и некоторых других. Но я понимал, по крайней мере, по собственному образу мыслей, что такой круг не мог удовлетворять Пушкина; ему, по природе его, нужно было разнообразие с разительными противоположностями, как встречал он их в продолжение почти трехлетнего пребывания своего в Кишиневе. Он отвык и, как говорил, никогда и не любил аристократических, семейных, этикетных обществ, существовавших в вышеназванных домах, а от них перешедших в салоны и к некоторым более значительным негоциантам. Но вместе с тем мне казалось странным, что он не то чтобы избегал безусловно, но и не искал быть в кругу лиц, шедших тем же литературным путем, как и он. Из них сослуживцами ему были А. И. Левшин и В. И. Туманский; первого находил он слишком серьезным прозаиком, с другим он был ближе, но не так и не в тех отношениях, в каких он был в Кишиневе с В. Ф. Раевским и В. П. Горчаковым. Во время пребывания Пушкина в Одессе в почтамте служил молодой человек, очень образованный, кажется, Подолинский, коего мелкие стихотворения печатались в журналах. Пушкин встречался с ним, но не знаю, какого он был мнения о его таланте; знаю только, что не искал с ним сблизиться [23]. Он без видимой

* Отчужденность.

охоты посещал и литературные вечера Варвары Дмитриевны Казначеевой, урожденной княжны Волконской, очень умной, любезной и начитанной женщины, страстной любительницы литературы. Радушное гостеприимство мужа ее, Александра Ивановича, тогда правителя канцелярии графа Воронцова, не привязывало Пушкина. Тут он встречал также жену капитана над одесским портом, госпожу Зонтаг, родственницу Жуковского. По приглашению ее бывать и у ней, он ограничивался редкими визитами. Помню очень хорошо, как Пушкин издевался над Туманским за чтение в этом собрании Фауста и пр. Приезды А. Н. Раевского развлекали Пушкина, как будто оживляли его, точно так же, как когда встречался он с кем-либо из кишиневских. Тогда — расспросам не было конца; обед, ужин, завтрак с старыми знакомцами оживляли его, и действительно, повторяю, что, сравнительно с Одессой, Кишинев как нельзя более соответствовал характеру Пушкина. В Одессе, независимо от встреч с знакомыми бессарабцами, театр иногда служил развлечением. Из всех домов, посещаемых Пушкиным в Одессе, особенно любил он обедать у негоцианта Сикара, некогда французского консула, одного из старейших жителей Одессы * и автора брошюры на французском языке о торговле в Одессе. Пять-шесть обедов в год, им даваемых, не иначе как званых и немноголюдных (не более как двадцати четырех человек, без женщин) действительно были замечательны отсутствием всякого этикета, при высшей сервировке стола. Пушкин был всегда приглашаем, и здесь я его находил, как говорится, совершенно в своей тарелке, дающим иногда волю болтовне, которая любезно принималась собеседниками. Так, однажды кто-то за столом рассказывал подробности бывшей охоты, и в одном случае был упомянут некто Том, относительно встречи с волком, от которого он отделался проявлением присутствия духа. Пушкин, которого всякий подобный случай особенно занимал, спросил: «который Том — 1-й, 2-й или 3-й?» Один из присутствовавших, почтенной наружности пожилой человек, очень любезно ответил: «Это был 3-й Том». Ответ этот вызвал общий смех,

* С Сикаром Пушкин познакомился, или, лучше сказать, только раза два виделся, в Кишиневе, в 1821 г., когда первый приезжал покупать в Бессарабии имение. Сикар особенно полюбил Александра Сергеевича. Этот почтенный негоциант погиб безвестно; по заключении Адрианопольского мира он сел на корабль и отправился в Константинополь. Корабль погиб, где и как — не узнано; младший брат его остался в Одессе.

к которому присоединился и Пушкин. Том был австрийский консул в Одессе и старожил города, человек, уважаемый всеми и гостеприимный. У него было два сына, почти одинаковых лет с Пушкиным, с которыми он иногда встречался у Отона, в театральном фойе, и в общем разговоре обменивался словами; но отца их он никогда не видел до вышеприведенного ответа. Узнав после стола об имени отвечавшего, Пушкин подошел к нему с извинением, и впоследствии он не раз был приглашаем стариком на дачу, кажется, около Дольника.

До отъезда Пушкина я был еще раза три в Одессе и каждый раз находил его более и более недовольным; та веселость, которая одушевляла его в Кишиневе, проявлялась только тогда, когда он находился с мавром Али. Мрачное настроение духа Александра Сергеевича породило много эпиграмм, из которых едва ли не большая часть была им только сказана, но попала на бумагу и сделалась известной. Эпиграммы эти касались многих и из канцелярии графа, так, например, про начальника отделения Артемьева особенно отличалась от других своими убийственными, но верными выражениями. Стихи его на некоторых дам, бывших на бале у графа, своим содержанием раздражили всех *. Начались сплетни, интриги, которые еще более раздражали Пушкина. Говорили, что будто бы граф, через кого-то, изъявил Пушкину свое неудовольствие и что это было поводом известных стихов к портрету **.

Услужливость некоторых тотчас же распространила их. Не нужно было искать, к чьему портрету они метили. Граф не показал вида какого-либо негодования: по-прежнему приглашал Пушкина к обеду, по-прежнему обменивался с ним несколькими словами.

---

* Все дамы описаны в том же роде, как, например:

Мадам Ризнич с римским носом, || С русской ж⟨...⟩ Рено и т. д. Ризнич один из первых негоциантов, особенно ласкаемый графом, по смерти здесь упоминаемой жены своей скоро женился на дочери Швейковского из Киева (на другой сестре впоследствии женился граф Потоцкий, тульчинский, и она-то была причиной его погибели). Старик Рено, во втором браке с молодой француженкой, очень дородной, о которой Пушкин и говорит. Сын Рено, Осип, в штате графа, был тогда директором театра. Все это было близко и к графу и к графине, которая также не была пощажена.

** Я не мог отыскать их у себя: вероятно, кому-нибудь были отданы и не возвращены. Полагаю, что они есть у В. П. Горчакова. Сколько помню, в них находились следующие выражения: «Полу-милорд, полу-герой, полу-купец, полу-подлец, и есть надежда, что будет полным наконец». Кажется, было еще что-то, не помню, как все это было расположено, но помню положительно, что начиналось: «полу-милорд» и оканчи-

Но не то Александр Сергеевич думал видеть в графине, заметно сделавшейся холоднее, и, конечно, Пушкин опять-таки имел неосторожность при недоброжелательных ему лицах сказать, что холодность эта происходит «не за подпись к портрету, а за стихи на бал» и пр.

Чрез несколько времени получены были из разных мест известия о появлении саранчи, выходившей уже из зимних квартир своих, на иных местах еще ползающей, на других перешедшей в период скачки. Несмотря на меры, принятые местными губернаторами, граф послал и от себя несколько военных и гражданских чиновников (от полковника до губернского секретаря); в числе их был назначен и Пушкин, положительно с целью, чтобы, по окончании командировки, иметь повод сделать о нем представление к какой-либо награде. Но Пушкин, с настроением своего духа, принял это за оскорбление, за месть и т. д. Нашлись люди, которые, вместо успокоения его раздражительности, старались еще более усилить оную, или молчанием, когда он кричал во всеуслышанье, или даже подтакиванием, и последствием этого было известное письмо его на французском языке к графу, в сильных и — можно сказать — неуместных выражениях. Я вполне убежден, что если бы в это время был Н. С. Алексеев, и даже я, то Пушкин не поступил бы так, как он это сделал; он не был чужд гласу благоразумия. Граф сделал сношение с Петербургом, в самых легких выражениях, и Пушкину назначено пребывание в имении в Псковской губернии. Я смотрю, с своей точки зрения, на этот отъезд Пушкина как на событие, самое счастливое в его жизни: ибо, вслед за его выездом, поселился в Одессе князь С. Г. Волконский, женившийся на Раевской; приехали оба графа Булгари, Поджио и другие; из Петербурга из гвардейского генерального штаба шт.-к. Корнилович делегатом Северного общества; из армии являлись: генерал-интендант Юшневский, полковники Пестель, Абрамов, Бурцов и пр. и пр. Все это посещало князя Волконского (как это видно из Донесения

валось «и будет полным наконец». Пушкин заверял меня, что стихи эти написаны не были, но как-то раза два или три им были повторены и так попали на бумагу.

В. П. Горчаков: «Не самолюбие, которое нельзя же смешивать с чувством собственного достоинства, с первого дня представления Пушкина гр. Воронцову уже поселило в Пушкине нерасположение к графу, а далее совокупность различных выходок графа, наведенного другими врагами Пушкина, зажгли эту яркую надпись к портрету — подробности этих отношений есть в дневнике моем».

следственной комиссии), и Пушкин, с мрачно-ожесточенным духом, легко мог быть свидетелем бредней, обуревающих наших строителей государства, и невинно сделаться жертвой, как я заметил это в другом уже месте.

Пушкин до упомянутого выше провозглашения неловкого «здоровья» предпочитал обедывать у Дмитрия Николаевича Бологовского *, который охотно соединял у себя попеременно все оттенки кишиневского общества. Здесь разговор был самый игривый, ум и опытность самого хозяина придавали еще более интереса. В числе лиц, иногда приглашавшихся к генералу, были два брата Дино и Янко, то есть Дмитрий и Иван Яковлевич Руссо, которых Пушкин встречал у Крупянского, у Земфираки, или Стамо, и редко у меня, в особенности Дмитрия, более жившего в поместье. Эти два оригинальные лица попали в мой дневник, а потому я сокращенно выберу из него только то, что может касаться Пушкина.

Оба брата, довольно с хорошим состоянием, были совершенно противоположных свойств по образованию и наружности, не менее того в высшей степени оригиналы каждый в своем роде. Старший, Дмитрий Яковлевич (женатый), постоянно жил в деревне и зимой только являлся в Кишинев; носил вначале молдавское платье и, переодевшись в европейское, не оставлял некоторых принадлежностей первого. Знал один свой природный язык, худо по-гречески, а еще хуже по-русски, а в обращении был медведем. В 1818 году государь посетил Бессарабию; в одном из цынутов (уездов) Дмитрий Руссо был исправником. С ночлега, где государь останавливался на ночь, кухня была отправлена вперед, в место, назначенное для обеда. Так как пункт этот находился в цынуте Дмитрия Руссо, то наместник А. Н. Бахметев, сопровождавший государя, приказал исправнику ехать туда, чтобы облегчить доставку необходимого. Руссо прискакал и нашел, что все уже в деле, но, с ужасом заметив, что дрова употреблены обыкновенные, пришел в отчаянье и, рассвирепев на находившегося тут заседателя, перебил каларашей и тотчас послал людей за несколько сажен, к речке, где приготовлен был дубовый лес, уже обделанный в разные формы для строящейся мельницы; немедленно перекололи колеса, клинья и т. п. Сам исправник, подавая пример каларашам, вы-

* И после этого «здоровья» он хотя и реже, но продолжал бывать, но уж с обеих сторон была видимая сдержанность.

таскивал из печей горящие дрова и замещал их принесенными, повторяя, что «как можно было допустить употреблять для императора дрова, которые употребляет каждый царап (мужик)», и вменял подвиг свой в большую себе честь. Он получил потом чин коллежского асессора *. Помню очень хорошо, что Пушкин, вполне сознавая неловкость Руссо, вместе с тем соглашался, что вновь завоеванные народы должны благоговеть каждый по своему разуму перед царем, и пр.

Младший брат Дмитрия, Янко Руссо (Иван Яковлевич), провел пятнадцать лет за границей, преимущественно в Париже, очень хорошо говорил по-французски и одинаково, как и брат его, был прост в своем роде. Бессарабцы смотрели на него как на чудо, по степени образованности, и гордились им. В то время Париж не был еще так знаком молдаванам, как это ныне. 〈...〉 Иван Яковлевич Руссо был лет тридцати, довольно тучен, с широким лицом, изображавшим тупость и самодовольство; одевался не щегольски, но очень опрятно, всегда с тростью, под предлогом раны в ноге, будто бы полученной им на поединке во Франции. Говор его был тих, с расстановкой; он вытвердил несколько имен французских авторов и ими бросал пыль в глаза соотечественников своих, не понимающих по-французски. Любезничал с женщинами и искал всегда серьезных разговоров; не был застольным товарищем; в карты не играл и, кроме воды, ничего не пил.

Пушкин чувствовал к нему антипатию, которую скрывать не мог, и полагаю, что к этой ненависти много содействовало и то, что Руссо не был обычного направления тогдашней кишиневской молодежи, увивавшейся за Пушкиным **. Александр Сергеевич встречался с ним у Крупянского, у Стамо, или у Земфираки, редко у меня и иногда у Бологовского, который, как замечено выше, забавлялся, созывая к себе поочередно обедать по нескольку оригиналов. Александр Сергеевич не мог переносить равнодушно присутствия Янки Руссо; самодовольствие этого последнего вызывало первого из себя. Однажды у Бологовского приглашена была обедать другая серия, в составе которой находился местный поэт Стамати (о нем скажу после). Без

* *В. П. Горчаков:* «Полно, не на кизяке ли готовили, тогда подобная заботливость стоит награды, ибо иначе бы, пожалуй, новый властелин остался бы без обеда...»

** *В. П. Горчаков:* «Да Пушкин не любил заискивания, и в этом отношении у него были чувства самые тонкие».

намерения или с намерением шутить Бологовский за столом начал расточать похвалы Янке Руссо, что очень нравилось Стамати и его двум-трем тут бывшим соотечественникам, но чего не выносил Пушкин, хотя и был убежден, что Дмитрий Николаевич шутит и как будто вызывает его сказать свое мнение; но Пушкин вертелся от нетерпения на стуле; видно было, что накипь у него усиливалась. Раз Бологовский, обратясь к Стамати, сказал ему, что он с большим удовольствием прочитал рукопись Янки Руссо о впечатлении, сделанном на него в первое время приезда в Париж, и о сравнении с венским обществом, и что тут Бологовский нашел очень много глубокой философии и пр. Бологовский, видимо, смеялся над этой рукописью, навязываемою нам всем; но Стамати принял это за чистую монету и с некоторою гордостью самодовольно отвечал: «C'est notre Jean-Jacques Rousseau».

Здесь Пушкин не в силах был более удерживать себя; вскочил со стула и отвечал уже по-русски: «Это правда, что он Иван, что он Яковлевич, что он Руссо, но не Жан-Жак, а просто рыжий дурак!» (roux sot): он действительно несколько рыжеват. Эта выходка заставила всех смеяться, что разделял, и, кажется, искренне, и сам Стамати, который почитал себя классиком и возродителем молдавской поэзии.

Стамати, как замечено выше, был в числе других иногда приглашаем к обеду Д. Н. Бологовским. Он и младший брат его служили в Верховном совете. В приезд свой в Бессарабию П. П. Свиньин, не знаю (ибо было за два года до меня), по рекомендации или по случаю назначения ему квартиры у Стамати, сблизился с старшим братом (отец и мать были уже умершими) и выхлопотал у А. Н. Бахметева разрешение сопутствовать ему (Свиньину) в путешествии по Бессарабии, плодом которого, между прочим, было определение ссылки Овидия в Аккерман. Говорили, что будто бы Свиньин уверил Стамати, что он литератор, и поощрил его на этот путь. В маленьком садике, сзади дома Стамати, поставлена в память Павла Петровича колонка, на которой красовался гипсовый бюст Анакреона и надпись: «В память П. П. Свиньину».

Стамати пустился писать с такой смелостью, что начал переводить на молдавский язык трагедии Вольтера и Расина. Пушкин встречал его в разных домах, и, несмотря на все усилия Стамати сблизиться с нашим поэтом, этот был равнодушен к вызовам первого прослушать перевод «Фед-

ры», чтобы оценить гармонию молдавского языка. Пушкин постоянно отклонялся, довольствуясь уже тем, что слышал некоторые отрывки, повторенные в каком-то обществе и заставившие Пушкина помирать со смеху *.

Д. Н. Бологовский, при высшем своем образовании, был не чужд иногда потешиться кой-какими сценами вроде того, как это было с Дино Руссо; так и здесь ему хотелось свести Пушкина с Стамати. После обеда он пригласил бессарабского поэта прочитать свою пиесу, прибавив, что, не зная молдаванского языка, он желает слышать гармонию стихов и что Пушкин по принадлежности будет судьей. Чтение при общем молчании началось; но так как длинно было бы читать всю трагедию, Пушкин предложил избрать какое-либо место, по которому можно будет судить о языке и всей пиесе, и очень серьезно назвал это место Стамати. Пушкин сел против Дмитрия Николаевича, и глаза их устремились друг на друга с более или менее сдержанною улыбкой. Но когда дошло до места, которого Пушкин переварить никак не мог, то он разразился смехом, за ним другие, а там и Бологовский, хотя и сдержаннее других; и как бы относя смех свой не к произнесенным словам читавшего, а более к Пушкину, спрашивая его, что он тут находит смешного? Смеялся и сам Стамати. «Помилуйте, ваше превосходительство, может быть, это очень хорошо, очень грамотно, очень верно передано, но какая же гармония в чифаче Ипполит? и в ответ: бояру! Саракуаль Мурит?» Все, вместе с молдавским поэтом, смеялись, но Бологовский поддерживал, что особенно неприятного для слуха он ничего не

* Однажды, когда мы проходили мимо дома Стамати, этот сидел на крыльце; поклонившись, мы обменялись несколькими словами, не останавливаясь; но спутник мой пожелал, чтобы я завел его посмотреть Анакреона, поставленного в честь Свиньину. Я остановился и отнесся с какою-то речью к Стамати, он поспешил пригласить нас. Мы сели на крыльце же, прохлаждаясь тотчас поданной дульчецей. Чтобы скорей окончить посещение, я просил Стамати показать Пушкину свой садик с обелиском, что тотчас и было исполнено. Хозяин был в восхищении от посещения его Пушкиным и пригласил нас на другой день обедать, но спутник мой под вымышленным предлогом отложил это до другого раза. На вопрос мой, когда мы от него вышли, почему он отказался, тем более что Стамати хорошо угощает, Пушкин отвечал: «Что же толку в том: после обеда он непременно бы перевернул всю внутренность мою своею «Федрой»; он во что бы то ни стало хочет мне прочитать ее от доски до доски, а я не выдержал бы, чтобы не расхохотаться, что было бы невежливо у него в доме. Да и сестра его уж какая микстура!»

Действительно, она была очень невзрачна и с претензиями на ум и любезность. Пушкин часто встречал ее у Крупянской, с которой она была в дружбе.

находит. Это одушевило Стамати, начавшего произносить из перевода еще кой-какие места. Но Пушкин и слышать не хотел о гармонии языка и, обратясь к Стамати, сказал ему, что он очень хорошо делает, занимаясь литературой и, в особенности, не придерживаясь, как это делают теперь запрутские, вводя латинские и французские слова и вытесняя из языка славянские и пр.; но чтобы о гармонии для европейского уха не было бы и речи; это все равно, если бы уверяли, что цыганские хоры лучше хороших европейских оркестров. Пушкин, видимо, разжигался; казалось, что он уже не мог видеть, что Бологовский, как хозяин и как охотник до подобных потех, не мог прямо разделять его мнение. Пушкин не понимал, что уклончивым отзывом Дмитрий Николаевич вызывал на арену самого Стамати, и начал приводить разные молдаванские слова, которые для нашего слуха действительно одни как-то дики, другие смешны, и, наконец, присовокупил: «Да вот как, ваше превосходительство, если бы вам пришлось отвечать комулибо на письмо из России, в котором вас спрашивают о вашем адресе, как поживаете, дорого или дешево жить, какие деньги ходят здесь и пр., то вам пришлось бы отвечать, что живете вы в Читате-дижос, возле Бессерики Бонавестины; в кассе исправника Еманди; что кила пшеницы стоит здесь 1 махмудье» и т. п., то есть в Нижнем городе, возле церкви Благовещения, в доме исправника Еманди; кила (весовая мера) продается за махмудье (золотая монета в общем обращении — тогда 25 левов) и т. п. «Хорошо примут эту гармонию у нас в России!..» Затем следовали еще несколько примеров, при общем смехе, в котором принимал немалое участие и сам Стамати, свертывая свою рукопись. Когда бессарабский поэт ушел, Бологовский взял под руку Пушкина и, ведя его в кабинет, сказал ему по-французски, чтобы он написал все то, что он сказал, потому что именно он получил письмо такого содержания из Петербурга от сослуживца своего Обрезкова и хочет удовлетворить его. Пушкин написал. Посмеявшись еще, разошлись. Этот эпизод, не знаю почему, попал ко мне в дневник, и здесь я рассказал его потому более, что из числа аристократических домов Кишинева Пушкин нигде не был развязнее, как в обществе Бологовского. Только после вышеупомянутого «здоровья» замечалась какая-то сдержанность, преимущественно в Пушкине, который не раз раскаивался в наивности своей, по его словам, «связывающей теперь ему язык».

На последних страницах статьи «Пушкин в Южной России», где идет речь об определении времени и места, откуда Пушкин писал письма, рассказ мне кажется неясным.

В конце апреля 1823 года, когда не было еще слуха о назначении графа Воронцова, Пушкин получил позволение от Инзова побывать в Одессе и пробыть, «может быть», как говорил — «с месяц». В это время последовало назначение графа; начали приезжать из Петербурга вновь назначенные к нему лица, наконец и он сам. Пушкин возвратился в Кишинев, куда недели через две, на несколько дней, приехал и граф, но тогда не было еще слышно о перечислении Пушкина в его штат, что последовало гораздо после, и я говорил уже, что Пушкин окончательно оставил Кишинев и переехал в Одессу в первые дни июля (прежде 4-го числа) 1823 года [24] ⟨...⟩

П. И. ДОЛГОРУКОВ

35-й ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ, ИЛИ ДВА ДНИ ВЕДРА НА 363 НЕНАСТЬЯ

КИШИНЕВ 1822 ГОДА

ГЕНВАРЯ

11

Сегодняшнее заседание прошло без большого шума. Обедал у Инзова. Во время стола слушали рассказы Пушкина, который не умолкал ни на минуту, пил беспрестанно вино и после стола дурачил нашего экзекутора. Жаль молодого человека. Он с дарованиями; но рассудок, кажется, никогда не будет иметь приличного ему места в сей пылкой головушке, а нравственности и требовать нечего. Может ли человек, отвергающий правила веры и общественного порядка, быть истинно добродетелен? — не думаю. Пушкин прислан сюда, просто сказать, жить под присмотром. Он перестал писать стихи,— но этого мало. Ему надобно было переделать себя и в отношении к осторожности, внушаемой настоящим положением, а это усилие, встречая беспрестанный отпор со стороны его свойства, живого и пылкого, едва ли когда ему, разве токмо по прошествии молодости, удастся. Вместо того чтобы прийти в себя и восчувствовать, сколько мало правила, им принятые, терпимы быть могут в обществе, он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку.

1.

Присутствовал в Комитете с Лановым, который сегодня не шумел и не бранился,— да и не на кого. Правитель канцелярии был вчера именинник и, видно, не выспался еще; секретарь один болен, а другой не приходил, и так мы с товарищем ни одной почти резолюции не подписали. Обедал у наместника. Пушкин, который за отъездом Орлова чаще стал ходить к Инзову, с нами же обедал и, по обыкновению своему, любезничал *.

28

Сегодня у наместника обедали два полковника здешней дивизии и разговор был о шанцах, редутах, ранцах и пр. и пр. Пушкин на днях выпустил стишки на моего товарища, и они уже пошли по рукам. Вот как он его ругает:

Бранись, ворчи, болван болванов; **
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.

29

Принесли ко мне поутру печатную повестку от здешнего Библейского комитета с приглашением участвовать в сегодняшнем годовом собрании общества. Нетрудно было

---

* Пушкин умен и остер, но нравственность его в самом жалком положении. Нет ни к кому ни уважения, ни почтения. Все основано на удальстве, насмешках и ругательствах. Рассказывают, что за столом у генерала Орлова он отпустил ему, разгорячась: Vous raisonnez. Général, comme une vieille femme. Орлов на это отвечал: Pouchkine, vous me dites des injures; prenez garde à vous («Вы рассуждаете, генерал, как старая баба».— «Пушкин, вы мне говорите дерзости, берегитесь»). Пушкин побледнел.

** У Ланова с Пушкиным произошла за столом в присутствии наместника ссора, и Пушкин вызвал Ланова на поединок, но товарищу было не до пистолетов. Он хотя и принял предложение и звал Пушкина к себе на квартеру, но приготовил несколько солдат, чтобы его высечь розгами. Это проведал Пушкин и написал свою эпиграмму. Наместник грозил запереть его. «Вы это можете сделать,— отвечал Пушкин,— но я и там себя заставлю уважать».

догадаться, что зов сей относился не к лицу моему, а к карману, который, по общему, часто ошибочному, предположению, нарочито широк должен быть у князей. Мне ехать туда не хотелось, но желание посмотреть на церемонию, на людей, послушать какие-нибудь речи, потолкаться между здешнею знатью зажгло, наконец, любопытство, и так как я притом рассчитывал, что десятью рублями на большой сходке легко можно будет отделаться, то и решился, послал за Манегою и вместе с ним отправился в так называемую митрополию (архиерейское подворье, где прежде жил митрополит Гавриил) [1]. Застали еще обедню, и на отходе ее слушали проповедь о *блудном сыне*, которую какой-то дюжий протопоп с напряжением всех сил, и душевных и телесных, по книге читал нам, между тем как Инзов внимал ей благоговейно, а Пушкин смеялся. Из церкви пошли мы в комнаты архиерея [2], и тут у него началось присутствие, составленное из знатнейшего здешнего духовенства и первостатейных чиновников города. Собрание открылось чтением отчета за 1821 год, который тут же был подписан г.г. присутствующими. Потом провозгласили товарища моего и Худобашева директорами. Певчие пели концерт, а старые директора, слоняясь по углам с лоскутками белой бумаги, вынуждали так называемые *добровольные пожертвовании*. Собрание уже оканчивалось, и я хотел пристойным образом удалиться, как вдруг Инзов, заметя меня, подозвал к себе и предложил в директоры. Выбрали и поздравили, а я, проворчав несколько слов о чести, мне оказываемой, принужден был по примеру других подписаться в члены временные и ежегодные и внести 35 рублей. Жаль было денег!

Февраля

20

У *Аккерманского* въезда против манежа, в котором Орлов давал нам завтрак в первый день Нового года, сегодня происходила торговая казнь. Секли кнутом четырех солдат *Камчатского полка* *. Они жаловались Орлову на своего капитана, мучившего всю роту нещадно, и сами, наконец, уставши терпеть его тиранство, вырвали прутья,

---

* Должно быть, Охотского, как видно из последствия приказа, отданного Орловым по дивизии [3].

коими он собирался наказывать их товарищей. Вот, как говорят, вся их вина, названная возмущением и буйством,— Орлов, отъезжая в Киев, отдал в приказе по своей дивизии о предании к суду нескольких офицеров за жестокое с солдатами обращение. В отсутствие его Сабанеев, в пику ли ему или в намерении жестокими и сильными примерами удержать войско в должном повиновении, решил участь подсудимых солдат. При собрании всего находящегося налицо здесь войска, тысяч около двух, прочитали преступникам при звуке труб и литавр сентенцию военную, вследствие коей дали первому 81, прочим трем по 71 удару. Стечение народа было большое; многие дамы не стыдились смотреть из своих колясок. И меня привлекло любопытство, но едва имел я столько духу, чтобы несколько раз взглянуть издали на экзекуцию. Одно приготовление ужасно, и если подумаешь, что иной подвергается такой казни по оговору или ослеплению судей, то невольно содрогнешься о лютости человеков. Имеющие власть приговаривать к смерти и истязанию должны бы быть люди отличного ума и нравственности, а не всякая сволочь, какая у нас сидит в Уголовной палате, да и аудиторы что иное суть как секретари полковые, раболепствующие командирам и не имеющие ни души, ни голоса. При мне сняли с плахи первого солдата, едва дышащего, и хотели накрыть военною шинелью *. Всякий понесший уже наказание преступник вселяет сожаление, но полковой командир Соловкин закричал: «Смерть военная, не надобно шинели,— пусть в одной везут рубахе». На другом конце солдат простой не мог быть равнодушным зрителем. Он упал, и его вынесли за фрунт.

23

Начальник главного штаба 2-ой армии, генерал-майор Киселев, приехавший сюда из Тульчина по делам службы, обедал у наместника. Сверх обыкновенных лиц приглашены были губернатор и правитель канцелярии наместничьей Криницкий; лишняя сволочь за теснотою ретировалась в свои норы. Нас избранных осталось пятнадцать человек, и мы удостоились лицезрения г. Киселева, который, как редкий метеор, блистал в сонмище кишиневских тусклых

* Этот и другой его товарищ через двое суток померли.

планет. Сей напыщенный своим званием, достоинствами и богатством (юноша, можно сказать, между именитыми витязями) с видом покровительства и снисхождения обращал речь свою к маленькому губернатору, который стоял перед ним как приказный и токмо хлопал глазами. Мне удалось поймать несколько слов, кинутых мимоходом, и той же чести удостоился Пушкин. Прочие, в том числе и товарищ, не были вовсе замечены. Мы все молчали, кроме Стойковича, который занимал своими рассказами превосходительного, а сей, отпустив несколько слов за столом и переговорив с наместником в кабинете, отправился на свою квартеру. У Инзова с сегодняшнего дня начали готовить скоромное.

МАРТА

8

Пушкину объявлен домовой арест за то, что прибил одного знатного молдавана, не хотевшего с ним выйти на поединок. Сцена, как сказывают, происходила в доме вице-губернатора, который вместе с бригадным командиром Пущиным приглашены были к наместнику для объяснения по сему предмету. В городе носятся разные слухи. Будто бы Орлов не будет назад, а прямо поедет в Петербург, что в приказе, данном им по дивизии, вовсе запрещено бить солдат, что с некоторого времени строго стали примечать за иностранцами, которых здесь довольно много. За несколько недель тому назад отвезли в крепость молодого майора Раевского. Ему поручена была здешняя военная школа по методе Ланкастера, и у него нашли какие-то тетради. Отправил сегодня поверенного для открытия и поимки беглых людей.

9

...Погода сегодня была прекрасная, и наместник до обеда занимался в своей маленькой оранжерее, которую он прошлою осенью выстроил у большого дома, оставленного им по случаю бывшего 5 ноября сильного землетрясения. Я между тем прогуливался с Стойковичем, Худобашевым и Манделем, и мы заходили к Пушкину, который скорыми шагами размеривал свою комнатку, обрадовался, увидя нас, смеялся беспрестанно и спрашивал, надолго ли его

засадили. У дверей поставлен часовой. Его, однако ж, пускают в сад и на двор, и, исключая молдаван, всякий может с ним видеться.

Историю нашего молодого поэта рассказывают следующим образом. За несколько времени перед сим имел он поединок с шефом 31-го Егерского полка Старовым. Поссорились они за дрянь, и оба выстрелили на воздух [4]. Происшествие тогда же разнеслось по городу, и скоро об нем забыли, исключая двух или трех молдаван, у которых оно осталось в памяти. В прошедшее воскресенье на маленькой вечеринке у молдаванки Богдан дочь ее г-жа Балш, вмешавшись в разговоры и суждения насчет удовлетворения, каковое требовать должен брат ее мужа Янко Балш [5] за причиненные ему побои, сказала Пушкину, вызвавшемуся отмстить честь обиженного: «Vous vous défendez assez mal vous même» * и пр. Пушкин, любя страстно женский пол, а в особенности, как полагают, г-жу Балш, забыл на ту минуту все, бросился к мужу ее Теодарашке Балш, который играл в карты, и объявил, что ему надобно за жену драться. Сей не знал, на что ему решиться. Но когда сама жена стала жаловаться на Пушкина, то и его забрало в очередь. Полетели ругательства. Молдаван рассвирепел, называл Пушкина Jean f...** — ссылочным и пр. Сцена, как рассказывали мне очевидцы, была ужаснейшая. Балш кричал, содомил, старуха Богдан упала в обморок, беременной вице-губернаторше приключилась истерика, гости разбрелись по углам, люди кинулись помогать лекарю, который тотчас явился со спиртами и каплями,— оставалось ждать еще ужаснейшей развязки, но генерал Пущин *** успел все привести в порядок и, схватив Пушкина, увез с собою. Об этом немедленно донесли наместнику, который тотчас велел помирить ссорящихся. Вчера поутру свели их в доме вице-губернатора. Балш начал просить прощения, извиняясь похмельем, но Пушкин, вместо милости и пощады, выхватил заряженный пистолет и, показывая оный, сказал Балшу: «Вот как я хотел с вами разделаться. Здесь уже не место». При сих словах, положив пистолет обратно в карман, он ударил его в щеку. Их тотчас розняли, и Пушкин потом приехал к генералу, который мыл ему голову в каби-

---

* Вы и себя-то плохо защищаете.

** Трусом.

*** Пущин, молодой генерал, гроссмейстер здешних масонов, говорит хорошо по-французски, знает le bon ton, умеет посмеяться на чужой счет, не верит христианскому закону, но, впрочем, человек не злобный.

нете и после обеда отправил его с адъютантом под арест. Несмотря на зверский его поступок, многие винят Балша. По общему признанию, в молдаванах нет ни доброты, ни честности, ни благородства.

12

По случаю сегодняшнего торжественного дня [6] ездил поздравлять наместника и был в митрополии у обедни, которая продолжалась около двух часов. Остаток дня не замечателен. У наместника обедали домашние. После обеда я прогуливался в городе. Время прекрасное. Везде уже выступила трава, и деревья начали распускаться. Ввечеру была иллюминация. В некоторых местах зажжены смоляные бочки, а в домиках стоят свечи на окошках. Зарево издали походит на несколько пожаров в городе. Пушкин присылал ко мне сегодня просить батюшкиных сочинений [7]. Я сам ходил под вечер навестить его вместе с Литкою, но не имел никакого в беседе его удовольствия. Ум пылкий, не основанный на правилах разума и нравственности, пленять не может.

19

Разговор с Стойковичем и Манегою о настоящем положении политических дел в Европе. В Испании беспрестанно более и более сжимается власть королевская.

Эту землю можно почитать рассадником неблагонамеренных к нынешним правительствам умов. Нет уже против них твердого оплота: религия слабеет, сама мораль приноравливается к духу времени.

23

У наместника обедал Яновский, и разговор был о Грузии. От него я заходил к Пушкину и нашел его похудевшим. Он жалуется на болезнь, а я думаю, что его мучает одна скука. На столе много книг, но все это не заменит милую — неоцененную свободу. В двадцать лет очень тяжело хоть два дни посидеть на одном месте и смотреть в окошко или пройтиться несколько раз на голом холме.

Несмотря на свое заточение, Пушкин мне не завидует. Он сказал мне на счет моих беспрерывных занятий: «Je voudrais rester enfermé toute ma vie plutôt que de travailler pendant deux heures à une affaire pour laquelle il faudrait répondre» *.

27

По приглашению Инзова начал говеть с ним вместе. У него бывает заутреня, к обедне хожу в собор (или, лучше сказать, в русскую церковь, ибо здесь все прочие молдаванские), а к вечерне в свой молдаванской приход.

28

Пушкин говеет вместе с нами. По окончани заутрени наместник объявил ему свободу, и он, как птичка из клетки, порхнул из генеральского кабинета на улицу искать прежних рассеяний и удовольствия в кругу своих приятелей... **

АПРЕЛЯ

1

Пушкин спорил за столом с наместником на счет нынешней нравственности и образа жизни. Он защищал новые правила, новые обычаи, Инзов, напротив, воздавал хвалу старым и доказывал их превосходство. Вчера отправился обратно в свои поместья отставной сенатор гр. Северин Осип. Потоцкий ***, приезжавший сюда на несколько дней по собственным делам своим.

---

* Я предпочел бы остаться запертым всю жизнь, чем работать два часа над делом, в котором нужно отчитываться.

** Балш подавал просьбу наместнику, но сей, как говорят, помирил его с Пушкиным.

*** Рассказывали мне, что между Потоцким и Пушкиным был спор за столом у Инзова, и первый уступил последнему. Заметили Пушкину, что он жарко оспоривал сенатора, и он на это отвечал: «Eh quoi, si Pototsky n'aurait pas cédé je lui aurais donné un soufflet» (Вот еще! Если бы Потоцкий не уступил, я дал бы ему пощечину).

3

...ввечеру ходил прогуливаться на Булгарею. Так называют отдаленнейшее предместие Кишинева, населенное большею частию болгарскими выходцами. Тут поставлены в двух местах качели, а у Бендерского выезда происходила борьба. Двое нагих схватываются и пробуют свою силу. Не видал я кулачных боев, но уверен, что эта забава должна быть гораздо предпочтительнее нашей российской потехи. Там подбивают глаза, сворачивают скулы, потрясают внутренние суставы, здесь, напротив, одна ловкость, гибкость и проворство дают победу. Борцы употребляют особенную хитрость одолеть друг друга: то стараются опрокинуть посредством потеряния перевеса, то лягут один против другого и ищут решить превосходство сил руками и грудью. Побежденный валяется в пыли, победителя подымают кверху. Народ приветствует его криком, господа кидают ему деньги *. Не заметил я ни во время борьбы, ни по окончании оной какого-нибудь ожесточения или драки. Правда, что у одного пошла кровь носом, но не от удара, а от чрезвычайного напряжения сил. Он отдохнул несколько минут и потом опять вступил в бой с другим болгаром. Зрителей трудно унять. Один полицейский служитель махал саблею, двое болгар беспрестанно отгоняют народ прутиками, стараясь расширить круг, который, однако ж, все становится теснее по мере умножения любопытства. Пушкин был также в числе зрителей. Ему драка очень понравилась, и он сказал мне, что намерен учиться этому искусству.

7

Диспут у генерала между Стойковичем и Пушкиным насчет грамматических несогласий в русском языке. Пушкин утверждал, что висящий меч, спящий человек не означает полного, совершенного действия. Стойкович полагал, напротив, что глагол: висящий, спящий, подразумевает слова: который висит, который спит. Далее рассуждали они о несовершенствах нашего правописания. Например, двенадцать, седло и пр. тому подобные слова надлежало бы писать без буквы «ять», ибо говорят двоенадесять, осёд-

---

* Во время борьбы двое играют на волынке.

лость [8]. Давнопрошедшее писывал, хаживал должно производить от глаголов писывать, хаживать, а не писать и ходить, поелику слово писывал означает действие многократно совершенное, каковое не заключается в начальном наклонении глагола писать. Пушкин приводил свои доводы с жаром, Стойкович с умеренностию, и, к счастию, не дошло у них ни до каких колкостей.

15

...Пушкин рассуждал за столом о нравственности нашего века, отчего русские своего языка гнушаются, отчизне цены не знают, порочил невежество духовенства; говорил с жаром, но ничего не выпустил нового. Мы все слушали со вниманием.

20

...В городе разнеслась молва, что бригадный командир Пущин отставлен. Он просил отпуска и вместо того получил совершенное увольнение. Долой генеральские эполеты. Полагают, что все это последствия сабанеевского гнева на 16-ю дивизию, а отчасти и меры, предпринимаемые против либералистов.

23

Пущин и Пушкин обедали у наместника, и оба за столом шутили. Инзов говорил мало и, как я мог заметить, принял их с притворною ласкою...

28

...Генерал Пущин объявил себя несостоятельным к платежу долгов, и пожитки его продавали сегодня с публичного торга за бесценок *.

* Пущин вскоре после продажи вещей своих отправился в Одессу, а оттуда полагает ехать в Париж. Хорошо, у кого деньги останутся. Можно еще поездить после худой отставки и потопить свое горе в различных рассеяниях. Пушкин в бытность Орлова и Пущина почти вовсе не ходил к Инзову. Теперь редкий день у него не обедает. Старик его ласкает, и я уверен даже, что предпочитает его многим другим, несмотря на то что Пушкин прежде так пренебрегал им.

30

Обедал у наместника полковник артиллерийский Эйсмонт моих лет и обвешан орденами. Рассказывают, что, будучи при князе Яшвиле [9], он много выиграл по службе от чрезвычайного угождения сладострастию сего начальника, который, вместо наложниц, держал адъютантов. Теперь Эйсмонт смеется над молвою, имеет хороший чин, знаки отличия и, как слышно, готовится быть зятем князю Суццо. Пушкин и он спорили за столом на счет рабства наших крестьян. Первый утверждал с горячностию, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным, исключая отца своего, который хотя честен, но не имеет на этот счет одинаких с ним правил. Эйсмонт ловил Пушкина на словах, но не мог выдержать с ним равенства в состязании. Что принадлежит до наместника, то он слушал и принимался также опровергать его, но слабо и более шутками, нежели доводами сильными и убедительными. Я не охуждаю с своей стороны таковых диспутов, соглашусь даже и в том, что многие замечания Пушкина справедливы [10], да и большая часть благомыслящих и просвещенных людей молча сознаются, что деспотизм мелких наших помещиков делает стыд человечеству и законам, но не одобряю привычки трактовать о таких предметах на русском языке.— Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно, а за стульями слушают и внимают соблазнительным мыслям и суждениям...

МАИЯ

27

За столом у наместника Пушкин, составляя, так сказать, душу нашего собрания, рассказывал по обыкновению разные анекдоты, потом начал рассуждать о Наполеонове походе, о тогдашних политических переворотах в Европе, и, переходя от одного обстоятельства к другому, вдруг отпустил нам следующий силлогизм: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский — тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Глубокое молчание после этих слов. Оно

продолжалось несколько минут, и Инзов перервал его, повернув разговор на другие предметы.

июня

17

У наместника обедал статский советник Эльфельд [11], занимающийся здесь поручениями по горной части. Имея, может быть, достаточные сведения в собственной своей науке, он хотел отличить себя рассуждениями и о других предметах, как, например, о торговле нашей с англичанами, о философии нынешнего века, болтая много, и все утверждал решительно. Пушкин, не уступая также в способности обнять все и судить обо всем, сразился с ним и довольно основательно опровергал некоторые его заключения.

июля

20

Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста [12] о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частию, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли [13].

21

История Пушкина с отставным офицером Рутковским. Офицер этот служил некогда под начальством Инзова и по приглашению его приехал сюда для определения к месту. Сегодня за столом зашел между прочим разговор о граде, и Рутковский утверждал, что он помнит град весом в 3 фунта. Пушкин, злобясь на офицера со вчерашнего дни, стал смеяться его рассказам, и сей, вышед из терпения, сказал

только: «Если вам верят, почему же вы не хотите верить другим». Этого было довольно. Лишь только успели встать из-за стола и наместник вышел в гостиную, началось объяснение чести. Пушкин назвал офицера подлецом, офицер его мальчишкой, и оба решились кончить размолвку выстрелами. Офицер пошел с Пушкиным к нему, и что́ у них происходило, это им известно. Рутковский рассказал, что на него бросились с ножом, а Смирнов, что он отвел удар Пушкина; но всего вернее то, что Рутковский хотел вырвать пистолеты и, вероятно, собирался с помощью прибежавшего Смирнова попотчевать молодого человека кулаками, а сей тогда уже принялся за нож. К счастию, ни пуля, ни железо не действовали, и в ту же минуту дали знать наместнику, который велел Пушкина отвести домой и приставить к дверям его караул *.— Сильная гроза ночью.

26

Пушкин опять выпущен из-под ареста, вероятно, по ходатайству возвратившегося из Москвы бригадного генерала Болховского [14]. Теперь он, верно, долго не покажется у наместника.

* Пушкин заслужил большее наказание, но и офицер не совсем прав, однако ж ему, кажется, и выговора не сделали.

И. Д. ЯКУШКИН

ИЗ «ЗАПИСОК»

Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие. Василий Львович Давыдов, ревностный член Тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радушно. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому как давнишнего короткого своего приятеля. С генералом был сын его полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут как дома. Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдова целую неделю [1]. Пушкин, приехавший из Кишинева, где в это время он был в изгнании, и полковник Раевский прогостили тут столько же.

Мы всякий день обедали внизу у старушки матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Жена Ал. Львовича Давыдова, которого Пушкин так удачно назвал «рогоносец величавый», урожденная графиня Грамон, впоследствии вышедшая замуж за генерала Себестиани, была со всеми очень любезна. У нее была премиленькая дочь, девочка лет двенадцати [2]. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался, и подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя».— «Я хочу наказать кокетку,— отвечал он,— прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается

[illegible]

Ему не нравились [illegible]

благоразумн

Их разговор [illegible]

О [illegible] и вин

О [illegible]

[illegible]

Владимир [illegible]

[illegible]

За [illegible]

[illegible]

жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться.

В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили.

Я ему прочел его Noël: «Ура! в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России.

Все вечера мы проводили на половине у Василья Львовича, и вечерние беседы наши для всех для нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, чтоб я случайно заехал в Каменку, и ему хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному обществу или нет. Для большего порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и полуважным видом он управлял общим разговором. Когда начинали очень шуметь, он звонил в колокольчик; никто не имел право говорить, не просив у него на то дозволения, и т. д. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после

многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России. Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно.

Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал: «Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное бы присоединился»,— отвечал он. «В таком случае давайте руку»,— сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, все это только одна шутка».

Другие также смеялись, кроме А. Л., «рогоносца величавого», который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен. В 27-м году, когда он пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести».

В. Ф. РАЕВСКИЙ

ВЕЧЕР В КИШИНЕВЕ

Я ходил по комнате и курил трубку.

Маиор Р. сидел за столом и разрешал загадку об Атлантиде и Микробеях... Он ссылался на Орфееву Аргонавтику, на Гезиода, на рассуждения Платона и Феокомба и выводил, что Канарские, Азорские и Зеленого мыса острова суть остатки обширной Атлантиды.

Эти острова имеют волканическое начало — следственно, нет сомнения, что Атлантида существовала,— прибавил он и вскочил со стула, стукнул по столу рукою и начал проклинать калифа Омара, утверждая, что в Библиотеке Александрийской наверно хранилось описание *счастливых островов*.

— Итак, если эти описания сгорели, то не напрасны ли розыски и предположения твои, любезный антикварий,— сказал я ему.

Маиор. Совсем нет. Ум детской, ограниченный (étroit) доволен тем, что он прочел вчера и что забудет завтра. Сочинять стишки не значит еще быть стихотворцем, научить солдата маршировать не значит быть хорошим генералом.

Ум свободный, как и тело, ищет деятельности. Основываясь на предположениях, Колумб открыл Америку, а система мира Пифагорейцев, спустя 20 веков, с малыми переменами признана за истинную!

Земля, на которой мы рыцарствуем теперь, некогда была феатром войны и великих дел. Здесь процветали Никония, Офеус или Тира, Германиктис, отсюда Дарий Истасп, разбитый скифами в 513 году, бежал через Дунай, здесь предки наши, славяне, оружием возвестили бытие свое... Но согласись, что большая часть соотечественников наших столько же знают об этом, как мы об Атлантиде. Наши дворяне знают географию от села до уездного города,

историю ограничивают эпохою бритья бород в России, а права...

— Они вовсе их не знают,— воскликнул молодой Е., входя из двери.— Bonjour! *

Маиор. В учебных книгах пишут вздор.— Я вчера читал «Новую всеобщую географию», где между прочими нелепостями сказано, что река Диль-Ельва величайшая в Швеции — это все равно, что река ривьера Сена протекает в Париже.

Е. Il y a une espèce des chiens en Russie, qu'en nomme sobaki... **

Маиор. ...что Аккерман стоит на берегу Черного моря...

Е. Не сердись, маиор. Я поправлю твой humeur прекрасным произведением.

Маиор. Верно, опять г-жа Дирто или Bon-mot *** камердинера Людовика 15? — Я терпеть не могу тех анекдотов, которые давно забыты в кофейнях в Париже.

Е. Оставь анекдоты.— Это оригинальные стихи одного из наших молодых певцов!

Маиор. Я стихов терпеть не могу!

Е. Comme vous êtes arrieré ****.

Маиор. Этот-то комплимент я вчера только слышал от генерала О.

Е. Но оставим! Послушай стихи. Они в духе твоего фаворита Шиллера.

Маиор. Ну, что за стихи?

Е. «Наполеон на Эльбе». В образцовых сочинениях... [1]

Маиор. Если об Наполеоне, то я и в стихах слушать буду от нечего делать.

Е. *(начинает читать)*.

Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи *бледные* тихонько пробегала
    Туманная луна...

Маиор. Не бледная ли луна сквозь тучи или туман?

Е. Это новый оборот! У тебя нет вкусу.

---

* Здравствуйте!

** Есть порода собак в России, которых именуют псами.

*** Острота.

**** Как вы отстали.

Уже на западе седой одетый мглою
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной *над дикою скалою*
Сидел Наполеон!

Майор. Не ослушался ли я, повтори.

Е. *(повторяет).*

Майор. Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон! На скале сидеть можно, но над скалою... Слишком странная фигура!

Е. Ты несносен... *(читает).*

Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
Вокруг меня все мертвым *сном почило*,
Легла в туман пучина бурных волн...

Майор. Ночью смотреть на другой берег! Шептать свирепо! *Ложится в туман* пучина волн. Это хаос букв! А грамматики вовсе нет! В настоящем времени и настоящее действие не говорится в прошедшем. *Почило* тут весьма неудачно!

— Это так же понятно, как твоя Атлантида,— прибавил я.

Е. Не мешайте, господа. Я перестану читать.

Майор. Читай! Читай!

Е. *(читает).*

Я здесь один мятежной думы полн...
О, скоро ли, *напенясь под рулями* —
Меня помчит покорная волна.

Майор. Видно, господин певец никогда не ездил по морю — волна не пенится под рулем — под носом.

Е *(читает).*

И спящих вод прервется тишина.
Волнуйся, ночь, над Эльбскими скалами.

Майор. Повтори... Ну, любезный друг, ты хорошо читаешь, он хорошо пишет, но я слушать не могу! На Эльбе ни одной скалы нет!

Е. Да это поэзия!

Майор. Не у места, если б я сказал, что волны бурного моря плескаются о стены Кремля или Везувий пламя изрыгает на Тверской! может быть, Ирокезец стал слушать и ужасаться — а жители Москвы вспомнили бы «Лапландские жары и Африканские снеги». Уволь! Уволь, любезный друг!

1841 г. февраля 6

МОЙ АРЕСТ

1822 года, февраля 5, в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей. Арнаут, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать, кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване.

— Здравствуй, душа моя! — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом, Александр Сергеевич Пушкин.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток Сабанеева... но что такое?

— Вот что: Сабанеев сейчас уехал от генерала (1) *. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое я, признаюсь, согрешил — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать; наш Инзушко (2), ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя горою. Долго еще продолжался разговор, я многого недослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.

— Спасибо,— сказал я Пушкину,— я этого *почти* ожидал! Но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается какой-то турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет. Пойдем к Липранди — только ни слова о моем деле.

Пушкин смотрел на меня во все глаза.

— Ах, Раевский! Позволь мне обнять тебя!

— Ты не гречанка [1],— сказал я.

Арнаут (3) подал мне шпагу, перчатки и шляпу. Липранди жил недалеко, на дворе было очень темно; в окнах у него светлело.

— У него гости,— сказал я,— пойдем.

Мы вошли. Оба брата (4) весьма обрадовались. «Что нового? Что нового»? — закричали все присутствовавшие.— «Спросите у Павла Петровича (майор Липранди 2-й, брат), он доверенным и полномочным министром генерала Сабанеева».

* См. авторские примечания в конце главы.— *Ред.*

— Это правда,— отвечал он,— но если бы вам доверял Сабанеев, как мне, вы также не захотели бы нарушать правил и доверия и чести.

— Это правда! Я знаю и не сержусь на вас, но я не так скромен, как вы.

Разговор сделался общим.

Подполковник Иван Петрович Липранди женат был на француженке в Ретели. Жена его умерла в Кишиневе. У нее осталась мать; одного доктора жена — француженка также; пришли к ней провести вечер. Эта докторша была нечто вроде г-жи Норман (5). Я попросил ее загадать о моей судьбе: пики падали на моего короля. Кончилось на том, что мне предстояли чрезвычайное огорчение, несчастная дорога и неизвестная отдаленная будущность. Я посматривал то на Пушкина, то на Павла Липранди. Наши взоры встречались. В 11 часов мы разошлись.

6 февраля 822 года, г. Кишинев

Возвратясь домой, я лег и уснул спокойно. Я встал рано поутру, приказал затопить печь. Перебрал наскоро все свои бумаги и все, что нашел излишним, сжег. Со мною на одной квартире жил капитан Охотников. Любимец и друг генерала Орлова (6), он находился при нем. Как образованный, служивший долго и богатый человек, он оставался на службе потому только, что служил с Орловым и что на службе полагал более принести пользы Обществу (7). С отъездом генерала Орлова в Киев он уехал в Москву, где имел много родных и связей. Его бумаги оставались у меня. Я не решился их жечь, потому что не полагал в них ничего важного. Он был очень осторожен.

Часов в 8 пришел ко мне старший юнкер Шпажинский с рапортом о благополучии школы.

— Прикажете ли выпустить юнкеров из карцера? Генерал Сабанеев прислал за ними. Он присылал за ними ночью, но его посланный, конечно, уведомил его, что они под арестом. Все тетради наши давно у него, но он доискивается еще чего-то. В ланкастерской школе унтер-офицеру Дуку обещал офицерский чин, если он выдаст все писаные прописи.

— Какие прописи? — спросил я.

— Не знаю.

— И я также не знаю (8). Юнкеров отпустите к Сабанееву. Я сегодня в классах не буду и, может быть, совсем не

буду. Я вас прошу быть честным человеком — вот все, чего я за труды и попечения мои об вас требовать могу. Рапортовать ко мне более прошу не приходить, но юнкеров в классы сбирать моим именем. Прощайте, Шпажинский!

У юнкера навернулись слезы. Он вышел.

Двух часов не прошло, как дрожки остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Сабанеева, гвардии подполковник Радич, был уже в моей комнате.

— Генерал просит вас к себе,— сказал он мне вместо доброго утра.

— Хорошо, я буду!

— Но, может быть, у вас дрожек нету, он прислал дрожки.

— Очень хорошо. Я оденусь.

Я приказал арнауту подать трубку и позвать человека одеваться. Разговаривать с адъютантом о генерале было бы неуместно, хотя Радич был человек простой и добросовестный. Я оделся, сел с ним вместе на дрожки и поехал.

Этот роковой час 12-й решил участь всей остальной жизни моей. Мне был 27-й год. До сих пор жизнь моя, несмотря на ее превратности, шла, если не спокойно, по крайней мере, согласно с моими склонностями и желаниями. Я служил войну 812 года в артиллерии, потом был корпусным адъютантом по артиллерии, вышел в отставку, определился в Егерский полк штабс-капитаном, переведен в кирасиры по желанию отца моего, где произведен в ротмистры, но, не желая оставаться в кирасирском полку, я перешел обратно в 32-й Егерский полк, в дивизию к генералу Орлову. В 1820 г. произведен в майоры, принял баталион, но по желанию генерала Орлова сдал баталион и принял в управление военную школу, заведенную им при 16-й дивизии для юнкеров и нижних чинов. Всегда в обществе вышних начальников, я привык понимать их. Война научила меня знать ничтожество людей, которым нередко вверена власть вследствие долговечности и долготерпения на службе. С живым воображением я на службе предался более, нежели в училище, чтению и учению. Новые идеи, Европа в сильном политическом пароксизме, все содействовало, чтобы освежить голову, подвести все страсти, убеждения мои, понятия мои к одному знаменателю.

С самоуверенностию я вошел в дом Сабанеева. Он был в зале; посреди залы стоял большой стол, на столе в беспорядке навалены бумаги. По правую сторону, в некотором

отдалении и ближе ко входу, стояли три юнкера из моей школы. Сущев (9) — главный доносчик, Перхалов и Мандра. По левую руку у стены адъютанты генерала Сабанеева; прямо против дверей, в которые я вошел, у другого конца стола, на котором стояло кресло, стоял генерал Сабанеев, как бы ожидая моего прихода.

Прежде, нежели ударил последний час прежней моей жизни, надо описать того человека, который самопроизвольно, без законов, стыда и совести, решился прозвонить этот час.

Сабанеев был офицер суворовской службы и подражал ему во всем странном, но не гениальном; так же жесток, так же вспыльчив до сумасбродства, так же странен в обхождении — он перенял от него все, как перенимают обезьяны у людей. Его катехизис для солдат в глазах благомыслящих людей сделал его смешным и уродливым. Его презрение ко всему святому, ненависть к властям обнаруживались на каждом шагу. Его презрение к людям, в особенности к солдатам и офицерам, проявлялось в дерзких выражениях и в презрительном обхождении, не только с офицерами, но с генералами.

Росту не более 2-х аршин и 3-х вершков, нос красный, губы отдутые, глаза весьма близорукие, подымающиеся и опускавшиеся, как у филина, рыже-русые волосы, бакенбарды такого же цвета под галстух, осиплый и прерывистый голос, речь, не имеющая никакого смысла, слова без связи. Он говорил с женою (10) (которую отнял у доктора Шиповского), с адъютантами, как будто бы бранился. Человек желчный, спазматический и невоздержанный — он выпивал ежедневно до шести стаканов пунша, и столько же вина, и несколько рюмок водки.

Может быть, кто-нибудь сочтет слова или описания мои пристрастными. Но я пишу для будущего поколения, когда Сабанеева давно уже нет. Впрочем, он имел много благородного, если действовал с сильными. Он знал военное дело, читал много, писал отлично хорошо, заботился не о декорациях, а о точных пользах солдат, не любил мелочей и сначала явно говорил против существовавшего порядка и устройства администрации и правления в России и властей. Так что до ареста моего он был сам в подозрении у правительства. При Александре его поддерживал только Дибич, по свойствам, виду, качеству, количеству, роду, склонению и спряжению — родной брат Сабанеева.

Едва я вошел или едва ему доложили, что я вошел, он

сделал несколько шагов вперед... Замешательство заметно у него было не только на лице, но в самих движениях...

— Здравствуйте! Вот юнкера говорят, что вы в полной школе сказали: что я не боюсь Сабанеева! — сказал он тихим голосом.— Что вы скажете на это?

— Я ничего сказать не имею, кроме того, что я хорошо не помню, говорил ли я это им.

— Если вы не помните, то они вас уличат.

— Я улик принять не могу. Эти юнкера по требованию вашему только сегодня были выпущены из карцера, и дело не так важно, чтобы нужны были улики.

— Но я хочу знать, говорили ли вы?

Я полагаю, что если бы я сказал: «не говорил» или «извините, что говорил»,— и самолюбный человек, может быть, кончил бы ничем... Но этот тон, это требование, моя вспыльчивость, вызов с юнкерами на очную ставку — решили все.

— Я повторяю, что я не помню, но если ваше превосходительство требует, чтоб я вас боялся, то извините меня, если я скажу, что бояться кого-либо считаю низостью.

Не ожидая подобного ответа, у Сабанеева все лицо повело судорогами. Он закричал: «Не боитесь? Но как вы смели говорить юнкерам... Я вас арестую!»

— Ваше превосходительство! Позвольте вам напомнить, что вы не имеете права кричать на меня... Я еще не осужденный арестант.

— Вы? Вы? Вы преступник!..

Что было со мною, я хорошо не помню, холод и огонь пробежали во мне от темя до пяток; я схватился за шпагу, но опомнился и, не отняв руки от шпаги, вынул ее с ножнами и подал ее Сабанееву. «Если я преступник, Вы должны доказать это, носить шпагу после бесчестного определения Вашего и оскорбления я не могу». Этим заключилась драматическая сцена. Я знал, что так или иначе меня арестуют,— как сказал мне Пушкин. Сабанеев был вне себя, он схватил шпагу и закричал:

— Тройку лошадей, отправить его в крепость Тираспольскую!

— Первое, я нездоров, чтобы сейчас ехать; второе, я знаю, что я не преступник, и хотя вы будете стараться доказать это, но я офицер, и телесных насилий, и пыток Вы делать права не имеете.

— Хорошо, если вы нездоровы, вы останетесь здесь. Подождите. Послать за доктором и освидетельствовать.

Он вызвал подполковника Радича в другую комнату, с четверть часа продолжалась конференция. Радич и генерал вышли.

— Господин Липранди, вы поедете с г. Радичем и возвратитесь вместе.

Для свидетельства прислан был дивизионный доктор Шуллер, который дал свидетельство, что при нервном моем потрясении нужен отдых и пользование и что сильные движения для меня очень опасны, и тут же прописал рецепт. «А лекарство можете вылить»,— сказал он мне шепотом. Через полчаса все мои бумаги были забраны и опечатаны (11). К дверям моим был приставлен двойной караул.— Через семь дней я отправлен в крепость Тираспольскую. Вот причина и начало шестилетнего заточения, тридцатилетней жизни в ссылке.

Примечания

(1) Пушкин в юношестве своем за «Оду к свободе» сослан был в г. Кишинев на службу и отдан на руки наместнику Бессарабской области, генерал-лейтенанту Инзову. Он искал сближения со мною и вскоре был в самых искренних, дружеских отношениях.

(2) Происхождение или рождение генерала Инзова есть *тайна* [2]. В пеленках он привезен был в дом князя Трубецкого и сдан для воспитания, где пробыл до 16-летнего возраста. 16-ти лет отдан на службу к князю Репнину, откуда начинается его служебное и жизненное поприще. Он был всегда самый добросовестный человек, мягкосердый и целомудренный до старости. По доброте его души мы всегда его называли: Инзушко.

(3) После разбития корпуса князя Ипсилантия, сброд, составлявший его ополчение, перешел на нашу сторону. В том числе и арнауты — шайки знаменитых разбойников Иоргаки и Дмитраки. У этих арнаутов, или албанцев, разбой есть ремесло. Они чрезвычайно храбры, сильны и честны. Я имел одного при себе. Он с жаром, почти со слезами, просил у меня позволения «Сабанеева *резай!*», то есть зарезать Сабанеева, когда меня арестовали.

(4) Иван Петрович Липранди. Подполковник. Переведен против воли из свиты его величества по квартирмейстерской части в Камчатский пехотный полк за то, что он подал прошение о переводе из свиты в Смоленский драгун-

ский полк, которым командовал граф Ностиц, и Павел Петрович перешел из лейб-гренадерского полка в 32-й Егерский полк майором, потом флигель-адъютант за Варшавский штурм, и ныне генерал от инфантерии и корпусный начальник.

(5) Говорят, известная г-жа Норман предсказала штабс-капитану Каховскому, что он будет повешен.

(6) Генерал Орлов, Михаил Федорович, командир 16-й дивизии, член Общества *Союза Общественного Благоденствия.* Впоследствии был в крепости и отставлен от службы. Брат его Алексей Федорович молил государя за него и все обвинения приписывал мне, будто бы от излишней доверчивости его ко мне.

(7) Тогда Общество не имело еще цели истребить существующую или царствующую династию. Приготовление к конституции, распространение света или просвещения и правил чистейшей добродетели — было основанием установления этого Общества. Исполнение еще в отдалении, когда умы будут готовы, о чем сказано особо.

(8) Прописи есть совершенный вымысел или Сабанеева, или юнкера Сущева, а эти мечтательные прописи играют важную роль в моем обвинении.

(9) Презренное подлое существо, которое было орудием Сабанеева для составления на меня обвинения. Тварь, которую я избавил от строгого судебного приговора и помогал деньгами из сожаления к его бедности.

(10) Генерал Сабанеев зазвал на ночь к себе жену доктора Шиповского и не отпустил ее обратно к мужу, которого перевел в другой корпус, а потом публично женился, тогда как она не имела развода с первым мужем. Вот как существуют в России церковные и гражданские законы для людей высокопоставленных.

(11) В квартире моей был шкаф с книгами, более 200 экземпляров французских и русских. На верхней полке стояла *Зеленая книга* — Статут Общества Союза Общественного Благоденствия и в ней четыре расписки принятых Охотниковым членов и маленькая брошюра: «Воззвание к сынам севера». Радич спросил у Липранди, брать ли книги? Липранди отвечал, что не книги, а бумаги нужны. Как скоро они ушли, я обе эти книги сжег и тогда был совершенно покоен.

С. Е. РАИЧ

ИЗ СТАТЕЙ О СОЧИНЕНИЯХ ПУШКИНА

ИЗ СТАТЬИ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА . СОЧИНЕНИЕ А. ПУШКИНА»

Я познакомился с Пушкиным в то время, когда он жил в Одессе; там читал он мне только что сбежавшую с пера «Песнь о вещем Олеге» и отрывки из «Евгения Онегина». Тогда он был в апогее своей славы и поэзии. Как он был предан ей! Как иногда боялся измены ее! Однажды, после продолжительного разговора со мною о поэзии, о своих произведениях, он умолк, задумался и тяжело вздохнул.

— Что с вами, Александр Сергеевич,— спросил я его,— о чем вы задумались?

— Есть о чем задуматься при мысли — что будет со мною, с моими произведениями?

— Если вы будете продолжать как начали, вы навсегда останетесь любимцем русской публики.

— О rus! * — Заметьте, что Пушкин любил играть словами, и это qui pro quo ** он избрал эпиграфом для одной из глав «Евгения Онегина» [1].— Любимцем русской публики, говорите вы; но разве эта русская публика не восхищалась в свое время Херасковым? Разве не хвалила она его так же безотчетно, безусловно, как меня! И что же теперь Херасков? Кто его читает?

— Вы и Херасков — тут есть разница, к тому же в его время не было критики.

— А теперь разве она есть? Я не говорю о г. К⟨аченовском⟩ [2] (Пушкин был предубежден против г. К⟨аченовского⟩, простим ему). Но отзыв Мерзлякова — даже жесткий, только справедливый отзыв, признаюсь, для меня был бы очень полезен; однако ж я его не слышу.

— И не услышите.

— Почему же?

---

* О деревня! (*лат.*; каламбурно: «О Русь!»)

** Подстановка (*лат.*).

— Потому что... потому что...

— Не договаривайте,— я понимаю вас,— он боится возвысить голос, *чтобы гусей не раздразнить*... Теперь представьте мое положение: кто имеет полное право произнести в деле словесности беспристрастный суд, тот боится произнести его, чтобы не показаться пристрастным; кто не имеет на это никакого права, тот произносит суд свой громко и смело, ему рукоплещут,— и толпа или, что все равно, благородная чернь становится его эхом. Теперь прошу покорно ожидать усовершенствования в поэзии, в искусствах вообще!.. O rus!..

ИЗ СТАТЬИ «БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ. ЦЫГАНЫ. СОЧ. А. ПУШКИНА»

Пушкин любил говорить о Бессарабии, о своей там жизни, вольной, кочевой. «Часто,— сказал он мне однажды, вспомнивши о Бессарабии,— часто по целым неделям я не одевался, не брился, ходил по степи как сын природы — в одной сорочке и, признаюсь вам, никогда после не бывал так доволен собой, никогда не любил так поэзию». Пушкин говорил это в излиянии сердца, я верил и теперь верю его словам,— я вполне понимаю внутреннее состояние человека, всею душою преданного поэзии.

ИЗ СТАТЬИ «БОРИС ГОДУНОВ. С⟨ОЧИНЕНИЕ⟩ А. ПУШКИНА»

Странное дело! — Пушкин не любил Батюшкова: он с каким-то презрением называл его *поэтом звуков*. Пушкин думал, что музыкальность и вообще тщательная отделка стихов вредит их силе, энергии [3].

ИЗ СТАТЬИ «ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. ПУШКИНА»

...Поэт должен быть выше отношений света, условий современности и житейских потребностей, если эти потребности не вопиющий глас нужды, а прихоть, которой нельзя насытить ни всем золотом Сибири. Пушкин и это хорошо понимал. «Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести,— сказал он мне однажды в откровенном со мною разговоре,— когда вспоминаю, что я, и может быть,

первый из русских, я начал *торговать* поэзиею. Я, конечно, выгодно продал свой «Бахчисарайский фонтан» и «Евгения Онегина»; но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть, и всю нашу литературу? Уж конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для совести подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности, а я!» Тут он тяжело вздохнул и замолчал [4].

К. П. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ

ЗАПИСИ РАССКАЗОВ ОДЕССКИХ СТАРОЖИЛОВ

В Одессе Пушкин жил сначала в Hôtel du Nord на Итальянской улице, ныне дом Сикара. Тут, по свидетельству П. С. Пущина, писал он своего «Онегина», на лоскутках бумаги, полураздетый, лежа в постеле. Однажды, когда он описывал театр, ему заметили: не вставит ли он в это описание своего обычая наступать на ноги, пробираясь в креслах. Пушкин вставил стих:

Идет меж кресел по ногам.

Потом поэт наш жил на Ришельевской улице, на углу ее с Дерибасовскою, в верхнем этаже дома, принадлежавшего сперва барону Рено, а потом его дочери княгине Кантакузеной. Окна дома выходят на обе улицы, и уго́льный балкон принадлежал поэту, который налево с него мог видеть и море. Почти в глазах у него был театр — тогда тот же, что и ныне — и одноэтажный дом, в котором лет за 8 до того жил герцог Ришелье (теперь здание Ришельевской гостиницы). Далее к театру, на другом углу того же квартала, и против дома Ришелье, помещалось казино, о котором упоминает он в «Онегине», при описании Одессы, и в котором сиживал он иногда в своем кишиневском архалухе и феске.

Наряд этот Пушкин оставил в Одессе. Здесь на улицах показывался он в черном сюртуке и в фуражке или черной шляпе, но с тою же железной палицей. Сюртук его постоянно был застегнут и из-за галстука не было видно воротничков рубашки. Волосы у него и здесь были острижены под гребешок или даже обриты. Говорят еще, что на руке носил он большое золотое кольцо с гербовой печатью.

В то время при графе Воронцове служили многие

молодые люди, достигшие впоследствии важных государственных должностей. Пушкин особенно близок был с Алексеем Ираклиевичем Левшиным; с Александром Николаевичем Раевским, который жил тогда в Одессе, и имел на нашего поэта какое-то господствующее влияние; с братом его Николаем, который приезжал иногда в Одессу; с Туманским, поэтом, о котором упоминается при описании Одессы, и с некоторыми другими молодыми людьми.

Достоверно, что Пушкин знаком был еще в Одессе с каким-то англичанином [1], которого в письмах своих называл «единственным умным атеем, какого он встречал», называя при этом случае атеизм «системой не столь утешительной, как обыкновенно думают» [2]. Вообще Пушкин в это время если и был иррелигиозен, то только на словах. «Демон» и многие другие стихотворения показывают, что в душе его таилась глубокая, благотворная теплота, источник самого искреннего верования. Пушкин в глубине сердца был одно, а другое был он в свете, в кругу молодежи, с которою желал делить все заблуждения молодости.

В Одессе так же, как и в Кишиневе, Пушкин по утрам читал, имея здесь порядочный запас для этого в бывшей книжной лавке Рубо; писал, стрелял в цель, гулял по улицам. Обедывал он то у Дмитраки, в греческой ресторации, то на Итальянской улице, в Hôtel du Nord, вместе с польскими, из соседних Киевской и Подольской губерний, помещиками, которые, как сказывали нам, умели приласкать его к себе, хотя по словам людей, в то время близких к нему, он не любил польского языка. С товарищами своими Пушкин обедал по большей части у Отона, которого ресторация помещалась в маленьком доме на Дерибасовской улице, где потом уже в большом двухэтажном доме был модный магазин m-me Стод, а теперь m-me Помозини. Довольно часто обедал Пушкин и у графа, которого стол открыт был постоянно для всех служивших при нем. 〈...〉

Очевидцы сказывали нам, что иногда в послеобеденное время, а иногда и в лунные ночи, Пушкин езжал за город, в двух верстах от него на дачу, бывшую Рено [3], где открывается весь полукруг морского горизонта. 〈...〉 При Пушкине на даче этой не было ни больших построек, ни роскошных беседок с мраморными статуями и обелисками, которые расставлены были в них впоследствии. Тогда это было дико поэтическое место уединения, в котором наш поэт, конечно, бродил над морем и, внемля говору его валов, предавался

своим заветным мечтам. Можно думать, что стихотворение «К морю»

Прощай, свободная стихия,
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой,—

было написано в этом уединении. Поэт прощался в нем с стихией, которая подарила его многими столь прекрасными думами. ⟨...⟩

Вечера свои в Одессе Пушкин проводил по большей части в обществе. В то время у графа бывали танцовальные вечера по два раза в неделю. Наш поэт был непременным их посетителем. Тут внимание его обращала на себя m-elle Бларамберг, одна из дочерей известного археолога [4]. Пушкин бывал еще у негоцианта Ризнич. Здесь молодая жена хозяина, человека уже не первых лет, составляла душу общества. Она была родом из Генуи, славилась красотой и страстно любила играть в карты. Пушкин с своими друзьями бывал у ней довольно часто, играл, волочился за хозяйкой. Не к ней ли написано стихотворение «На языке, тебе невнятном» [5]. Г-жа Ризнич вскоре потом уехала за границу, где и умерла. Другие вечера поэт наш проводил в театре, в casino, у друзей.

М. Н. ЛОНГИНОВ

ПУШКИН В ОДЕССЕ (1824)

Родной мой дядя Никанор Михайлович Лонгинов служил в Одессе при графе (впоследствии князе) М. С. Воронцове — в то время, когда Пушкин тоже находился там на службе. Сообщаю здесь кое-что из его рассказов.

Пушкин носил тяжелую железную палку. Дядя спросил у него однажды: «Для чего это, Александр Сергеевич, носишь ты такую тяжелую дубину?» Пушкин отвечал: «Для того, чтоб рука была тверже; если придется стреляться, чтоб не дрогнула».

По некоторым соображениям главный начальник командировал Пушкина собрать сведения о саранче. Пушкин сначала обиделся или поленился и просто хотел отказаться от поездки, но его уговорили не делать напрасного скандала, и он отправился.

Поездка его была непродолжительна, он возвратился чуть ли не через неделю и явился к графу Воронцову в его кабинет. Разговор был самый лаконический; Пушкин отвечал на вопросы графа только повторением последних слов его; например: «Ты сам саранчу видел?» — «Видел».— «Что ж, ее много?» — «Много» и т. п.

Кажется, после этого Пушкин не желал оставаться больше при графе. Но перевести его куда-нибудь, уволить в отпуск или в отставку было невозможно без особых распоряжений из Петербурга, потому что Пушкин находился в Одессе по высочайшему повелению. Представление о Пушкине было отправлено в Петербург.

Разрешение не замедлилось получением. В нем заключалось приказание: Пушкину отправиться в деревню своих родителей под их надзор и ответственность и ехать туда прямо, никуда не заезжая и нигде не останавливаясь, в чем и взять с него подписку, а если он ее не захочет дать, то отправить его с курьером. Пушкин, разумеется, дал

подписку, собрался в дорогу скоро и сдержал данное слово.

Между тем финансы поэта были очень расстроены, а выехать без денег трудно. Некоторые приятели одолжили ему взаймы, кто сколько мог. В числе их и дядя мой дал ему 50 или 100 рублей ассигнациями. Пушкин уехал к общему огорчению одесской молодежи и особенно дам.

Через несколько времени дядя получил от него прелюбезное письмо, в котором Пушкин просил между прочим сообщить: сколько именно он ему должен? Он забыл в дорожных хлопотах настоящую сумму. Дядя отвечал ему на предложенный вопрос. Вскоре получил он второе письмо, в котором Пушкин благодарил его за одолжение; деньги были приложены к письму.

Письма эти не сохранились у дяди: одесские дамы тотчас выпросили их у него и разделили между собою по клочкам; всякой хотелось иметь хоть строку, написанную рукой поэта.

О командировке Пушкина см. в Библ. Зап. 1858 г., № 5, стлб. 139, статью г. Зеленецкого. Из ней видно, что предписание Пушкину было дано 22 мая 1824 г., а Одессу он окончательно оставил 30 июля того же года.

А. П. РАСПОПОВ

ВСТРЕЧА С А. С. ПУШКИНЫМ В МОГИЛЕВЕ В 1824 Г.

В 1824 году в губернском городе Могилеве расположена была главная квартира 1-й армии. При главной квартире 1-й армии состояла учебная кавалерийская команда, для усовершенствования по службе молодых офицеров, в числе коих находился тогда и я, состоя на службе в Лубенском гусарском полку.

6 августа 1824 года, когда перед манежем полковая музыка играла вечернюю зарю, а публика, пользуясь праздничным днем и приятною погодою, гуляла по Шкловской улице, проезжала на почтовых, шагом, коляска; впереди шел кто-то в офицерской фуражке, шинель внакидку, в красной шелковой, русского покроя рубахе, опоясанной агагиником [1]. Коляска поворотила по Ветряной улице на почту; я немедленно поспешил вслед за нею, желая узнать, кто приезжает. Смотритель сказал мне, что едет из Одессы коллежский асессор Пушкин; я тотчас бросился в пассажирскую комнату и, взявши Пушкина за руку, спросил его:

— Вы, Александр Сергеевич, верно, меня не узнаете? я — племянник бывшего директора Лицея — Егора Антоновича Энгельгардта; по праздникам меня брали из корпуса в Царское Село, где вы с Дельвигом заставляли меня декламировать стихи.

Пушкин, обнимая меня, сказал:

— Помню, помню, Саша, ты проворный был кадет.

Я, от радости такой неожиданной встречи, не знал, что делать; опрометью побежал к гулявшим со мною товарищам известить их, что проезжает наш дорогой поэт А. С. Пушкин (в то время все заинтересованы были «Евгением Онегиным», вышла VI глава этого романа о дуэли Евгения с Ленским) [2]. Все поспешили на почту. Восторг был неописанный. Пушкин приказал раскупорить несколь-

ко бутылок шампанского. Пили за все, что приходило на мысль: за здоровье няни, Тани и за упокой души Ленского. Но это для нас не было достаточно: в восторге, что между нами великий поэт Пушкин, мы взяли его на руки и отнесли, по близости, на мою квартиру (я жил вместе с корнетом Куцынским). Пушкин был восхищен нашим энтузиазмом, мы поднимали на руки дорогого гостя, пили за его здоровье, в честь и славу всего им созданного. Пушкин был в самом веселом и приятном расположении духа, он вскочил на стол и продекламировал:

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово *пей*
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен [3].

Снявши Александра Сергеевича со стола, мы начали его на руках качать, а князь Оболенский закричал:

— Господа, это торжество выходит из пределов общей радости, оно должно быть ознаменовано чем-нибудь особенным. Господа! Сделаем нашему кумиру ванну из шампанского!

Все согласились, но Пушкин, улыбнувшись, сказал:

— Друзья мои, душевно благодарю, действительно было бы отлично, я не прочь пополоскаться в шампанском, но спешу: ехать надо.

Это было в 4 часа утра. Мы всей гурьбой проводили его на почту, где опять вспрыснули шампанским и, простившись, пожелали ему счастливого пути.

В 1825 году некоторых из нас отправили в полки, в том числе меня и Юрьевича. Мы вместе выехали из Могилева, заехали к дяде его, Деспоту-Зеновичу, в село Колпино, который и рассказал нам, что в прошлом 1824 году А. С. Пушкин, проезжая из Могилева в свое имение Михайловское, проездом заехал к нему в село Колпино, но не застал его дома [4]. ⟨...⟩ Деспот-Зенович, восторженный посещением его уголка Пушкиным, предложил нам вместе с ним навестить Александра Сергеевича.

Мы с удовольствием в тот же день отправились, переночевали в гор. Опочке, а на другой день, не доезжая села Михайловского, встретили в лесу Пушкина: он был в крас-

ной рубахе, без фуражки, с тяжелой железной палкой в руке. Он нас сейчас узнал, а Зенович, неповоротливая и неловкая фигура, от радости стал бросать свою шапку вверх, крича: «виват, Пушкин!», но никак не мог на лету схватить ее. Пушкин от души хохотал, потом обнял его, благодаря за хороший прием в его доме.

Когда подходили мы к дому, на крыльце стояла пожилая женщина, вязавшая чулок; она, приглашая нас войти в комнату, спросила:

— Откуда к нам пожаловали?

Александр Сергеевич ответил:

— Это те гусары, которые хотели выкупать меня в шампанском.

— Ах ты, боже мой! Как же это было? — сказала няня Александра Сергеевича, Арина Родионовна.

В селе Михайловском мы провели четыре дня. Няня около нас хлопотала, сама приготовляла кофе, поднося, приговаривала:

— Не прогневайтесь, родные, чем бог послал: крендели вчерашние, ничего, кушайте на доброе здоровье, а вот мой Александр Сергеевич изволит с маслом кушать ржаной 〈...〉

На другой день нашего приезда Александр Сергеевич пригласил нас прогуляться к соседке его, П. А. Осиповой (которой посвятил подражание Корану), в Тригорское, где до позднего вечера мы провели очень приятно время, а в день нашего отъезда были на раннем обеде; милая хозяйка нас обворожила приветливым приемом, а прекрасный букет дам и девиц одушевлял общество. Александр Сергеевич особенно был внимателен к племяннице Осиповой, А. П. Керн, которой посвятил «Я помню чудное мгновенье».

Няня Арина Родионовна на дорогу одарила нас своей работы пастилой и напутствовала добрым пожеланием.

А. М. ГОРЧАКОВ

О ПУШКИНЕ

(Из письма А. И. Урусова к издателю «Русского архива»)

В 1825 году князь Александр Михайлович возвратился в Россию из Спа, где лечился. Он посетил своего дядю, Пещурова, который жил в это время в своей вотчине Псковской губернии, в селе Лямонове. Пещуров принимал большое участие в судьбе Пушкина, жившего в изгнании в деревне, в известном Михайловском [1]. По приезде его из Одессы к поэту был приставлен полицейский чиновник с специальною обязанностью наблюдать, чтобы Пушкин ничего не писал предосудительного... Понятно, как раздражал Пушкина этот надзор. Пещуров из любви к нему ходатайствовал у маркиза Паулуччи (тогдашнего рижского генерал-губернатора) о том, чтобы этот надзор был снят, а Пушкин отдан ему на поруки, обещая, что поэт ничего дурного не напишет. Ходатайство имело успех, и Пушкин вздохнул свободнее.

Узнав о приезде князя Горчакова, Пушкин тотчас приехал из Михайловского в Лямоново и здесь, на проселочной дороге, друзья действительно «встретились и братски обнялись». Целый день провел Пушкин у Пещурова и, сидя на постеле вновь захворавшего князя Горчакова, читал ему отрывки из «Бориса Годунова» и между прочим наброски сцены между Пименом и Григорием. «Пушкин вообще любил читать мне свои вещи,— заметил князь с улыбкою,— как Мольер читал комедии своей кухарке». В этой сцене князь Горчаков помнит, что было несколько стихов, в которых проглядывала какая-то изысканная грубость и говорилось что-то о «слюнях» [2]. Он заметил Пушкину, что такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона и слога, которым писана сцена... «Вычеркни, братец, эти слюни. Ну к чему они тут?» — «А посмотри, у Шекспира и не такие еще выражения попадаются»,— возразил Пушкин. «Да; но Шек-

спир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени»,— заметил князь. Пушкин подумал и переделал свою сцену.

Пользуясь своим влиянием на Пушкина, князь Горчаков побудил его уничтожить одно произведение, «которое могло бы оставить пятно на его памяти». Пушкин написал было поэму «Монах». Князь Горчаков взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, что это недостойно его имени [3]. Эстетическое развитие князя Горчакова, его любовь к искусству (он составил себе превосходную коллекцию картин, в числе которых, по отзыву знатоков, нет посредственностей) должны были дать ему значительный вес в глазах чуткого и восприимчивого поэта.

А. П. КЕРН

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

Вам захотелось, почтенная и добрая Е. Н., узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание. Начну сначала и выдвину перед вами, еще кроме Пушкина, несколько лиц, вам очень знакомых и всем известных. Я воспитывалась в Тверской губернии, в доме родного деда моего по матери, вместе с двоюродною сестрою моею, известною Вам Анною Николаевною Вульф, до двенадцатилетнего возраста. В 1812 г. меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а 16 лет выдали замуж за генерала Керна.

В 1819 г. я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной [1]. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого, с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты; хотя там и не танцовали, по причине траура при дворе [2], но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в Charades en action *, в которых принимали иногда участие и наши литературные знаменитости — Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и другие.

В первый визит мой к тетушке Олениной батюшка, казавшийся очень немногим старше меня, встретясь в дверях гостиной с Крыловым, сказал ему: «Рекомендую вам меньшую сестру мою». Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне обе руки, сказал: «Рад, очень рад познакомиться с сестрицей». На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила

* Шарады в живых картинах.

его; мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вкруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего Осла! И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил!» [3]

В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и когда я держала корзинку с цветами, Пушкин, вместе с братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата. сказал: «Et c'est sans doute Monsieur qui fera l'aspic?» * Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.

После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов. Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: «Est-il permis d'être aussi jolie» **. Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» — спросил брат. — «Je me ravise ***, — ответил поэт, — я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины»... Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами. Впечатление его встречи со мною он выразил в известных стихах:

Я помню чудное мгновенье — *и проч.*

---

* Конечно, этому господину придется играть роль аспида?

** Можно ли быть такой прелестной.

*** Я раздумал.

Вот те места в 8-й главе «Онегина», которые относятся к его воспоминаниям о нашей встрече у Олениных:

...Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал,
К хозяйке дама приближалась...
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязанья на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей;
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut... прости,
Не знаю, как перевести!
К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей,
Девицы проходили тише
Пред ней по зале: и всех выше,
И нос, и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
. . . .
Но обратимся к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола.
. . . .
Сомненья нет, увы! Евгений
В Татьяну, как дитя, влюблен.
В тоске любовных помышлений
И день, и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, к стеклянным сеням,
Он подъезжает каждый день,
За ней он гонится, как тень.
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок поднимет ей! [4]

Прожив несколько времени в Дерпте, в Риге, в Пскове, я возвратилась в Полтавскую губернию к моим родителям. В течение шести лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностию читала: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю главу «Онегина», которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко,

милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастие принимать его у себя в деревне Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа, прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте...[5]

Во время пребывания моего в Полтавской губернии я постоянно переписывалась с двоюродною сестрою моею Анною Николаевною Вульф, жившею у матери своей в Тригорском, Псковской губернии, Опочецкого уезда, близ деревни Пушкина — Михайловского. Она часто бывала в доме Пушкина[6], говорила с ним обо мне и потом сообщала мне в своих письмах различные его фразы; так, в одном из них она писала: «Vous avez produit une vive impression sur Pouchkine à votre rencontre, chez Ol[eni]ne; il dit partout: Elle était trop brillante» *. В одном из ее писем Пушкин приписал сбоку, из Байрона: «Une image qui a passé devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverrons jamais» **[7]. Когда же он узнал, что я видаюсь с Родзянко, то переслал через меня к нему письмо, в котором были расспросы обо мне и стихи:

Наперсник Феба иль Приапа,
Твоя соломенная шляпа
Завидней, чем иной венец,
Твоя деревня Рим, ты папа,
Благослови ж меня, певец!

Далее, в том же письме он говорит: «Ты написал *Хохлачку,* Баратынский *Чухонку,* я *Цыганку,* что скажет Аполлон?» и проч. и проч., дальше не помню, а неверно цитировать не хочу[8]. После этого мне с Родзянко вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали ему шуточное послание в стихах. Родзянко в нем упоминал о моем отъезде из Малороссии и о несправедливости намеков Пушкина на любовь ко мне. Послание наше было очень длинно, но я помню только последний стих:

Прощайте, будьте в дураках![9]

Ответом на это послание были следующие стихи, отданные мне Пушкиным, когда я через месяц после этого встретилась с ним в Тригорском. Вот они:

---

* Вы произвели сильное впечатление на Пушкина при встрече у Олениных; он постоянно твердит: «Она была слишком блестяща».

** Образ, мелькнувший перед нами, который мы видели и который никогда более не увидим.

Ты обещал о романтизме,
О сем Парнасском афеизме
Потолковать еще со мной;
Полтавских муз поведать тайны,—
А пишешь лишь об ней одной.
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, не влюблен Пирон Украйны.
Ты прав, что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей,
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной:
Поговорим опять об *ней*.
Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу,
Не наведет она зевоту.
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода,
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы,
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.

А. Пушкин.

Михайловское.

Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском, в 1825 г. в июне месяце. Вот как это было: мы сидели за обедом и смеялись над привычкою одного г-на Рокотова [10], повторяющего беспрестанно: «Pardonnez ma franchise» и «Je tiens beaucoup à votre opinion» *, как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, chien loup. Тетушка, подле которой

* Простите мою откровенность; я слишком дорожу вашим мнением.

я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была видна в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен,— и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «Aije été assez vulgaire aujourd'hui?» * Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его... Так, один раз, мы восхищались его тихою радостью, когда он получил от какого-то помещика, при любезном письме, охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «Charmant, charmant!» Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностию его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в «Подснежнике» [11]. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этою целью он явился в Тригорское с своею большою черною книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган». Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении, как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих Цыганах:

И голос, шуму вод подобный [12].

Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой

* Я был слишком вульгарен сегодня?

и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я — в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою [13], а говорил: «J'aime la lune quand elle éclaire un beau visage» *. Хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече Александру Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад,

Приют задумчивых Дриад [14],

с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin à Madame» **. Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal; n'est-ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?» ***

На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анною Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр 2-й главы Онегина [15], в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье,— *и проч. и проч.*

Когда я сбиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их

---

* Я люблю луну, когда она освещает красивое лицо.

** Милый Пушкин, покажите же, как любезный хозяин, ваш сад.

*** У вас был такой девственный вид, не правда ли, на вас было надето нечто вроде креста?

поместил в своих «Северных Цветах», Мих. Ив. Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя [16].

Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной — *и проч.*

Мы пели этот романс Козлова на голос «Benedetta sia la madre», баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал в это время Плетневу: «Скажи слепцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его Венецианскую ночь. Как жаль, что он ее не увидит! Дай бог ему ее слышать!» [17]

Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра, приехавшая со мною, и тетушка со всем семейством. Пушкин писал из Михайловского к ним обеим; в одном из своих писем тетушке он очертил мой портрет так: «Хотите знать, что за женщина г-жа Керн? она податлива, все понимает; легко огорчается и утешается также легко; она робка в обращении и смела в поступках; но она чрезвычайно привлекательна» [18].

Его письмо к сестре очень забавно и остро; выписываю здесь то, что относилось ко мне [19]:

«Все Тригорское поет: «Не мила ей прелесть ночи», и у меня от этого сердце ноет; вчера мы с Алексеем проговорили 4 часа подряд. Никогда еще не было у нас такого продолжительного разговора. Угадайте, что нас вдруг так сблизило? Скука? *Сродство чувства?* Не знаю. Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь; камень, о который она споткнулась *, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа **, я пишу много стихов — все это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то. Будь я влюблен, в *воскресенье* со мною сделались бы судороги от бешенства и ревности; между тем мне было только досадно ***,— и все же мысль, что я для нее ничего не значу, что, пробудив и заняв

---

* Никакого не было камня в саду, а споткнулась я о переплетенные корни дерев.

** Веточку гелиотропа он, точно, выпросил у меня.

*** Ему досадно было, что брат поехал провожать сестру свою и меня и сел вместе с нами в карету.

ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее более задумчивой среди ее побед, ни более грустной в дни печали; что ее прекрасные глаза остановятся на каком-нибудь рижском франте с тем же пронизывающим сердце и сладострастным выражением,— нет, эта мысль для меня невыносима; скажите ей, что я умру от этого, нет, лучше не говорите, она только посмеется надо мной, это очаровательное создание. Но скажите ей, что если в сердце ее нет скрытой нежности ко мне, таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее — слышите? — да, презираю, несмотря на все удивление, которое должно вызвать в ней столь непривычное для нее чувство [20].⟨...⟩ 21 июля».

Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо:

«Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы — легкомыслие или кокетство позволить мне это. Переписка ни к чему не ведет, я знаю; но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой.

Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши — это стараться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого, но ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа, страждущая в вашу честь и славу.

Прощайте, божественная, я бешусь, и я у ваших ног. Тысячу нежностей Ермолаю Федоровичу и поклон г-ну Вульфу.

25 июля».

«Снова берусь за перо, потому что умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком,— спрячете ли вы его у себя на груди? ответите ли мне длинным посланием? пишите мне обо всем, что придет вам в голову — заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем,— сердце мое сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, увы! — я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же.— Знаете ли вы, что, перечтя эти строки, я стыжусь их

сентиментального тона,— что скажет Анна Николаевна? *Ах вы чудотворка или чудотворица!»* [21]

Получа это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тетушкин, а она не только не отдала мне его, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило [22]. В другом письме его было: «Пишите мне вдоль, поперек и по диагонали» [23].

Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем; они все были очень милы, но ограничусь еще одним:

«Не правда ли, по почте я гораздо любезнее, чем при личном свидании; так вот, если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности: в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю — у ваших ног» [24].

Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь.

«Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть,— все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах Гюльнары и Леилы — идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение! Вы — ангел-утешитель, а я — неблагодарный, потому что смею еще роптать... Вы *едете* в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде: она — лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представляю себе врагов Байрона, в том числе и его жену».

«8 дек.

Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожи-

дании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и т. д.» [25].

С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев [26]. Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Друзья не покидали его в ссылке. Некоторые посещали его, а именно: Дельвиг, Баратынский и Языков, а другие переписывались с ним, и он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей [27]. Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута, его родители на Фонтанке, у Семеновского моста, я с отцом и сестрою близь Обухова моста, и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского свои именины праздновал он в доме родителей, в семейном кружку и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» — «И в самом деле,— отвечала я,— мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил на Кавказе, и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитала их Пушкину [28]. Вот они:

Как можно не сойти с ума,
Внимая вам, на вас любуясь!
Венера древняя мила,
Чудесным поясом красуясь,
Алкмена, Геркулеса мать,
С ней в ряд, конечно, может стать,

Но, чтоб молили и любили
Их так усердно, как и вас,
Вас прятать нужно им от нас,
У них вы лавку перебили!

Л. Пушкин

Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно: «И он *тоже* очень умен. Il a aussi beaucoup d'esprit!»

На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов; но мне нужно было ехать с графинею Ивелич, и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, и он сказал: «Pourquoi l'avez vous laissé mourir? Il était aussi amoureux de vous, n'est-ce pas?» * На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут кстати я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет и о моей скорби, когда я получила от Хомякова его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт... Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась.

Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не выписать стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем черном альбоме, рядом с портретом Веневитинова: они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта [29].

На смерть Веневитинова

Дева

Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался.
Розе подобный красой, как филомела ты пел.
Сколько в тебе потеряла любовь поцелуев и песен!
Сколько желаний и ласк, новых, прекрасных, как ты!

* Почему вы позволили ему умереть? Он тоже был влюблен в вас, не правда ли?

Роза

Дева, не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим.
Ах! И любовь бы изменою душу певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой.

Зимой 1828 года Пушкин писал «Полтаву» и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний написанный им стих; так он раз вошел, громко произнося:

Ударил бой, Полтавский бой![30]

Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, например, в Тригорском беспрестанно повторял:

Обманет, не придет она!..[31]

Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать: «бывывало»? Кто-то заметил, что можно даже сказать: «бывывывало».— «Очень можно,— проговорил Крылов,— да только этого и трезвому не выговорить!»

Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом — совершенный слепок с того *уездной барышни альбома,* который описал Пушкин в «Онегине», и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский.

В альбоме было написано:

Oh, si dans l'immortelle vie
Il existait un être parfait,
Oh, mon aimable et douce amie,
Comme toi sans doute il est fait — *etc. etc.*

Пушкин перевел:

Если в жизни поднебесной
Существует дух прелестный,
То тебе подобен он.
Я скажу тебе резон:
Невозможно!

Под какими-то весьма плохими стихами было подписано: «Ecrit dans mon éxil». Пушкин приписал:

«Amour, exil» —
Какая гиль!

Дмитрий Николаевич Барков написал одни всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал следующее:

Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть
И даже имени такого
Не смею громко произнесть!

Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты [32]. В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшей сестре моей в Малороссию, приписал в нем:

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног
В тени украинских черешен.

В этот самый день я восхищалась чтением его «Цыган» в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр «Цыган» в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день с надписью на обертке всеми буквами: «Ее превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут № 10» [33]. Несколько дней спустя, он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня, как святыня), написал на какой-то записке:

Я ехал к вам. Живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Осеребрял мой бег ретивый.

Я ехал прочь. Иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.




Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты,
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

Писавши эти стихи и напевая их своим звучным голосом, он при стихе:

И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло —

заметил, смеясь: «Разумеется, с левой, потому что ехал назад» [34].

Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.

В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный» и «Пред ней, задумавшись, стою». Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностию и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них». В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом».— «А вы что сказали?» — спросила я. «А я сказал: «Ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий [35]. Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков [36], я с отцом и сестрою перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: «Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте».

Я свято это исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем:

Как в ненастные дни собирались они
Часто.
Гнули, бог их прости, от пятидесяти
На сто.
И отписывали, и приписывали
Мелом.
Так в ненастные дни занимались они
Делом.

Эти стихи он написал у князя Голицына, во время карточной игры, мелом на рукаве [37]. Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние пятьдесят рублей, сказал: «Счастье ваше, что я вчера проиграл».

По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг, и была свидетельницею свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях. В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский и Илличевский *. Кроме этих, приходили на вечера: Подолинский,

* Илличевский написал мне следующее послание:

Близ тебя в восторге нем,
Пью отраду и веселье,
Без тебя я жадно ем
Фабрики твоей изделье.
Ты так сладостно мила.
Люди скажут: небылица,
Чтоб тебя подчас могла
Мне напоминать горчица.—
Без горчицы всякий стол
Мне теперь сухоеденье:
Честолюбцу льстит престол —
Мне ж — горчичницей владенье.
Но угодно так судьбе,
Ни вдова ты, ни девица,
И моя любовь к тебе
После ужина горчица.

Он называл меня:

Сердец царица,
Горчичная мастерица!

Отец мой имел горчичную фабрику.

Щастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын и Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу [38]. Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто: «Злы только дураки и дети». Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах,— но всегда раскаивался. Так однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу и я ему заметила: «Ce n'est pas bien de s'attaquer à une personne aussi inoffensive» * — обезоруженный моею фразою, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен. На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудреного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого. Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам «Фариса», переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный, как поэт, был гораздо ниже других второстепенных писателей [39]. Среди этих последних видное место занимал Подолинский, и многими его стихами восхищался Пушкин [40]. Особенно нравились ему следующие:

Портрет

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю, Гурия Пророка
С небес на землю сведена.
Коса и кудри темнорусы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей
Рождают негу и желанье
В груди тоскующей моей.

---

* Нехорошо нападать на столь безобидную особу.

И окончание стихов под заглавием: «К ней»:

Так ночью летнею младенца,
Земли роскошной поселенца,
Звезда манит издалека,
Но он к ней тянется напрасно...
Звезды златой, звезды прекрасной
Не досягнет его рука.

Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена:

Неумолимая, ты не хотела жить [41], —

передразнивая его и голос и выговор.

Зима прошла. Пушкин уехал в Москву. И хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась. Когда я имела несчастие лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственною ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие; [42] ласкал мою маленькую дочь Ольгу, забавляясь, что она на вопрос: «Как тебя зовут?» — отвечала: «Воля!» — и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как *гением добра*.

Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ, ДЕЛЬВИГЕ И ГЛИНКЕ

То зеркало лишь хорошо, которое верно отражает.

При воспоминании прошедшего я часто и долго останавливаюсь на том времени, которое ознаменовалось поэтическою деятельностью Пушкина и отметилось в жизни общества страстью к чтению, литературным занятиям и, если не ошибаюсь, необыкновенною жаждою удовольствий. И тогда снова оживает передо мною доброе старое время, кипевшее избытком молодых сил. Я вижу веселый, беспечный кружок поэтов той эпохи, живший грезами о счастии

и по возможности избегавший тягости труда. Из него выделяются в моем воспоминании с особенною ясностью: Пушкин, Дельвиг и Глинка.

Художественные создания Пушкина, развивая в обществе чувство к изящному, возбуждали желание умно и шумно повеселиться, а подчас и покутить. Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная, игривая веселость, блестело неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они и собирались.

Дельвиг соединял в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяин, он умел счастливить всех, имевших к нему доступ.

Благодаря своему истинно британскому юмору он шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа. Великий поэт не был чужд странных выходок, нередко напоминавших фразу Фигаро: «Ah, qu'ils sont bêtes les gens d'esprit» *, и его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностию духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. ⟨...⟩

Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне; эта слабость вошла у него в привычку. Любя хорошо поесть, он избегал обедов у хозяев не гастрономов; так, однажды, по случаю обеда у Пушкиных, не любивших роскошного стола, он написал Александру Сергеевичу шуточное четверостишие, которое начинается так:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать... [1]

Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтер Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни.

---

* Ах, как они глупы, эти умные люди.

В его поэтической душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастия, которым проникнут был сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин. Прочитав в Одессе романс Дельвига «Прекрасный день, счастливый день, и солнце и любовь...», в котором так много ясности и счастия, он говорил, что прочувствовал вполне это младенческое излияние поэтической души Дельвига и что самое стихосложение этого романса верно передало ему всю светлость чистого чувства любви поэта [2]. Он восхищался притом другими пьесами Дельвига, равно как и поэзиею Баратынского. Эти три поэта были связаны глубокой симпатией. ⟨...⟩

Преданный друзьям, Дельвиг в то же время был нежен и к родным. Я помню, как ласкал он своих маленьких братьев, семи- и восьмилетних малюток, выписав их вскоре по возвращении своем из Харькова. Старшего, Александра, он звал классиком, а меньшего, Ивана, романтиком и под этими именами представил их однажды Пушкину. Александр Сергеевич нежно ласкал их, и когда Дельвиг объявил, что меньшой уже сочинил стихи, он пожелал их услышать, и малютка поэт, не конфузясь нимало, медленно и внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина:

Индиянди, Индиянди, Индия!
Индиянда! Индиянда! Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал и сказал: «Он точно романтик».

Дружба Пушкина с Дельвигом так тесно соединяла их, что, вспоминая о последнем, нельзя умолчать о Пушкине, завоевавшем себе внимание всего кружка и бывшем часто предметом разговоров и даже переписки его дружных членов; так, например, незадолго до женитьбы Пушкина Софья Михайловна Дельвиг писала ко мне с дачи в город: «Léon est parti hier (он проезжал тогда с Кавказа). Александр Сергеевич est arrivé hier. Il est, dit-on, plus amoureux que jamais, cependant il ne parle presque pas d'elle. La noce se fera en septembre» *.

Действительно, в этот период, перед женитьбой своей, Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, молчалив, заметно было, что его постоянно проникало сознание великой обязанности счастливить лю-

* Лев уехал вчера... Александр Сергеевич вернулся вчера. Говорят, влюблен больше, чем когда-нибудь, между тем почти не говорит о ней. Свадьба будет в сентябре.

бимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу, и, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьезного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе. Встречая его после женитьбы всегда таким же серьезным, я убедилась, что в характере поэта произошла глубокая, разительная перемена. Но мои воспоминания в доме Дельвига относятся более ко времени первой, беспечной поры жизни Пушкина. Помню, как он, узнав о возвращении Дельвига из Харькова и спеша обнять его, вбежал на двор; помню его развевающийся плащ и сияющее радостию лицо... Другое воспоминание мое о Пушкине относится к свадьбе сестры его [3]. Дельвиг был тогда в отлучке. В его квартире я с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных. Расскажу подробно это обстоятельство.

Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручая мне икону и хлеб, сказала: «Remplacez moi, chère amie, avec cette image, que je vous confie pour béni ma fille!» * Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный, Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, вздумал заметить, что еще никогда не видал меня одну: «Voilà pourtant la première fois, que nous sommes seuls, madame»; ** мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры; а потому, без лишних объяснений, я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. «Vous avez raison, 27 degrés» ***,— повторил Пушкин, плотнее закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновилась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать, и в квартире Дельвига, долго дожидаясь приезда молодых, я прохаживалась по комнате, укутываясь в кацавейку; по поводу ее Пушкин сказал, что я похожа в ней на царицу

* Замените меня, мой друг, вручаю вам образ, благословите им мою дочь!

** А ведь мы с вами в первый раз вдвоем, сударыня.

*** Вы правы, 27 градусов.

Ольгу. Поэт старался любезностью и вниманием выразить свою благодарность за участие, принимаемое мною в столь важном событии в жизни его сестры.

Он всегда сочувствовал великодушному порыву добрых стремлений. Так, однажды отец госпожи Н., рассказывал Пушкину про случай с одним семейством, при котором необходимо было присутствие близкого человека, осуждал неблагоразумную чувствительность своей дочери, которая прямо с постели, накинув салоп, побежала к нуждавшимся в ее помощи, сказал: «И эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через Фонтанку!»

Пушкин сидел на диване, поджав ноги; услышав этот рассказ, он вскочил и, схватив обе руки у госпожи Н., с жаром поцеловал их. Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века, про который сам же сказал, что *чувство было дико и смешно* [4]. Острое красное словцо — la repartie vive — вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами; ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором: «Pourquoi vous attaquer à moi, qui suis si inoffensive!» * И он повторял: «Comme c'est réelleemence-la: si inoffensive!» ** Продолжая далее, он заметил: «Да, с вами не весело и ссориться, voilà votre cousine, avec elle on trouve à qui s'en prendre!» ***

Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал: «Дайте ручку, c'est si

---

* Зачем вы на меня нападаете, ведь я такая безобидная!
** Как это верно сказано: действительно, такая безобидная!
*** То ли дело ваша кузина, вот тут есть с кем ссориться!

satin!», я отвечала: «Satan!» * Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, что так понравилось поэту, что он бросился перед нею на колени; в эту минуту входит А. Н. Вульф и хлопает в ладоши... Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которою он, казалось, всегда шутил, как и поцелуем руки; но это, по всей вероятности, было притворною данью веку... Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила, он сказал: «Et puis vous savez qu'il n'y a rien de si insipide que la patience et la résignation» **. Но, как я уже заметила, женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он на все смотрел серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувство и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданною способностью женатым вести себя как прилично любящему мужу, он шутя отвечал: «Je ne suis qu'un hypocrite» ***. После женитьбы я видела его раз у его родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики потчевали его то тем, то другим кушаньем, но он отказывался и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислою капустою: «C'est un plat écossais!» ****. заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Однажды в таком мрачном расположении духа он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки... Подошел к нему Илличевский и сказал:

У печки, погружен в молчанье,
Поднявши фрак, он спину грел,
И никого во всей компанье
Благословить он не хотел.

Это развеселило Пушкина, и он сделался очень любезен. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери [5]. Она уже тогда не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; Пушкины сидели рядом на маленьком

---

* «Настоящий атлас!» — «Сатана!» (Игра слов: satin — атлас, satan — сатана).

** И потом, знаете ли, нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности.

*** Я просто хитер.

**** Это шотландское блюдо.

диване у стены. Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовию; а Александр Сергеевич, не спуская глаз с матери, держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как бы выражая тем ласку к жене и ласку к матери; он при этом ничего не говорил.

ДЕЛЬВИГ И ПУШКИН

Вы не можете себе представить, как барон Дельвиг был любезен и приятен, особенно в семейном кружке, где я имела счастие его часто видеть. Вспоминая анекдот о Пушкине, где Александр Сергеевич сказал Прасковье Александровне Осиповой в ответ на критику элегии: «Ах, тетушка! Ах, Анна Львовна!» [1]: «J'espère qu'il est bien permis à moi et au baron Delvig de ne pas toujours avoir de l'esprit» *,— не могу не сравнить их мысленно и, припоминая теперь склад ума барона Дельвига, я нахожу, что Пушкин был не совсем прав: нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность — всем светом признанную и неоспоримую,— он точно не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен,— в таком же смысле, как и Фигаро восклицает: «Ah! qu'ils sont bêtes les gens d'esprit!» ** Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен! И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приятнее его. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великобританский юмор.

Гостеприимный, великодушный, деликатный, изысканный, он умел счастливить всех его окружающих. Хотя Дельвиг не был гениальным поэтом, но название поэтического существа вполне может соответствовать ему, как благороднейшему из людей.

Его поэзия, его песни — мелодия поэтической души. Помните романс его:

Прекрасный день, счастливый день!
И солнце, и любовь!

Пушкин говорил, что он этот романс прочел и прочувствовал вполне в Одессе, куда ему его прислали. Он им

---

* «Я думаю, мне и барону Дельвигу вполне позволительно не всегда быть умными».

** «Ах, как глупы эти умные люди».

восхищался с любовью, которую питал к другу-поэту. Он всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Баратынского [2]. Дельвиг тоже нежно любил и Баратынского, и его произведения. Тут кстати заметить, что Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?» Баратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, а тот всегда поручал жене своей их переписывать; а когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки». А точки нигде не было и даже в конце пьесы стояла запятая!

Мне кажется, Дельвиг был одним из лучших, примечательнейших людей своего времени, и если имел недостатки, то они были недостатками эпохи и общества, в котором он жил. Лучший из друзей, уж конечно, он был и лучшим из мужей. Я никогда его не видала скучным или неприятным, слабым или неровным. Один упрек только сознательно ему можно сделать,— это за лень, которая ему мешала работать на пользу людей. Эта же лень делала его удивительно снисходительным к слугам своим, которые могли быть все, что им было угодно: и грубыми, и пренебрежительными; он на них рукой махнул, и если б они вздумали на головах ходить, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы свое обычное: «Забавно!» Он так мило, так оригинально произносил это «забавно», что весело вспомнить. И замечательно, что иногда он это произносил, когда вовсе *не было забавно.* Я с ним и его женою познакомилась у Пушкиных, и мы одно время жили в одном доме; [3] и это нас так сблизило, что Дельвиг дал мне раз (от лености произносить вполне мое имя или фамилию) название 2-й жены, которое за мной и осталось. Вот как это случилось: мы ездили вместе смотреть какого-то фокусника. Входя к нему, он, указывая на свою жену, сказал: «Это жена моя»; потом, рекомендуя в шутку меня и сестру мою, проговорил: «Это вторая, а это третья». У меня была книга (затеряна теперь), кажется,— «Стихотворения Баратынского», которые он издавал; он мне ее прислал с надписью: «Жене № 2-й от мужа безномерного Б. Дельвига». Он очень радушно встречал обычных своих посетителей и — всем было хорошо близ него: On était si à son aise près de lui! on se sentait si protégé! *... У ме-

* «Возле него чувствовали себя так непринужденно! Встречали такую доброжелательность!»

ня были «Северные цветы» за все почти годы с надписью бароновой руки.

В альбоме моем (сделанном для портрета Веневитинова, подаренном мне его приятелем Хомяковым после его смерти) Дельвиг написал мне свои стихи к Веневитинову: «Дева и Роза» [4]. Я уже говорила вам, что в это время занимала маленькую квартиру во дворе (в доме бывшем Кувшинникова, тогда уже и теперь еще Алферовского). В этом доме, в квартире Дельвига мы вместе с Александром Сергеевичем имели поручение от его матери, Надежды Осиповны, принять и благословить образом и хлебом новобрачных Павлищева и сестру Пушкина Ольгу [5]. Надежда Осиповна мне сказала, отпуская меня туда в своей карете: «Remplacez-moi, chère amie, ici je vous confie cette image pour bénir ma fille en mon nom» *. Я с гордостью приняла это поручение и с умилением его исполнила. Доро́гой Александр Сергеевич, грустный, как всегда бывают люди в важных случаях жизни, сказал мне шутя: «Voilà pourtant la première fois que nous sommes seuls.— Vous et moi».— «Et nous avons bien froid, n'est-ce pas?» — «Oui, vous avez raison, il fait bien froid — 27 dégrès» **,— а сказав это, закутался в свой плащ, прижался в угол кареты,— и ни слова больше мы не сказали до самой временной квартиры новобрачных. Там мы долго прождали молодых, молча прогуливаясь по освещенным комнатам, тоже весьма холодным, отчего я, несмотря на важность лица, мною представляемого (посаженой матери), оставалась, как ехала,— в кацавейке; и это подало повод Пушкину сказать, что я похожа на царицу Ольгу. Несмотря на озабоченность, Пушкин и в этот раз был очень нежен, ласков со мною... Я заметила в этом и еще в нескольких других случаях, что в нем было до чрезвычайности развито чувство *благодарности:* самая малейшая услуга ему или кому-нибудь из его близких трогала его несказанно. Так, я помню, однажды, потом, батюшка мой, разговаривая с ним на этой же квартире Дельвига, коснулся этого события, т. е. свадьбы его сестры, мною нежно любимой, сказал ему, указывая на меня: «А эта дура в одной рубашке побежала туда через форточку». В это время Пушкин сидел рядом с отцом моим на диване, против меня, поджавши по своему обыкновению

* «Заместите меня, дорогой друг; вот я доверяю вам эту икону — благословить дочь мою от моего имени».

** «А ведь мы в первый раз одни — вы и я».— «И очень зябнем, не правда ли?» — «Да, вы правы, очень холодно — 27 градусов».

ноги и, ничего не отвечая, быстро схватил мою руку и крепко поцеловал: красноречивый протест против шуточного обвинения сердечного порыва! Помню еще одну особенность в его характере, которая, думаю, была вредна ему: думаю, что он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным глубоким чувством любви. Это была в нем дань веку, если не ошибаюсь; иначе истолковать себе не умею! Un bon mot, la repartie vive * всегда ему нравились. Он мне однажды сказал,— да тогда именно, когда я ему сказала, что не хорошо меня обижать,— moi, qui suis si inoffensive **, выражение ему понравилось, и он простил мне выговор, повторяя: «C'est réellement cela, Vous êtes si inoffensive» ***,— и потом сказал: «Да с вами и не весело ссориться; voilà Votre cousine, c'est toute autre chose: et cela fait plaisir, on trouve à qui parler» ****. Причина такого направления — слишком невысокое понятие о женщине, опять-таки — несмотря на всю его гениальность, печать века. Сестра моя сказала ему однажды: «Здравствуй, Бес!» Он ее за то назвал божеством в очень милой записке [6]. Любезность, остроумное замечание женщины всегда способны были его развеселить. Однажды он пришел к нам и сидел у одного окна с книгой, я у другого; он подсел ко мне и начал говорить мне нежности à propos de bottes ***** и просить ручку, говоря: «C'est si satin»; я ему отвечала «satan» ******, а сестра сказала шутя: «Не понимаю, как вы можете ему в чем-нибудь отказать!» Он от этой фразы в восторг пришел и бросился перед нею на колени в знак благодарности. Вошедший в эту патетическую минуту брат Алексей Николаевич Вульф аплодировал ему от всего сердца. И, однако ж, он однажды мне говорил кстати о женщине, которая его обожала и терпеливо переносила его равнодушие: [7] «Rien de plus insipide que la patience et la résignation» *******.

Приятно жилось в это время. Баронесса приходила ко мне по утрам: она держала корректуру «Северных цветов».

* Острота, быстрый и находчивый ответ.
** Меня, такую безобидную.
*** «Это в самом деле верно, вы такая безобидная».
**** Вот ваша двоюродная сестрица — совсем другое дело, и это приятно: есть с кем поговорить.
***** Под пустым предлогом.
****** «Такой атлас» — «Сатана!».
******* «Ничего нет пошлее терпенья и самоотречения».

Мы иногда вместе подшучивали над бедным Сомовым, переменяя заглавия у стихов Пушкина, например: «Кобылица молодая» мы поставили «Мадригал такой-то...». Никто не сердился, а всем было весело [8]. Потом мы занимались итальянским языком [9], а к обеду являлись к мужу. Дельвиг занимался в маленьком полусветлом кабинете, где и случилось несчастье с песнями Беранже, внушившее эти стихи:

Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел:
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел (bis).

Эти стихи, в числе прочих, пелись хором по вечерам. Пока барон был в Харькове, мы переписывались с его женой, и она мне прислала из Курска экспромт барона:

Я в Курске, милые друзья,
И в Полторацкого таверне
Живее вспоминаю я
О деве Лизе, даме Керне! [10]

Я вспомнила еще стихи, сообщенные мне женою барона Дельвига, сложенные когда-то вместе с Баратынским.

Там, где Семеновский полк,
В пятой роте, в домике низком
Жил поэт Баратынский
С Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они.
За квартиру платили немного,
В лавочку были должны,
Дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком.
В панталонах триковых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя:
Какое в россиянах чувство!

А вот еще стихи барона: пародия на «Смальгольмского барона», переведенного Жуковским:

До рассвета поднявшись, извозчика взял
Александр Ефимыч с Песков.
И без отдыха гнал от Песков чрез канал
В желтый дом, где живет Бирюков.
Не с Цертелевым он совокупно спешил
На журнальную битву вдвоем;

Не с романтиками переведаться мнил
За баллады, сонеты путем,
Но во фраке был он, был тот фрак заношен,
Какой цветом, нельзя распознать,
Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан,
Двадцатифунтовая тетрадь.

. . . .
. . . .

Его конь опенен, его Ванька хмелен,
И согласно хмелен с седоком.
Бирюкова он дома в тот день не застал:
Он с Красовским в цензуре сидел,
Где на Одина грозно фон Поль напирал,
Где ..... улыбаясь глядел.
Но изорван был фрак, на манишке табак,
Ерофеичем весь он облит;
Не в журнальном бою, но в питейном дому
Был квартальными больно побит.
Соскочивши на Конной с саней у столба,
Притаяся у будки, он стал,
И три раза он крикнул Бориса-раба,
Из харчевни Борис прибежал.
«Подойди-ка, мой Борька, мой трагик смешной,
И присядь ты на брюхо мое;
Ты скотина, но, право, скотина лихой.
И скотство по нутру мне твое».

Вскоре после того, как мы читали эту прекрасную пародию, барон Дельвиг ехал куда-то с женой в санках через Конную площадь; подъезжая к будке, он сказал ей очень серьезно: «Вот, *на самом этом месте* соскочил с саней Александр Ефимович с Песков, и у этой самой будки он крикнул Бориса Федорова». Мы очень смеялись этому точному указанию исторической местности. Он всегда шутил очень серьезно, а когда повторял любимое свое словцо «*забавно*», это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем не забавном, а или грустном, или же досадном для него!.. Мне очень памятна его манера серьезно шутить, между прочим по следующему случаю: один молодой человек преследовал нас с Софьей Михайловной насмешками за то, что мы смеемся, повторяя часто фразу из романа Поль де Кока, которая ему вовсе не казалась так смешною. Нам стоило только повторить эту фразу, чтобы неудержимо долго хохотать. Эта фраза была одного бедного молодого человека (разбогатевшего потом) взята из романа «La maison Blanche». Молодой человек в затруднении перед балом, куда приглашен школьным товарищем, знатным молодым человеком; весь его туалет собран в полном ком-

плекте, недостает только шелковых чулков, без которых невозможно обойтись; у него были одни, почти новые, да он ими ссудил свою возлюбленную гризетку ...., швею в модном магазине. Она пришла на помощь, чтобы завить волосы своему приятелю, но, увы, относительно чулков объявила, что чулки эти даны ею взаймы г-же ..., она тоже дала взаймы своей подруге, которая, в свою очередь, ссудила ими своего друга, а друг этот награжден от природы огромнейшими mollets * и потому, надев их раз, так изувечил, что они больше никому не могут годиться. ⟨Она⟩ кончила свою ⟨речь⟩ философическим замечанием своему Robineau: «Est-ce qu'on a jamais eu un amant qui vous a redemande ce qu'il vous a prêté?» ** На это г-н Робино возразил комическим тоном, чуть не плача: «Quand on n'a que quinze cent livres de rente, on ne nage pas dans les bas de soie!» ***

Не мы одни с баронессою находили юмор в этой *жалостливой* фразе, из наших знакомых один только помянутый выше молодой человек не видел в ней смешного. Раз он резко выразил свое удивление, что мы так долго смеемся совсем не смешному. Мы сидели в это время за обедом, и барон Дельвиг, стоя за столом в своем малиновом шелковом шлафроке и разливая, по обыкновению, суп, сказал: «Я с тобой согласен, мой милый, je ne nage pas dans les bas de soie: **** совсем *не смешно, а жалко!*»

Никогда не забуду его саркастической улыбки и забавной интонации голоса при слове *«жалко!»*.

Разбирая свои старые бумаги и письма, я нашла очень интересные записки: одну собственноручную барона Дельвига, о деле касательно моих интересов, которая начинается так: «Милая жена, очень трудно давать советы; спекуляция Петра Марковича может удаться или же нет; и в том и в другом случае будете раскаиваться (если отдадите имение). Повинуйтесь сердцу,— это лучший совет мой...»

Записка его жены, в год женитьбы Александра Сергеевича,— именно в тот год, когда мы ездили на Иматру и я с ними провела лето в Колтовской, у Крестовского перевоза [11]. Я уехала в город прежде их, когда мне предста-

---

* икрами.

** Виданное ли дело, чтобы любовник потребовал обратно то, что дал вам в долг?

*** Когда имеют всего полторы тысячи ливров дохода, не щеголяют в шелковых чулках!

**** Я не щеголяю в шелковых чулках.

вился случай достать выгодную квартиру. Вскоре, кажется, в конце августа, она мне писала: «Лев уехал вчера, Александр Сергеевич возвратился третьего дня. Он, говорят, влюблен больше, чем когда-нибудь. Однако он почти не говорит о ней. Вчера он привел фразу — кажется, г-жи Виллуа, которая говорила сыну: «Говорите о себе только с королем, и о своей жене — ни с кем, потому что всегда есть риск разговаривать с кем-нибудь, кто знает ее лучше вас».

Действительно, в этот приезд Пушкин казался совершенно другим человеком: он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность счастливить другое существо...

Таким точно я его видела потом в другие разы, что мне случалось его встретить с женою или без жены. С нею я его видела два раза. В первый это было на другой год, кажется, после женитьбы. Прасковья Александровна была в Петербурге и у меня остановилась; они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне прежде (Прасковья Александровна была уже с нею знакома, я же ее видела только раз у Ольги одну). Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж; она заметила, шутя, что это он сделал оттого, что он муж. Потом я его встретила с женою у матери, которая начинала хворать: Наталия Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал шутя: «Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю ее в деревню». Она, однако, не поехала, кажется, потому, что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже, и я его встретила у родителей одного. Это было раз во время обеда, в четыре часа. Старики потчевали его то тем, то другим из кушаньев, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислой капустою: «C'est un plat écossais» *,— заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью,

* «Это шотландское блюдо».

и Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери [12]. Он при этом ничего не говорил... Наталья Николаевна была в папильотках: это было перед балом... Я уверена, что он был добрым мужем, хотя и говорил однажды, шутя, Анне Николавне, которая его поздравляла с неожиданною в нем способностью себя вести, как прилично любящему мужу: «Ce n'est que de l'hypocrisie» *. Вот еще выражение века: непременно, во что бы то ни стало казаться хуже, чем он был... В этом по пятам за ним следовал и Лев Сергеевич.

Я теперь опять обращусь к Дельвигу, припоминая все это время: и как он был добр ко всем и ласков к родным, друзьям и даже только знакомым! Вскоре после возвращения из Харькова он или выписал к себе, или сам привез,— не помню,— двух своих маленьких братьев, 4-х и 8-ми лет. Старшего, Александра, он называл классиком, меньшего, Ивана,— романтиком и таким образом представил их однажды вечером Пушкину. Александр Сергеевич нежно, внимательно их рассматривал и ласкал, причем барон объявил ему, что меньшой уже сочинил стихи. Александр Сергеевич пожелал их услышать, и маленький Дельвиг, не конфузясь нимало и не гордясь своей ролью, медленно и внятно произнес, положив свои ручонки в обе руки Александра Сергеевича:

Индиянди, Индиянди, Индия!
Индииндии, Индииндии, Индии!

Александр Сергеевич погладил его по голове, поцеловал и сказал, что он точно романтик. Где-то он теперь? Как бы мне хотелось на них взглянуть! Вспоминая о Дельвиге, я невольно припоминаю еще многое о Пушкине, и, разбирая записи Дельвига, сохранившиеся у меня, нашла еще несколько записок Пушкина. Это относится к тому времени, когда он узнал о смерти моей матери и о тесных обстоятельствах, вследствие которых одна дама, принимавшая во мне большое участие (а именно Елизавета Михайловна Хитрово) переписывалась со мною, хлопотала о том, чтобы мне возвратилось имение, проданное моим отцом графу Шереметеву [13]. Я интересовалась этим имением по воспоминаниям моего счастливого детства, хотя и в финансовом

* «Это только притворство».

отношении оно не могло быть не *интересно*, потому что иметь что-нибудь или не иметь *ничего* все-таки составляет громадную разницу.

Не воздержусь умолчать об одном обстоятельстве, которое навело меня на эту мысль выкупить без денег свое проданное имение. Однажды утром ко мне явился гвардейский солдат. «Не узнаете меня, ваше превосходительство?» — сказал он, поклонившись в пояс. «Извини, голубчик, не узнаю тебя, припомни мне, где я тебя видела».— «А я из вашей вотчины, ваше превосходительство, я помню вас, как вы изволили из ваших ручек потчевать водкой отца моего и жить тогда в нашей чистой избе, а в другой, чистой же, ваш батюшка и матушка».— «Помню, помню, мой милый,— сказала я (хотя вовсе его-то самого не помнила).— Так ты пришел со мной повидаться,— это очень приятно!» — «Да кроме того,— сказал он,— я пришел просить вас, нельзя ли вам, матушка, откупить нас опять к себе; мне пишут мои старики: сходил бы ты к нашей прежней госпоже, к генеральше такой-то, да сказал бы ей, что вот, дескать, мы бы рады-радешеньки ей опять принадлежать, что по ревизии теперь в двух селениях прибавилось много против прежнего,— что мы и теперь помним, как благоденствовали у дедушки их, у матушки и у них самих потом; скажи ей, что мы даже согласны графу Шереметеву внести половинную цену за имение и сами на свой счет выстроим ей домик, коли вы согласны нас у него откупить опять».

Это предложение было так трогательно и вместе так соблазнительно, что я решилась его сообщить Елизавете Михайловне Хитрово вскоре после кончины матери моей, и она по доброте своей взялась хлопотать.

Вот первая записка ее:

«Вчера утром я получила Ваше хорошее письмо, сударыня, я бы тотчас приехала Вас навестить, но серьезная болезнь дочери меня задержала. Если Вы свободны приехать ко мне завтра в полдень, я с большой радостью Вас приму. Ел. Хитрово» [14].

Вследствие этой-то записки Александр Сергеевич приехал ко мне в своей карете и в ней меня отправил к Хитровой.

2-я записка Хитрово, написанная рукою Александра Сергеевича. Вот она:

«Дорогая г-жа Керн, у нашей малютки корь, и с нею нельзя видеться, как только моей дочери станет лучше, я приеду вас обнять»

а ее рукой — Ел. Хитрова.

Опять рукою Александра Сергеевича: «У меня такое скверное перо, что г-жа Хитрова не может им пользоваться, и мне выпала удача быть ее секретарем».

Следует еще одна записочка от Елизаветы Михайловны Хитровой ее рукой: «Вот, моя дорогая, письмо Шереметева — скажите мне его содержание. Я собиралась вам нести его сама, но, на мое несчастье, идет дождь. Е. Хитрова».

Потом за нее еще рукою Александра Сергеевича об этом неудавшемся деле:

«Вот ответ Шереметева. Желаю, чтобы он был благоприятен — г-жа Хитрова сделала все, что могла. Прощайте, прекрасная дама. Будьте спокойны и довольны и верьте моей преданности».

Самая последняя была уже в слишком шуточном роде,— я на нее подосадовала и тогда же уничтожила. Когда оказалось, что ничего не могло втолковать доброго господина, от которого зависело дело, он писал мне (между прочим):

«Раз вы не могли ничего добиться, вы, хорошенькая женщина, то что уж делать мне — ведь я даже и не красивый малый... Все, что могу посоветовать, это снова обратиться к посредничеству...»

Меня это огорчило, и я разорвала эту записку. Больше мы не переписывались и виделись уже очень редко, кроме визита единственного им с женою Прасковье Александровне. Этой последней вздумалось состроить partie fine *, и мы обедали вместе все у Дюме, а угощал нас Александр Сергеевич и ее сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего особенно замечательного в его разговоре. Осталось только в памяти одно его интересное суждение. Тогда только что вышли повести Павлова, я их прочла с большим удовольствием, особенно «Ятаган». Брат Алексей Николаевич сказал, что он в них не находит ровно никакого интересного достоинства. Пушкин сказал: «Entendons-nous **.

* увеселительная поездка.
** Сговоримся.

Я начал их читать и до тех пор не оставил, пока не кончил. Они читаются с большим удовольствием» [15].

Теперь я себе припомнила несколько его суждений о романах: он очень любил Бульвера, цитировал некоторые фразы из «Пельгама» в то время, когда его читал. Вследствие чего мне показался замечателен случай, что его напечатали в той же книжке «Библиотеки», где и «Воспоминания». Еще я помню (это было во время моего пребывания в одном доме с бароном Дельвигом): тогда только что вышел во французском переводе роман Манцони: «I promessi sposi» («Les fiancés»); * он говорил об них: «Je n'ai jamais lu rien de plus joli» ** [16].

Возвратимся к обеду у Дюме. За десертом («les 4 mendiants») г-н Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле une partie fine, вошел в нашу комнату un peu cavalièrement *** и спросил: «Comment cela va ici?» **** У Пушкина и Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от неожиданной любезности француза, и он сам, увидя чинность общества и дам в особенности, нашел, что его возглас и явление были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе. Барон Дельвиг очень любил такие эксцентрические проделки. Не помню во все время нашего знакомства, чтобы он когда-нибудь один с женою бывал на балах или танцовальных вечерах, но очень любил собрать несколько близко знакомых ему приятных особ и вздумать поездку за город, или катанье без церемонии, или даже ужин дома с хорошим вином, чтобы посмотреть, как оно на нас, ничего не пьющих, подействует. Он однажды сочинил катанье в Красный Кабачок вечером на вафли [17]. Мы там нашли тогда пустую залу и бедную арфянку, которая, вероятно, была очень счастлива от фантазии барона. В катанье участвовали только его братья, кажется,— Сомов, неизбежный, никогда не докучливый собеседник и усердный его сотрудник по «Северным цветам», я да брат Алексей Вульф. Катанье было очень удачно, потому что вряд ли можно было бы выбрать лучшую зимнюю ночь — и лунную, и не слишком холодную. Я заметила, что добрым людям всегда такие вещи удаются, оттого что всякое их

---

* «Обрученные».

** «Я ничего красивее не читал».

*** Немножно развязно.

**** «Ну, как здесь идут дела?»

действие происходит от избытка сердечной доброты. Он, кроме прелести неожиданных удовольствий без приготовлений, любил в них и хорошее вино, оживляющее беседу, и вкусный стол; от этого он не любил обедать у стариков Пушкиных, которые не были гастрономы, и в этом случае он был одного мнения с Александром Сергеевичем. Вот, по случаю обеда у них, что раз Дельвиг писал Пушкину:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла и яиц гнилых,—
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

Вот все, что осталось в моей памяти в добавление к тому, что вам уже сообщила прежде. При этом присоединяю некоторые записки; может, они понадобятся вам.

ПИСЬМО П. В. АННЕНКОВУ

Апрель — май 1859 г. Петербург

Милостивый государь Павел Васильевич.

Мне захотелось воспользоваться вашим позволением к вам писать, чтоб сообщить вам о появлении нашей статьи и еще раз выразить вам мою благодарность. Вы не можете себе представить, как мне было отрадно, что это сделалось чрез ваше посредничество,— и вы не поверите, скольких неприятных волнений вы меня избавили. Я узнала о появлении статьи чрез г-на Тютчева, который сказал об этом мужу и весьма лестно об ней отозвался.

Больше я ни от кого ничего не слыхала; но для меня так много значит похвала Тютчева, что больше ничего не нужно!

Я сама, однако, недовольна многим, но не редактором и не вами, а своей леностью и доверчивостью к г-же Пучковой, которая, во-первых, мне обещала непременно ее поместить, а потом возвратила, чтобы я сама о ней хлопотала, что мне было так антипатично, что я даже не заглянула в рукопись до счастливого мгновения вручить ее вам.

Вот что мне не нравится: в самом 1-м параграфе на 1-й странице: «меня увезли из дома дедушки в 12-м, а в 16-м выдали замуж за генерала».— Я последнее просила вычеркнуть, понимаете для чего? Я нахожу, что так

лучше, и не так щекотливо, и не так очень уж ясно и проч. и проч. Об этом генерале довольно сказано дальше; оно и так многим глаза колет... Ну, да это, конечно, если перепечатают когда-нибудь особенной брошюрой (чего бы я желала), то попрошу, чтобы это исправили и еще кое-что недосмотренное при переписке писем, напр.: «Mes respects (кажется) à Ермолаю Федоровичу. Mes compliments à Monsieur Woulf (à Alexis), они напечатали: à M-me Woulf, il n'y avait alors chez moi que les m-lles Woulf — leur mère était M-me Ossipoff — la phrase n'est pas exacte, et puis le sel n'y est plus! Vous comprenez?

A propos de M-me Ossipoff je puis vous anonncer qu'elle n'est plus, la pauvre femme depuis le 8 avril le mercredi de la Semaine Sainte elle a cessé d'exister; les derniers moments ont été fort tristes; et moi — j'en ai pleuré et prié de toute mon âme!..» *

Мне кажется, я была одна из самых ее близких, которая с любовью ее вспомянула и опечалилась глубоко ее печальной смертью и печальным остатком жизни [1].

Вы когда-то у меня спросили: «что такое была П. А. Осипова?» Мне кажется, я теперь могу вам это сказать п о ч т и безошибочно. С тех пор как она скончалась, я долго об ней думала, и она мне т е п е р ь ясно нарисовалась. Это была далеко не пошлая личность — будьте уверены, и я очень понимаю снисходительность и нежность к ней П у ш к и н а. Я вам только скажу о ней два факта, которые тотчас вызовут вашу симпатию.

Их было две сестры; не знаю, каких лет они лишились матери, но знаю, что они росли и воспитывались под надзором строгого и своенравного отца, господина Вындомского. Сестра ее, увлеченная сердцем, вышла против желания отца за Г а н н и б а л а (отсюда я понимаю их сближение с семейством Пушкина); [2] она, то есть сестра Прасковьи Александровны, бежала из дома родительского. Отец ее не мог простить и лишил наследства, отдав все Прасковье Александровне, тогда Вульф; после смерти отца Прасковья

* Передайте мое почтение (кажется) Ермолаю Федоровичу. Привет господину Вульфу (Алексею) они напечатали «госпоже Вульф», но у меня в то время были только девицы Вульф, дочери г-жи Осиповой,— так что эта фраза неверна и к тому же здесь пропала вся соль! Вы меня понимаете?

Кстати, относительно г-жи Осиповой. Могу сообщить вам, что ее уже нет больше на свете, бедняжка скончалась 8 апреля, в среду, на Святой неделе; минуты прощания были очень печальны, я плакала и от души за нее молилась!..

Александровна разделила имение (состоящее из 1200 душ) на две равные части и поделилась им с сестрою. Скажите: многие ли бы это сделали?? У Прасковьи Александровны тогда было пятеро детей [3], у той — только двое. Я лично этому не удивляюсь, но жизненный опыт мне доказал, что многие могут удивляться. Второе — то, что она, которая жила в среде необразованной вовсе, или, что еще хуже, полуобразованной, и имея старшего сына (Алексея), записанного пажем (по протекции и с помощью Петра Ивановича Вульфа, который тогда служил при дворе кавалером при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах), она пожелала и осуществила свое желание, отдав сына в Дерптский университет.

Это было во время моего там пребывания. Я, признаюсь вам, после смерти сестры, мною горячо любимой, очень желала содействовать примирению матери и сына, в память сестры Анны Николаевны, которая этого весьма желала и меня просила употребить мое влияние на Алексея. Но — они оба зашли очень далеко,— и мое заочное влияние было бессильно при других... недоброжелательных. Каково все поколение, происшедшее от г-на Осипова, и его собственная дочь, та самая Алина, к которой относятся нежные стихи Александра Сергеевича. Не помню начала, но вы, верно, помните между проч.:

За все мучения наградой —
Мне ваша бледная рука... [4]

Я писала к Алексею вскоре после смерти его сестры, но — безуспешно, потом говорила ему кое-что — именно об этом факте, что его мать не без заслуг перед ним,— по крайней мере за то, что пожелала дать ему университетское образование, а не то, к которому он был присужден судьбою. Он отвечал мне легко: «Это потому, что ты (я) тогда жила в Дерпте». Конечно, последнее время она была очень и очень виновата против брата, но мне жаль, мне грустно, что его раздражали только еще больше против нее и ни у кого из них не нашлось настолько чувства и христианства, чтобы ее извинить и их сблизить! Почем он знает, что ее также не вооружали против него?.. Я ей писала, но что значит письмо, когда так много вблизи вредного и постоянного влияния?.. Если б я могла к ней поехать, иначе бы было; но я не имела ни времени, ни средств; а они все, конечно, этого не желали.

Странное дело: она меня всегда любила — и в детстве, и в молодости, и в зрелом возрасте, несмотря на то что от бесхарактерности делала вред, почти что положительное зло. Я тогда сердилась на нее, но всегда потом ей прощала; она была так ласкова, так нежна со мной, как никто из моих близких и ни одна из моих родных теток.

Растолкуйте, например, эту странность: она была очень строга в детстве с Анной Николаевной; мне рассказывали (то есть не мне, а при мне, что все равно: дети все записывают на своих памятных скрижалях), что она была даже жестока с нею, ребенком, била ее (когда учила, весьма бестолково, надо сознаться, учила), драла за уши до крови и проч. и проч. Вообразите, что она при мне этого никогда не делала. Что ж такое была я для нее? Девочка одних лет с ее дочерью. И боялась ли она меня встревожить таким обращением с сестрою, которую я, при первой нашей встрече, принялась любить изо всех сил, она — также, и я до сих пор не встречала детей и молодых особ, так привязанных друг к другу, как мы с Анной Николаевной.

Когда мы съехались в Б е р н о в о, нам было по восьми лет, и, пока не приехала ожидаемая гувернантка, мы учились у своих матерей. Иногда Прасковья Александровна меня к себе брала ночевать, и я с радостью вставала зимою со свечою, оттого что так будили Анну Николаевну, и мы с нею вместе учили уроки и пили: я — чай, а она — смородину у пылающего камина, очень весело и дружелюбно. Никогда, повторяю, она не кричала на нее и не била свою дочь при мне. Это — факт. Не отсюда ли зародыш настоящей привязанности нашей, и особенно со стороны сестры; она была любящая тоже, но в ней было меньше элементов глубоких чувств,— потому я не всегда была ими довольна. Впрочем, Euphrosine * мне сказала, когда я после ее смерти выразила при встрече с нею это сомнение: «Elle n'a aimé de sa vie personne autant que Vous! Vous étiez son idéal» **.

Но обратимся к Прасковье Александровне, которую мне хочется дорисовать вам так, как она теперь представляется мне и в Бернове в детстве, и после. Когда нас отдали на руки гувернантке m-lle Benoit (тоже знаменитость в своем роде: она была привезена по требованию двора из Англии вместе с m-lle Sybourg, тоже швейцаркой, которой предло-

---

* Младшая сестра Анны Николаевны Вульф, Евпраксия Николаевна, бывшая за бароном Б. А. Вревским.

** Она никого за всю свою жизнь не любила, как Вас! Вы были ее идеалом.

жила вместо себя занять место при ее высочестве Анне Павловне, а сама ограничилась скромным званием деревенской воспитательницы в провинции), то мы вместе и учились и спальню имели общую подле комнаты m-lle Benoit. Когда же случалось, что я заболевала, то уходила во флигель и переписывалась с Анной Николаевной. Кстати вспомнить, что она сохранила мои записочки десятилетнего возраста и показывала их мне, когда я к ней приехала замужняя.

И так мне рисуется Прасковья Александровна в те времена! — нехороша собой, она, кажется, никогда не была хороша: рост ниже среднего гораздо, впрочем в размерах, и стан выточенный, кругленький, очень приятный; лицо продолговатое, довольно умное (Алексей на нее похож); нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шелковые; глаза добрые, карие, но не блестящие; рот ее только не нравился никому: он был не очень велик и не неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица, если бы не этот рот. Отсюда раздражительность характера.

Она являлась всегда приятно и поэтически. То приходила читать у нас что-нибудь (если позволяла m-lle Benoit), то учиться по-английски вместе с нами; она была очень любознательна. И как же — скажите — ей теперь это не вменить в достоинство? Ведь этому — без одного года пятьдесят лет! Иногда она приходила показать нам какой-нибудь наряд, выписанный ей дядюшкой Н. И. Вульфом, или им привезенный из Петербурга. Она мало заботилась о своем туалете, а дядюшка был большой мастер выбирать и покупать. Она только все читала и читала и училась. Она знала языки: французский порядочно и немецкий хорошо, я полагаю! Любимое ее чтение был когда-то Клопшток (кажется, первое время пребывания Пушкина в Михайловском [5]). Согласитесь, что, долго живучи в семье, где только думали покушать, отдохнуть, погулять и опять что-нибудь покушать (чистая обломовщина), большое достоинство было женщине каких-нибудь двадцати шести — двадцати семи лет сидеть в классной комнате, слушать, как учатся, и самой читать и учиться.

Ах, я и не заметила, что третий листок кончаю, так увлеклась воспоминаниями детства, а вместе желанием познакомить вас настолько и, может быть, восстановить в вашем воображении портрет, который вы желали.

Простите, ради бога, мою болтливость, и если вы будете так добры, что захотите ответить, то потрудитесь сказать мне, имеют ли намерение перепечатать статью нашу отдельно и дадут ли мне хоть несколько экземпляров для моих друзей.

Еще один вопрос: у меня набросано несколько воспоминаний — о Дельвиге, Веневитинове, Глинке и пр. интересных личностях. Тютчев сказал мужу, что у меня теперь их возьмут. Что вы на это скажете, я от вас хочу знать.

Извините, если прибавлю еще листок, чтобы дорисовать, как смогу и как я сумею, мою бедную Прасковью Александровну Осипову. Последние годы ее жизни доказали, как можно исказить существо бесхарактерное, если за это возьмутся недобрые люди! Она была любящая, поэтическая, любознательная натура, и все это ни к чему хорошему не привело. Ее последние поступки достойны были порицания всех и каждого!..[6] — да простит ей господь, как и она прощала, если обращались с нежностью прямо к ее сердцу. Я вам забыла рассказать и в своих «Воспоминаниях о Пушкине» забыла упомянуть о своем вторичном посещении тетки в Тригорском: уже с мужем (с Керном). Вы видели из писем Пушкина[7], что она сердилась на меня за выражение: «Je méprise ta mère» *. Еще бы! было и за что. Помните?

Керн предложил мне поехать. Я не хотела, потому что, во-1-х, Пушкин из угождения к ней перестал писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко поехать к тетушке, когда она сердится. Он, ни в чем никогда не сомневающийся, как следует храброму генералу, объявил, что берет на себя нас примирить. Я согласилась. Он устроил романтическую сцену в саду (над которой мы после с Анной Николаевной очень смеялись). Он пошел вперед, оставив меня в экипаже. Я через лес и сад пошла после и упала в объятия этой милой, смешной, всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня облобызала, тогда все бросились ко мне, Анна Николаевна — первая. Пушкина тут не было, но я его несколько раз видела, он очень не поладил с мужем, а со мною опять был по-прежнему, и даже больше, нежен, хотя урывками, боясь всех глаз, на него и на меня обращенных[8].

---

* Я презираю твою мать.

С тех пор *она*, приезжая в Петербург (где я постоянно жила, поместивши детей в Смольный монастырь), бывала у меня, даже у меня останавливалась, показывая и доказывая усердие и приязнь неизменяемые. Все говорят: она была сумасшедшая, она была взбалмошная, а никто не скажет ничего в ее оправдание, в извинение хоть.

Отчего это человек так склонен ухватиться за дурное только, а хорошему и похвальному гораздо менее готов отдать справедливость? Исключения весьма редки.

Еще раз прошу у вас прощения, что так вас обременила своим мараньем и своей докучливой болтовней. Вы привыкли разбирать руки, а также и мысли, вероятно. Мои всегда слишком быстро набегают одна на другую. Я не успеваю писать, а мое неумение их классировать представляет их в хаосе, из которого что-нибудь понять довольно трудно.

Итак, скажите мне — последовать ли мне совету Николая Николаевича Тютчева (которого знаю только по словам мужа, а лично не имею счастья знать) и написать ли мне *нечто вроде* дополнения к «*Воспоминаниям о Пушкине*», т. е. об нем еще кое-что, о Дельвиге, Веневитинове, Глинке и проч. [9].— Попрошу мужа привести это в порядок и, если позволите, доставлю вам. Я же сама ничего не умею сделать, ничто никогда *не переписывала и не перечитывала*, и теперь уже не выучиться.

Примите мое усердное и глубочайшее почтение и признательность.

Анна Виноградская.

А. Н. ВУЛЬФ

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ М. И. СЕМЕВСКИМ

Известно, что Пушкин был очень суеверен. Он сам мне не раз рассказывал факт, с полною верой в его непогрешимость — и рассказ этот в одном из вариантов попал в печать. Я расскажу так, как слышал от самого Пушкина: в 1817 или 1818 году, то есть вскоре по выпуске из Лицея, Пушкин встретился с одним из своих приятелей, капитаном л.-гв. Измайловского полка (забыл его фамилию). Капитан пригласил поэта зайти к знаменитой в то время в Петербурге какой-то гадальщице: барыня эта мастерски предсказывала по линиям на ладонях к ней приходящих лиц. Поглядела она руку Пушкина и заметила, что у того черты, образующие фигуру, известную в хиромантии под именем стола, обыкновенно сходящиеся к одной стороне ладони, у Пушкина оказались совершенно друг другу параллельными... Ворожея внимательно и долго их рассматривала и наконец объявила, что владелец этой ладони умрет насильственной смертью, его убьет из-за женщины белокурый молодой мужчина... Взглянув затем на ладонь капитана — ворожея с ужасом объявила, что офицер также погибнет насильственной смертью, но погибнет гораздо ранее против его приятеля: быть может, на днях...

Молодые люди вышли смущенные... На другой день Пушкин узнал, что капитан убит утром в казармах, одним солдатом. Был ли солдат пьян или приведен был в бешенство каким-нибудь взысканием, сделанным ему капитаном, как бы то ни было, но солдат схватил ружье и штыком заколол своего ротного командира... Столь скорое осуществление одного предсказания ворожеи так подействовало на Пушкина, что тот еще осенью 1835 года, едучи со мной из Петербурга в деревню, вспоминал об этом эпизоде своей молодости и говорил, что ждет и над собой исполнения пророчества колдуньи [1].

Одевался Пушкин хотя, по-видимому, и небрежно, подражая и в этом, как во многом другом, прототипу своему — Байрону, но эта небрежность была кажущаяся: Пушкин относительно туалета был весьма щепетилен. Например, мне кто-то говорил или я где-то читал, будто Пушкин, живя в деревне, ходил все в русском платье Совершеннейший вздор: Пушкин не изменял обыкновенному светскому костюму. Всего только раз, заметьте себе — раз, во все пребывание в деревне, и именно в девятую пятницу после пасхи, Пушкин вышел на святогорскую ярмарку в русской красной рубахе, подпоясанный ремнем, с палкой и в корневой шляпе, привезенной им еще из Одессы. Весь новоржевский beau monde, съезжавшийся на эту ярмарку (она бывает весной) закупать чай, сахар, вино, увидя Пушкина в таком костюме, весьма был этим скандализован [2]. 〈...〉

Вы, вероятно, знаете,— Байрон так метко стрелял, что на расстоянии 25-ти шагов утыкивал всю розу пулями. Пушкин, по крайней мере, в те годы, когда жил здесь, в деревне, решительно был помешан на Байроне; он его изучал самым старательным образом и даже старался усвоить себе многие привычки Байрона. Пушкин, например, говаривал, что он ужасно сожалеет, что не одарен физическою силой, чтоб делать, например, такие подвиги, как английский поэт, который, как известно, переплывал Геллеспонт... А чтобы сравняться с Байроном в меткости стрельбы, Пушкин вместе со мной сажал пули в звезду.

Между прочим, надо и то сказать, что Пушкин готовился одно время стреляться с известным, так называемым *американцем* Толстым... Где-то в Москве Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул. Пушкин заметил ему это. «Да, я сам это знаю,— отвечал ему Толстой,— но не люблю, чтобы мне это замечали». Вследствие этого Пушкин намеревался стреляться с Толстым и вот, готовясь к этой дуэли, упражнялся со мною в стрельбе [3].

Сестра моя Euphrosine, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку: сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку... и вот мы из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдете немало упоминаний в посланиях ко мне Языкова,— сидим, беседуем да распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий

смех, что за дивные стихи то того, то другого поэта сопровождали нашу дружескую пирушку! Языков был, как известно, страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится — куда пропадет застенчивость — и что за стихи, именно *Языковские стихи,* говорил он, то за «чашей пунша», то у ног той же Евпраксии Николаевны [4]. 〈...〉

К этому же времени относится одна наша с Пушкиным затея. Пушкин, не надеясь получить в скором времени право свободного выезда с места своего заточения, измышлял различные проекты, как бы получить свободу. Между прочим, предложил я ему такой проект: я выхлопочу себе заграничный паспорт и Пушкина, в роли своего крепостного слуги, увезу с собой за границу. Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта, не знаю; я думаю, что все кончилось бы на словах; к счастию, судьбе угодно было устроить Пушкина так, что в сентябре 1826 года он получил, и притом совершенно оригинально, вожделенную свободу [5].

Во время пребывания своего в ссылке, в деревне, Пушкин под надзором игумена Святогорского монастыря не был и только угощал его по праздникам... [6] От игумена Святогорского монастыря Пушкин позаимствовал поговорки, вставленные в «Бориса Годунова», именно в ту сцену, которая происходит в корчме на границе:

Наш Фома
Пьет до дна,
Выпьет — да поворотит,
Да в донушко поколотит...— *и т. д.*

В первых изданиях «Бориса Годунова» эти поговорки выброшены.

Языков в своем известном послании говорит, что из Михайловского в Тригорское

На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Вольтер, и Гете, и Расин,
Являлся Пушкин знаменитый...

Но, увы! в прозе действительности Пушкин восседал не на вороном аргамаке, а на старой кляче.

Перед дуэлью Пушкин не искал смерти; напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт располагал поплатиться за это лишь новою ссылкою в Михайловское, куда возьмет и жену, и там-то, на свободе предполагал заняться составлением истории Петра Великого.

Пушкин ⟨...⟩ до такой степени верил в зловещее пророчество ворожеи, что когда, впоследствии, готовясь к дуэли с известным американцем гр. Толстым, стрелял вместе со мною в цель, то не раз повторял: «Этот меня не убьет, а убьет белокурый, так колдунья пророчила»,— и точно, Дантес был *белокур*.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

16 сентября ⟨1827 г.⟩ Вчера обедал я у Пушкина в селе его матери, недавно бывшем еще месте его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе (другие уверяют, что он приехал оттого, что проигрался) [1].

По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим его столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали Montesquieu с «Bibliothèque de campagne» * и «Журналом Петра I», виден был также Alfieri **, ежемесячники Карамзина и изъяснение снов, скрывшееся в полдюжине альманахов; [2] наконец, две тетради в черном сафьяне остановили мое внимание на себе: мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного, заключенного в них, особливо когда на большей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Естественно, что я думал видеть летописи какой-нибудь ложи; но Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, окончил все мои предположения, сказав мне, что она была счетною книгой такого общества, а теперь пишет он в ней стихи; в другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником при-

* Монтескье и «Сельские чтения».
** Алфьери.

сланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет — как Пушкин говорит — неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения [3].

Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр; рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги; он хотел мне показать «Годунова» с собственноручными его величества поправками. Высокому цензору не понравились шутки старого монаха с харчевницею [4]. В «Стеньке Разине» не прошли стихи, где он говорит воеводе Астраханскому, хотевшему у него взять соболью шубу: «Возьми с плеч шубу, да чтобы не было шуму». Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его «Графа Нулина»: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп [5].

Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову» [6].

Играя на биллиарде, сказал Пушкин: «Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря» [7].

11—12 сентября ⟨*1828 г.*⟩. Эти два дня не оставили после себя много замечательного. Я видел Пушкина, который хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо оттого пострадает доброе имя и сестры, и матери, а сестре и других ради причин это вредно ⟨...⟩

4 и 5 октября... Недавно, заходя к Пушкину, застал я его пишущим новую поэму, взятую из Истории Малороссии: донос Кочубея на Мазепу и похищение последним его дочери.— Стихи, как всегда, прекрасные, а любовь молодой девушки к 60-летнему старику и крестному отцу, Мазепе и характер сего скрытного и жестокого честолюбца пре

восходно описаны.— Судя по началу, объем сего произведения гораздо обширнее прежних его поэм. Картины все несравненно полнее всех прежних: он истощает как бы свой предмет. Только описание нрава Мазепы мне что-то знакомо; не знаю, я как будто читал прежде похожее: может быть, что это оттого, что он исторически верен, или я таким его воображал себе...

11 октября. Я почти целый день опять пробыл у барона. Пушкин уже пишет 3 песню своей поэмы, дошел до Полтавской Виктории...

13 октября. Я отвечал Языкову, потом был у Пушкина, который мне читал почти уже конченную свою поэму. Она будет в 3 песнях и под названием «Полтавы», потому что ни «Кочубеем», ни «Мазепой» ее назвать нельзя по частным причинам. Казнь Кочубея очень хороша, раскаяние Мазепы в том, что он надеялся на Палладина Карла XII, который умел только выигрывать сражения, тоже весьма истинна и хорошо рассказана.— Можно быть уверену, что Пушкин в этом роде Исторических повестей успеет не менее, чем в прежних своих [8].— Обедал я у его отца, возвратившегося из Псковской губ., где я слышал много про Тригорское...

14 октября... вечер провел с Дельвигом и Пушкиным. Говорили об том и другом, а в особенности об Баратынском и Грибоедова комедии «Горе от ума», в которой барон, несправедливо, не находит никакого достоинства... [9]

18 ⟨октября⟩. Поутру я зашел к Анне Петровне и нашел там, как обыкновенно, Софью. В это время к ней кто-то приехал, ей должно было уйти, но она обещала возвратиться. Анна Петровна тоже уехала, и я остался чинить перья для Софьи; она не обманула и скоро возвратилась. Таким образом мы были наедине, исключая несносной девки, пришедшей качать ребенка. Я, как почти всегда в таких случаях, не знал, что говорить, она, кажется, не менее моего была в замешательстве, и, видимо, мы не знали оба, с чего начать,— вдруг явился тут Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдает в «Северные цветы», и уехал. Мы начали говорить об нем; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец она, приняв одно общее мнение его об женщинах за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает... [10]

2 ⟨ноября⟩ ... вечером принесли мне письма от матери

и сестры, а в последнем милую приписку от Пушкина, которая начинается желанием здравия *Тверского Ловеласа С.-Петербургскому Вальмону.*— Верно, он был в весьма хорошем расположении духа и, любезничая с тамошними красавицами, чтобы пошутить над ними, писал ко мне,— но и это очень меня порадовало...[11]

6 февраля 1829 г. ... В Крещение приехал к нам в Старицу Пушкин, «Слава наших дней, поэт любимый небесами» — как его приветствует костромской поэт гж. Готовцева. Он принес в наше общество немного разнообразия. Его светский блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, от чего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катенька Вельяшева), несмотря ни на советы Мефистофеля, ни на волокитство Фауста, осталась холодною: все старания были напрасны[12] ⟨...⟩

После праздников поехали все по деревням; я с Пушкиным, взяв по бутылке шампанского, которые морозили, держа на коленях, поехали к Павлу Ивановичу ⟨Вульфу⟩. За обедом мы напоили Люнелем, привезенным Пушкиным из Москвы, Фрициньку (гамбургскую красавицу, которую дядя привез из похода и после женился на ней), немку из Риги, полугувернантку, полуслужанку, обрученную невесту его управителя и молодую, довольно смешную, девочку, дочь прежнего берновского попа, тоже жившую под покровительством Фридерики ⟨...⟩. В таких занятиях, в охоте и поездках то в Берново, то к Петру Ивановичу ⟨...⟩ или в Павловское, где вчера мы играли в вист,— провел я еще с неделю до отъезда с Пушкиным в Петербург.

Сарыксой, 20 февраля. 16 января[13]. Путешествие мое в Петербург с Пушкиным было довольно приятно, довольно скоро и благополучно, исключая некоторых прижимок от ямщиков. Мы понадеялись на честность их, не брали подорожной, а этим они хотели пользоваться, чтобы взять с нас более ⟨...⟩ На станциях, во время перепрягания лошадей, играли мы в шахматы, а дорогою говорили про современные отечественные события, про литературу, про женщин, любовь и пр. Пушкин говорит очень хорошо; пылкий проницательный ум обнимает быстро предметы; но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро; женщин же он знает как никто. Оттого, не пользуясь никакими

наружными преимуществами, всегда имеющими влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного.— Пользовавшись всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петербурга, т. е. купив в Валдае баранков (крендели небольшие) у дешевых красавиц, торгующих ими, в Вышнем Волочке завтракали мы свежими сельдями, а на станции Яжелбицах ухою из прекраснейших форелей, единственных почти в России; приехали мы на третий день вечером в Петербург, прямо к Andrieu (где обедают все люди лучшего *тона*). Вкусный обед, нам еще более показавшийся таким после трехдневного путешествия, в продолжение которого, несмотря на все, мы порядочно поели, запили мы каким-то, не помню, новым родом шампанского (Bourgogne mousseux, которое одно только месяц тому назад там пили, уже потеряло славу у его гастрономов). Я остановился у Пушкина в Демутовой гостинице, где он всегда живет, несмотря на то что его постоянное пребывание — Петербург...

27 декабря ⟨1829 г.⟩ Мать пишет, что в Тригорском она нашла все хозяйство в большом беспорядке ⟨...⟩ Она также пишет, что Пушкин в Москве уже; вот судьба завидная человека, который по своей прихоти так скоро может переноситься с Арарата на берега Невы, а мы должны здесь томиться в нужде, опасностях и скуке!!! [14]

10 февраля ⟨1830 г.⟩... Дельвиги, кажется, не оставляют Петербург, потому что барон, Пушкин и Сомов издают вместе «Литературные газеты». Хорошее намерение, вкус и таланты издателей, известные публике, кажется, могут служить порукою достоинства газеты. Посмотрим, исполнятся ли ожидания...

15 февраля. Пообедав вчера у Ушакова жирным гусем, мною застреленным, пробудился я из вечерней дремоты приходом Дельво, который принес большой пук писем. В нем нашлось и два ко мне: оба сестрины от октября, в одном же из них приписка Пушкина, в то время бывшего у них в Старице проездом из Москвы в Петербург. Как прошлого года в это же время писал он ко мне в Петербург о тамошних красавицах, так и теперь, величая меня именем Ловласа, сообщает он известия очень смешные об них, доказывающие, что он не переменяется с летами и возвратился из Арзерума точно таким, каким и туда поехал,— весьма циническим волокитою.

Как Сомов дает нам ежегодно обзоры за литературу, так и я желал бы от него каждую осень получать обзоры за

нашими красавицами.— Сестра в первом своем письме сообщает печальное известие, что Кусовников оставляет Старицу, а с ним все радости и надежды ее оставляют. Это мне была уже не новость. Во втором же она пишет только о Пушкине, его волокитствах за Netty... [15]

28 июня ⟨1830⟩ ... Сестра сообщает мне любопытные новости, а именно две свадьбы: брата Александра Яковлевича и *Пушкина на Гончаровой*, первостатейной московской красавице. Желаю ему быть счастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если *круговая порука* есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить свою жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся...

17 октября ⟨1830⟩ «Северные цветы на 1830 год» никак не могут сравниться с вышедшими в 29, которые решительно лучше всех прежних, и стоят наряду с предшественниками своими. Даже отделение поэзии, всегда и во всех альманахах превосходящее прозу, весьма бедно. Отрывок из VII гл. «Онегина», описание весны, довольно вяло; маленькие, альбомные его стишки, «Я вас любил...» и т. п. не лучше, точно так же, как и эпиграммы его и Баратынского очень тупы...

30 декабря ⟨1830⟩ Сестра Анна пишет, что будто бы «Литературную газету» запретили [16] за стихи, о которых мне писала Анна Петровна. Пушкин все еще не женился, а брат его Лев уверяет, что если *Гончарова* не выйдет замуж за Александра Сергеевича, то будет его невестою...

28 марта ⟨1831 г.⟩ Около Дубно. Сегодня Ушакова брат привез из Москвы известие, что Пушкин наконец женился, и поклоны от тверских сестричек... [17]

15 июня ⟨1833 г.⟩ С большим удовольствием перечел и сегодня 8-ю и вместе последнюю главу «Онегина», одну из лучших глав всего романа, который всегда останется одним из блистательнейших произведений Пушкина, украшением нынешней нашей литературы, довольно верною картиною нравов, а для меня лично — источником воспоминаний весьма приятных по большей части, потому что он не только почти весь написан в моих глазах, но я даже был действующим лицом в описаниях деревенской жизни Онегина, ибо она вся взята из пребывания Пушкина у нас, «в губернии Псковской». Так я, дерптский студент, явился в виде геттингенского под названием Ленского; любезные мои сестрицы суть образцы его деревенских барышень,

и чуть не Татьяна ли одна из них. Многие из мыслей, прежде чем я прочел в «Онегине», были часто, в беседах с глаз на глаз с Пушкиным в Михайловском, пересуждаемы между нами, а после я встречал их, как старых знакомых [18]. Так в глазах моих написал он и «Бориса Годунова» в 1825 году, а в 1828 читал мне «Полтаву», которую он написал весьма скоро — недели в три. Лето 1826 года, которое провел я с Пушкиным и Языковым, будет всегда мне памятным, как одно из прекраснейших...

18 февраля ⟨1834⟩ Село Малинники. ...На пути из Псковской губернии в сию ⟨в Тверскую⟩ заезжал я на несколько дней в Петроград, чтобы в день именин Анны Петровны навестить ее, и нашел у А. Пушкина, что нынче камер-юнкер, послание ко мне, про существование коего мне и не снилось...

19 февраля. Понедельник ⟨1834 г.⟩ ... Видел моего сожителя варшавского Льва Пушкина, который помешался, кажется, на рифмоплетении; в этом занятии он нашел себе достойного сподвижника в Соболевском, который, по возвращении своем из чужих краев, стал сноснее, чем он был прежде. Я было и забыл заметить также, что удостоился я лицезреть супругу Пушкина, о красоте коей молва далеко разнеслась. Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое. Самого же поэта я нашел мало изменившимся от супружества, но сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно; к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи... [19]

8-го декабря ⟨1836 г.⟩ ...Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей...

21 марта ⟨1842 г.⟩ В Малинниках ... Первым удовольствием для меня была неожиданная встреча с Львом Пушкиным. На пути с Кавказа в Петербург, разумеется, не на прямом, как он всегда странствует, заехал он к нам в Тригорское навестить нас да взглянуть на могилы своей матери и брата, лежащих теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу после смерти, чем были в жизни. Обоих он не видел перед смертью и, в 1835 году расставаясь с ними, никак не думал, что так скоро в одной могиле заплачет над ними. Александр Сергеевич, отправляя его тогда на Кавказ (он в то время взял на себя управление отцовского

имения и уплачивал долги Льва), говорил шутя, чтобы Лев сделал его наследником, потому что все случаи смертности на его стороне; раз, что он едет в край, где чума, потом — горцы и, наконец, как военный и холостой человек, он может еще быть убитым на дуэли. Вышло же наоборот: он — женатый, отец семейства, знаменитый — погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибочным расчетом, а этот под пулями черкесов беспечно пил кахетинское и так же мало потерпел от одних, как от другого. Такова судьба наша, или, вернее сказать, так неизбежны следствия поступков наших.

М. И. ОСИПОВА

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ М. И. СЕМЕВСКИМ

Семья наша в 1824—1826 годах, то есть в года заточения Александра Сергеевича в сельце Михайловском, состояла из следующих лиц: маменьки нашей Прасковьи Александровны, вдовствовавшей тогда по втором уже муже, о моем отце, г. Осипове, и из сестер моих от другого отца: Анны Николаевны и Евпраксии Николаевны Вульф, и родных сестер моих Катерины и Александры Осиповых. Брат Алексей Николаевич был в то время студентом в Дерпте и наезжал сюда на святки и каникулы. Все сестры мои были в то время невестами, и из них особенно хороша была Евпраксия. Каждый день, часу в третьем пополудни, Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек,— выйдем к нему навстречу...

Раз, как теперь помню, тащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть не по земле волочатся — я и ну над ним смеяться и трунить. Он потом за мной погнался, все своими ногтями грозил: ногти ж у него такие длинные, он их очень берег... Приходил, бывало, и пешком; подберется к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он шасть и влезет в окно... Что? Ну уж, батюшка, в какое он окно влезал, не могу вам указать! мало ли окон-то? он, кажется, во все перелазил... Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепьяно... Покойная сестра Alexandrine, как известно вам, дивно играла на фортепьяно; ее поистине можно было заслушаться... Я это, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин,— все пошло вверх дном; смех, шутки, говор так и раздаются по комнатам. Я и то, бывало, так и жду его

с нетерпением, бывало, никак не совладаешь с каким-нибудь заданным переводом; пришел Пушкин — я к нему подбегу: «Пушкин, переведите!» — и вмиг перевод готов. Впрочем, немецкий язык он плохо знал, да и не любил его; бывало, к сестрам принесет книгу, если что ему нужно перевести с немецкого [1]. А какой он был живой; никогда не посидит на месте, то ходит, то бегает! Да чего, уж впоследствии, когда он приезжал сюда из Петербурга, едва ли уж не женатый, сидит как-то в гостиной, шутит, смеется; на столе свечи горят: он прыг с дивана, да через стол, и свечи-то опрокинул... Мы ему говорим: «Пушкин, что вы шалите так, пора остепениться»,— а он смеется только. В комнате почти все, что вы видите, все так же было и при Пушкине: в этой зале стоял этот же большой стол, эти же простые стулья кругом,— те же часы хрипели в углу; а вот, на стене висит потемневшая картина: на нее частенько заглядывался Пушкин [2] 〈...〉

Пушкин, бывало, нередко говорит нам экспромты, но так, чтоб прочесть что-нибудь длинное — это делал редко, впрочем, читал превосходно, по крайней мере, нам очень нравилось его чтение...

Как вы думаете, чем мы нередко его угощали? Мочеными яблоками, да они ведь и попали в «Онегина»; жила у нас в то время ключницей Акулина Памфиловна — ворчунья ужасная. Бывало, беседуем мы все до поздней ночи — Пушкину и захочется яблок; вот и пойдем мы просить Акулину Памфиловну: «принеси да принеси моченых яблок»,— а та и разворчится. Вот Пушкин раз и говорит ей шутя: «Акулина Памфиловна, полноте, не сердитесь! завтра же вас произведу в попадьи». И точно, под именем ее — чуть ли не в «Капитанской дочке» — и вывел попадью; а в мою честь, если хотите знать, названа сама героиня этой повести... Был у нас буфетчик Пимен Ильич — и тот попал в повесть... [3]

А как любил Пушкин наше Тригорское: в письмах его к нашей маменьке вы найдете беспрестанные его воспоминания о Тригорском и постоянные сюда стремления; я сама от него слышала, кажется, в 1835 году (да, так точно, приехал он сюда дня на два всего — пробыл 8-го и 9-го мая), приехал такой скучный, утомленный. «Господи, говорит, как у вас тут хорошо! А там-то, там-то, в Петербурге, какая тоска зачастую душит меня!» [4] 〈...〉

Осень и зиму 1825 года мы мирно жили у себя в Тригорском. Пушкин, по обыкновению, бывал у нас почти каж-

дый день, а если, бывало, заработается и засидится у себя дома, так и мы к нему с матушкой ездили... О наших наездах, впрочем, он сам вспоминает в своих стихотворениях.

Вот однажды, под вечер, зимой — сидели мы все в зале, чуть ли не за чаем. Пушкин стоял у этой самой печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал Арсений. У нас был, извольте видеть, человек Арсений — повар. Обыкновенно, каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург; там эти яблоки и разную деревенскую провизию Арсений продавал и на вырученные деньги покупал сахар, чай, вино и т. п. нужные для деревни запасы. На этот раз он явился назад совершенно неожиданно: яблоки продал и деньги привез, ничего на них не купив. Оказалось, что он в переполохе, приехал даже на почтовых. Что за оказия! Стали расспрашивать — Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду разъезды и караулы, насилу выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню.

Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно — не помню.

На другой день — слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебегал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием, Пушкин отложил свою поездку в Петербург, а между тем подоспело известие о начавшихся в столице арестах, что окончательно отбило в нем желание ехать туда [5].

Кстати, брат Пушкина, Лев, как рассказывал потом отец его, в день ареста Рылеева поехал к нему; отец, случайно узнав об этом, стал усердно молиться, страшась, чтобы сын его также не был бы взят: и что ж, Льва Пушкина понесли лошади, он очутился на Смоленском, и когда добрался к Рылееву — тот был уже арестован, и квартира его запечатана [6]. ⟨...⟩

1-го или 2-го сентября 1826 года [7] Пушкин был у нас; погода стояла прекрасная, мы долго гуляли; Пушкин был особенно весел. Часу в 11-м вечера сестры и я проводили Александра Сергеевича по дороге в Михайловское... Вдруг

рано на рассвете является к нам Арина Родионовна, няня Пушкина... Это была старушка чрезвычайно почтенная — лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком — любила выпить... Бывала она у нас в Тригорском часто и впоследствии у нас же составляла те письма, которые она посылала своему питомцу.

На этот раз она прибежала вся запыхавшись; седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд. Из расспросов ее оказалось, что вчера вечером, незадолго до прихода Александра Сергеевича, в Михайловское прискакал какой-то — не то офицер, не то солдат (впоследствии оказалось фельдъегерь). Он объявил Пушкину повеление немедленно ехать вместе с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было. «Что ж, взял этот офицер какие-нибудь бумаги с собой?» — спрашивали мы няню. «Нет, родные, никаких бумаг не взял, и ничего в доме не ворошил; после только я сама кой-что поуничтожила».— «Что такое?» — «Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил, а я так терпеть его не могу, и дух-то от него, от сыра-то этого немецкого, такой скверный». ⟨...⟩

Сквер перед домом во время Пушкина тщательно поддерживался, точно так же не совершенно был запущен тенистый небольшой сад; в нем были цветники... Все это поддерживалось потому, что не только Александр Сергеевич, но и его родители с остальными членами семьи почти каждое лето сюда приезжали — Пушкин, когда женился, также приезжал сюда, и, наконец, по его кончине, вдова Пушкина также приезжала сюда гостить раза четыре с детьми.

Но когда Наталья Николаевна (Пушкина) вышла вторично замуж — дом, сад и вообще село было заброшено, и в течение восемнадцати лет все это глохло, гнило, рушилось. Время от времени заглядывали в Михайловское почитатели Пушкина, осматривали полуразвалившийся домик и слушали басни старосты, который не только не служил при Александре Сергеевиче, но даже не видал его, потому что староста этот был из крепостных Ланского и прислан сюда Натальей Николаевной уже по вторичном выходе ее замуж... Все это не мешало старосте пускаться

в россказни о Пушкине с посетителями Михайловского. ⟨...⟩

Наконец, в последние годы исчез и дом поэта: его продали за бесценок на своз, а вместо него выстроен новый, крайне безвкусный домишко — совершенно по иному плану, нежели как был расположен прежний домик. Этот новый дом я и видеть-то не хочу, так мне досадно, что не сбережен, как бы везде это сделали за границей, не сбережен домик великого поэта.

П. ПАРФЕНОВ

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ К. А. ТИМОФЕЕВЫМ

Мы заранее навели справки, есть ли в усадьбе кто-нибудь из дворовых, кто бы помнил Пушкина. Оказалось, жив еще один старик Петр, служивший кучером у Александра Сергеевича. Отыскали Петра. Старик он лет за 60, еще бодрый, говорит хорошо, толково и, как видно, очень понимает, что за генерал был его барин. «Увидеть барский дом нельзя ли?» — сказалось само собою, потому что здесь как-то сами собою навертываются стихи из «Онегина». Ну покажи нам, Петр, где тут больше проводил время твой покойный барин,

Где почивал он, кофе кушал,
Приказчика доклады слушал?[1]

— Э, батюшка, наш Александр Сергеевич никогда этим не занимался: всем староста заведовал; а ему, бывало, все равно, хошь мужик спи, хошь пей: он в эти дела не входил. А жил он вот тут, пожалуйте ⟨...⟩

— Где же тут был кабинет Александра Сергеевича?

— А вот тут все у него было: и кабинет, и спальня, и столовая, и гостиная [2].

Смотрим: комната в одно окно, сажени в три, квадратная.

— Тут у него столик был под окном. Коли дома, так все он тут, бывало, книги читал, и по ночам читал: спит, спит да и вскочит, сядет писать; огонь у него тут беспереводно горел.

— Так ты его, старик, хорошо помнишь?

— Как не помнить; я здесь у него кучером служил, я его и в Михайловское-то привез со станции, как он сюда из Одессы был вытребован [3].

— А няню его помнишь? Правда ли, что он ее очень любил?

— Арину-то Родионовну? Как же еще любил-то, она у него вот тут и жила. И он все с ней, коли дома. Чуть встанет утром, уж и бежит ее глядеть: «здорова ли, мама?» — он ее все мама называл. А она ему, бывало, эдак нараспев (она ведь из-за Гатчины была у них взята, с Суйды, там эдак все певком говорят): «батюшка ты, за что меня все мамой зовешь, какая я тебе мать».

— Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила.— И уже чуть старуха занеможет там, что ли, он уж все за ней. ⟨...⟩

— А правда ли, Петр, что Александр Сергеевич читывал няне свои стихи и сам любил слушать ее сказки?

— Да, да, это бывало: сказки она ему рассказывала, а сам он ей читал ли что, не запомню: только точно, что он любил с ней толковать [4]. Днем-то он мало дома бывал; все больше в Тригорском, у Парасковьи Александровны у Осиповой-то, что вот прошлым годом померла. Там он все больше время проводил: уйдет туда с утра, там и обедает, ну а к ночи уж завсегда домой.

— Скучал он тут жить-то?

— Да, стало быть, скучал; не поймешь его, впрочем, мудреный он тут был, скажет иногда не ведь что, ходил эдак чудно: красная рубашка на нем, кушаком подвязана, штаны широкие, белая шляпа на голове: волос не стриг, ногтей не стриг, бороды не брил — подстрижет эдак макушечку, да и ходит. Палка у него завсегда железная в руках, девять функтов весу; уйдет в поля, палку кверху бросает, ловит ее на лету, словно тамбурмажор. А не то дома вот с утра из пистолетов жарит, в погреб, вот тут за баней, да раз сто эдак и выпалит в утро-то [5].

— А на охоту ходил он?

— Нет, охотиться не охотился: так все в цель жарил.

— Приезжал к нему кто-нибудь в Михайловское?

— Ездили тут вот, опекуны к нему были приставлены из помещиков: Рокотов да Пещуров Иван [6]. Ивана Пещурова-то он хорошо принимал, ну а того — так, бывало, скажет: опять ко мне тащится, я его когда-нибудь в окошко выброшу.

— Ну, а слышно ль было вам, за что его в Михайловское-то вытребовали?

— Да говорили, что, мол, Александр Сергеевич на слова востер был, спуску этто не любил давать. Да он и здесь тоже себя не выдавал. Ярмарка тут в монастыре бывает в девятую пятницу перед Петровками; ну, народу много собира-

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

В [illegible]

За[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ни до [illegible]

Au riv

[illegible]

ется; и он туда хаживал, как есть, бывало, как дома: рубаха красная, не брит, не стрижен, чудно так, палка железная в руках; придет в народ, тут гулянье, а он сядет наземь, соберет к себе нищих, слепцов, они ему песни поют, стихи сказывают. Так вот было раз, еще спервоначалу, приехал туда капитан-исправник на ярмарку: ходит, смотрит, что за человек чудной в красной рубахе с нищими сидит. Посылает старосту спросить: кто, мол, такой? А Александр-то Сергеевич тоже на него смотрит, зло так, да и говорит эдак скоро (грубо так он всегда говорил): «Скажи капитану-исправнику, что он меня не боится, и я его не боюсь, а если надо ему меня знать, так я — Пушкин». Капитан ничто взяло, с тем и уехал, а Александр Сергеевич бросил слепцам беленькую да тоже домой пошел [7]. 〈...〉

— А ты помнишь ли, Петр, как Александра Сергеевича государь в Москву вызвал на коронацию? Рад он был, что уезжает?

— Рад-то рад был, да только сначала все у нас перепугались. Да как же? Приехал вдруг ночью жандармский офицер из городу, велел сейчас в дорогу собираться, а зачем — неизвестно. Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеевич ее утешать: «Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь хоть куды ни пошлет, а все хлеба даст». Жандарм торопил в дорогу, да мы все позамешкались: надо было в Тригорское посылать за пистолетами, они там были оставши; ну, Архипа-садовника и послали. Как привез он пистолеты-то, маленькие такие были в ящичке, жандарм увидел и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны».— «А мне какое дело? мне без них никуда нельзя ехать; это моя утеха» [8].

— А в город он иногда ездил, в Новоржев-то?

— Не запомню, ездил ли. Меня раз туда посылал, как пришла весть, что царь умер. Он в эвтом известии все сумневался, очень беспокоен был да прослышал, что в город солдат пришел отпускной из Петербурга, так за эвтим солдатом посылал, чтоб от него доподлинно узнать [9].

— Случилось ли тебе видеть Александра Сергеевича после его отъезда из Михайловского?

— Видал его еще раз потом, как мы книги к нему возили отсюда.

— Много книг было?

— Много было. Помнится, мы на двенадцати подводах везли; двадцать четыре ящика было; тут и книги его, и бумаги были [10]. ⟨...⟩

— А при погребении Александра Сергеевича ты был? Кто провожал его тело?

— Провожал его из города генерал Фомин да офицер, а еще кто был ли тут, уж не помню [11]. ⟨...⟩

— Хорошо плавал Александр Сергеевич?

— Плавать плавал, да не любил долго в воде оставаться. Бросится, уйдет во глубь и — назад. Он и зимою тоже купался в бане: завсегда ему была вода в ванне приготовлена. Утром встанет, пойдет в баню, прошибет кулаком лед в ванне, сядет, окатится, да и назад; потом сейчас на лошадь и гоняет тут по лугу; лошадь взмылит и пойдет к себе.

Е. И. ФОК

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ В. П. ОСТРОГОРСКИМ

Это был человек симпатичнейший, неимоверно живой, в высшей степени увлекающийся, подвижный, нервный. Кто его видел — не забудет уже никогда. У нас его очень любили; он приезжал сюда отдыхать от горя. А как бедствовал-то он, вечно нуждался в деньгах; не хватало их на петербургскую жизнь... А в Михайловском как бедствовал страшно: имение-то было запущено... Я сама, еще девочкой, не раз бывала у него в имении и видела комнату, где он писал. Художник Ге написал на своей картине «Пушкин в селе Михайловском» кабинет совсем неверно. Это — кабинет не Александра Сергеевича, а сына его, Григория Александровича. Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсе простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат, а стол был ломберный, ободранный: на нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки [1]. И книг у него своих в Михайловском почти не было; больше всего читал он у нас в Тригорском, в библиотеке нашего дедушки по матери, Вындомского [2]. Много страдал он и из-за своих родных, особенно от своего брата Льва, запоминавшего его стихи и разносившего их по знакомым; сам же читать своих стихов не любил. ⟨...⟩

Когда произошла эта несчастная дуэль, я, с матушкой и сестрой Машей, была в Тригорском, а старшая сестра, Анна, в Петербурге. О дуэли мы уже слышали, но ничего путем не знали, даже, кажется, и о смерти. В ту зиму морозы стояли страшные. Такой же мороз был и 15-го февраля 1837 года. Матушка недомогала, и после обеда, так часу в третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг видим в окно: едет к нам возок с какими-то двумя людьми, за ним длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям: видим, наш старый знакомый, Александр Иванович

Тургенев. По-французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина, но, не зная хорошенько дороги в монастырь и перезябши вместе с везшим гроб ямщиком, приехали сюда. Какой ведь случай! Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтоб не проститься с Тригорским и с нами. Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилась везти теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядили копать могилу. Но ее копать не пришлось: земля вся промерзла,— ломом пробивали лед, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом. Наутро, чем свет, поехали наши гости хоронить Пушкина, а с ними и мы обе — сестра Маша и я, чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь, и после заупокойной обедни всем монастырским клиром, с настоятелем, архимандритом, столетним стариком Геннадием во главе, похоронили Александра Сергеевича, в присутствии Тургенева и нас двух барышень. Уже весной, когда стало таять, распорядился Геннадий вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно. Склеп и все прочее устраивала сама моя мать, так любившая Пушкина, Прасковья Александровна. Никто из родных так на могиле и не был. Жена приехала только через два года, в 1839 году [3].

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Аммосов — А м м о с о в А. Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. СПб., 1863.

Анненков — А н н е н к о в П. В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1855 (Сочинения Пушкина с приложением материалов для биографии, портрета, снимков с его почерка и его рисунков, и проч., т. 1).

Базанов — Б а з а н о в В. Г. Ученая республика. М.— Л., 1964.

Барсуков — Б а р с у к о в Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1—22. СПб., 1888—1910.

БдЧ — Библиотека для чтения.

Белинский — Б е л и н с к и й В. Г. Полное собрание сочинений, т. I—XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953—1959.

БЗ — Библиографические записки.

Боричевский — Б о р и ч е в с к и й И. А. Заметки Жуковского о гибели Пушкина.— В кн.: *П. Врем.*, т. 3, с. 371—392.

ВЕ — Вестник Европы.

Восстание декабристов — Восстание декабристов. Материалы, т. I—VI. М.— Л., Госиздат, 1925—1929.

Врем. ПК — Временник Пушкинской комиссии. 1962—1970. М.— Л., Наука, 1963—1972 (Изд-во АН СССР, Отд. лит. и яз. Пушкинская комиссия).

Вяземский — В я з е м с к и й П. А. Полное собрание сочинений, т. I—XII. СПб., 1878—1896.

Гастфрейнд. Товарищи П. — Г а с т ф р е й н д Н. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею. Материалы для словаря лицеистов 1-го курса 1811—1837 гг., т. I—III. СПб., 1912—1913.

ГБЛ — Государственная библиотека им. В. И. Ленина (Москва) Рукописный отдел.

Гессен — Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Ред., вступ. статья и примеч. С. Я. Гессена. Л., Гослитиздат, 1936.

Гоголь — Г о г о л ь Н. В. Полное собрание сочинений, т. 1—14. М.— Л., 1937—1952 (АН СССР. Институт русской литературы. Пушкинский дом).

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Рукописный отдел.

К. Я. Грот — Грот К. Я. Пушкинский лицей. СПб., 1911.

Я. К. Грот, 1899.— Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е, доп. СПб., 1899.

Дело о дуэли — Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 1900.

Дн. Модз. — Пушкин А. С. Дневник. 1833—1835 гг. Под ред. и с объяснит. примеч. Б. Л. Модзалевского и со статьей П. Е. Щеголева. М.— Пг., Госиздат, 1923.

Дн. Сав.— А. С. Пушкин. Дневник. 1833—1835 гг. Под ред. В. Ф. Саводника. М.— Пг., Госиздат, 1923 (Труды гос. Румянцевского музея, вып. 1).

ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения.

ИВ — Исторический вестник.

Изв. ОЛЯ — Известия АН СССР. Отделение литературы и языка.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (Ленинград). Рукописный отдел.

КА — Красный архив.

Карамзины — Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.— Л., 1960 (АН СССР. Институт русской литературы. Пушкинский дом).

Керн — Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. Вступ. статья, ред., подгот. текста и примеч. А. М. Гордина. М., 1974.

ЛГ — Литературная газета.

Лемке — Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов. По подлинным делам Третьего отделения собственной е. имп. в. канцелярии. СПб., 1908.

Лет. ГЛМ — Летописи Государственного Литературного музея, кн. 1. Пушкин. Ред. М. А. Цявловского. М.— Л., 1936.

Летопись — Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1. М., 1951 (АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького).

Лит. арх.— Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения, т. 1. Под ред. С. Д. Балухатова, Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1938.

ЛН — Литературное наследство.

ЛПРИ — Литературные прибавления к «Русскому инвалиду».

МВ — Московский вестник.

М. вед.— Московские ведомости.

МН — Московский наблюдатель.

Модзалевский — Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., Прибой, 1929.

Москв.— Москвитянин.

МТ — Московский телеграф.

Никитенко — Никитенко А. В. Дневник. В 3-х томах. Л., Гослитиздат, 1955—1956.

Новонайденный автограф — Новонайденный автограф Пушкина. Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине». Подгот. текста, статья и коммент. В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона. М.— Л., Наука, 1968.

ОА — Остафьевский архив князей Вяземских. Под ред. и с примеч. В. И. Саитова, т. 1—5. СПб., 1899—1913.

ОЗ — Отечественные записки.

П. в печ.— Синявский Н. и Цявловский М. Пушкин в печати. 1814—1837. Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни. Изд. 2-е, испр. М., Соцэкгиз, 1938.

П. в восп. 1974.— Пушкин А. С. в воспоминаниях современников в 2-х томах. Вступ. статья В. Э. Вацуро. Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. Л., Художественная литература, 1974.

П. Врем.— Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 1—6. М.— Л., АН СССР, 1936—1941.

ПГП — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 1—3. СПб., 1896.

ПиС — Пушкин и его современники. Материалы и исследования, вып. I—XXXIX. СПб., 1903—1930.

П. Иссл. и мат.— Пушкин. Исследования и материалы, т. I—VI. М.— Л., 1956—1969 (Изд-во АН СССР. Институт русской литературы. Пушкинский дом).

Письма — Пушкин. Письма 1815—1833, т. I—II. Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.— Л., Госиздат, 1926—1928 (Труды Пушкинского дома АН СССР). Т. III. Под ред. и с примеч. Л. Б. Модзалевского. М.— Л., Academia, 1935.

Письма IV — Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Отв. ред. Н. В. Измайлов. Л., Наука, 1969.

Письма к Хитрово — Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Л., Изд-во АН СССР. 1927 (Труды Пушкинского дома, вып. XLVIII).

П. Итоги и проблемы — Пушкин. Итоги и проблемы изучения. Коллективная монография под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха. М.— Л., Наука, 1966 (Изд-во АН СССР. Институт русской литературы. Пушкинский дом).

ПКБ — Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911.

Полевой — Николай Алексеевич Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов XIX века. Ред. и примеч. Вл. Орлова. Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1934.

Поляков — Поляков А. С. О смерти Пушкина (По новым данным). Пг., 1922 (Труды Пушкинского дома при Российской Академии наук).

I—XVII — Пушкин. Полное собрание сочинений в 17-ти томах, т. I—XVII. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1935—1959.

Пушкин, т. IX — Сочинения Пушкина. Том девятый. II. Примечания к историко-литературным, критическим, публицистическим и полемическим статьям и заметкам. Л., Изд-во АН СССР, 1929.

Пущин — П у щ и н И. И. Записки о Пушкине. Письма. Ред., вступ. статья и примеч. С. Я. Штрайха. М., Гослитиздат, 1956.

РА — Русский архив.

Рассказы о П.— Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. Вступ. статья и примеч. М. Цявловского. М., Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925.

Р. библ.— Русский библиофил.

РЛ — Русская литература.

РС — Русская старина.

Рукою П.— «Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.-Л., Academia, 1935.

Рыскин — Р ы с к и н Е. И. Журнал А. С. Пушкина «Современник». 1836—1837. Указатель содержания. М., Книга, 1967.

СЛ — Северная лира на 1827 год. Посвящается любителям и любительницам отечественной словесности Раичем и Ознобишиным. М., 1827.

СО — Сын отечества.

Совр.— Современник.

Соллогуб — С о л л о г у б В. А. Воспоминания. Ред., предисл. и примеч. С. П. Щестерикова. Вступит. статья П. К. Губера. М.— Л., Academia, 1931.

СПб. вед.— Санкт-Петербургские ведомости.

ВПч.— Северная пчела.

Стар. и нов.— Старина и новизна.

СЦ — Северные цветы.

Тел.— Телескоп.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Москва).

Цявловский. Книга воспоминаний — Ц я в л о в с к и й М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., Мир, 1931.

Шляпкин — Ш л я п к и н И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903.

Щеголев — Щ е г о л е в П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. Изд. 3-е. М.-Л., Госиздат, 1928.

Яшин — Я ш и н М. И. Хроника преддуэльных дней.— Звезда, 1963, № 8, с. 159—184; № 9, с. 166—187.

Настоящий сборник является вторым изданием вышедшей в 1974 году книги «Пушкин в воспоминаниях современников» и представляет собой наиболее полный из ныне существующих мемуарных сборников (ср.: Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931; Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Вступит. статья, ред. и примеч. С. Я. Гессена. М.— Л., 1936; Пушкин в воспоминаниях современников. Редакция текста А. Л. Дымшица и Д. И. Золотницкого. Предисловие А. Л. Дымшица, 1950). Оно пополнено источниками, ранее не входившими в мемуарные своды или вообще не перепечатывавшимися (воспоминания А. И. Дельвига, Е. Ф. Розена, дневники М. П. Погодина, ряд свидетельств о дуэли и смерти Пушкина, а также материалы, обнаруженные за последнее время (дневники и записи А. И. Тургенева, А. А. Олениной и др.). По сравнению с изданием 1974 года в корпус книги введены дополнительные тексты: воспоминания Н. А. Маркевича, П. П. Вяземского, Н. В. Берга, М. Н. Лонгинова, Н. А. Путяты и др. Сверка печатных текстов с рукописными оригиналами позволила в некоторых случаях значительно улучшить традиционный текст (в воспоминаниях П. А. Вяземского, И. П. Липранди, Н. А. Муханова и др.). Вместе с тем издание не является исчерпывающим и не претендует на полноту учета мемуарных свидетельств. Более того, оно строго ограничивает себя мемуарами и дневниками, исключая современные письма и документы, и по количеству введенных в него материалов уступает, например, известному своду В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» (т. I—II. М.— Л., 1936).

В соответствии с традицией, воспоминания печатаются в хронологической последовательности биографии Пушкина (см. вступ. статью). Исключением являются подборки из записей Вяземского и некоторые воспоминания, касающиеся разных периодов жизни Пушкина (М. И. Пущин, И. И. Лажечников, А. И. Подолинский). В этом случае они условно относятся к тому периоду, который в них изображен преимущественно и который характеризуется наибольшей интенсивностью личного общения. Естественной границей между I и II томами служит возвращение Пушкина из михайловской ссылки в 1826 году.

В зависимости от объема мемуаров они публикуются либо целиком, либо в части, посвященной Пушкину; сокращения производятся с тем расчетом, чтобы они не нарушали целостности и концепции рассказа. Редакторские купюры обозначаются точками в ломаных скобках. Отдель-

ные фрагменты-выборки из большого массива текста отделяются друг от друга пробелом.

Научный аппарат издания состоит из кратких справок о мемуаристах, где дается общая оценка мемуаров как источника для биографии Пушкина. История взаимоотношений мемуариста с Пушкиным рассказывается лишь в особых случаях, когда это необходимо для правильного понимания мемуаров; все нужные сведения на этот счет с документацией читатель может получить, например, из словаря Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» (Л., 1975), ссылка на который далее в тексте не делается. Текст снабжен историко-литературным, биографическим и реальным комментарием, который по издательским условиям сокращен по сравнению с изданием 1974 года, но включены новые мемуарные источники. На издание 1974 года в нужных случаях делается ссылка. Комментируются только факты и сообщения, касающиеся Пушкина. Примечания документированы библиографическими указаниями; при наличии большого числа источников и исследований даются ссылки на своды материалов (в обзорных статьях, комментариях и т. д.). Часто повторяющиеся источники обозначаются сокращенно (см. список сокращений). Все собственные имена вынесены в аннотированный указатель, являющийся органическим продолжением комментария.

Под строкой, отмеченные звездочкой, даются авторские примечания и переводы иноязычных текстов (переводы с французского не оговариваются). В отдельных случаях и с соответствующей оговоркой под строкой приводятся заметки на полях рукописи, примечания первых публикаторов, а также мемуарные фрагменты, ближайшим образом соотносящиеся с основным текстом и, как правило, принадлежащие тому же мемуаристу или восходящие к тому же источнику, что и основной текст (в этих случаях минимальные редакторские пояснения выделены курсивом).

В начале реальных примечаний указывается источник, по которому печатается текст.

О. С. ПАВЛИЩЕВА

Павлищева Ольга Сергеевна (1797—1868) — родная сестра Пушкина. Воспоминания О. С. Павлищевой были записаны по просьбе П. В. Анненкова с ее слов мужем, Н. И. Павлищевым, в 1851 году. В них несколько сглажены семейные отношения в доме Пушкиных, не упоминается, что поэт рос нелюбимым ребенком, и тем не менее это самое значительное, что мы имеем о его детстве. Кроме ее воспоминаний, Анненков использовал и устные рассказы Павлищевой. Один из таких рассказов сохранился в его бумагах (*Модзалевский*, с. 372—373). Отголоски рассказов Павлищевой содержат мемуары ее сына, написанные через 12 лет после смерти матери (П а в л и щ е в Л. Воспоминания об А. С. Пушкине. Из семейной хроники. М., 1880). Пользуясь семейной перепиской, Павлищев часто искажал

и фальсифицировал тексты, иногда подделывая целые письма, поэтому данные этих мемуаров в каждом случае требуют тщательной проверки. О Павлищевой см.: Лернер Н. Сестра Пушкина.— Пушкин. Сочинения, т. I. Под ред. Венгерова, 1907, с. 81—87; Цявловский М. А. Воспоминания О. С. Павлищевой.— *Лет. ГЛМ*, кн. I, с. 443—450; *Письма IV*, с. 441.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ А. С. ПУШКИНА

(Стр. 29)

Лет. ГЛМ, с. 451—457.

[1] Речь идет о статье Н. В. Берга «Сельцо Захарово». См. с. 40 наст. изд.

[2] К воспоминаниям О. С. Павлищевой была приложена составленная с ее слов «Родословная А. С. Пушкина»; она напечатана П. В. Анненковым (*Анненков*, с. 435).

[3] Юмористическая поэма «Опасный сосед» написана В. Л. Пушкиным в 1811 г., когда ему исполнился сорок один год.

[4] Шутливое стихотворение И. И. Дмитриева «Путешествие NN в Париж и Лондон. Писанное за три дня до путешествия» (М., 1808) было издано тиражом 50 экземпляров.

[5] О. С. Павлищева ошибается. Стихотворение Дмитриева «К***». О выгодах быть любовницею стихотворца» («Прелеста веселись...») посвящено А. Г. Севериной.

[6] В 1808 г. А. И. Беликов издал в своем переводе «Дух Массильйона, епископа Клермонского, или Мысли, избранные из его творений о различных предметах нравственности и благочестия».

[7] Правильно: Дмитрия Петровича.

[8] Эти письма были одно время в руках П. В. Анненкова. (*Модзалевский*, с. 394). Дальнейшая судьба их неизвестна.

[9] Имеется в виду «Начало автобиографии» (*XII*, 310).

[10] По ревизии 1833 г. за С. Л. Пушкиным числилось в с. Большое Болдино 564 мужчины и 552 женщины, а в селе Кистеневе 523 мужчины и 538 женщин, однако все болдинские крестьяне были заложены в Опекунский совет (Щеголев П. Е. Пушкин и мужики. М., 1928, с. 64—70).

[11] В заговоре А. П. Соковнина против Петра I был замешан не Ф. П. Пушкин, а его дальний родственник Федор Матвеевич Пушкин. Поэт несколько раз упоминает о нем в своих сочинениях.

[12] Имеется в виду стихотворение «Моя родословная» (1830).

ИЗ ЧЕРНОВЫХ ЗАМЕТОК П. В. АННЕНКОВА ДЛЯ БИОГРАФИИ ПУШКИНА. ОТ О. С. ПАВЛИЩЕВОЙ

(Стр. 39)

Модзалевский, с. 372—373.

Н. В. БЕРГ

Николай Васильевич Берг (1823—1884) — поэт и переводчик немецких, английских и славянских поэтов. Записанный им рассказ о беседе Пушкина с дочерью Арины Родионовны вносит любопытный штрих в биографию поэта. Впервые напечатано: Москвитянин, 1851, № 8 и 9, кн. 1 и 2, отд. соврем. известий, с. 29—32.

СЕЛЬЦО ЗАХАРОВО

(Стр. 40)

Цявловский. Воспоминания, с. 6—10.

[1] Пушкин с женой жил на Арбате в доме Н. Н. и Е. Н. Хитровых (теперь № 53).

М. Н. МАКАРОВ

Макаров Михаил Николаевич (1789—1847) — писатель-карамзинист.

Несмотря на некоторую сбивчивость его воспоминаний, они живо передают черты московской жизни Пушкиных, которая проходила в постоянных посещениях балов, раутов, литературных вечеров (см. Вяземский П. А. Допотопная или допожарная Москва, *Вяземский*, т. VII, с. 88). Отмеченный Макаровым интерес ребенка Пушкина к литературным беседам, рано развившийся литературный вкус и поэтический слух подтверждаются и воспоминаниями его отца (см.: Огонек, 1927, № 7). Макаров не точен в деталях, но в целом его воспоминания дополняют наши скудные знания о детстве поэта. Впервые они были напечатаны в журнале «Современник», т. 29, 1843, с. 375—385.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН В ДЕТСТВЕ

(Из записок о моем знакомстве)

(Стр. 44)

Цявловский. Книга воспоминаний, с. 29—37. С сокращениями.

[1] События, о которых пишет Макаров, не могли относиться к началу 1812 г., так как в июле 1811 г. В. Л. Пушкин повез племянника в Петербург.

[2] Макаров поселяет Пушкиных в Немецкую слободу, в то время как они уехали оттуда не позднее сентября 1799 г. (потом сменили в Москве

несколько адресов). Рядом с Бутурлиными Пушкины никогда не квартировали, но могли гостить у них, скорее всего, в 1811 г. (Макаров вспоминает «майский вечер») после продажи (в январе) сельца Захарова, куда Пушкины обычно переезжали на лето. Литературные вечера чаще всего устраивались у Пушкиных, когда они поселились у Харитония в Огородниках (1803—1809) и по соседству с ними жили В. Л. Пушкин, Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, В. Н. Измайлов (см.: Виноградов А. А. Детские годы Пушкина.— В кн.: Пушкин в Москве. М., 1930, с. 8—41). Очевидно, к этому периоду относится и упоминаемый ниже каламбур маленького Пушкина «арабчик-рябчик» (И. И. Дмитриев был рябой), так как в 1809 г. Дмитриев уже переехал в Петербург.

Л. С. ПУШКИН

Пушкин Лев Сергеевич (1805—1852) — младший брат поэта. Живой и остроумный собеседник, обладавший безукоризненным вкусом в поэзии, «Левушка» вошел в литературные салоны Петербурга и в круг друзей Пушкина — он был дружен с Дельвигом, Баратынским, Плетневым, бывал у Карамзиных, Тургеневых, Жуковского. Прекрасная память делала его живой книгой пушкинских стихов, которые он постоянно читал в салонах (подрывая этим иногда коммерческие интересы поэта). «С ним,— рассказывал Вяземский,— 〈...〉 погребены многие стихотворения его 〈Пушкина〉 неизданные, может быть, даже и незаписанные, которые он один знал наизусть...» (*Вяземский*, т. VIII, с. 236—237).

Разность в годах не позволила Л. С. Пушкину сохранить личные впечатления о детстве поэта. Впоследствии они также провели вместе не очень много времени. Лев бывал в Петербурге неподолгу. Тем не менее он знал много о жизни брата, но, по свойственной ему беспечности, написал о нем гораздо меньше, чем знал и мог. Воспоминания охватывают период главным образом до 1826 года, то есть когда братья почти не виделись, в них встречаются фактические промахи, чаще всего в датах. Ошибки его мемуаров отмечены в обстоятельной рецензии В. П. Гаевского (*ОЗ*, 1853, июль, отд. V, с. 68—78). Но Лев, живя в Петербурге, ощущал атмосферу растущей популярности поэта (так же, как потом охлаждение к нему журналистов и публики). Жизнеописание, созданное братом поэта, невелико и необстоятельно, но тем не менее оно передает любопытные факты его жизни и черты его характера.

Устные рассказы Л. С. Пушкина записаны Б. М. Маркевичем (см.: Русский вестник, 1888, № 3, с. 427—430), М. Н. Лонгиновым (см. в его Сочинениях, М., 1915, с. 165—166), Я. П. Полонским (см. с. 56—57 наст. изд.). Подробнее о Л. С. Пушкине см.: *П. в восп. 1974*, т. 1, с. 447—448; *Письма IV*, с. 454—455; *П. иссл. и мат.*, т. X, с. 326—355.

«Биографическое известие об А. С. Пушкине» впервые опубликовано М. П. Погодиным в «Москвитянине» (1853, ч. III, № 10). Более исправный текст напечатал Л. Н. Майков в своей книге «Пушкин» (СПб., 1899). Ряд исправлений и дополнений сделал С. Я. Гессен на основании авторизованной копии первых листов записки (до слов «С южного берега Крыма...»), хранящейся в Пушкинском доме.

БИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ ОБ А. С. ПУШКИНЕ ДО 1826 ГОДА

(Стр. 49)

Гессен, с. 29—37, с проверкой по авторизованной копии (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, № 35).

[1] Пушкин поступил в Лицей, когда ему исполнилось 12 лет. «Воспоминания в Царском Селе» написаны им в 15 лет, а «Наполеон на Эльбе» годом позже.

[2] Судя по посланию Пушкина «Орлову» («О ты, который сочетал...»), А. Ф. Орлов, наоборот, отговаривал поэта от вступления в военную службу.

[3] Приводится (с незначительными отступлениями от подлинника) отрывок из письма А. С. Пушкина к брату от 24 сентября 1820 г.

[4] Эти стихи, выпущенные по цензурным соображениям при публикации поэмы, были вписаны Пушкиным в принадлежавший П. А. Вяземскому экземпляр «Цыган» (изд. 1827 г.).

[5] Особое отношение Пушкина к посланию определялось биографической параллелью между его собственной судьбой и судьбой поэта-изгнанника Овидия. См. письмо его к Л. С. Пушкину от 30 января 1823 г.

[6] Рост Пушкина записан художником Г. Г. Чернецовым на эскизе портрета «Парад на Марсовом поле»: «2 арш. 5 верш. с половиной» (Нива, 1914, № 25, с. 494).

[7] Глава I «Онегина» была начата еще в Кишиневе, глава II полностью написана в Одессе, а глава III, начатая в Одессе, была закончена в Михайловском 2 ноября 1824 г.

[8] В последнюю редакцию «Египетских ночей» Пушкин в описание Чарского ввел автобиографический отрывок «Несмотря на великие преимущества».

[9] Своим искусством Пушкин устанавливал новые закономерности в литературе. Становление реалистического метода, начавшееся уже с первых глав «Евгения Онегина», было не понято современниками и современной критикой в силу известной ее ограниченности, обусловленной влиянием романтической эстетики. Впоследствии это непонимание было усугублено социальной борьбой на литературном фронте.

РАССКАЗЫ Л. С. ПУШКИНА В ЗАПИСИ Я. П. ПОЛОНСКОГО

(Стр. 56)

Цявловский. Книга воспоминаний, с. 320—321, 324—325.

С. Д. КОМОВСКИЙ

Комовский Сергей Дмитриевич (1798—1880) — лицейский товарищ Пушкина. После окончания Лицея служил в департаменте народного просвещения, успешно делая карьеру. В отставку вышел с чином действительного статского советника.

В Лицее любил читать товарищам моральные проповеди — лицеисты называли его «смола», «лисичка-проповедница», «фискал» (см.: *Гастфрейнд. Товарищи П.*, т. I, с. 519—548).

Записка Комовского создана в качестве ответа на вопросы Анненкова, составленные в 1851 году. В Лицее существовали разные «кружки» (см. «Записки» И. И. Пущина). Закадычный друг Корфа Комовский не принадлежал к «кружку» Пушкина, поэтому он мало знает о внутренней, духовной жизни Пушкина-лицеиста. Для него Пушкин «несообщительный» юноша. Ханжеские наклонности Комовского проявились в рассуждениях о темпераменте поэта и его юношеских увлечениях и в неодобрительном отношении к «отчаянным гусарам». Общение Пушкина с ними, в частности с П. П. Кавериным (впоследствии членом Союза Благоденствия) и П. Я. Чаадаевым (которого Комовский забывает назвать), далеко не исчерпывалось гусарскими проделками. Педантизм Комовского пошел на пользу его записке. Он, как сообщает Я. К. Грот, «не полагаясь на свою память, счел нужным передать свои воспоминания ⟨...⟩ на суд товарищей». Этими товарищами были М. А. Корф и М. Л. Яковлев (*Я. К. Грот*, с. 218). По их замечаниям Комовский переработал свою записку (Комовским было написано также начало биографии Пушкина, использованное Анненковым в «Материалах»).

Первая редакция записки напечатана Я. К. Гротом (*Я. К. Грот*, 1887, с. 250—253). Вторая редакция — С. Я. Гессеном («Лит. современник», 1937, № 1; *Гессен*, с. 87—91). Замечания Корфа и Яковлева Грот и Гессен поместили в подстрочных примечаниях.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ ПУШКИНА

(Стр. 59)

Гессен, с. 87—97, с уточнением по рукописи (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, № 17, 22).

[1] Политические и нравственные науки в Лицее преподавал А. П. Куницын. Пушкин с увлечением слушал его лекции (см. в «Записках»

И. И. Пущина), но не любил их записывать. Между тем записывание и переписывание составляло в Лицее основу изучения. «При неимении в то время печатных курсов, он (Куницын) сам писал свои записки, и мы должны были их списывать и изучать слово в слово»,— вспоминал М. А. Корф (*Я. К. Грот*, с. 228). Этим и объясняются слабые успехи Пушкина в классе Куницына.

И. И. ПУЩИН

Пущин Иван Иванович (1798—1859) — лицейский товарищ Пушкина, один из самых близких его друзей, видный участник декабристского движения с ранних его этапов до самого 14 декабря, отнесенный Верховным уголовным судом к «первому разряду» государственных преступников и осужденный на 20 лет каторги.

Записки Пущина написаны в 1858 году по настоянию Е. И. Якушкина, сына декабриста, который еще в Сибири в 1853 году записывал устные рассказы Пущина (некоторые из них см.: *Пущин*, с. 381—382). Поводом к их написанию было появление в 1855 году «Материалов» Анненкова, где политические взгляды поэта и его связи с декабристским движением почти не освещались, как по цензурным условиям, так и по свойственному Анненкову убеждению, что эти связи были случайными (*Пущин*, с. 380). Записки Пущина, благодаря своей точности и правдивости, принадлежат к числу важнейших источников для биографии поэта. Пущин пишет только о том, что он видел и наблюдал сам. Кроме фактических данных, в его записках дано такое тонкое и проникновенное понимание характера поэта, которое не было свойственно, пожалуй, никому из его современников. Это пристальный и пристрастный взгляд друга. Он видит не только внешние проявления характера и темперамента (как, например, Комовский), но проникает в глубины души поэта, преданной дружбе и ранимой, замечает не только резкость, порывистость, но и склонность к самоанализу. Подмеченные Пущиным черты юноши Пушкина будут сопутствовать ему всю жизнь. Это абсолютное понимание, по-видимому, и заставило поэта перед смертью вспомнить о своем лицейском друге.

Впервые с цензурными изъятиями записки Пущина опубликованы в журнале «Атеней» (1859, т. VIII, ч. 2, с. 500—537). Полностью подготовлены и напечатаны Е. И. Якушкиным (Пущин и записки о Пушкине. СПб., 1907). Несколько раз переизданы под редакцией С. Я. Штрайха.

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

(Стр. 64)

Гессен, с. 38—86, с проверкой по рукописи (ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 36).

[1] Лицей был создан по проекту М. М. Сперанского «для подготовки

юношества, предназначенного к высшим частям службы государственной», но в действительности оказался запоздалым детищем «дней Александровых прекрасного начала». Сперанский уже в 1812 г. был сослан, и государственная задача, поставленная перед новым учебным заведением, забыта. (См.: М е й л а х Б. С. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 9—172.)

[2] Волнение В. Ф. Малиновского объясняется тем, что он был вынужден читать не свою речь, забракованную министром просвещения А. К. Разумовским за ее прогрессивное содержание, а речь, сочиненную директором департамента И. И. Мартыновым. (См.: Памятники новой русской истории. Сб. ист. статей и материалов, изд. В. Кашперовым. СПб., 1872, т. II, отд. II, с. 174).

[3] Речь А. П. Куницына «Наставление, читанное воспитанникам при открытии императорского Царскосельского лицея» (СПб., 1811), проникнутая свободолюбивыми идеалами, определяла направление лицейского воспитания. Слова Пущина «Куницын вполне оправдал внимание царя» ироничны. В 1821 г. Куницын пострадал за изданные им лекции «Естественное право» (СПб., 1818). Труд его был конфискован и уничтожен, а сам Куницын уволен из Лицея и из университета (см.: *Гастфрейнд. Товарищи П.*, т. III, с. 39).

[4] Пущин ошибается. Стихотворение Пушкина «К Н. Я. Плюсковой» («На лире скромной, благородной...») было написано в 1818 г. по инициативе Ф. Глинки и перекликалось со стремлением правого крыла Союза Благоденствия возвести на престол императрицу Елизавету Алексеевну. (См.: Шебунин А. Н. Пушкин и «общество Елизаветы».— *П. Врем.*, т. I, с. 53—90).

[5] Лицейский «дядька» К. Сазонов за два года службы в Лицее совершил в Царском Селе 6 или 7 убийств.

[6] Отрывок из стихотворения «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.».

[7] Это стихотворение Пушкина не сохранилось (см. *Летопись*, с. 33, 44).

[8] О рукописных журналах, издававшихся в Лицее с 1811 г., см.: *К. Я. Грот*, с. 240—319; Т о м а ш е в с к и й Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 705—718.

[9] Имеются в виду популярные в Лицее «национальные песни» — плод коллективного творчества, куплеты на воспитателей и товарищей (напечатаны в кн.: *К. Я. Грот*, с. 215—239). Исполнение их входило в ритуал празднования лицейских «годовщин». (См.: Г р о т К. Я. Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него.— *ПиС*, вып. XIII, с. 38—89).

[10] *Тетради Корфа* — рукописные сборники лицейских стихов Пушкина.

[11] Пущин неправильно приписал первое четверостишие И. И. Дмит-

риеву. Это начало оды Д. В. Давыдова «Мудрость»; четвертый стих ее (в первой редакции) читается: «И просили мудрость вон».

[12] Об истории с гогель-могелем см.: *К. Я. Грот*, с. 291.

[13] В сочинениях Пушкина это стихотворение печатается с исправлением стихов 5 и 14 по другим спискам.

[14] «Воспоминания в Царском Селе» в присутствии Державина Пушкин читал на публичном экзамене 8 января 1815 г.

[15] Увлечение поэта Е. П. Бакуниной отмечено записью в его лицейском дневнике 29 января 1815 г. (*XII*, 297). Как «Катерина I» записана Бакунина в так называемом «донжуанском списке» Пушкина (*Рукою П.*, с. 629).

[16] «Допотопный портфель» с копией конституции Никиты Муравьева, а также и с рукописями стихов Пушкина, Рылеева и Дельвига был возвращен Пущину Вяземским в 1857 г. после амнистии декабристам. (См.: Цявловская Т. Г. Автограф стихотворения «К морю».— *П. Иссл. и мат.*, т. I, с. 194—196).

[17] Речь идет о «Священной артели» (1814—1817), ранней преддекабристской организации.

[18] Эта реорганизация относится к 1821 г., когда под покровом ликвидации Союза Благоденствия были сформированы новые общества — Северное и Южное.

[19] Встреча с Пушкиным произошла на одном из заседаний «Журнального общества», задуманного Н. И. Тургеневым как легальное осенью 1818 г. Общество должно было в 1819 г. начать издание общественно-политического журнала, проект которого составлялся Тургеневым и А. П. Куницыным. Это издание не осуществилось, а общество распалось. Появление Пушкина на этом заседании, вопреки утверждению Пущина, не было «нечаянным». Сохранившийся набросок программы журнала показывает, что Пушкина было решено привлечь к участию в нем (см. об этом: Нечкина М. В. Движение декабристов, т. I, М., 1955, с. 248).

[20] Переход некоторых декабристов из армии в низшие судебные инстанции связан со стремлением принять на себя обязанности, от которых дворянство обычно устранялось, и противопоставить свою деятельность злоупотреблениям, которые господствовали в судах. (См. об этом в воспоминаниях декабриста Е. Оболенского в кн.: Общественное движение России в первую половину XIX в., т. I, СПб., 1905, с. 235).

[21] Портрет работы А. О. Кипренского, гравированный Н. И. Уткиным.

[22] Здесь в рукописи знак отсылки к дополнению 1-му, помещенному в конце тетради, где Пущин рассказывает о прочитанной им (в копии) переписке между графом Нессельроде и графом Воронцовым о высылке Пушкина в деревню и приводит копию отрывка из письма Пушкина к Кюхельбекеру (?) от апреля — мая 1824 г. (*XIII*, с. 92), которое и было непосредственным поводом к удалению поэта из Одессы.

[23] Пущин цитирует строфы из черновой рукописи «19 октября».

[24] По свидетельству М. С. Волконского, сына декабриста, его отцу было поручено принять Пушкина в общество, но он не исполнил этого, чтобы уберечь поэта от «плахи» (Нечкина М. В. Новое о Пушкине и декабристах.— *ЛН*, т. 58, с. 155—166). После высылки Пушкина его принятие в общество было исключено и внешними обстоятельствами: как поднадзорный, он мог привлечь внимание правительственных агентов к обществу.

[25] Это О. М. Калашникова — героиня «крепостной любви» Пушкина (см.: Щеголев П. В. Пушкин и мужики. М., 1928, с. 7—59).

[26] Очевидно, мнение о «Горе от ума», высказанное Пущину, Пушкин повторил в письмах к П. А. Вяземскому и А. А. Бестужеву (январь 1825 г.— *XII*, с. 137 и 138). Отрывок из первого был приведен в статье П. А. Вяземского о Фонвизине (*Совр.*, 1837, т. V, с. 69), из второго — в статье В. П. Гаевского «Дельвиг» (*Совр.*, 1854, т. XLVII, № 9, с. 20—21) и в «Материалах» Анненкова (с. 111).

[27] Пущин ошибается. Пушкин умер 29 января, и Розенберг мог вернуться в Петровский завод только в феврале 1837 г.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) — поэт, литературный критик, автор статей о «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» и «Цыганах», деятельный участник «арзамасского братства», переводчик романа Бенжамена Констана «Адольф» (перевод посвящен Пушкину), сотрудник пушкинского «Современника», литературный соратник Пушкина, выступавший вместе с ним против «торгового» булгаринского направления в словесности, равно как и против третьесословных устремлений Н. А. и Кс. А. Полевых.

П. А. Вяземский не оставил связных и подробных воспоминаний о Пушкине; между тем в его «Автобиографическом введении» к собранию сочинений, в «Записных книжках», в мемуарных публикациях, в литературно-критических статьях и в позднейших приписках к ним имеется большое количество высказываний о встречах, разговорах и спорах с Пушкиным, и мемуарист с достаточным основанием гордится тем, что его статьи и разговоры возбуждали у Пушкина острое желание вступать с ним в полемику. Споры их с такой силой врезались в память П. А. Вяземского, что, вспоминая о них полвека спустя после самих событий, он смог живо, с психологическими нюансами воспроизвести столкновение мнений.

Можно с полным доверием относиться к воспоминаниям П. А. Вяземского, однако при оценке их следует иметь в виду эволюцию литературно-общественных взглядов Вяземского после смерти Пушкина, постепенный переход мемуариста в консервативный лагерь; это отразилось на социаль-

ной направленности его мемуарных высказываний, на отборе фактов и их интерпретации; в частности, необходимо критически отнестись к его суждению о поверхностности либерализма молодого Пушкина; здесь мемуарист выдает желаемое за действительное.

Особое место в «мемориях» П. А. Вяземского занимает статья «Мицкевич о Пушкине». Это перевод мемуарных статей Мицкевича, в ткань которых вкраплена полемика П. А. Вяземского с польским поэтом, а порой его собственные воспоминания о Пушкине и взаимоотношения поэта с Мицкевичем. Получилась мемуарная мозаика, в которой чередуются воспоминания Мицкевича и Вяземского. Подробнее об этом см.: Цявловский М. А. Пушкин и Мицкевич.— В кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 157—206.

«Автобиографическое введение» написано Вяземским в последние годы жизни (1876—1878) специально для подготовлявшегося к изданию собрания его сочинений.

Записи под названием «Старая записная книжка» возникли, по-видимому, во второй половине 1860-х годов, когда начал выходить журнал «Русский архив». По просьбе его издателя П. И. Бартенева Вяземский, частично используя свои прежние записки, а частично по памяти, стал готовить для этого журнала серию статей под общим названием «Из старой записной книжки».

ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ»

(Стр. 109)

Вяземский, т. I, с. XII, XLII—XLIII, XLVI, XLVII, XLVIII—XLIX, LI, LVI—LVII, с учетом авторской правки на корректурных листах (*ЦГАЛИ*, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1183).

[1] Ср. со словами Пушкина из материалов к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям»: «Сумароков лучше знал русский язык, нежели Ломоносов, и его критики (в грамматическом отношении) основательны. Ломоносов не отвечал или отшучивался. Сумароков требовал уважения к стихотворству» (*XI*, 59).

[2] Вяземский цитирует запись от 3 апреля 1821 г. из кишиневского дневника Пушкина (*XII*, 303).

[3] Ср. эпиграмму Баратынского на Вяземского: «Войной журнальною бесчестит без причины...» (1825).

[4] Об отношениях Пушкина и Вяземского к «Московскому телеграфу» см.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., Наука, 1969, с. 128—169, и воспоминания К. А. Полевого (т. 2, с. 59 наст. изд.).

[5] Подробнее о спорах Пушкина с Вяземским по поводу заграничных писем Фонвизина, в которых встречались критические суждения о фран-

цузских энциклопедистах, см.: *Новонайденный автограф*, с. 79—87, 123—124.

[6] Перевод изречения Альфреда де Мюссе: «Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre».

ПРИПИСКА К СТАТЬЕ «О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ОЗЕРОВА»

(Стр. 112)

Вяземский, т. I, с. 51—52, 55—58. Датировано 1876 г.

[1] Критические суждения Пушкина по поводу статьи Вяземского отражены в замечаниях на полях первого ее издания. О пометах Пушкина см.: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899, с. 266—283; Богословский Н. Спор Пушкина с Вяземским об Озерове.— Красная новь, 1937, № 1, с. 98—104; Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1959, с. 140; Медведева И. Н. Владислав Озеров.— В кн.: Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. Л., Сов. писатель, 1960, с. 66—71.

[2] Пушкин высоко ценил мадам де Сталь; защищая ее в 1825 г. от неуважительных журнальных суждений, Пушкин заявил: «О сей *барыне* должно было говорить языком вежливым образованного человека. Эту *барыню* удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Байрон своей дружбы, Европа своего уважения» (*XI*, 29). Книга ее о Германии — «De L'Allemagne» (1810).

[3] *Бренский* — оруженосец князя Димитрия, действующее лицо из трагедии Озерова «Димитрий Донской». В явл. 5 последнего действия Димитрий говорит: «Но Бренского не зрю...»

ПРИПИСКА К СТАТЬЕ «ИЗВЕСТИЕ О ЖИЗНИ И СТИХОТВОРЕНИЯХ И. И. ДМИТРИЕВА»

(Стр. 115)

Вяземский, т. I, с. 158—161. Датировано 1876 г.

[1] Об отношениях Пушкина и И. И. Дмитриева см. статью Г. П. Макогоненко (*РЛ*, 1966, № 4, с. 19—36).

[2] В предислови ко второму изданию поэмы Пушкин, имея в виду И. И. Дмитриева, писал: «Долг искренности требует также упомянуть и о мнении одного из *увенчанных, первоклассных отечественных писателей*, который, прочитав «Руслана и Людмилу», сказал: я тут не вижу ни мыслей, ни чувств. Другой (а может быть, и тот же) увенчанный, первоклассный отечественный писатель приветствовал сей первый опыт молодого поэта следующим стихом: «Мать дочери велит на эту сказку плюнуть».

[3] Об этом см. с. 122 и коммент. 1 на с. 489 наст. изд.

[4] Пушкин имел в виду переводы И. И. Дмитриева: «Сокращенный перевод Ювеналовой сатиры о благородстве» (1803) и «Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» (1798).

ИЗ СТАТЬИ «ЖУКОВСКИЙ.— ПУШКИН.— О НОВОЙ ПИИТИКЕ БАСЕН»

(Стр. 118)

Вяземский, т. I, с. 181, 184. Датировано 1876 г.

[1] Неточная цитата из письма Пушкина к Рылееву от 25 января 1825 г.: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались?» (*XIII*, 135). Слова Пушкина имели в виду А. Бестужева, который в не дошедшем до нас письме осуждал статью П. А. Плетнева «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» (*СЦ* на 1825 год) за восторженную оценку поэзии Жуковского.

[2] Этот эпизод, записанный Вяземским в 1876 г., характеризует неприятие Крыловым эстетической системы «Бориса Годунова». Крылов применил к трагедии Пушкина анекдот, имеющийся в эпиграмме французского писателя Понса де Вердена «En se chauffant dans le café Procophe» («Греясь в кафе «Прокоп»).

ПРИПИСКА К СТАТЬЕ «ЦЫГАНЫ. ПОЭМА ПУШКИНА»

(Стр. 119)

Вяземский, т. I, с. 321—325. Датировано 1875 г.

[1] В статье Вяземского сделано несколько замечаний, в основном стилистического характера. Однако на самом экземпляре поэмы Вяземский написал большее количество замечаний. Из всех его помет более всего раздражило Пушкина то, что, подобно Рылееву, Вяземский упрекал его за «унижение» Алеко цыганским ремеслом (*XI*, 153).

[2] Свидетельство Вяземского противоречит хронологии событий: эпиграмма Пушкина «Прозаик и поэт» была напечатана в декабре 1826 г., «Цыганы» — в начале мая 1827 г., а статья Вяземского на эту поэму — 5 мая 1827 г. (см.: Л е р н е р Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., Прибой, 1929, с. 108—116). Вяземский ошибочно сконтаминировал свой разговор с Пушкиным об эпиграмме «Прозаик и поэт» с беседой своей с Н. А. Мухановым. Скорее всего пушкинская эпиграмма была вызвана каким-то спором между Пушкиным и Вяземским осенью 1826 г. Правда, печатая свою эпиграмму, Пушкин поставил под ней «1825». Возможно, что эпиграмма действительно была написана в Михайловском и затем применена к Вяземскому.

ИЗ СТАТЬИ «КНЯЗЬ ПЕТР БОРИСОВИЧ КОЗЛОВСКИЙ»

(Стр. 122)

Вяземский, т. II, с. 289, 292—294. Датировано 1840 г.

[1] Имеется в виду десятая сатира Ювенала. Пушкин перевел несколько строк этой сатиры и, надо думать, решил отступиться; в незаконченном послании к П. Б. Козловскому «Ценитель умственных творений исполинских» поэт писал, что он не мог «одолеть пугливого смущенья» перед латинской музой Ювенала.

[2] В «Современнике» появились следующие статьи П. Б. Козловского: «Разбор Парижского математического ежегодника» (т. I); «О надежде» (т. III); «Краткое начертание теории паровых машин» (т. VII). Последняя статья, появившаяся в печати после смерти Пушкина, была написана также по его просьбе.

ЗАМЕТКА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 123)

Вяземский, т. VII, с. 170—172. Датировано 1867 г.

[1] В VII главе «Евгения Онегина» (LII строфа) содержится намек на А. А. Корсакову, которой поэт был увлечен. В набросках «Романа на Кавказских водах» фигурирует «девушка лет осьмнадцати, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами» (*VIII*, 413), образ которой навеян Пушкину Корсаковой.

МИЦКЕВИЧ О ПУШКИНЕ

(Стр. 125)

Вяземский, т. VII, с. 309—310, 312—320, 327—329. Датировано 1873 г.

[1] В замечаниях на 2-е издание «Стихотворений А. С. Пушкина, не вошедших в полное собрание его сочинений» (Берлин, 1870), против строки «Россию вздернул на дыбы» Вяземский написал: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что этот памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед» (*Стар. и нов.*, VIII, 1904, с. 40).

[2] 2 мая 1828 г. Вяземский писал жене: «Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзиею своих мыслей... Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами» (*ЛН*, т. 58, с. 76—77).

ИЗ СТАТЬИ «ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРУ НАШУ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА»

(Стр. 135)

Вяземский, т. II, с. 349, 361—363, 365, 370—374. Датировано 1847 г. Переработано в 1870-е годы.

[1] Название «Современник» восходит к неосуществленному журнальному замыслу Вяземского 1827 г. (*ОА*, т. 3, с. 168).

ЗАМЕТКИ

(Стр. 138)

I

Стар. и нов., XIX, 1915, с. 5—7. Датируется 1874 г.

II

Сборник Русского Исторического общества, т. I. СПб., 1867, с. 205.

[1] «*Les trois pendus*» — «Трое повешенных». Название романа Я. Потоцкого дано неточно, с учетом устной традиции, которая именовала произведение по одной из основных сюжетных линий. Настоящее название — «Рукопись, найденная в Сарагосе». Следы чтения этого романа Потоцкого отразились в творчестве Пушкина («Египетские ночи», наброски «Агасфера», «Цыганы», стихотворение «Альфонс садится на коня...»). Подробнее об этом романе см. предисловие С. С. Ланды в кн.: Потоцкий Ян. Рукопись, найденная в Сарагосе. М., Худож. литература, 1971, с. 5—34.

ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

(Стр. 140)

Вяземский, т. VIII, с. 55, 148—149, 168, 171, 231, 310, 331, 372, 377, 384, 427, 434—435, 478. Датируется 1860-ми годами.

[1] Ошибка мемуариста: на самом деле Плетнев и Соболевский сблизились с Пушкиным через Льва Сергеевича.

[2] Речь идет о М. Л. Яковлеве, обладавшем даром имитации, музыканте-дилетанте, авторе нескольких романсов на слова Пушкина.

[3] Имеется в виду Е. Н. Голицына, которой Пушкин посвятил стихотворения «Краев чужих неопытный любитель...» и «Простой воспитанник природы...».

[4] Большая часть орденов царской России имела четыре степени: высший — первой степени носили на широкой ленте, перетягиваемой через плечо; ордена 2-й степени носили на шее; ордена 3-й и 4-й степени прикрепляли к петличке.

ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК»

(Стр. 146)

Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 156, 170, 191—193, 208, 211—215, 274—275, 311; *Вяземский*, т. X, с. 3, 228—229, 245, 289.

[1] Осенью 1828 г. управляющий III Отделением фон Фок составил записку о намерении Пушкина, Вяземского и некоторых других писателей издавать в Москве газету «Утренний листок». В адрес Вяземского было также выдвинуто обвинение в развратном образе жизни. На самом деле к замыслу издавать «Утренний листок» никто из этих писателей отношения не имел. Вечер у литератора В. С. Филимонова происходил 17 апреля 1828 г. по случаю выхода в свет его поэмы «Дурацкий колпак».

[2] Э. П. Перцов познакомился с Пушкиным, по-видимому, через своих однокашников по Московскому университетскому пансиону С. П. Шевырева и В. П. Титова. Пушкин, вероятно, читал Вяземскому отрывки из стихотворной комедии Перцова «Андрей Бичев, или Смешны мне люди»; сцены из этой комедии были напечатаны (под псевдонимом) в журнале «Сын отечества и Северный архив» в 1829 г.— но Пушкин мог знать и ненапечатанные куски комедии. Сохранилось стихотворное послание Перцова к Пушкину (*ЛН*, т. 16-18, с. 1035).

[3] Запись Вяземского посвящена его спорам с Пушкиным об ответственности французских министров прежнего кабинета за нарушение конституции, в частности министра внутренних дел Перонне. Эти споры отразились в их переписке (*XIV*, 122, 138—140). Знаменитые указы-ордонансы короля Карла X направлены против оппозиции: первый из них отменял свободу периодической прессы.

[4] *Глинка* — Федор Николаевич, сосланный по делу декабристов в Петрозаводск, а затем переведенный в Тверь. Подробности этой встречи сообщены в письме А. А. Шишкова к С. Т. Аксакову (*Лет. ГЛМ*, с. 482).

[5] В «Литературной газете» печаталась серия историко-литературных статей П. А. Катенина «Размышления и разборы».

[6] Из контекста записи следует, что «славная хроника» рассматривалась поэтом как ядро десятой главы, предполагаемой, но не могущей по не зависящим от автора обстоятельствам быть включенной в роман. Утверждение весной 1828 г. либерального цензурного устава создавало иллюзию ослабления административного гнета. Однако надежды на дальновидность политического курса правительства не оправдались, и Пушкин вынужден был урезать замысел «Евгения Онегина», приноровляясь к реальным условиям.

[7] Первый муж Е. М. Хитрово граф Ф. И. Тизенгаузен погиб в 1806 г. при Аустерлице; в 1811 г. она вторично вышла замуж за генерал-майора Н. Ф. Хитрово, который умер в 1819 г.; таким образом, Е. М. Хитрово в возрасте 36 лет овдовела во второй раз. Острота Пушкина построена

на сопоставлении ее участи и судьбы великого князя Константина Павловича; под его первым вдовством Пушкин подразумевает отказ в 1825 г. от российского престола; его второе вдовство — изгнание из Варшавы во время восстания Польши.

[8] О спорах Пушкина с Вяземским по польскому вопросу — см. т. 2, с. 469 наст. изд.

[9] В последней строфе «Бородинской годовщины» Пушкин упоминал А. А. Суворова, внука генералиссимуса Суворова, доставившего в Петербург донесение Паскевича о взятии Варшавы.

[10] Вяземский указывает на политический характер убийства Пушкина и Лермонтова.

Н. А. МАРКЕВИЧ

Николай Андреевич Маркевич (1804—1860) — историк, этнограф, поэт, автор «Украинских мелодий» (1831), элегий, переводов из Байрона. Его воспоминания о Благородном пансионе писались в 1850-е годы (в них есть упоминание о смерти Л. С. Пушкина в 1852 г.). При работе над мемуарами Маркевич пользовался ранними дневниками, записями, перепиской и т. д. Они особенно ценны как документ времени: в них получила отражение эпоха общественного подъема 1810-х годов, которой были захвачены пансионеры; они, несомненно, достоверное свидетельство резких антиправительственных настроений среди молодежи, чему у нас есть и другие подтверждения.

Несколько сложнее вопрос о достоверности сообщаемых Маркевичем сведений о Пушкине. Он общался с Пушкиным недолго и преимущественно внешне; рассказанные им эпизоды встреч позволяют судить о снисходительном и слегка ироническом отношении юноши Пушкина к мальчику-пансионеру с чрезмерными литературными и интеллектуальными претензиями (так, едва ли не мистификацией следует считать разговор о возможной ссылке Пушкина в революционную Испанию). Многое взято Маркевичем из вторых рук, хотя и из близкого и даже семейного окружения Пушкина; там, где сведения его поддаются проверке, они нередко оказываются спутанными и перетолкованными, хотя почти никогда не выдуманы полностью: сквозь наслоения просматривается подлинный эпизод. Как это обычно для школьного фольклора, мемуары Маркевича более чем наполовину состоят из рассказов о «молодечестве» Пушкина по отношению к властям; реальная основа этих рассказов более всего затемнена легендарными подробностями (так, самый характер «отношений» Пушкина с царем, конечно, анекдотичен). Несомненно, на ранние рассказы здесь наслоились и поздние анекдоты о Пушкине. При всем том воспоминания Маркевича — единственные, вышедшие из ближайшей окололицейской среды и из непосредственного пушкинского

окружения; они ценны и отдельными фактическими сведениями, и как факт восприятия личности и творчества Пушкина, и как свидетельство распространенности и революционизирующей роли его стихов (здесь Маркевич иной раз сообщает сведения первостепенной важности, см. коммент. 7).

Опубликованы (в разных фрагментах): *ЛН*, т. 59, Л., 1954, с. 501—512; Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955, с. 119—141 (Н. Г. Розенблюм); Косачевская Е. М. Михаил Андреевич Балугьянский и Петербургский университет первой четверти XIX века. Л., 1971, с. 163—166, 171; она же. Он воспевал мечту прекрасную свободы... Радуга, 1974, № 6, с. 153—158; Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2-х томах. Т. 2. М., 1980, с. 289—302 (И. Б. Мушина).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 153)

Автограф (*ИРЛИ*, ф. 488, оп. 1, № 82).

[1] Невский зритель, 1820, № 2, с. 86—87.

[2] Строка из эпиграммы «За ужином объелся я...», приписываемой Пушкину (см.: *Греч*, с. 463).

[3] Существует несколько рассказов об этой дуэли (состоявшейся осенью — зимой 1819 г.); рассказ Маркевича ближе всего к версии М. А. Максимовича (*PC*, 1888, № 9, с. 414).

[4] Эта опера неизвестна.

[5] Стихотворение «Фавн и пастушка. Картины» (1814—1816) в лицейском списке стихотворений носило название «Картины» (*Рукою П.*, с. 226—227). Указания Маркевича на прямые источники пушкинских стихов (здесь и далее) нередко носят слишком общий и любительский характер; так, не соответствует действительности указание на Парни как прямой образец «Фавна и пастушки» (Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 83).

[6] Выражение принадлежит Д. П. Горчакову. («Послание к князю С. Н. Долгорукову», 1807—1811.)

[7] А. С. *Стурдза* был автором монархического и клерикального сочинения на французском языке «О современном положении Германии», где объявлял немецкие университеты рассадниками революционных идей. А. фон *Коцебу*, поддержавший идеи Стурдзы, был убит 23 марта 1819 г. студентом К. Зандом как агент русского правительства; Стурдза, спасаясь от опасности, спешно покинул Германию. Эти события в конце марта получили широкий резонанс в русском обществе. Воспоминания Маркевича здесь совершенно точны; эпиграмма Пушкина приведена им по списку или по памяти и имеет отличия от известных текстов; он точно

называет адресата, в то время как большинство современников считало эпиграмму обращенной к Аракчееву.

[8] См. с. 81—82.

[9] Перевод стихотворения Вольтера «К госпоже дю Шатле» (1741).

[10] «Картина I» «Картин» Парни.

[11] Строки из послания Жуковского «К Воейкову» (1814).

[12] См.: «Красавице, которая нюхала табак» (1814).

[13] По-видимому, «Заздравный кубок» (1816).

[14] Цитаты из стихотворения «Слеза» (1815).

[15] Цитата неточна (следует: «наперсник муз любимый»).

[16] Ошибка: цитируются строки из послания «К Чаадаеву» (1818).

[17] Рассказ имеет в основе реальный эпизод, искаженный и дополненный слухами. Он относится не к Н. В. Кочубей (которая действительно была предметом увлечения Пушкина в Лицее), а к фрейлине княжне В. М. Волконской (см. с. 83—84 наст. изд.); цитируемые стихи — «К Наталье» (1813) и «К Наташе» (1814) адресованы крепостной актрисе домашнего театра графа В. В. Толстого и горничной В. М. Волконской.

[18] См. с. 91 наст. изд.

[19] Отзвуки слуха о наказании Пушкина в секретной канцелярии министерства внутренних дел, распространенного Ф. И. Толстым (см. с. 237 наст. изд., дневник Ф. Н. Лугинина). Рассказ о пушкинской браваде совершенно фантастичен: оскорбленный, доведенный до отчаяния, Пушкин готов был на самоубийство и прямые выступления против властей, но стремился в то же время пресечь распространение клеветы (*XIII*, 227—228).

[20] Существует несколько вариантов этого анекдота, обычно связываемого с актрисой В. Н. Асенковой и относимого к 1830 годам; ср., напр., рассказ М. М. Попова (*РС*, 1874, № 8, с. 686); в качестве подлинного автора этой статьи осведомленные современники называли Пав. А. Муханова (*Врем. ПК*, 1967—1968. Л., 1970, с. 74—75).

[21] Стихотворения «К Каверину» («Забудь, любезный мой Каверин...», 1817) и «К Н. Я. Плюсковой» (1818).

В. А. ЭРТЕЛЬ

Василий Андреевич Эртель (1793—1847) — двоюродный брат Е. А. Баратынского, уроженец Виттенберга, окончивший Лейпцигский университет, писатель и переводчик. Воспоминания его относятся к 1819 году (в это время он гувернер и учитель немецкого языка в Благородном пансионе при Лицее); они касаются мало документированного периода в жизни Пушкина и интересны бытовыми и историко-литературными деталями (в частности, известиями о театральных интересах пушкинского кружка). Опубликованы анонимно еще при жизни Пушкина

в составе автобиографической повести (в русском и немецком вариантах), однако точны документально. Автор назван В. П. Гаевским (*Совр.*, 1853, т. 39, отд. 3, с. 29).

Впервые: Russischer Almanach für 1832 und 1833 von W. Oertel und A. Gliebow, SPb, 1832 (Русский альманах на 1832 и 1833 годы, изданный В. Эртелем и А. Глебовым. СПб., 1832).

ИЗ «ВЫПИСКИ ИЗ БУМАГ ДЯДИ АЛЕКСАНДРА»

(Стр. 166)

Русский альманах на 1832 и 1833 годы, с. 282—285, 296, 298—301.

[1] «Руслан и Людмила».

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

Иван Иванович Лажечников (1792—1869) — известный исторический романист. Мемуары о Пушкине начал писать в 1854 году по просьбе Ф. А. Кони, издателя «Пантеона» (см. его письмо к Кони 27 сентября 1854 г.— «Из портфеля старого журналиста». СПб., 1912, с. 4—5). Преклоняясь перед личностью и дарованием Пушкина, Лажечников в то же время продолжает в них начатый в 1836 году спор о «Ледяном доме»,— о Тредиаковском, Бироне и о Волынском, которые для него являются воплощением национального и чужеродного начал в русской жизни XVIII века. Спор ведется не только с Пушкиным, но и с критикой и историографией 1830—1850-х годов, в том числе и с неназванным Белинским, с которым Лажечникова связывали давние дружеские отношения (см. *П. в восп. 1974*, т. 1, с. 472, 474). Полемическая установка мемуаров приводит к хронологическим смещениям и несколько меняет подлинный взгляд Пушкина. О Пушкине и Лажечникове см.: *Модзалевский*, с. 97—122.

Впервые — *РВ*, 1856, № 2. Автограф (беловой, неполный) — *ГБЛ*, ф. 178. 9. 13 (датируется 1856—1857 гг.).

ЗНАКОМСТВО МОЕ С ПУШКИНЫМ

(Из моих памятных записок)

(Стр. 170)

Лажечников И. И. Собрание сочинений, т. VII. СПб., 1858, с. 297, 304—344.

Цензурная купюра в письме Пушкина восстановлена по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Под ред. П. А. Ефремова, т. VII. М., 1882, с. 370—371 (здесь письмо опубликовано по подлиннику, ныне утраченному). Имя Денисевича, замененное в тексте «NN», восстановлено по письму Лажечникова Пушкину от 19 декабря 1831 г. (*XIV*, 250).

[1] Поэма «Руслан и Людмила» вышла позже, в августе 1820 г.

[2] Возможно, П. А. Катенин. Ср. *XIII*, 225.

[3] Ср. этот же эпизод в письме Лажечникова Пушкину от 19 декабря 1831 г. (*XIV*, 250).

[4] Роман «Последний Новик» (части 1—2) Лажечников послал Пушкину 19 декабря 1831 г. «Приятель» его (лицо неустановленное) передал Пушкину, видимо, третью часть романа. Похвала Пушкина содержалась в опущенной мемуаристом части письма.

[5] Рукописное сочинение П. И. Рычкова, опубликованное Пушкиным во II томе «История Пугачевского бунта» под назв.: «Осада Оренбурга (Летопись Рычкова)», послано при письме 30 марта 1834 г. (*XV*, 122).

[6] «История Пугачевского бунта» (ч. I—II. СПб., 1834), с приложенным портретом Пугачева.

[7] Изложение следственного дела («Записка об Артемии Волынском») было скопировано Пушкиным в 1836 г.; полностью опубликовано в 1858 г.

[8] Рапорт В. К. Тредиаковского Академии наук от 10 февраля 1740 г. также был в копии в бумагах Пушкина. Опубликован в 1845 г.

[9] Письмо от 22 ноября 1835 г. См. *XVI*, 63—67.

[10] Это сказал О. И. Сенковский в рецензии на «Ледяной дом» (*БдЧ*, 1835, т. XII, Критика, с. 29—30). В подлинном письме отзыв о Сенковском гораздо резче.

[11] Возражения Лажечникова не улавливают существа концепции Пушкина, который переносил центр тяжести с личных качеств Бирона на его историческую роль — беспощадного противника дворянской фронды. При оценке Тредиаковского Пушкина интересовала проблема общественного положения писателя и ученого. Спор с Лажечниковым Пушкин предполагал продолжить (см.: Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974, с. 138—149). Подробнее комментарий к переписке см.: *Переписка П., 2*, с. 332—350 (примеч. М. А. Турьян).

[12] *Два письма* — от 19 декабря 1831 г. и 30 марта 1834 г. *Романы* — «Последний Новик» и, видимо, глава «Ледяная статуя» из «Ледяного дома» в альманахе «Денница на 1834 год».

[13] По-видимому, письмо датировано Лажечниковым ошибочно (написано скорее всего около 20 августа 1834 г., см.: *П. в восп. 1974*, 1, 475) и ошибка эта — результат полемической направленности воспоминаний.

П. А. КАТЕНИН

Павел Александрович Катенин (1792—1853) — драматург, критик и поэт, участник раннедекабристских обществ, вместе с Грибоедовым, Жандром, позже Кюхельбекером принадлежал к группе «младших архаистов», тяготевших к «Беседе» и враждебных «Арзамасу». Энциклопедиче-

ски образованный критик, смелый поэтический экспериментатор, теоретик и практик сценического искусства (он был учителем Колосовой и Каратыгина) сочетался в Катенине с доктринером, нетерпимым и болезненно самолюбивым. Эти качества во многом определили и литературную судьбу Катенина: все увеличивающийся разрыв с современностью, приведший к почти полной изоляции. Его отношения с Пушкиным были чреваты и взаимным тяготением, и острейшей внутренней полемикой. Его мемуары, написанные по просьбе П. В. Анненкова (закончены 9 апреля 1852 г.),— своего рода литературное завещание, полемически утверждающее взгляды Катенина на литературную жизнь,— отсюда их субъективность, эгоцентричность, резкость суждений; мемуарист явно преувеличивает и свое воздействие на Пушкина. С другой стороны, в них сказалось и своеобразие критической позиции Катенина: отвергая романтические поэмы Пушкина, он поднимает на щит то, что при жизни поэта не оценили ни «классики», ни «романтики»: «Евгения Онегина», «Графа Нулина», сказки, прозу. С фактической стороны мемуары точны (Катенин обладал необыкновенной памятью). Важные дополнения к ним — в письме к Анненкову 24 апреля 1853 года, где сообщены уникальные сведения о VIII главе «Онегина», о чем Катенин не мог рассказать в печати по политическим причинам (Лит. критик, 1940, № 7-8, с. 231).

Впервые в отрывках: *Анненков*, с. 44, 55—57, 67, 288. Полностью: Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине. Вступ. статья и примеч. Ю. Г. Оксмана.— *ЛН*, т. 16-18, с. 619—656.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

(Стр. 186)

ЛН, т. 16-18, с. 619—656. Печатается с уточнениями по копии: *ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, № 19.

[1] Возможно, речь идет о спектакле «Сила клятвы» А. Коцебу 27 августа 1817 г.

[2] В сборники 1826 и 1829 гг. Пушкин помимо «Пробуждения» («Мечты, мечты...») ввел и другие лицейские стихи, но в переработанном виде.

[3] В письме к Катенину 1825 г. Пушкин вспоминал вечер у Шаховского (в декабре 1818 г.) как один из лучших в своей жизни (*XIII*, 225); отношения расстроились после сплетни Ф. Толстого (см. с. 237 наст. изд.).

[4] Речь идет о послании Пушкина «К Жуковскому» (1816), где отразилась версия о причастности Шаховского к гибели В. А. Озерова.

[5] Имеется в виду «Письмо к сочинителю критики на поэму «Руслан и Людмила» (А. Ф. Воейкову) (*СО*, 1820, № 38, с. 226—229, с подп. «NN»), вышедшее уже после отъезда Пушкина. Пушкин также предполагал авторство Катенина (письмо Л. С. Пушкину 27 июля 1821 г.).

[6] Письмо Катенина не сохранилось; ответ Пушкина — 19 июля 1822 г. Имеется в виду стих «И сплетней разбирать игривую затею» в послании «К Чаадаеву»; речь в нем идет не о комедии «Сплетни» (поставлена 31 декабря 1820 г.), а о сплетне Ф. Толстого.

[7] В «Литературную газету» Катенин был приглашен, несомненно, по инициативе Пушкина. «Размышления и разборы» — основной критический труд Катенина (см.: Катенин П. А. Размышления и разборы. М., 1981). О возможной принадлежности «Ассамблеи при Петре 1-м» (*ЛГ*, 1830, № 13) Пушкину Катенин писал Бахтину 3 апреля 1830 г. (Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, СПб., 1911, с. 176).

[8] «Старая быль» вместе с посланием «А. С. Пушкину» содержала завуалированные намеки на самого Пушкина, якобы ставшего певцом монархической власти, и на Катенина, оставшегося в оппозиции. Свой комплиментарный по форме и резко саркастический по существу «Ответ Катенину» Пушкин напечатал вместе со «Старой былью» в *СЦ* на 1829 год. См.: Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 160—175. Послание «Александру Сергеевичу Пушкину» напечатано в «Сочинениях и переводах в стихах Павла Катенина» (т. I. СПб., 1832, с. 98), затем (без подписи) в *Совр.*, 1837, т. VI, с. 174—177.

[9] Это письмо Пушкина не сохранилось. Далее речь идет об «Отрывках из литературных летописей» и статьях «Торжество дружбы, или Оправданный А. А. Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем».

[10] Примечание Пушкина со ссылкой на Катенина появилось в отдельном издании романа в 1833 г. (см. *VI*, 197).

[11] См. записку Пушкина к Е. М. Хитрово 15 декабря 1832 г. (*XV*, 38).

[12] В этих «толках» активное участие принимал сам Катенин, к чему Пушкин относился иронически (*ИВ*, 1883, № 12, с. 537; см. также: *Плетнев*, III, с. 526—527; Модзалевский Л. Б. Пушкин — член Российской академии.— Вестник АН СССР, 1937, № 2-3, с. 247—249).

[13] Встреча была, по-видимому, 10 или 11 марта 1834 г. Болезнь Н. Н. Пушкиной — результат выкидыша (4 марта). См. *ЛН*, т. 16-18, с. 653.

[14] Письма не сохранились.

[15] *Сказка Вольтера* — «Что нравится дамам» («Ce qui plaît aux dames», 1763), которую Пушкин начал переводить в 1825 г. См. Н. О. Лернер. Рассказ про доброго Роберта. *ПиС*, вып. 38-39. Л., 1930, с. 108—112.

[16] Графа Д. И. Хвостова (с которым Катенин был в родстве).

[17] Катенину принадлежит резко отрицательный разбор «Бориса Годунова» (1831) (Катенин П. А. Размышления и разборы, с. 306—312).

[18] «Моцарт и Сальери» был поставлен 27 января 1832 г. в Большом театре. По поводу этого утверждения см. переписку Катенина с Анненковым в 1852 г. (Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899, с. 320—321). Может

быть, ответом на упреки Катенина была заметка Пушкина «В первое представление Дон-Жуана...» (*XI*, 218).

[19] Имеется в виду драма К.-Ф. Генслера «Днепровская русалка», популярная в России в переделке Н. Краснопольского. См.: Жданов И. Н. «Русалка» Пушкина и «Donauweibchen» Генслера.— В кн.: Памяти Пушкина. СПб., 1900, с. 139—178. Утверждение о «незаконченности» «Каменного гостя» и «Скупого рыцаря» — явная ошибка.

[20] См. *III*, 334 и след.

[21] О точках соприкосновения «Барышни-крестьянки» и комедии П. Мариво «Игра любви и случая» см.: Вольперт Л. И. Пушкин и психологическая традиция во французской литературе. Таллин, 1980, с. 158—165.

[22] Цитата из комической оперы А. О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват» (1779).

А. М. КАРАТЫГИНА

Александра Михайловна Каратыгина (рожд. Колосова, 1802—1880) — актриса, жена трагика В. А. Каратыгина (с 1827 г.), театральная ученица П. А. Катенина. Пушкин пережил полосу увлечения ее игрой, однако уже в 1819 году стал приверженцем партии великой трагической актрисы Е. С. Семеновой. Конфликт, о котором рассказывает Каратыгина, отчасти объяснялся и этой переориентацией Пушкина. Сложность борьбы эстетических и театральных партий в мемуарах Каратыгиной не отразилась; при всем том они чрезвычайно ценны как в литературном, так и в историческом отношении (см.: Оксман Ю. Г. Пушкин и А. М. Колосова.— В кн.: Каратыгин П. А. Записки, т. II, Л., 1930, с. 310—322). Написаны в Петербурге в 1879 году в связи с публикацией П. П. Каратыгиным (племянником актрисы) эпиграммы Пушкина (*РС*, 1879, № 6, с. 380), сообщенной ему самой же Каратыгиной. Впервые: *РС,* 1880, № 7, с. 565—574.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С А. С. ПУШКИНЫМ

(Стр. 200)

Каратыгин П. А. Записки. Новое издание по рукописи под редакцией Б. В. Казанского, при участии Ю. А. Нелидова, Ю. Г. Оксмана и Н. С. Цемша. Т. II. Л., «Academia», 1930, с. 268—288.

[1] Текст эпиграммы, отсутствующий у Каратыгиной, приводится по списку П. П. Каратыгина.

[2] Этот эпизод относится, видимо, не к 1818, а к августу — сентябрю

1819 г. Дата «1818» подсказана воспоминаниями П. А. Каратыгина, где рассказан близкий эпизод (Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970, с. 62—63). В августе 1819 г. Пушкин явился из деревни, также обрив голову (*ОА*, т. 1, с. 293, 295—296).

[3] Неточность: Грибоедов уехал из Петербурга в августе 1818 г.

[4] Эта встреча произошла 17 июня 1827 г.

[5] Это общение относится к концу 1820-х — 1830-м годам (в рассказе Каратыгиной есть хронологические смещения). 13 ноября 1828 г. В. А. Каратыгин пишет Катенину, что «не очень знаком» с Пушкиным (*БЗ*, 1861, № 19, с. 599); отзывы его о Пушкине и его сочинениях (в частности, о «Борисе Годунове») обычно сдержанны или недоброжелательны.

[6] Предполагалась постановка сцены в Малом театре (1833 г.). См.: Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох (1825—1881). Пг., [1917], с. 143—144.

[7] Постановка «Скупого рыцаря» была назначена на 1 февраля 1837 г., в бенефис А. М. Каратыгиной (а не В. А. Каратыгина, который, по-видимому, уступил пьесу жене; см.: Театральное наследство, т. I. М.— Л., 1956, с. 259—260). Из-за смерти и отпевания Пушкина бенефис был перенесен на 2 февраля; постановка «Скупого рыцаря» была снята (*ПиС*, вып. 6, с. 61, 67).

[8] Стихи эти Пушкину не принадлежат, хотя приписываются ему несколькими мемуаристами (Соллогуб В. А. Воспоминания. М.— Л., 1931, с. 299; Смирнова А. О. Записки. Л., 1929, с. 175).

Ф. Н. ГЛИНКА

Федор Николаевич Глинка (1786—1880) — поэт, один из руководителей умеренного крыла Союза Благоденствия, после 1825 года сосланный в Петрозаводск, а затем в Тверь. Председатель Вольного общества любителей российской словесности. Его личная связь с Пушкиным охватывает 1818—1820 годы; под его воздействием возникли некоторые литературно-общественные выступления Пушкина, близкие программе декабристов («Ответ на вызов написать стихи...» — см.: «К Н. Я. Плюсковой», 1818). Близкий служебно и лично генералу Милорадовичу, петербургскому генерал-губернатору, ведавшему и политическим сыском, Глинка умел воспользоваться своим положением в интересах Союза Благоденствия, отводя от его членов правительственные репрессии (*Базанов*, с. 183 и след.); подобным же образом он вел себя и в истории с Пушкиным, высоко оценившим его гражданскую позицию. Воспоминания Глинки о Пушкине — очень важный и достоверный источник по истории литературно-общественного движения. Они написаны в форме письма к П. И. Бартеневу, обратившемуся 21 марта 1866 года к Глинке за «разъяснениями его дружеских сношений с Пушкиным». В том же году Бартенев напечатал

письмо Глинки под названием «Удаление А. С. Пушкина из Петербурга в 1821 году», но с купюрами и искажениями текста (*РА*, 1866, № 6, ст. 917—922). По этой публикации воспоминания Глинки воспроизводились во всех сборниках воспоминаний о Пушкине, начиная с изданного в 1936 году С. Я. Гессеном. В настоящем издании впервые публикуется по автографу полный текст письма.

ПИСЬМО К П. И. БАРТЕНЕВУ С ВОСПОМИНАНИЯМИ О ВЫСЫЛКЕ А. С. ПУШКИНА ИЗ ПЕТЕРБУРГА В 1820 Г.

(Стр. 210)

Отдел письменных источников Госуд. Исторического музея; ф. 445, д. 93, л. 39—42 об.

[1] Письмо П. И. Бартенева к Ф. Н. Глинке от 21 марта 1866 г. не разыскано.

[2] Первоначальное знакомство Глинки с Пушкиным произошло, возможно, через В. К. Кюхельбекера, тесно связанного с семьей Глинок. В 1818—1820 гг. Пушкин, по-видимому, посещал литературные вечера Глинки (*Летопись*, с. 746).

[3] Подробности этого эпизода неизвестны.

[4] Встреча произошла в половине апреля (до 18) 1820 г. Глинка жил в доме Анненковой, 2-я Адмиралтейская часть, № 121, ныне Театральная площадь.

[5] *Десть* — мера писчей бумаги в 24 листа.

[6] См. также с. 96 наст. изд. (рассказ Пущина, возможно, со слов самого Глинки). Воспоминания Глинки подтверждаются современными свидетельствами С. Л. Пушкина и Н. И. Тургенева (*П. Врем.*, 1, с. 191—195, 198). «Тетрадь Милорадовича» до нас не дошла. По некоторым рассказам, Пушкин не включил в нее эпиграмму на Аракчеева, которая не была бы ему прощена (*Модзалевский*, с. 337).

[7] Карамзин (отчасти по настояниям Чаадаева) ходатайствовал за Пушкина перед императрицей Марией Федоровной и гр. И. А. Каподистрия, взяв с Пушкина слово два года не писать ничего против правительства. См. *Летопись*, с. 212.

Е. П. РУДЫКОВСКИЙ

Евстафий Петрович Рудыковский (1784—1851) — штаб-лекарь, сопровождавший семью Раевских в их путешествии на Кавказ и в Крым. Его бесхитростные воспоминания не вызывают сомнения в их достоверности; они правдиво передают манеру поведения молодого Пушкина, любившего пошутить, невзирая на болезни и неприятности.

Рудыковский увлекался стихотворством, что и дало повод для

дружеской эпиграммы Пушкина, написанной им во время путешествия по Кавказу:

Аптеку позабудь ты для венков лавровых
И не мори больных, но усыпляй здоровых.

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

(Из записок медика)

(Стр. 214)

РВ; 1841, с. 25—30.

[1] Пушкин приехал в Екатеринослав в середине мая 1820 г. и пробыл там около двух недель. Об этом см. его письмо к брату Льву (*XIII*, 17).

М. Н. ВОЛКОНСКАЯ

Мария Николаевна Волконская (1805—1863) — дочь Н. Н. Раевского, с января 1825 года жена С. Г. Волконского, последовавшая за ним в Сибирь, автор «Записок» о декабристской каторге, в которых несколько страниц уделено ее знакомству с Пушкиным.

Немногословные воспоминания М. Н. Волконской о Пушкине передают сдержанность отношения ее к поэту, сложившегося под влиянием семейной традиции; участливая снисходительность отца, который иронизировал над одой «Вольность», несколько высокомерный тон старшей сестры Екатерины, для которой Пушкин был лишь одним из приятелей брата Николая, постоянные сарказмы Александра, трунившего над поэтом,— все это, несомненно, определило ее взгляд на личность Пушкина.

М. Н. Волконской должен был, но не успел поэт вручить стихотворное послание к «друзьям, братьям, товарищам»; ей дал он обещание заехать с Урала в «каторжные норы» Сибири.

В последующие годы М. Н. Волконская становится связующим звеном между Пушкиным и декабристами — на ее имя высылаются в Сибирь «Литературная газета» Дельвига, сочинения Пушкина и другие литературные новинки. Подробнее об этом см.: С у л т а н-Ш а х М. П. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830—1832 годов.— *П. Иссл. и мат.*, т. I, 1956, с. 257—267; Ц я в л о в с к а я Т. Г. Мария Волконская и Пушкин.— Прометей, I, 1962, с. 54—71.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 216)

М. Н. В о л к о н с к а я. Записки. СПб, 1914, с. 61—64, 91. Подлинник по-французски.

[1] Стихи Пушкина высечены на надгробном памятнике. Об этом см.: Удимова Н. И. Стихотворение Пушкина памяти сына С. Г. Волконского.— *ЛН*, т. 60, кн. I, с. 405—410.

РАССКАЗ, ЗАПИСАННЫЙ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

(Стр. 218)

Лет. ГЛМ, с. 496—497. Датировано 21 ноября 1856 г.

[1] Ср. с письмом Пушкина от 24 сентября 1820 г. (*XIII*, 17—18).

[2] Имеется в виду ода Пушкина «Вольность».

[3] Пушкин вступил в масонскую ложу позднее — в Кишиневе.

[4] У Броневского останавливались Раевские и Пушкин.

[5] Ночью на корабле, при переезде из Керчи в Гурзуф, Пушкин написал элегию «Погасло дневное светило...».

Е. Н. РАЕВСКАЯ

Екатерина Николаевна Раевская (1797—1885) — дочь Н. Н. Раевского, с мая 1821 года жена М. Ф. Орлова; познакомилась с Пушкиным в семье родителей в Петербурге (1817—1820) и неоднократно встречалась с поэтом на Юге, а в 1830-е годы — в Москве.

ВОСПОМИНАНИЯ Е. Н. РАЕВСКОЙ В ЗАПИСИ Я. К. ГРОТА

(Стр. 220)

Я. К. Грот, с. 52—53.

[1] Пушкин ехал из Екатеринославля на Кавказ в обществе Н. Н. Раевского-старшего, его сына Николая и дочерей Марии и Софьи.

[2] Подробнее об отношениях Пушкина с А. Н. Раевским см.: *Черейский*, с. 339; *Переписка П.* (по указателю имен).

[3] Вероятно, имеются в виду хлопоты Н. Н. Раевского-младшего в апреле 1820 г., когда поэту угрожала ссылка на Север.

[4] См. статью Л. Майкова «Из сношений Пушкина с Н. Н. Раевским» в кн.: Майков Л. Пушкин. СПб., 1899, с. 137—161.

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

Филипп Филиппович Вигель (1786—1856) — известный мемуарист, «человек злоречивый, самолюбивый, обидчивый, колкий и умный» (по верной характеристике Герцена), член «Арзамаса», на заседаниях которо-

го он и познакомился, по-видимому, с Пушкиным. С 1823 года Ф. Ф. Вигель служил на юге, где встречался с Пушкиным в ноябре 1823 года. Пушкин обратился к нему с шутливым стихотворным посланием «Проклятый город Кишинев...».

Начиная с 1827 года они вновь виделись в Москве и в Петербурге. Летом 1831 года во время хлопот Пушкина по поводу издания газеты «Дневник» Ф. Ф. Вигель выступал посредником между поэтом и Уваровым. В 1836 году Пушкин хотел привлечь Ф. Ф. Вигеля в сотрудники «Современника».

Среди персонажей его мемуарной эпопеи, Пушкин один из немногих лиц, о которых он пишет с неизменной благожелательностью. Но в его изображении Пушкин — жертва, которую искушают то беспокойные посетители квартиры братьев Тургеневых, то «изуверы-демагоги» К. А. Охотников и В. Ф. Раевский. Не гнушается Ф. Ф. Вигель и прямой фальсификацией, утверждая, что ода «Вольность» являлась единственным вольнолюбивым произведением, написанным поэтом до его ссылки на юг.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 221)

Вигель Ф. Ф. Воспоминания, ч. 3. М., 1892, с. 181; ч. 5, с. 51; ч. 6, с. 9—12, 97—98, 115—116, 151—153, 171—172; ч. 7, с. 111—112, 134—135.

[1] *«Арзамас»* — литературное общество, основанное осенью 1815 г.; возникло в противовес консервативной «Беседе любителей русского слова». Лицеист Пушкин находился под сильным влиянием «Арзамаса»; уже в 1816 г. свое послание к Жуковскому он подписал: «Арзамасец». Официальное вступление Пушкина в общество относится к 1817 г., после окончания Лицея и переезда в Петербург. Ему было дано прозвище «Сверчок». Пушкин присутствовал на наиболее бурных заседаниях общества, на которых с развернутой политической программой выступали будущие декабристы. Заседания общества прекратились весной 1818 г.

[2] В 1861 г. Н. И. Тургенев свидетельствовал П. И. Бартеневу, что оду «Вольность» Пушкин «в половине сочинил в моей комнате, ночью докончил и на другой день принес ко мне, написанную на большом листе» (Звенья, т. VI, 1936, с. 149). На экземпляре, хранившемся в бумагах Н. И. Тургенева, стоит авторская дата: «1817». Однако до нас не дошло свидетельств современников, удостоверяющих их знакомство с этим произведением Пушкина в 1817—1818 гг. Остается предположить, что ода «Вольность» пролежала под спудом в доме Тургеневых до начала 1819 г. Подробнее об этом см.: Пугачев В. В. Предыстория Союза Благоденствия и пушкинская ода «Вольность». — *П. Иссл. и мат.*, т. IV, 1962, с. 94—139; «Из материалов к третьему изданию книги Н. О. Лернера «Труды и дни Пушкина».— Там же, с. 397—399; Ланда С. С.

О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России...— Пушкин и его время, вып. I. Л., с. 109—114; Оксман Ю. Г. Пушкин и декабристы.— Освободительное движение в России. Саратов, 1971, № 1, с. 74—75

[3] Роль М. А. Милорадовича в высылке Пушкина из столицы изложена мемуаристом с недоброжелательным пристрастием.

[4] Публикация Г. Арша полностью подтверждает свидетельство Ф. Ф. Вигеля об участии статс-секретаря Каподистрия в хлопотах, приведших к смягчению участи Пушкина. По представлению Каподистрия И. И. Инзов был назначен наместником Бессарабии, и по его же инициативе «срочную депешу» об этом ответственном назначении поручено было везти Пушкину. Каподистрия же составил официальное письмо к И. И. Инзову с просьбой принять Пушкина под свое покровительство и «благосклонное попечение»; он же выхлопотал решение о выдаче Пушкину 1000 рублей на дорожные расходы (*ЛГ*, 1972, 31 мая, № 22).

[5] Подробности о жизни Пушкина в Кишиневе см. в статье Вигеля «Москва и Петербург» (*РА*, 1893, № 8, с. 576).

[6] О причинах, побудивших Пушкина уехать из Кишинева, см. вступит. заметку к «Дневнику» Лугинина (с. 506).

Противник крепостного права, когда-то близкий к московскому кружку Н. И. Новикова, масон и либерал И. И. Инзов по-отечески отнесся к Пушкину, насколько было возможно, не стеснял его свободы, с сочувствием отзывался о нем в официальных бумагах и в частной переписке. Пушкин оставил уважительную характеристику Инзова в «Воображаемом разговоре с Александром I».

[7] Подробности об отношениях Пушкина с Е. К. Воронцовой и А. Н. Раевским см.: Цявловский М. А. Из записей П. И. Бартенева (О Пушкине и гр. Е. К. Воронцовой). — *Изв. ОЛЯ*, 1969, т. 28, вып. 3, с. 267—276.

[8] М. С. Воронцов относился к Пушкину строго официально, видя в нем лишь опального чиновника; он донимал Пушкина мелкими придирками, на которые поэт отвечал резкими эпиграммами. Увлечение Пушкина женой Воронцова еще более осложняло ситуацию. М. С. Воронцов посылал в Петербург отрицательные отзывы о ссыльном поэте. После оскорбительной командировки в мае 1824 г. для собирания сведений о саранче Пушкин подал прошение об отставке. Но еще ранее в руки властей попало письмо Пушкина, в котором он писал, что он в Одессе берет «уроки чистого афеизма». М. С. Воронцов добился ссылки уволенного со службы Пушкина в Михайловское. Пушкин выехал из Одессы 30 июля и уже 9 августа прибыл к месту своей новой ссылки. А. Н. Раевский во всей этой интриге вел себя неблаговидно, хотя его роль Ф. Ф. Вигелем несколько преувеличена.

[9] Мемуарист неточно излагает обстоятельства, связанные со следствием по делу о распространении стихотворения Пушкина, которое

ходило по рукам под названием «14 декабря», а на самом деле представляло собой отрывок из стихотворения «Андрей Шенье»; оно было написано, процензуровано и напечатано до восстания декабристов. Тем не менее, в результате этого дела, с 28 июля 1828 г. за Пушкиным был учрежден секретный надзор (см.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.— Л., ГИХЛ, 1931, с. 95—126).

[10] Недоброжелательный отзыв мемуариста о С. А. Соболевском объясняется личными счетами (см.: *Модзалевский*, с. 316).

Ф. Н. ЛУГИНИН

Федор Николаевич Лугинин (1805—1884) — воспитанник Московской школы колонновожатых (Муравьевское училище), командированный весной 1822 года на военно-топографическую съемку Бессарабии. Через два дня после приезда в Кишинев молодой офицер знакомится с Пушкиным, о котором он уже был наслышан как об авторе оды «Вольность».

Прибытие Лугинина в Кишинев совпало с разгромом бессарабского гнезда Южного тайного общества, с закрытием полулегальной масонской ложи, с гонением на либеральные начинания. В этих условиях Пушкин все сильнее тянулся к независимому содружеству офицеров Генерального штаба (В. П. Горчакову, В. Т. Кеку, А. П. и М. А. Полторацким). Дневник Лугинина, также входившего в эту дружескую артель, показывает, как неудержимо стремился Пушкин в кругу этих передовых, близких ему офицеров заполнить душевную пустоту, полонившую его в мрачные месяцы, когда Кишинев быстро становился скучным чиновно-помещичьим «проклятым городом».

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 234)

ЛН, т. 16-18, 1934, с. 667—674 (публикация Ю. Г. Оксмана), в наст. изд. с сокращениями.

[1] *«Атала»* — роман Шатобриана, *Шактас* — один из его героев.

[2] *«Не любо, не слушай, а лгать не мешай»* — стихотворная комедия в одном действии А. А. Шаховского.

[3] *Митрополией* именовали в Кишиневе дом архиерея, так как после присоединения в 1812 г. Бессарабии к России главой местного церковного управления был назначен Киевский митрополит. Посещения воскресной церковной службы для чиновников и военных были обязательны. П. И. Бартенев писал, что Пушкину принадлежали «какие-то шуточные стихи, в которых было и обращение поэта к своему слуге:

Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.

Это означало, пора идти к обедне, в новый верхний город» (*РА*, 1866, стлб. 1129). Об этом стих. см. коммент. 4 на с. 514 наст. изд.

[4] Как справедливо отмечено Ю. Г. Оксманом, книги, взятые мемуаристом у Стамати, характерны для провинциальной дворянской библиотеки того времени: «Искусство любви» Овидия в переводе на французский язык, историко-дидактический роман Бартелеми «Путешествие молодого Анахарзиса в Грецию» и сентиментальные драмы и повести Августа Коцебу.

[5] Мемуарист подтверждает, со слов самого Пушкина, что версия о порке была пущена графом Ф. И. Толстым, авантюрная биография которого отражена в стихах Вяземского, Дениса Давыдова, в «Горе от ума» Грибоедова и в «Двух гусарах» Л. Н. Толстого. Подробнее об отношениях Пушкина с Ф. И. Толстым см.: Толстой С. Л. Федор Толстой — Американец. М., 1926.

В. П. ГОРЧАКОВ

Владимир Петрович Горчаков (1800—1867) — воспитанник Московской школы колонновожатых (Муравьевское училище), с конца 1820 года дивизионный квартирмейстер при штабе 16-й дивизии, с мая 1822 года участник топографической съемки Бессарабии, один из ближайших приятелей Пушкина по Кишиневу. Любитель изящных искусств, меломан, версификатор, добряк по природе, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь знакомым и незнакомым, В. П. Горчаков обладал натурой пылкой и восторженной. Он не был декабристом, хотя по своим гуманным наклонностям сочувствовал освободительному движению.

Пушкин с интересом прислушивался к литературным суждениям В. П. Горчакова; в письме к нему (октябрь — ноябрь 1822 г.) поэт принимает некоторые его критические замечания, относившиеся к разбору «Кавказского пленника».

В начале 1830-х годов Пушкин и В. П. Горчаков встречались в Москве; последний оказывал Пушкину дружеские услуги.

В. П. Горчаков вел дневник, который ныне утрачен. В конце 1840-х годов, пользуясь материалами своего дневника, он составил публикацию под названием «Выдержки из дневника об А. С. Пушкине». Судя по плавности повествования, дневниковые записи подверглись существенной переработке; таким образом, перед нами гибридный литературный жанр — мемуары, написанные на дневниковой основе. Главный недостаток его воспоминаний — в неумении отделить основное от второстепенного, в подробном описании событий, не имеющих прямого отношения к Пушкину, что вынуждает печатать их с сокращениями. Полный их текст см.: *Цявловский. Книга воспоминаний*, с. 59—207.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА ОБ А. С. ПУШКИНЕ

(Стр. 239)

Москв., 1850, № 2, кн. 1, с. 146—182; № 3, кн. 1, с. 233—264; № 7, кн. 1, с. 169—198. В наст. изд. с сокращениями.

[1] Неприязнь поэта к А. Л. Давыдову прорвалась в «Евгении Онегине» — его имел в виду Пушкин в стихах «И рогоносец величавый, //Всегда довольный сам собой,// Своим обедом и женой».

[2] «Черная шаль» написана Пушкиным 14 ноября 1820 г.; она быстро завоевала широкую популярность в Кишиневе.

[3] Генерал-майор Михаил Федорович Орлов, участник войн с Наполеоном, принимавший капитуляцию Парижа в 1814 г., деятельный член тайных обществ. После перевода на юг являлся начальником штаба 4-го пехотного корпуса в Киеве, а затем был назначен командиром 16-й пехотной дивизии в Кишиневе. Там он стал во главе местного отделения Союза Благоденствия, открыл на собственные средства школу взаимного обучения для солдат. На занятиях в школе, которые вели его единомышленники В. Ф. Раевский и К. А. Охотников, велась революционная пропаганда. Хотя в 1821 г. Орлов формально вышел из Общества, он оставался осведомлен о деятельности декабристов. После ареста В. Ф. Раевского в 1822 г. Орлов был отстранен от командования дивизией и находился под сильным подозрением. Пушкин знал Орлова еще по «Арзамасу». Попав в Кишинев, поэт стал постоянным посетителем его дома и участником происходивших там политических споров. Об этом см.: Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира».— В кн.: Алексеев М. П. Пушкин. Л., Изд-во АН СССР, 1972, с. 160—207.

[4] *Г-жа Е.*— Мария Егоровна Эйхфельдт, которую за южную внешность звали «еврейкой». По-видимому, ее имел в виду Пушкин в начальных стихах «Гавриилиады» («Зачем же ты, еврейка, улыбнулась...») и в черновике послания к Н. С. Алексееву: «Люби, ласкай свои желанья, // Надежде и еврейке верь». М. Е. Эйхфельдт была возлюбленной Н. С. Алексеева. *Зоя* — племянница Эйхфельдт.

[5] *Тодораки* — Ф. Е. Крупянский, упоминаемый Пушкиным в стихотворении «Тадарашка в вас влюблен».

[6] *Меледа* — кружочки, нанизывающиеся на проволочку для препровождения времени, головоломная задача.

[7] По предположению В. Э. Вацуро, под именем *Аделаиды Александровны* выведена хозяйка московского литературного салона З. А. Волконская. Возможно, что Пушкин вписал в ее альбом, который до нас не дошел, стихотворение «Есть роза дивная: она...» — в его рукописи помечено: «1-е апреля 1827, Москва», и оно при жизни поэта не печаталось. По другой версии прототип Аделаиды Александровны — И. Г. Полетика (*Цявловский. Книга воспоминаний*, с. 212).

[8] Имеется в виду И. Н. Ланов, враждовавший с Пушкиным; поэт написал на него эпиграмму «Бранись, ворчи, болван, болванов...».

[9] «Кавказский пленник» начат в 1820 г. в Гурзуфе и закончен в феврале 1821 г. в Каменке. Замысел «Бахчисарайского фонтана» возник, по-видимому, позднее — не ранее 1821 г.

[10] Слова Пушкина метили в А. С. Шишкова, пытавшегося неудачными неологизмами заменить иностранные слова, укоренившиеся в русском языке.

[11] Стихотворение «Виноград» впервые было напечатано Пушкиным в его сборнике 1826 г. с датой: 1820, то есть годом, к которому относится рассказ В. П. Горчакова. Однако черновик «Винограда» находится среди стихотворений, писанных осенью 1824 г. в Михайловском.

[12] Хронологическая ошибка: в декабре 1820 г. мемуарист не мог встречаться с Пушкиным в Кишиневе, так как с середины ноября 1820 г. по начало марта 1821 г. Пушкин жил в Каменке. Остроту о пушке и единороге Пушкин вспомнил в письме к Вяземскому 14 марта 1830 (*XIV*, 69).

[13] *Федор Федорович* — Орлов.

[14] Имеется в виду П. Д. Киселев, приятель М. Ф. Орлова. О нем см. дневник А. И. Тургенева во 2 томе наст. изд.

[15] *К*...— по-видимому, А. А. Крюков, декабрист, приговоренный впоследствии к 20 годам в каторгу.

[16] *Великопольский* — по-видимому, Николай Львович.

[17] Имеется в виду статья «Письмо к редактору жителя Бутырской слободы» (*BE*, 1820, № 11), направленная против Пушкина; ее автор — М. Т. Каченовский, редактор «Вестника Европы».

[18] Автор стихотворения не установлен.

[19] Дневниковые записи и письма Пушкина того времени опровергают слова Горчакова о равнодушии Пушкина к греческому восстанию.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПУШКИНЕ

(Стр. 276)

М. вед., 1858, 1 февраля, № 19. В наст. изд. — с сокращениями.

[1] *Полторацкий 1-й* — Михаил Александрович. *Полторацкий 2-й* — Алексей Павлович.

[2] *Катенька* — по-видимому, Е. З. Стамо.

[3] *Елена* — по-видимому, Е. А. Соловкина.

[4] К. И. Прункул опубликовал в «Общеобразовательном вестнике» (1857, № 11) клеветнические мемуары о Пушкине. «Воспоминания» Горчакова являются полемическими по отношению к ним.

[5] Пушкин жил в доме, который соседствовал с пустырем, и в снежную зиму добраться до ворот было трудно. Стихотворение датируется 27 января 1823.

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

Александр Фомич Вельтман (1800—1870) — писатель, учился в Московском университетском пансионе, затем окончил Московскую школу колонновожатых; в 1818 году он был направлен в Бессарабию военным топографом. В Кишиневе Вельтман познакомился с Пушкиным. Вскоре после гибели поэта Вельтман стал писать свои мемуары, которые он первоначально назвал «Воспоминания о Бессарабии и Пушкине». В 1837 году в «Современнике» анонимно появилась первая часть их под измененным названием — «Воспоминания о Бессарабии» (т. VII, с. 226—249). «Я узнал его в Бессарабии, и очерк этой страны будет рамой, в которую я вставлю воспоминание о Пушкине»,— обещал автор читателю.

Продолжения воспоминаний Вельтмана, в котором он переходил от «рамы» к рассказу о его встречах с Пушкиным, в «Современнике» не появились, по-видимому, по цензурным соображениям; но можно утверждать, что продолжение было написано тогда же, так как бумага первого и второго автографа одинаковая (об этом см.: *Рыскин*, с. 74).

Воспоминания Вельтмана воссоздают обстановку, в которой Пушкин жил в Кишиневе. Однако сам поэт изображен лишь беглыми штрихами; по-видимому, между ними существовала дружеская приязнь, не перешедшая в близкие, откровенные отношения; Вельтман был далек от тех беспокойных, полных вольнодумного задора мыслей, которые воодушевляли Пушкина. Кроме того, Вельтман предполагал печатать свои воспоминания в «Современнике» и, естественно, остерегался включать в их текст все то, что могло вызвать нарекания цензуры.

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕССАРАБИИ

(Стр. 286)

Майков Л. Н. Пушкин. Библиографические материалы и историко-литературные опыты. СПб., 1899, с. 102, 117—132, с сокращениями.

[1] Пушкин приехал в Кишинев 21 сентября 1820 г., за полгода до начала греческого восстания. Битва под Скулянами произошла 29 июня 1821 г. Стихотворение «Война» датируется предположительно мартом 1821 г.; оно вызвано упорными слухами, что Россия объявит войну Турции. 21 августа, в письме к С. И. Тургеневу, Пушкин, имея в виду возможные хлопоты об освобождении его от ссылки, добавлял: «Но если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии» (*XIII*, 32).

[2] Ошибка мемуариста: К. Н. Батюшков в Кишиневе не жил.

[3] Об эпиграммах Пушкина см.: Цявловская Т. Г. Муза пламенной сатиры.— *Пушкин на юге*, т. II, с. 147—198.

[4] Об Алексееве см.: Прометей, 1974, № 10.

[5] В очерке «Илья Ларин» (Моск. городской листок, 1847, № 8) Вель-

тман, упоминая о своей встрече с Лариным в 1840-е годы, пересказывает его воспоминания о Пушкине.

[6] О происшествии, побудившем Пушкина написать «Братья-разбойники», пишет Мекленбурцев: «В Мандрыковке, близ реки Днепра, находилась тюрьма, из которой во время пребывания поэта бежали два брата-арестанта, побочные дети помещика Засорина, о которых Александр Сергеевич и написал известную поэму «Братья-разбойники». Ныне усадьба принадлежит г. Кулабухову, у которого и имеются на все изложенное данные» (Приднепровский край, 1899, 6 февраля, № 392).

[7] *«Он важен, важен, очень важен...»* — стихи Вельтмана из его повести «Странник».

[8] Ср. с воспоминанием П. А. Вяземского: «Покойный М. А. Максимович передавал нам, как в его присутствии кто-то из знакомых сказывал Пушкину, что одна цыганка вместо: «Режь меня, жги меня» пела «Режь меня, ешь меня». Пушкин был чрезвычайно доволен и говорил, что в следующем издании поэмы непременно сделает эту перемену» (*РА*, 1874, I, с. 424).

[9] *«Янко чабан»* — молдавская сказка Вельтмана, осталась ненапечатанной; два отрывка из нее писатель включил в свою повесть «Странник», ч. I, с. 96 и 98.

[10] Из трех частей повести «Странник» (1831—1832) в библиотеке Пушкина сохранились изданные вместе вторая и третья части, с надписью: «Александру Сергеевичу Пушкину Вельтман». Без ведома Пушкина в «Литературной газете» (1831, № 30) была напечатана отрицательная рецензия на повести Вельтмана «Беглец» и «Странник», что раздосадовало Пушкина; 1 июня 1831 г. он писал П. В. Нащокину: «Я сейчас увидел в «Литературной газете» разбор Вельтмана, очень не благосклонный и несправедливый. Чтоб не подумал он, что я тут как-нибудь вмешался. Дело в том, что и я виноват: поленился исполнить обещанное. Не написал сам разбора; но некогда было» (*XIV*, 168).

И. П. ЛИПРАНДИ

Иван Петрович Липранди (1790—1880) — участник русско-шведской войны 1808—1809 годов и кампании против Наполеона в 1812—1814 годах, был за какую-то провинность переведен из гвардии в армию и в чине подполковника 21 августа 1820 года прибыл в Кишинев (послужной список И. П. Липранди; *ЦГИА*, ф. 1284, оп. 20, № 158). Через месяц, 22 сентября 1820 года, он познакомился с Пушкиным и находился с ним в близких, дружеских отношениях в течение всего пребывания поэта на юге. Пушкин отмечал в Липранди «ученость отличную с отличным достоинством человека» и 2 января 1822 года следующим образом рекомендовал его П. А. Вяземскому: «Он мне добрый приятель и (верная

порука за честь и ум) не любим нашим правительством и сам не любит его» (*XIII*, 34). Близость Липранди к тайному обществу, фактическое участие его в кишиневской ячейке декабристов подтверждаются рядом документов и воспоминаний современников: см.: Садиков П. А. И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов.— *П. Врем.*, 266—295; Базанов В. Г. Декабристы в Кишиневе. Кишинев, 1951; Воспоминания В. Ф. Раевского. Публикация и вступ. статья М. К. Азадовского.— *ЛН*, т. 60, кн. 1, с. 45—128; Оксман Ю. Г. Воззвание к сынам Севера.— В кн.: Очерки из истории движения декабристов. М., 1954; Нечкина М. В. Движение декабристов, т. I. М., 1955, с. 356—357. Арестованный 19 января 1826 года, он, однако, был 19 февраля освобожден с оправдательным аттестатом, так как главные члены Южного общества не подтвердили показания Комарова о причастности Липранди.

После 1826 года Липранди служил в армии, отличился в русско-турецкой кампании 1828—1829 годов, с 1832 года — генерал-майор.

В этот период он не встречался с Пушкиным, но был с ним в переписке (местонахождение ее неизвестно). 26 декабря 1830 года Пушкин просил Н. С. Алексеева писать «обо всех, близких моему воспоминанию», и в том числе — «об Липранди» (*XIV*, 136). В Липранди не без основания видят прототип Сильвио из повести Пушкина «Выстрел». Во вторую программу «Записок» (октябрь 1833 г.) Пушкин внес между прочим: «Липранди — 12 год — mort de sa femme» («смерть его жены»).

Вскоре после смерти Пушкина Е. Н. Вревская (Вульф) сообщала: «Я встретила Липранди, и мы с ним много говорили о Пушкине, которого он восторженно любит» (*ПиС*, вып. XXI—XXII, с. 404—405. Пер. с фр.).

С 1840 года И. П. Липранди — чиновник особых поручений при министерстве внутренних дел. В этой должности он приобрел зловещую всероссийскую известность организацией сыска против общества петрашевцев. Именно сведения подосланного Липранди агента Антонелли сыграли решающую роль в арестах 1849 года.

С 1852 года Липранди, находясь в отставке, публикует или подготавливает ряд ценных воспоминаний и исследований о кампании 1812 года и других исторических событиях, а также продолжает попытки политической деятельности, составляя различные проекты по вопросам о расколе, преобразовании армии, тайной полиции, сыска. В этот период он подвергается острым обличениям русского прогрессивного общества, в особенности — Вольной печати Герцена.

О различных этапах биографии и мировоззрения И. П. Липранди см.: Эйдельман Н. Я. Где и что Липранди? — В сб.: Пути в незнаемое. М., 1972, с. 125—158.

Воспоминания Липранди были написаны им в 1866 году в виде замечаний на статью П. И. Бартенева «Пушкин в южной России» и впервые напечатаны вслед за этой статьей в «Русском архиве» (1866, стлб. 1231—1283; 1393—1491). Исключительная ценность этих записок —

главнейшего источника сведений о южном периоде биографии Пушкина — заключается в том, что в их основе, без сомнения, лежал дневник И. П. Липранди. Дневник этот (нынешнее местонахождение автографа неизвестно), по словам самого автора, велся с 6 мая 1808 года, «вмещая в себя все впечатления дня до мельчайших и самых разных подробностей, никогда не предназначавшихся к печати» (*ЦГАЛИ*, ф. 46 (П. И. Бартенева), оп. I, № 561, л. 401). В 1866 году, отбирая дневниковые свидетельства 1820-х годов, консервативно настроенный И. П. Липранди стремился максимально затушевать те факты, которые доказывали его близость к тайным обществам и декабристскому вольнодумству. Тем не менее некоторые разделы из воспоминаний Липранди были смягчены, а некоторые не пропущены в печать издателем Бартеневым или цензурой в основном из-за их политически острого звучания. В 1936 году М. А. Цявловский опубликовал по корректурным листам «Русского архива» два существенных пропуска в прежде печатавшемся тексте (*Лет. ГЛМ*, т. 1), кроме того, в Академическом собрании сочинений Пушкина и в ряде научных изданий исследователя цитировались отдельные фрагменты из неопубликованной части «Записок».

Получив рукопись И. П. Липранди, П. И. Бартенев показал ее В. П. Горчакову, который поместил на ее полях ряд своих замечаний, представляющих немалый интерес и влиявших на редактирование текста издателем «Русского архива».

В настоящем издании текст воспоминаний Липранди о Пушкине печатается в сокращении по писарской копии, авторизованной и выправленной рукой Липранди (*ИРЛИ*, ф. 244. оп. 17, № 122). Отсылки И. П. Липранди к страницам работы Бартенева «Пушкин в южной России» сохранены только в тех случаях, когда это необходимо для понимания контекста. Подстрочные примечания к тексту принадлежат самому И. П. Липранди или В. П. Горчакову, там же отмечены варианты текста, возникшие вследствие правки Бартенева по указанию В. П. Горчакова.

ИЗ ДНЕВНИКА И ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 300)

Автограф (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, № 122).

[1] *Гетерии* — греческие тайные общества, возглавлявшие национально-освободительное движение. *Фанариоты* — греческие аристократы на службе у турецкого правительства; некоторые из них (Ипсиланти, упоминаемые далее Яковаки, Ризо и др.) были руководителями освободительной борьбы.

[2] См. также в воспоминаниях Горчакова, с. 244—245 и примеч. 4 к ним. О своем соперничестве с Алексеевым Пушкин писал в полушутливом, полусерьезном тоне в адресованных ему стихах («Приятелю», 1822;

«Алексееву», 1821), а также в поздних письмах к нему (*XIII*, 309; *XIV*, 136). Возможно, что намек на соперничество из-за прекрасной «еврейки» (прозвище М. Е. Эйхфельдт) был заложен и в сюжете «Гавриилиады».

[3] Ф. Ф. Вигель был известен своими гомосексуальными наклонностями.

[4] Это указание Горчакова позволяет объединить в одно стихотворение два наброска, до сих пор печатавшиеся в качестве самостоятельных: «Дай, Никита, мне одеться...» (*II*, 470) и «Раззевавшись от обедни...» (*II*, 192). Последнее стихотворение корректирует заявление Липранди, что Пушкин не бывал у Катакази.

[5] Маловероятно, что эти строки действительно сочинены Пушкиным, если только в них не содержится пародии на принятый стиль комплиментарного обращения.

[6] *Логофет* — «хранитель счета» (греч.) — чиновник государственного управления.

[7] Это замечание Липранди носит маскирующий характер. В настоящее время накопилось немало сведений о близости И. П. Липранди к кишиневским декабристам и фактическом участии его в тайном обществе.

[8] 11 марта 1801 г.— день убийства Павла I. Бологовский был одним из участников заговора.

[9] Единственный известный нам развернутый отзыв Пушкина о Пестеле (запись в кишиневском дневнике 9 апреля 1821 г.; *XII*, 303) целиком положителен. Стремление «отделить» Пушкина от Пестеля, возможно, связано с общей установкой мемуаров Липранди (см. выше). Отец Пестеля, И. Б. Пестель, в бытность свою губернатором в Сибири, был известен своим лихоимством.

[10] Рассказ об этом был позднее записан Бартеневым со слов Горчакова (*РА*, 1900, I, с. 403). Двустишие, якобы сказанное Орловым Пушкину,— парафраза из басни И. И. Дмитриева «Башмак, мерка равенства»: «Твои, мои права одни, // Да мой сапог тебе не впору».

[11] Речь идет о реальной основе стихотворения Пушкина «Дочери Карагеоргия» (1820).

[12] П. П. Свиньин писал о месте ссылки Овидия в «Воспоминаниях о степях Бессарабских» (*ОЗ*, 1821, ч. 5, с. 7); этой статье Пушкин косвенно возражал в предисловии к стихотворению «К Овидию» (1821). См.: Формозов А. А. Пушкин и древности. Наблюдения археолога. М. «Наука», 1979.

[13] Эти сведения переданы Н. И. Надеждиным («Прогулка по Бессарабии».— Одесский альманах на 1840 г. Одесса, 1839, с. 622). В опущенной нами части мемуаров Липранди подробно говорит об этом свидетельстве как о сомнительном.

[14] *Бессы* — народность, упоминаемая в элегиях Овидия.

[15] Имеется в виду «Песня Земфиры» в «Цыганах». См. подробно: Богач Г. Пушкин и молдавский фольклор. Кишинев, 1963, с. 100 (там же — анализ свидетельств об упоминаемых Липранди несохранившихся кишиневских замыслах Пушкина и библиография работ).

[16] К этому месту в журнальной публикации П. И. Бартенев сделал примечание: «От себя Пушкин ничего не прибавил тут». Оно позволяет предположить, что Бартенев был знаком с двумя повестями Пушкина или руководствовался свидетельством Липранди, что в них содержится лишь запись молдавских преданий без «прибавлений» от лица самого Пушкина. Местонахождение этих пушкинских работ неизвестно. Об их содержании см.: Г. Г. Богач, цит. работа.

[17] В опущенной нами части мемуаров Липранди еще раз упоминает об этом эпизоде, говоря о шуточных куплетах «Джоку», где описывались члены кишиневского общества. «Пушкину более всех нравился куплет:

Альбрехтша! Ты всем давала
Женской скромности пример.
У тебя для генерала
Не был презрен офицер!

Вначале она очень интересовала Пушкина и была причиной истории его с Балшем. Пушкин, кажется, успел, но очень скоро бросил; ее ревность была тягостна и т. п.».

[18] Об этом упоминает и М. Н. Лонгинов (см. с. 397 наст. изд.).

[19] Далее в опущенном нами разделе воспоминаний И. П. Липранди подробно рассказывает об известной истории устранения декабриста М. Ф. Орлова от командования 16-й дивизией. Мемуарист здесь снова подчеркивал будто бы слабое распространение декабристских идей в Бессарабии.

[20] Ср. с этим упоминанием о П. Д. Киселеве как о «придворном» в стихотворении «А. Ф. Орлову» (1819). Дуэль Киселева с генералом И. Н. Мордвиновым, отстраненным по его представлению от командования Одесским полком за служебные упущения, состоялась 23 июня 1823 г.; Мордвинов был убит.

[21] Подробно об этих поединках Липранди см.: Эйдельман Н. Я. Где и что Липранди? — в сб.: Пути в незнаемое, М., 1972, с. 125—158.

[22] Далее нами опущено другое «происшествие», связанное с злоключениями переселенцев из России.

[23] Ошибка памяти Липранди; см. об этом в воспоминаниях Подолинского, т. 2, с. 144 и далее наст. изд.

[24] Нами опущен конец воспоминаний Липранди, с рассказом о спорадических встречах его с Пушкиным, отъезде мемуариста из Кишинева в Петербург (4 февраля 1822 г.) с пакетом для Л. С. Пушкина и знакомстве с семьей поэта. Последние встречи Пушкина и Липранди относятся к 1824 г.

П. И. ДОЛГОРУКОВ

Павел Иванович Долгоруков (1787–1845) — князь, сын писателя И. М. Долгорукова, 1 августа 1821 года приехал по месту своей новой службы — в Кишинев, где вскоре познакомился с Пушкиным.

Скептическое название его дневника «35-й год моей жизни, или Два дни ведра на 363 ненастья» говорит само за себя; он не рвался в «либералисты», он был добропорядочным чиновником. И тем не менее несколько ироническое отношение к жизни, стремление вести потаенный дневник (он пролежал под спудом свыше столетия и был напечатан лишь в советское время) отделяло его от остальных чиновников. Подробнее о дневнике П. И. Долгорукова и его значении как мемуарного источника см.: Цявловские М. А. и Т. Г. Дневник Долгорукова.— Звенья, т. IX. М., 1951, с. 5—20.

35-Й ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ, ИЛИ ДВА ДНИ ВЕДРА НА 363 НЕНАСТЬЯ

(Стр. 364)

Звенья, IX. М., 1951, с. 27, 29, 33—34, 43—45, 48, 51, 53, 56—58, 60—64, 66, 71, 73, 75, 78—79, 88, 92, 99—101.

[1] *Гавриил* — Банулеско о смерти которого Пушкин упомянул в послании к В. Л. Давыдову (1821).

[2] *Архиерей Кишиневский и Хотинский* — Дмитрий Сулема.

[3] По-видимому, спутана история с ротным командиром Камчатского полка Брюхатовым и происшествия в Охотском полку, о которых говорится в приказе М. Ф. Орлова от 8 января 1822 г. Подробнее об этом см.: Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., Изд-во АН СССР, 1963.

[4] О столкновении Пушкина со Старовым см. 334—337, 281—284 наст. изд.

[5] Ошибка мемуариста — не Янко, а Иорго Балш.

[6] *12 марта* — день вступления на престол Александра I.

[7] Отец мемуариста — поэт И. М. Долгоруков, который упомянут в отрывках десятой главы «Евгения Онегина», где Пушкин, намекая на стихотворение Долгорукова «Авось», величает его «стихоплет великородный».

[8] Об этом же писал Пушкин позднее в «Опровержении на критики» (1830): «*Двенадцать,* а не *двѣнадцать. Две* сокращенно из *двое,* как *тре* из *трое*» (*XI*, 148).

[9] Об Яшвиле см. *XII*, 315.

[10] Речи Пушкина против рабства справедливо сопоставлены В. Г. Ба-

зановым с рассуждением «О рабстве крестьян» В. Ф. Раевского (Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский. Л.— М., 1949, с. 118—119).

[11] *Эльфельд* — Иван Иванович Эйхфельдт.

[12] Речи, проповеди церковников сочинялись на извлеченную из книг Священного писания цитату, которая и называлась «текстом»; в своей записи Долгоруков использует подобное значение слова «текст».

[13] Пушкину приписывался перевод французского изречения «Кишкой последнего попа последнего царя удавим», встречающегося у Жана Мелье (см.: Рак В. Д. К истории четверостишия, приписанного Пушкину.— *Врем. ПК*, 1973. Л., 1975, с. 107—117).

[14] *Болховский* — Д. Н. Бологовский.

И. Д. ЯКУШКИН

Иван Дмитриевич Якушкин (1793—1857) — воспитанник Московского университета, участник Отечественной войны 1812 года, с 1818 года в отставке с чином капитана; декабрист, член Союза Благоденствия и Северного общества.

С Пушкиным Якушкин познакомился в начале 1820 года у П. Я. Чаадаева и, по-видимому, встречался с ним в кругу будущих декабристов.

В Каменке — поместье Давыдовых-Раевских — Пушкин гостил с середины ноября 1820 года до начала марта 1821 года. Во время пребывания Пушкина там происходили совещания заговорщиков, собравшихся в Каменке по пути в Москву на съезд членов Союза Благоденствия.

Рассказ Якушкина о его встречах с Пушкиным в Каменке, хотя и записан значительно позже происходивших событий — в 1854 году,— вполне достоверен (об этом см.: Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Изд. Саратовского ун-та, 1960, с. 44—45). Впервые он был напечатан в изданиях Вольной Русской типографии в Лондоне в 1861—1862 годах.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 377)

Якушкин И. Д. Записки, статьи и письма. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 40—43.

[1] Приезд гостей в Каменку был приурочен ко дню именин хозяйки — Е. Н. Давыдовой, которые праздновались 24 ноября.

[2] Имеется в виду младшая дочь А. Л. и А. А. Давыдовых, которой посвящено стихотворение Пушкина «Играй, Адель...».

В. Ф. РАЕВСКИЙ

Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872) — воспитанник Московского университетского пансиона (1808—1811), участник Отечественной войны 1812 года; в 1821 году заведовал военной школой 16-й дивизии в Кишиневе, член тайного общества. Арестованный в начале 1822 года, В. Ф. Раевский проявил непоколебимую стойкость на допросах. Несмотря на отсутствие прямых улик, В. Ф. Раевский был лишен дворянского звания и отправлен в 1828 году на поселение в Сибирь.

В Кишиневе между Пушкиным и В. Ф. Раевским сложились дружеские отношения. Взаимный интерес подкреплялся беседами на литературные темы — В. Ф. Раевский многие часы досуга отдавал поэзии. По своим литературным склонностям В. Ф. Раевский принадлежал к тем представителям гражданской поэзии (Кюхельбекер, Катенин), которые придерживались архаических принципов в литературе. Подобная позиция вызывала споры между В. Ф. Раевским и Пушкиным; памятником этим спорам и является его диалог «Вечер в Кишиневе» (датируется началом 1822 г.); участники литературного диспута «майор» — сам Раевский и «молодой Е.» — В. П. Горчаков, горячий приверженец поэзии Пушкина. Тема спора — одно из лицейских стихотворений Пушкина «Наполеон на Эльбе» (об этом см.: *ЛН*, т. 16-18, с. 660). Взыскательные суждения В. Ф. Раевского напоминали Пушкину споры с П. А. Катениным, помогали поэту критически отнестись к литературной традиции школы Карамзина. Впрочем, взыскательность была взаимной,— эпикурейская, любовная лирика В. Ф. Раевского представлялась Пушкину досадным анахронизмом. Другое дело — гражданская поэзия В. Ф. Раевского («К друзьям в Кишинев», «Певец в темнице» и др.), вызывавшая восторженные отзывы Пушкина (об этом см.: Цявловский М. А. Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому.— *П. Врем.*, т. 6, 1941, с. 41—50; Медведева И. Пушкинская элегия 1820-х годов и «Демон». — Там же, с. 55—56).

В 1841 году В. Ф. Раевский начал писать свои воспоминания; в их первой главе, которая печатается под редакционным заголовком «Мой арест», перед читателем возникает два образа — пылкого Пушкина и невозмутимого спартанца Раевского. Поединок мыслей завершился поединком характеров.

ВЕЧЕР В КИШИНЕВЕ

(Стр. 381)

ЛН, т. 16-18, 1934, с. 660—662.

[1] «Наполеон на Эльбе» впервые был опубликован в «Сыне отечества» в 1815 г. (с подписью: I... 14—17), перепечатан с подписью: Ал. Пуш-

кин — в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (ч. V. СПб., 1816, с. 264—267), а затем во втором издании этого «Собрания...», вышедшего в свет осенью 1821 г. и попавшего, по-видимому, в руки В. Ф. Раевского в самом начале 1822 г.

МОЙ АРЕСТ

(Стр. 384)

ЛН, т. 60, кн. 1, 1956, с. 75—82.

[1] Намек на Калипсо Полихрони, которой тогда увлекался Пушкин.

[2] И. Н. Инзов считался современниками сыном Павла I. Сводку материалов об Инзове и его взаимоотношениях с Пушкиным см.: *Письма*, т. I, с. 209—210.

С. Е. РАИЧ

Воспоминания журналиста, поэта, переводчика «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо Семена Егоровича Раича (1792—1855) вкраплены в цикл его критических статей о сочинениях Пушкина и есть часть их общего замысла утвердить идеал «чистого поэта» в его эпигонско-романтическом варианте. Под этим углом зрения стилизован и облик Пушкина. Сохраняя фактическую основу своих разговоров с поэтом (июль — август 1823 г.), Раич дает им толкование, иной раз расходящееся с прямыми пушкинскими свидетельствами.

Впервые: Галатея, 1839, № 19, 24, 27, 29, без подписи.

ИЗ СТАТЕЙ О СОЧИНЕНИЯХ ПУШКИНА

(Стр. 391)

Галатея, 1839, № 19, с. 132—134; № 24, с. 485—486; № 27 с. 44; № 29, с. 197.

[1] «Евгений Онегин», гл. I. Эпиграф — Гораций, Сатиры, кн. II, сатира 6.

[2] Ср. эту же мысль в «Разговоре о критике» (1830) (*XI*, 90).

[3] Это неточно. В начале 1820-х годов Пушкин внимательно изучает Батюшкова и, действительно, вступает с ним в творческую полемику (см.: Сандомирская В. Б. К вопросу о датировке помет Пушкина во второй части «Опытов» Батюшкова.— *Врем. ПК*, 1972. Л., 1974, с. 16—35), но общая оценка его остается очень высокой; критика адресована подражателям, воспроизводившим технические приемы мелодического стиха.

[4] Этот разговор (время и обстоятельства которого неясны) лишь отчасти соответствует позиции Пушкина, видевшего в товарных книгоиздательских отношениях естественный процесс профессионализации литературы.

К. П. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ

Константин Петрович Зеленецкий (1812—1858) — с 1837 года профессор Ришельевского лицея в Одессе, автор нескольких статей о Пушкине, написанных по сведениям лиц, лично знавших поэта.

ЗАПИСИ РАССКАЗОВ ОДЕССКИХ СТАРОЖИЛОВ

(Стр. 394)

Москв., 1854, т. III, № 9, кн. 1, отд. V, с. 7—11.

[1] Имеется в виду англичанин Уильям Хатчинсон, домашний врач в семье М. С. Воронцова. Подробнее о нем см.: Аринштейн Л. М. Одесский собеседник Пушкина.— *Врем. ПК*, 1975, с. 58—70.

[2] Цитата из письма Пушкина к П. А. Вяземскому от апреля — первой половины мая(?) 1824 г. Попавшее в руки властей письмо Пушкина об атеизме послужило одной из причин его ссылки в Михайловское.

[3] На даче барона Рено летом 1823 г. жила Е. К. Воронцова, в гости к которой приезжал Пушкин.

[4] Елена или Зинаида Бларамберг.

[5] А. Ризнич посвящены стихотворения Пушкина: «Под небом голубым страны своей родной...» и «Для берегов отчизны дальной...».

М. Н. ЛОНГИНОВ

Михаил Николаевич Лонгинов (1823—1875) — известный историк литературы и библиограф. Воспитанник Царскосельского лицея. Его дядя (со слов которого записаны воспоминания о Пушкине) Никанор Михайлович Лонгинов служил начальником 1-го Отделения Канцелярии М. С. Воронцова в то время, когда Пушкин жил в Одессе. Заметка «Пушкин в Одессе» впервые опубликована: *БЗ*, 1859, т. II, № 18, с. 553—555.

ПУШКИН В ОДЕССЕ (1824)

(Стр. 397)

Цявловский. Книга воспоминаний, с. 280—282.

А. П. РАСПОПОВ

Александр Петрович Распопов (1803—1882) — племянник директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта, в 1824 году — офицер Лубенского гусарского полка (впоследствии генерал-майор) — встречался с Пушкиным в доме своего дяди во время учебы поэта в Лицее. Стал случайным свидетелем остановки Пушкина на почтовой станции г. Могилева по дороге из Одессы в Михайловское (6 августа 1824 г.), о которой рассказал в заметке «Встреча с Пушкиным в Могилеве», малодостоверной в подробностях, но опирающейся на реально происходившие события.

ВСТРЕЧА С А. С. ПУШКИНЫМ В МОГИЛЕВЕ В 1824 Г.

(Стр. 399)

РС, 1876, № 2, с. 464—467.

[1] О необычной одежде Пушкина, ехавшего в Михайловское, см. также «Воспоминания А. И. Подолинского (т. 2 наст. изд.).

[2] Шестая глава «Евгения Онегина» не могла быть известна в августе 1824 г., так как была написана уже в Михайловском (1826), а появилась в печати лишь в 1828 г.

[3] Стихотворение Пушкина «Веселый пир» (1819).

[4] Вопреки данной в Одессе подписке никуда не заезжать и нигде не останавливаться, Пушкин заезжал к И. С. Деспоту-Зеновичу в село Колпино 8 августа 1824 г. (см. *XIII*, 105). Упомянутая поездка в Михайловское состоялась в июне — июле 1825 г., так как Распопов упоминает гостившую там именно в это время А. П. Керн (см.: *Летопись*, с. 612).

А. М. ГОРЧАКОВ

Александр Михайлович Горчаков (1798—1883) — видный дипломат, в 1856—1882 годах министр иностранных дел, с 1863 года канцлер — был лицейским товарищем Пушкина, посвятившего ему стихотворные послания «Пускай, не знаясь с Аполлоном...» (1814), «Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...» (1817), «Питомец мод, большого света друг...» (1819) и строфы в «Пирующих студентах» (1814). Горчаков не принадлежал к числу близких лицейских друзей поэта, хотя и был связан с ним общностью литературных интересов. Подобно многим из лицеистов, Горчаков увлекался пушкинскими стихами, был их прилежным переписчиком. В его альбоме сохранился самый ранний из дошедших до нас автографов Пушкина — перевод стихов Прадона (см.: *Рукою П.*, с. 627—628). В составе его архива была обнаружена и незаконченная поэма «Монах» (см. ниже). Посвятив себя дипломатическому поприщу, Горчаков после

окончания Лицея долгие годы провел за границей, изредка общаясь с Пушкиным во время своих приездов в Петербург (в 1818 и 1819 г.).

В августе 1825 года А. М. Горчаков заехал в Псковскую губернию к своему дяде А. Н. Пещурову и в его имении Лямоново случайно встретился с Пушкиным. Эта встреча нашла отражение в стихотворении «19 октября» (1825) и воспоминаниях А. М. Горчакова, известных в записи А. Урусова.

О ПУШКИНЕ

(Из письма А. И. Урусова к издателю «Русского архива»)

(Стр. 402)

РА, 1883, кн. 2, с. 205—206.

[1] Являясь уездным опочецким предводителем дворянства, А. Н. Пещуров принял на себя обязанность учредить надзор за ссыльным Пушкиным, поручив его сначала И. М. Рокотову (см. коммент. 10 к «Воспоминаниям о Пушкине» Керн), а затем С. Л. Пушкину (*РС*, 1908, № 10, с. 112—114).

[2] Ошибка мемуариста: «Слюни» упоминаются в другой сцене трагедии — «Девичье поле. Новодевичий монастырь» (*VII*, с. 12—14), которая, по соображениям цензурного свойства, была исключена из отдельного издания «Бориса Годунова» (СПб., 1831).

[3] Занимая видные государственные посты, А. М. Горчаков не мог заявить в печати о том, что хранит у себя рукопись антиклерикальной поэмы Пушкина «Монах» (1813), автограф которой был обнаружен в составе его архива лишь в 1928 г. видным пушкинистом П. Е. Щеголевым (*КА*, 1928, т. 31, с. 160—201; 1929, т. 32, с. 183—190).

А. П. КЕРН

Анна Петровна Керн (1800—1879) — вдохновительница одного из шедевров лирики Пушкина «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»), адресат ряда его шуточных стихов, многолетняя корреспондентка поэта.

Знакомство Керн с Пушкиным относится к ранней юности будущей мемуаристки. Приехав в Петербург в 1819 году, она впервые увидела Пушкина в доме своей родной тетки Е. М. Олениной. Мимолетной встрече было суждено стать началом долголетних отношений, поддерживаемых родственными связями Керн (приходившейся по матери племянницей П. А. Осиповой) с тригорскими друзьями поэта, а после переезда в Петербург (где, порвав с мужем, А. П. начала самостоятельную жизнь) ее знакомством и дружбой с родителями поэта и семьей Дельвига. Страстное, хотя и кратковременное увлечение Пушкина Керн, относящееся ко времени ее приезда к П. А. Осиповой в Тригорское (в июле и октябре 1825 г.),

сменилось в 1827—1829 годы чувством менее бурным, постепенно перешедшим в дружеское расположение, которому в немалой степени способствовал живой, общительный и доброжелательный характер Керн, а также ее тесная дружба с баронессой С. М. Дельвиг и сестрой поэта О. С. Пушкиной (Павлищевой). Живя в Петербурге сначала у Н. О. и С. Л. Пушкиных, затем в близком соседстве с Дельвигами, а позднее на их квартире и на летней даче (см.: Дельвиг А. И. Мои воспоминания, т. I. М., 1912, с. 74), Керн в эти годы постоянно общалась с Пушкиным, была осведомлена о его литературных занятиях, творческих планах. После смерти Дельвига и женитьбы Пушкина (1831) тесные связи Керн с литературно-художественной средой распались: отношения с Пушкиным постепенно пошли на убыль. В 1830-е годы Керн вышла за пределы круга близких друзей поэта, хотя, постоянно общаясь с родителями поэта и Осиповой, она продолжала изредка встречаться и с ним, несколько раз прибегая к его помощи и советам. В 1832 году Пушкин помогал ей в деловых хлопотах, связанных с выкупом имения. В 1836 году, испытывая материальные затруднения, Керн снова обращалась к поэту, желая заручиться поддержкой Смирдина в издании ее перевода из Ж. Санд (*XVI*, 51). Интерес к переводу не был случайным у Керн: еще в юности она делала попытки переводить с французского. Так называемый «Журнал отдохновения» (дневник 1820 г.) наполнен выписками из мадам де Сталь, Ж.-Ж. Руссо, Стерна в ее собственных переводах. Склонность к литературной работе особенно благотворно скажется в дальнейшем, когда в конце 1850-х годов она обратится к жанру литературных мемуаров.

Возвращаясь мысленно к годам своей молодости, Керн прекрасно осознавала, какую огромную ценность имеют все, даже мельчайшие подробности жизни Пушкина, она бережно сохраняет их и доносит до своего читателя. К этой теме она обращалась не только в мемуарных статьях, специально посвященных Пушкину («Воспоминания о Пушкине», «Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке»), но и в своих письмах к Анненкову (помогавшему Керн в ее работе), а также в «Трех встречах с императором Александром Павловичем»,— многократно возвращаясь к одним и тем же эпизодам, уточняя их и прибавляя новые подробности.

Широко используя подлинные материалы, бывшие в ее распоряжении (письма, записки, альбомные записи Пушкина), Керн сумела создать мемуары большой научно-познавательной и литературно-художественной ценности. Достоверность и точность сообщаемых ею фактов и событий из жизни Пушкина сочетаются в них с живостью изложения, тонкой наблюдательностью, пониманием огромного значения Пушкина для русской культуры, умением передать неповторимое обаяние его личности. Ее воспоминания являются надежным, а иногда и единственным источником не только биографических сведений, но и целого ряда утраченных текстов (писем, стихотворений). Дальнейшие разыскания и находки подтвердили строгую достоверность даже самых мелких сообщений мемуаристки.

(Стр. 404)

БдЧ, 1859, т. 154, с. 111—131.

[1] Е. М. Оленина, жена президента Академии художеств и директора публичной библиотеки А. Н. Оленина. Дом Олениных в Петербурге — один из центров культурной жизни столицы в начале XIX в.— сохранился до наших дней (ныне: наб. Фонтанки, 97).

[2] Траур по случаю смерти королевы Виртембергской, родной сестры Александра I, Екатерины Павловны, умершей 28 декабря 1818 г.

[3] Цитата из басни И. А. Крылова «Осел и мужик» (1819), позднее иронически перефразированная Пушкиным в романе «Евгений Онегин»: «Мой дядя самых честных правил».

[4] Большой отрывок из XIV—XV и XXX—XXXI строф восьмой главы «Евгения Онегина» (переданный не совсем точно), мемуаристка относила к себе, что вызвало возражение Гаевского, писавшего, что «А. П. Керн (по второму мужу Виноградская) в «Воспоминаниях о Пушкине»... напрасно приняла на свой счет» эти стихи (*Совр.*, 1863, № 7, отд. I, с. 159). По свидетельству П. А. Плетнева (в передаче Гаевского) и Л. Мея, Пушкин имел здесь в виду Н. В. Строганову (Кочубей) (см.: *Рассказы о П.*, с. 32, 87; ср.: *Модзалевский*, с. 341).

[5] А. Г. Родзянка, литератор и поэт, был знаком Пушкину еще по Петербургу (см. об этом: Вацуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянка.— *Врем. ПК*, 1969, с. 48—52). Оставив военную службу в марте 1821 г., Родзянка поселился в своем имении Родзянки Хорольского уезда Полтавской губернии, где в близком соседстве (в Лубнах) проживали родители А. П. Керн. 3 августа 1824 г. по дороге из Одессы в Михайловское (а не с Кавказа, как пишет мемуаристка) Пушкин остановился на почтовой станции Семеновка, откуда ездил верхом в имение Родзянки (*Летопись*, с. 501). Подробности этого посещения неизвестны. Сведения, содержащиеся в «Воспоминаниях Н. Б. Потокского» (*РС*, 1880, июль, с. 575—584), недостоверны.

[6] А. П. Керн, видимо, имела в виду частые посещения Пушкиным дома Осиповых-Вульф.

[7] Неточная цитата из посвящения к «Чайльд-Гарольду» (Майков Л. Пушкин, с. 238). Письмо Анны Н. Вульф к А. П. Керн с этой припиской Пушкина неизвестно.

[8] Керн близко к тексту пересказывает письмо Пушкина к Родзянке от 8 декабря 1824 г. (*XIII*, 128). Обращенные к нему стихи Пушкина «Прости, украинский мудрец...» она цитирует на память, с некоторыми неточностями (у Пушкина не «наперсник», а «наместник», «покойней», а не «завидней» и др.).

[9] Родзянка вместе с Керн ответил Пушкину лишь 10 мая 1825 г. Письмо это сохранилось (см. *XIII*, 170). Излагая его содержание по памяти,

мемуаристка допускает ряд неточностей: в нем не одно (как она пишет), а два шутливых послания (обращенное к поэту, «О, Пушкин, мот и расточитель...» и адресованные самой Керн «Стихи на счет известного примирения», в которых речь идет о ее возвращении к оставленному мужу, Е. Ф. Керну, и которые действительно заканчиваются строчкой: «Прощайте, будьте в дураках»).

[10] Помещик И. М. Рокотов был одним из тех лиц, которым по распоряжению властей был поручен секретный надзор за поэтом. Однако, «узнав о сем назначении», Рокотов «отозвался болезнью» и отказался от возложенного на него поручения (*РС*, 1908, № 10, с. 112—113).

[11] А. П. Керн имеет в виду устный рассказ Пушкина, связанный с замыслом повести «Влюбленный бес» (см. ее план: *VIII*, 429). Анализ этого замысла дан в статье Т. Г. Цявловской «Влюбленный бес» (Невыполненный замысел Пушкина)» (см.: *П. Иссл. и мат.*, т. III, с. 101—130). Позднее, уже в Петербурге, этот же рассказ на вечере у Карамзиных услышал В. П. Титов, написав на его основании фантастическую повесть «Уединенный домик на Васильевском», которая под псевдонимом Тит Космократов появилась в «Северных цветах на 1829 год» (а не в «Подснежнике», как пишет Керн).

[12] Поэма «Цыганы», начатая в Одессе, была закончена в Михайловском 10 октября 1824 г. Судя по описанию Керн, Пушкин читал поэму в Тригорском по беловой рукописи, находящейся в третьей «масонской тетради» (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 1, № 836), переплетенной в черную кожу

[13] Керн имеет в виду строки из «Евгения Онегина», относящиеся к Ольге Лариной:

Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.
(*VI*, 53).

[14] Цитата из 1 строфы второй главы «Евгения Онегина» (*VI*, 31).

[15] Отъезд Керн из Тригорского в Ригу по настоянию П. А. Осиповой состоялся 19 июля 1825 г. (*Летопись*, с. 621). На прощанье Пушкин подарил Керн не вторую главу «Евгения Онегина», изданную лишь в 1826 г., а первую главу, вышедшую из печати в феврале 1825 г.

[16] Автограф стихотворения «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»), подаренный Керн, не сохранился. До нас дошел лишь его черновик (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 1, № 68а). С разрешения Пушкина оно было напечатано в «Северных цветах на 1827 год» (с. 341—342). Романс Глинки был создан в 1840 г.

[17] Романс «Венецианская ночь» на стихи И. И. Козлова исполнялся на мелодию популярной в эти годы венецианской баркаролы, которую, по воспоминаниям современника, в Петербурге «барышни пели почти постоянно» (*РС*, 1874, ноябрь, с. 462). Письмо Пушкина Плетневу, из которого мемуаристка приводит по памяти не совсем точную выдержку,

было написано в Тригорском в присутствии самой Керн (см.: *XIII*, 189).

[18] Письмо Пушкина к П. А. Осиповой, из которого Керн приводит относящиеся к себе строчки, не дошло до нас, однако достоверность этого сообщения подтверждает собственное письмо Пушкина к Керн, содержащее текстуальные совпадения с процитированным отрывком (*XIV*, 213). Подлинник по-французски.

[19] Керн включила в свои мемуары большие отрывки из писем Пушкина, давая их по хранившимся у нее подлинникам (на французском языке). Однако в тексты, даваемые Керн, «при переписке» вкрались мелкие ошибки и неточности (пропуск и замена отдельных слов, букв, знаков препинания и пр.), о чем сама мемуаристка сообщала П. В. Анненкову, надеясь при последующих изданиях исправить эти погрешности (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, № 56). Отмечая всякий раз степень точности приводимого ею текста, для удобства читателей и имея в виду ее собственное намерение, мы даем письма Пушкина к Керн и о Керн не во французских подлинниках, а в русских переводах по тексту XIII тома Полного академического собрания сочинений Пушкина. Подлинники цитируемых Керн писем Пушкина сохранились и находятся ныне в Пушкинском доме. Ответные письма Керн до нас не дошли.

[20] Выдержка из письма Пушкина к А. Н. Вульф (*XIII*, 190). У Керн — мелкие разночтения.

[21] Письмо Пушкина к Керн (*XIII*, 192). У Керн — незначительные неточности. Последняя фраза у Пушкина — по-русски.

[22] Керн имеет в виду письмо Пушкина от 13—14 августа 1825 г. (*XIII*, 207). Местонахождение подлинника, в свое время принадлежащего П. А. Осиповой, в настоящее время неизвестно. Письмо это обычно печатается по копии, снятой М. И. Семевским.

[23] Шутливая фраза из письма Пушкина от 28 августа 1825 г., не совсем точно переданная мемуаристкой. Объясняя, что «диагональ — геометрический термин», Пушкин поверх написанного из угла в угол приписал: «Вот что такое диагональ» (*XIII*, 214).

[24] Отрывок из письма Пушкина к Керн от 28 августа (*XIII*, 213—214) в тексте мемуаров дан неточно.

[25] Совместное письмо Пушкина и Анны Н. Вульф к Керн (*XIII*, 249). В приписке Анна Вульф добавила: «Байрон помирил тебя с Пушкиным; он сегодня же посылает тебе деньги — 125 рублей, его стоимость». Вероятно, речь идет о пятитомном издании Байрона на французском языке, в переводах A. Pichot и E. de Galle, вышедшем в 1820—1822 гг. (подробнее см.: *ПиС*, вып. XVII—XVIII, с. 69). *Гюльнара* и *Леила* — героини «Корсара» и «Гяура» Байрона.

[26] Пушкин приехал в Петербург 24 мая 1827 г.

[27] Неточность мемуаристки: Баратынский в селе Михайловском не бывал. Кроме Дельвига и Языкова, ссыльного Пушкина посетил и И. И. Пущин.

[28] Близкая знакомая родителей поэта, дружившая с его сестрой, Керн избегала касаться его отношений с родными, намеренно затушевывая те противоречия, о которых не могла не знать. В «Воспоминаниях о Пушкине, Дельвиге и Глинке» Керн подробнее характеризует родителей поэта (см. с. 424, 426 наст. изд.). О Л. Пушкине, обладавшем поэтическим талантом, см. у Вяземского (с. 142—143 наст. изд.), у Лорера («Записки Н. И. Лорера». М., 1931, с. 197). В пятой строке у Керн пропущено начало стиха «Алкмена, Геркулеса...».

[29] Д. В. Веневитинов в октябре 1826 г. переехал в Петербург, где и познакомился с Керн (вероятно, через посредство Дельвига). Часто общаясь с нею, он говорил, что «любуется ею, как Ифигенией в Тавриде, которая, мимоходом сказать, прекрасна» (Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов. СПб., 1901, с. 129). Говоря о глубокой сердечной привязанности Веневитинова, Керн имеет в виду кн. З. А. Волконскую, неразделенное чувство к которой было одной из причин отъезда юного поэта в Петербург, где он вскоре и умер (15 марта 1827 г.). Стихотворение Дельвига «Дева и роза» было написано в марте этого года и напечатано в «Северных цветах на 1828 год» (с. 24).

[30] Неточность мемуаристки: «Полтава» была начата 5 апреля 1828 г., а в ноябре — начале декабря была окончена работа над беловой рукописью поэмы. Третья песня поэмы, из которой Керн неточно цитирует стих (у Пушкина: «И грянул бой, Полтавский бой...», дважды повторенный в черновике поэмы), была написана между 9 и 16 октября.

[31] Цитата из «Цыган» Пушкина.

[32] Альбом А. Керн не сохранился, и следовательно, ее мемуары являются единственным источником текста шуточных экспромтов, обращенных к ней. По-видимому, они были созданы в октябре 1828 г., одновременно с двумя другими экспромтами, также адресованными А. Керн (*ПиС*, вып. IX-X, с. 342).

[33] Пушкин подарил Керн отдельное издание «Цыган», вышедшее в 1827 г.

[34] Стихотворение «Приметы» было написано в январе 1829 г. Текст, приводимый Керн, совпадает с первой публикацией стихотворения в «Подснежнике на 1829 год» (с. 139). Готовя к изданию третью часть «Стихотворений А. Пушкина», поэт исправил 4-й стих на «Сопровождал мой бег ретивый». Черновой автограф стихотворения видел у Керн Подолинский (см. т. 2, с. 145 наст. изд.). Однако, по свидетельству внука А. А. Олениной, «Приметы» были вписаны Пушкиным и в ее альбом. Таким образом, вопрос об адресате стихотворения не может считаться окончательно решенным.

[35] Керн имеет в виду А. А. Оленину, сильное увлечение которой Пушкин испытал в 1828 г. (см. т. 2, с. 441 наст. изд.). «*Пред ней, задумавшись, стою*» — не совсем точно переданный стих из «Ты и вы», обращенного к Олениной.

[36] Дельвиг уехал в Харьков по делам службы в конце января 1828 г., вернувшись в Петербург осенью, 7 октября. Дельвиги жили на Загородном проспекте в доме Кувшинникова (ныне № 9).

[37] Керн с некоторыми неточностями (у Пушкина — «А в ненастные дни...») сообщает печатную редакцию стихотворения; Дельвигу, как и Вяземскому (см.: *XIV*, 26) был послан текст с нецензурным вариантом 2-й строки.

[38] О литературных вечерах у Дельвигов, происходивших по средам и воскресеньям, см. «Мои воспоминания» А. И. Дельвига (т. 2 наст. изд.); «Воспоминания» А. И. Подолинского (т. 2 наст. изд.).

«Фарис» — стихотворение Мицкевича.

[39] Об отношении Пушкина к Мицкевичу подробнее см. «Мои воспоминания» А. И. Дельвига, «Записки» К. Полевого (т. 2, с. 61 наст. изд.). Мицкевич мог бывать у Дельвига в декабре 1827 — январе 1828 г., в октябре 1828 — марте 1829 г. Об увлекательных импровизациях Мицкевичем фантастических повестей в роде Гофмана пишет и А. И. Дельвиг (т. 2, с. 124 наст. изд.). «Фарис» был переведен Щастным из Мицкевича по рукописи (до выхода в свет польского оригинала) и напечатан в «Подснежнике на 1829 год» (с. 17), с примеч. изд.: «Стихотворение сие, недавно написанное г. Мицкевичем, до напечатания на польском языке, переведено по желанию почтенного поэта с его рукописи»; это примечание вызвало поправку Щастного (см.: *СПч*, 1829, 20 апреля). Чтение «Фариса» у Дельвигов происходило в конце 1828 г.

[40] Керн ошибается, говоря о полном одобрении Пушкиным произведений А. Подолинского (подробнее об этом см. коммент. 12 к воспоминаниям Подолинского). О стихотворении «Портрет», посвященном Керн, см. подробнее коммент. 4 к воспоминаниям Подолинского.

[41] Строка из стихотворения «К венценосной страдалице» Е. Ф. Розена («Подснежник на 1829 год», с. 235).

[42] Мать Керн умерла в первой половине 1832 г. «Дама», принявшая участие в Керн,— Е. М. Хитрово.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ, ДЕЛЬВИГЕ И ГЛИНКЕ

(Стр. 421)

Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974, с. 49—74.

[1] Не желая задевать в печати близких ей в свое время родных поэта, Керн опускает следующие строки экспромта:

Дурного масла, яиц гнилых,
Так приходи со мной обедать
Сегодня у твоих родных.

[2] Начальные строки «Романса» Дельвига, появившегося в «Полярной звезде на 1824 год». Похвальный отзыв Пушкина об этом стихотворении см. в письме к А. А. Бестужеву (*XIII*, 85).

[3] О. С. Пушкина против воли родителей 28 января 1828 г. тайно обвенчалась с Н. И. Павлищевым. Подробности этого поступка, который Пушкин называл «шалостью» Ольги», рассказывал В. А. Жуковский, в письме к А. А. Воейковой от 4 февраля 1828 г.: «Пушкина, Ольга Сергеевна, одним утром приходит к брату Александру и говорит ему: милый брат, поди скажи нашим общим родителям, что я вчера вышла замуж... Брат удивился, немного рассердился, но, как умный человек, тотчас увидел, что худой мир лучше доброй ссоры, и понес известие родителям. Сергею Львовичу сделалось дурно... Теперь все помирились» (Соловьев Н. В. История одной жизни, т. II. Пг., 1916, с. 65).

[4] Цитата из XIV строфы главы второй «Евгения Онегина»: «Но чувство дико и смешно».

[5] Н. О. Пушкина умерла 29 марта 1836 года.

ДЕЛЬВИГ И ПУШКИН

(Стр. 427)

Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка, с. 49—56.

[1] «Элегия на смерть Анны Львовны» (тетки поэта, умершей 14 октября 1824 г.) была написана Пушкиным совместно с Дельвигом во время пребывания последнего в Михайловском в апреле 1825 г.

[2] См. коммент. 2 к «Воспоминаниям о Пушкине, Дельвиге и Глинке» (с. 529 наст. изд.).

[3] Об отношениях Керн с С. М. Дельвиг см.: *Модзалевский*, с. 230—231.

[4] О стихотворении «Дева и роза» см. коммент. 29 к «Воспоминаниям о Пушкине» Керн.

[5] См. коммент. 3 к «Воспоминаниям о Пушкине, Дельвиге и Глинке» (с. 529 наст. изд.).

[6] Записка Пушкина к Е. П. Полторацкой не дошла до нас. По «Воспоминаниям о Пушкине» известна стихотворная приписка Пушкина к письму А. П. Керн (см. с. 417 наст. изд.).

[7] Речь, по-видимому, идет о Е. М. Хитрово.

[8] Об участии С. М. Дельвиг в работе над корректурами альманаха «Северные цветы» см. ее письма в кн.: *Модзалевский*, с. 186. О. Сомов был ближайшим сотрудником Дельвига, которому позднее помогал и в редактировании «Литературной газеты». Стихотворение «Кобылица молодая» входит в цикл стихов, посвященных Олениной (подробнее см. т. 2, с. 443). Возможно, именно ее имя фигурировало в веселой проделке, о которой пишет Керн, знавшая об увлечении Пушкина Олениной (см. коммент. 35 «Воспоминаний о Пушкине»).

[9] О занятиях Керн и С. М. Дельвиг итальянским языком (вместе с М. Глинкою) см. в «Воспоминаниях о Пушкине, Дельвиге и Глинке».

[10] Экспромт Дельвига о песнях Беранже в другой редакции приводит А. И. Дельвиг («Мои воспоминания», т. 1, с. 73). Вариант, даваемый Керн, полнее и точнее. *Дева Лиза* — сестра Керн Е. П. Полторацкая (по мужу Решко).

[11] Хронологическая неточность: Пушкин женился в феврале 1831 г. Поездка же Керн на Иматру в обществе Дельвига, О. Сомова и М. Глинки состоялась летом 1830 г. (см.: *Керн*, с. 59—68).

[12] Н. О. Пушкина опасно заболела осенью 1835 г. (*ПиС*, вып. XVII-XVIII, с. 184; см. также письмо Пушкина П. А. Осиповой; *XVI*, 57). Временное улучшение наступило в декабре 1835 г. (см.: *XVI*, 68). 29 марта 1836 г. она умерла.

[13] См. коммент. 42 к «Воспоминаниям о Пушкине» Керн А. Из трех записок Пушкина и Е. М. Хитрово к Керн (*XVI*, 208) сохранилась вторая. Судя по тому, что хлопоты по выкупу имения начались «вскоре после кончины матери» Керн, записки относятся к 1832 г. Соглашение с гр. Шереметевым, о котором хлопотала Керн, не было достигнуто (подробнее см. *Письма*, т. III, с. 517—518).

[14] Письма Е. М. Хитрово, как и письма Пушкина,— на французском языке.

[15] Обед у Дюме, о котором пишет мемуаристка, мог состояться в декабре 1834 — январе 1835 г., когда Алексей Вульф проездом из Малинников в Тригорское был в Петербурге (см. «Дневник» Вульфа, с. 378). «Три повести» Н. Ф. Павлова вышли из печати в конце 1834 г. (ценз. разрешение 2 ноября 1834 г.) и вызвали широкий общественный резонанс, обративший на себя внимание правительственных кругов. На основании собственноручной резолюции Николая I (особенное возмущение царя вызвала повесть «Ятаган», резко критикующая порядки в русской армии) книга Павлова находилась под строжайшим цензурным запретом (подробнее см.: Павлов Н. Ф. Повести и стихи. М., 1957, с. 334—339).

[16] Интерес Пушкина к творчеству английского писателя Э. Бульвера-Литтона (в частности, к роману «Пелам, или Приключения джентльмена», 1828, о котором пишет Керн) удостоверен неосуществленным замыслом романа «Русский Пелам», над которым Пушкин работал как раз в описываемое мемуаристкой время (1834—1835). Подробнее об этом см.: Казанцев П. М. К изучению «Русского Пелама» А. С. Пушкина.— *Врем. ПК,* 1964, с. 21—33). Роман Манцони «Обрученные» (1827) был сразу же переведен на французский язык (2 издания 1828 г., по одному из которых с романом мог ознакомиться Пушкин). Русский перевод романа, выполненный Н. И. Павлищевым, печатался в «Литературной газете» (1831).

[17] О поездке в Красный Кабачок см. «Воспоминания о Пушкине, Дельвиге, Глинке» (Керн, с. 282. «Дневник» А. Н. Вульфа, с. 197—198).

ПИСЬМО К П. В. АННЕНКОВУ

(Стр. 439)

Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Письма, с. 287—293, с уточнениями по автографу (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, № 56).

Письмо является откликом на выход в свет «Воспоминаний о Пушкине», появившихся в апрельском номере «Библиотеки для чтения» при содействии П. В. Анненкова. Датируется предположительно — апрелем — маем 1859 г.— временем ознакомления Керн с текстом этой публикации.

[1] П. А. Осипова умерла 8 апреля 1859 г.

[2] Сестра Осиповой Е. А. Вындомская вышла замуж за двоюродного брата Н. О. Пушкиной — Я. И. Ганнибала (Модзалевский Б. Л. Родословная Ганнибалов. М., 1907, с. 8).

[3] Дети П. А. Осиповой от первого брака с Н. И. Вульфом: Анна, Алексей, Михаил, Евпраксия и Валериан.

[4] Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Признание» (1825), обращенного к А. И. Осиповой-Беклешовой.

[5] Ср. с отзывом Пушкина в «Бове» (1814):

Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого.

Немецким языком владели многие члены семьи Осиповой, нередко помогавшие Пушкину при его обращении к немецким подлинникам (см. воспоминания М. И. Осиповой, с. 458 наст. изд.).

[6] Керн намекает на ссору П. А. Осиповой с детьми в связи с продажей ею Тригорского в 1854 г. (см. об этом: Окулич-Казарин Н. Обитатели Тригорского в 1850-х годах.— Труды Псков. археологического общества. 1911—1912, вып. 8. Псков, 1912, с. 81—109).

[7] Письмо Пушкина к Керн от 22 сентября 1825 г. (*XIII*, 229).

[8] Вторичный приезд Керн в Тригорское с мужем состоялся в октябре 1825 г. (*Летопись*, с. 641). В письме к А. Вульфу от 10 октября Пушкин сообщал о приезде Керн, добавляя: «Муж ее очень милый человек, мы познакомились и подружились» (*XIII*, 237).

[9] Имеются в виду «Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке» (см. с. 421 наст. изд.).

А. Н. ВУЛЬФ

Алексей Николаевич Вульф (1805—1881) — сын П. А. Осиповой от первого брака — дерптский студент, затем гусарский офицер, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов и польской кампании, а начиная с 1833 года после получения отставки — тверской и псковский помещик (ему принадлежало родовое имение Вульфов — Малинники, где неоднократно гостил Пушкин).

В 1824—1827 годах Вульф входит в число ближайших друзей поэта (он посвящен в планы побега Пушкина из России за границу, стремясь лично содействовать осуществлению этого побега). Важнейшее значение в истории отношений Пушкина и Вульфа имело лето 1826 г., когда в Тригорское по приглашению П. А. Осиповой приехал Н. М. Языков, подружившийся здесь с Пушкиным.

Наиболее ценную часть «Дневника» А. Вульфа составляют записи, относящиеся к Пушкину. Они свидетельствуют об интеллектуальном по преимуществу характере общения Пушкина с Вульфом, хотя в них немалое место занимает и область сердечных увлечений, в которых они выступали нередко союзниками, а значительно чаще — соперниками. Ощущая в этой сфере свое превосходство, Вульф окрашивает свойственным ему субъективным пристрастием и свои рассказы об увлечениях Пушкина, называя его «весьма циническим волокитою». При этом Вульф не утрачивает представления об историческом масштабе личности Пушкина.

В «Дневнике» Вульфа большое место занимают беседы с Пушкиным на литературные темы: мемуарист тщательно заносит в него разговоры с Пушкиным, связанные с творческими замыслами поэта, его работой над «Арапом Петра Великого», «Полтавой», «Евгением Онегиным» и др. «Дневник» писался для себя: в нем автор предельно откровенен; благодаря этому до нас дошли смелые и резкие пушкинские высказывания политического свойства: о цензуре Николая I, о недовольстве поэта своим камер-юнкерством. Ряд сообщений, восходящих к этому документу, имеет первостепенное значение (например, намерение поэта перейти в 1834 г. в «оппозицию»). Последняя встреча Вульфа с Пушкиным состоялась 11 апреля 1836 года в Михайловском, куда поэт приезжал хоронить мать (*ПиС*, XXI-XXII, с. 395). С годами юношеский либерализм Вульфа, однако, все более тускнел: в 1850—1860-е годы от него не осталось и следа: Вульф превратился в рачительного хозяина, боровшегося с крестьянами в отстаивании своих помещичьих прав.

Летом 1866 года М. И. Семевский, будущий редактор журнала «Русская старина», совершил поездку в пушкинские места Псковской губ. с целью собрать биографические материалы о Пушкине. Не застав в живых владелицу Тригорского П. А. Осипову и Анну Николаевну Вульф, Семевский познакомился с А. Н. Вульфом и М. И. Осиповой и с их слов записал биографические рассказы о поэте, которые вошли в его статью «Прогулка в Тригорское», появившуюся в *СПб. вед.*, 1866, № 139, 146, 157, 163, 168, 175. Эти рассказы относятся главным образом ко времени михайловской ссылки поэта, не получившей освещения в «Дневнике» А. Вульфа (начатого позднее).

Впервые выдержки из «Дневника» опубликованы Л. Майковым в *РС*, 1899, т. 97, с. 499—537; т. 98, с. 39—59, а также в его книге «Пушкин», с. 163—222. Полный текст «Дневника» (за 1828—1832 гг.) опубликовал М. Л. Гофман (*ПиС*, вып. XXI-XXII, с. 1—310). Последнее по времени

(наиболее полное) издание осуществлено было П. Е. Щеголевым и И. С. Зильберштейном в 1929 году, по которому и даются тексты в наст. изд.

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ М. И. СЕМЕВСКИМ

(Стр. 457)

Вульф А. Н. Дневник. М., Федерация, 1929, с. 68—69, 38—39, 40—41, 39, 56, с проверкой по *РС*, 1870, № 4, с. 404—405.

[1] О так называемом «суеверии Пушкина» подробнее см. вступ. статью (см. также воспоминания С. А. Соболевского, П. В. Нащокина, А. А. Фукс и В. И. Даля во 2 томе наст. изд.).

[2] О появлении Пушкина в русской одежде на святогорской ярмарке писал в своем «Дневнике» опочецкий мещанин И. И. Лапин: «1825 год. 29 майя в Св. Горах был о девятой пятницы... издесь имел щастие видеть Александру Сергеевича Г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одежною, а на прим. У него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными чор. бакинбардами, которые более походят на бороду так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим апетитом я думаю около 1/2 дюжин» (Софийский Л. И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. 1414—1914. Псков, 1912, с. 203).

[3] Ссора Пушкина с Ф. И. Толстым (Американцем) имела место не в Москве, где Пушкин до ссылки в Михайловское не бывал (исключая детские годы), а в Петербурге, куда Толстой приезжал в октябре — ноябре 1819 г. (*ОА*, т. 1, с. 325). О последствиях этого столкновения см. подробнее: *Письма*, т. I, с. 233—234. По приезде Пушкина в Москву в сентябре 1826 г. эта дуэль едва не состоялась: помирили противников общие приятели (*РА*, 1865, с. 1240, 1351).

[4] События эти происходили летом 1826 г., когда в Тригорское приехал погостить Н. М. Языков, учившийся вместе с Вульфом в Дерптском университете (*Летопись*, с. 710). *Евпраксия Николаевна* — Вульф (в замужестве Вревская).

[5] План побега Пушкина из России с помощью А. Н. Вульфа относится к 1825 г. О намерении А. Вульфа летом этого года поехать за границу писала П. А. Осипова еще весной (*XIII*, 163). Отказавшись от этого рискованного плана, Пушкин намеревался добиться у властей разрешения лечиться в Дерпте, откуда надеялся при помощи А. Вульфа и хирурга И. Ф. Мойера (родственника Жуковского) попасть за границу. О возникших в этой связи недоразумениях с Мойером см. в статье А. А. Цявловского «Тоска по чужбине у Пушкина» (в его кн.: Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 138—159).

[6] Настоятель Святогорского монастыря Иона за Пушкиным следил (см. «Записки о Пушкине» И. И. Пущина, с. 64 наст. изд.).

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 449)

Вульф А. Дневник, с. 135—137, 146, 151—155, 162—163, 192—195, 246, 258, 259, 268, 296, 309, 362, 371—372, 381—382.

[1] Пушкин приехал в Михайловское в самом конце июля, а уехал в начале октября 1827 г.

[2] Книги и журналы, о которых пишет А. Вульф, сохранились частично в библиотеке Пушкина (*ПиС*, вып. IX-X, с. 293, 138, 117), частично в библиотеке Тригорского, которой поэт широко пользовался (*ПиС*, вып. I, с. 25). Из беллетристического журнала XVII века «Bibliotheque de campagne, ou Amusements de l'esprit et du coeur» («Сельские чтения, или Развлечения ума и сердца») Пушкин делал извлечения, предполагая написать на этой основе драму или повесть (*Рукою П.*, с. 497—501).

[3] В Кишиневе Пушкин был членом масонской ложи «Овидий» — той самой, за которую (как считал поэт) были «уничтожены в России все ложи» (*XIII*, 257). Вульф видел две рабочие тетради: так называемую «Вторую масонскую тетрадь» (*ИРЛИ*, № 244, оп. I, № 835) и «Третью масонскую тетрадь» (там же, № 836), в которой действительно находятся черновики «Арапа Петра Великого» (главы I—III и VI). Замысел произведения об Ибрагиме Ганнибале (предке Пушкина) относится еще к 1824 г. (стих. наброски «Как жениться задумал царский арап»), однако к написанию исторического романа на эту тему Пушкин приступил лишь 31 июля 1827 г. Дневник Вульфа позволяет уточнить начальные этапы работы Пушкина над романом, являясь ценным свидетельством о дальнейшем развитии сюжета этого незаконченного произведения. Позднее в «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» Пушкин писал о неверности жены Ганнибала: «Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре». Сведения об Ибрагиме Ганнибале, которые, со слов Пушкина, приводит Вульф, были заимствованы из семейных преданий, а также из рукописной немецкой биографии Ганнибала, которую поэт получил от своего двоюродного деда с материнской стороны, П. А. Ганнибала, жившего по соседству с Михайловским, в селе Покровском (подробнее см.: *Рукою П.*, с. 39—59).

[4] Трагедия «Борис Годунов» была первым художественным произведением, подвергшимся «высочайшей цензуре». По требованию Бенкендорфа она была представлена в III Отделение. Автором развернутых цензорских замечаний, из которых исходил Николай I в своем решении, был Булгарин, отметивший, между прочим, что в сцене в корчме «монахи слишком представлены в развратном виде» (Сухонин С. М. Дела III Отделения о Пушкине. СПб., 1906, с. 25). Этим замечаниям, по существу, вторит резолюция Николая, предложившего Пушкину «с нужным очище-

нием переделать комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта» (там же, с. 33). Отказавшись выполнить это пожелание, Пушкин долгие годы не мог добиться ее напечатания. «Борис Годунов» (с переделками и сокращениями цензурного порядка) увидел свет лишь в 1831 г. Под «собственноручными поправками» Николая I поэт имел в виду, вероятно, отмеченные красным карандашом в рукописи трагедии шесть мест, подлежащих исключению или исправлению. Пометы эти были сделаны скорее всего Булгариным (см.: Зенгер Т. Г. Николай I — редактор Пушкина, *ЛН*, т. 16—18, с. 515).

[5] Речь идет о группе произведений, представленных Пушкиным Бенкендорфу 20 июля 1827 г. («Стансы», «Ангел», «Граф Нулин», три песни о Стеньке Разине и др.). Ознакомившись с этими произведениями, Николай I «своеручно» отметил два стиха в «Графе Нулине», «кои его величество желает видеть измененными» («Порою с барином шалит» и «коснуться хочет одеяла»). Характер этих замечаний заставляет предположить, что, говоря о «цензировании» поэмы в Москве, Пушкин имел в виду Николая I. «Песни о Стеньке Разине» были полностью запрещены на том основании, что они «по содержанию своему неприличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева» (*XIII*, 336).

[6] Имеется в виду «Записка о народном воспитании», написанная Пушкиным в ноябре 1826 г. по заказу Николая I. Ознакомившись с рукописью «Записки», Николай I оставил на ней многочисленные пометы, выражавшие несогласие с главной мыслью Пушкина о том, что «просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству». Сообщая мнение Николая I, Бенкендорф писал, что это «правило, опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей» (*XIII*, 315).

[7] В оценке первых томов «Истории государства Российского» (которую поэт называл «бессмертным созданием») выразилось несогласие Пушкина с общей исторической концепцией Карамзина. Эпоха Петра I привлекала внимание Пушкина — художника и историка. На протяжении 30-х годов он работал над созданием «Истории Петра», оставшейся незавершенной. Намерение написать историю Александра I «пером Курбского» (бывшего политическим противником Ивана Грозного и обличавшего его в своих письмах) означало резкое, непримиримое отношение Пушкина к политике Александра I, вызвавшей широкое оппозиционное движение.

[8] Начатая 5 апреля 1828 г., «Полтава» создавалась на глазах Вульфа: 3 октября была завершена первая песнь; 9 октября — вторая; между 9 и 16 октября написана третья песнь. Причиной, заставившей поэта задуматься над заглавием поэмы, было, по-видимому, стремление избежать как прямой переклички с названием поэмы Байрона («Мазепа»), так и нежелательных ассоциаций с фамилией Кочубеев, современников поэта.

[9] С комедией «Горе от ума» Пушкина познакомил И. И. Пущин (подробнее см. с. 102 наст. изд.).

[10] Речь идет о Керн и баронессе Дельвиг, живших в это время в одном доме (см. *Модзалевский*, с. 230—231). *Мнение Пушкина о женщинах.*— Возможно, имеется в виду устный отзыв поэта либо отрывок из романа «Евгений Онегин», под названием «Женщины», напечатанный в *МВ* (1827, ч. V, № 20, с. 365—367), который вызвал энергичные протесты современниц поэта.

[11] 19 октября 1828 г. Пушкин уехал в тверское имение Вульфов Малинники, где пробыл шесть недель. Упоминаемая приписка Пушкина — в письме Анны Н. Вульф от 27 октября 1828. *Ловелас* — персонаж романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748); *маркиз де Вальмон* — герой «Опасных связей» (1782) Шодерло де Лакло.

[12] На этот раз Пушкин провел в Тверской губернии (в уездном городе Старице и имении П. И. Вульфа Павловском) десять дней (с 6 по 16 января). А. Вульф цитирует строчку из стихотворения А. Готовцевой «А. С. Пушкину», сообщенного Пушкину Дельвигом в рукописи. По просьбе Дельвига Пушкин ответил поэтессе стихотворным посланием. Оба произведения появились в «Северных цветах на 1829 год». Двоюродной сестре Вульфа Е. В. Вельяшевой Пушкин посвятил стихи «Подъезжая под Ижоры...» (1829).

[13] Следующая запись, относящаяся к январю 1829 г., сделана в феврале 1830 г. (когда Вульф, поступивший на военную службу, находился на Дунае). Восстанавливая по памяти эпизод возвращения с Пушкиным в Петербург, А. Вульф пользовался записями в своей «Памятной книжке на 1829 г.» (*ПиС*, вып. I, с. 147). При описании почтовых станций по дороге из Твери в Петербург (Торжка, Валдая, Вышнего Волочка, Яжелбиц) Вульф перефразирует шуточные стихи Пушкина «У Гальяни иль Кольони...» (*XIII*, 302).

[14] О поездке в Арзрум см. подробнее т. 2, с. 123 наст. изд.

[15] На обратном пути с Кавказа Пушкин вновь заезжал в Тверскую губернию, пробыв здесь с середины октября до начала ноября 1829 г. Написанное здесь 16 октября письмо Пушкина (*XIV*, 49) было получено Вульфом только в феврале 1830 г. *Netty* — Анна Ив. Вульф, которой посвящено стихотворение «За Netty сердцем я летаю...» (1828).

[16] О запрещении «Литературной газеты» см. подробнее «Мои воспоминания» А. И. Дельвига (т. 2, с. 138 наст. изд.).

[17] Пушкин венчался в Москве 18 февраля 1831 г.

[18] Свидетельство Вульфа о том, что и он сам, и его сестры (А. и Е. Вульф) являются действующими лицами «Евгения Онегина», не следует понимать буквально. Тригорские впечатления, безусловно, нашли отражение в романе, однако не в форме прямых соответствий с образами Ленского, Ольги и Татьяны, как думал Вульф.

[19] Запись свидетельствует о назревающем конфликте Пушкина с царским двором и самим Николаем I, закончившимся трагической гибелью поэта.

М. И. ОСИПОВА

Мария Ивановна Осипова (1820—1896) — одна из младших дочерей П. А. Осиповой от ее второго брака с И. С. Осиповым. Адресат стихотворения «Я думал, сердце позабыло...» (см.: Труды Публичной библиотеки им. Ленина, вып. III. Academia, 1934, с. 42—43).

В феврале 1837 года М. И. Осипова вместе с матерью и младшей сестрой Екатериной была в Тригорском и присутствовала на погребении Пушкина. Сопровождавший тело поэта А. И. Тургенев, познакомившись с нею, назвал ее «милой и умной почитательницей великого русского таланта Пушкина» (*ПиС*, вып. I, с. 54). Согретые любовью к поэту рассказы ее о Пушкине, записанные М. И. Семевским (см. с. 532 наст. изд.), несмотря на свою отрывочность и лаконизм, воссоздают в наиболее характерных чертах живой образ поэта.

М. И. Осипова, ставшая после смерти матери вместе с А. Н. Вульфом владелицей Тригорского, прожила в нем всю свою жизнь. Тесные дружеские отношения связывали ее с родными поэта (см.: *ПиС*, вып. XXI-XXII, с. 403—410).

Устные рассказы М. И. Осиповой известны в записях М. И. Семевского, П. В. Анненкова (*Анненков,* с. 281) и П. А. Ефремова (*PC*, 1879, № 11, с. 519). Мы отдаем предпочтение записи М. И. Семевского, как наиболее полной и обстоятельной, к тому же сделанной в 1866 г., то есть значительно раньше записи Ефремова.

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ М. И. СЕМЕВСКИМ

(Стр. 457)

А. Н. Вульф. Дневник. М., Федерация, 1929, с. 35—36, 40, 67—68, 80, 74—75.

[1] Немецкий язык Пушкин начал изучать только в лицейские годы (см. подробнее: *Я. К. Грот*, с. 231). О своем знании немецкого языка позднее он сообщал К. Полевому: «Только с немецким не могу я сладить. Выучусь ему и опять все забуду: это случалось уже не раз» («Живописное обозрение», 1837, III, л. 3, № 80. Подробнее см.: *Рукою П.*, с. 22—23).

[2] После женитьбы Пушкин бывал в Михайловском и Тригорском три раза: 8—12 мая 1835 г. (*ПиС*, вып. I, с. 144); в сентябре — октябре 1835 г. (*XVI*, 47; *ПиС*, вып. XVII—XVIII, с. 184); в апреле 1836 г. (в связи с похоронами матери, Н. О. Пушкиной). Учитывая настроение поэта, описываемый М. Осиповой эпизод мог относиться лишь к 1835 г.

[3] *Акулина Памфиловна* — жена отца Герасима, «первая вестовщица во всем околотке» — персонаж «Капитанской дочки» Пушкина. Героя с именем Пимен Ильич в прозе Пушкина нет: возможно, М. Осипова имела в виду Пимена из «Бориса Годунова».

[4] Речь идет о кратковременной (всего на четыре дня) поездке Пушкина в Тригорское в мае 1835 г. (см. выше коммент. 2), о котором А. Н. Вульф сообщила своей сестре баронессе Е. Н. Вревской: «Ты была удивлена приездом Пушкина и не можешь понять цели его путешествия. Но я думаю — это просто было для того, чтобы проехаться повидать тебя и маменьку, в Тригорское, Голубово и Михайловское, потому что никакой другой благовидной причины я не вижу. Возможно ли, чтобы он предпринял это путешествие в подобное время, чтобы поговорить с маменькой о двух тысячах рублей, которые он ей должен. 〈...〉 Пушкин в восхищении от деревенской жизни и говорит, что это вызывает в нем желание там остаться. Но его жена не имеет к этому никакого желания, и потом его не отпустят» (*ПиС*, вып. XXI-XXII, с. 325).

[5] Сообщение о несостоявшейся поздке Пушкина в Петербург в декабре 1825 г.— второе по времени появления в печати документальное свидетельство о ней (впервые на этот важный эпизод в жизни Пушкина указал, с его слов, А. Мицкевич — «Pisma Adama Mickiewicza», т. IX, 1860, с. 293); третье содержалось в статье «Таинственные приметы в жизни Пушкина» С. А. Соболевского (т. 2, с. 12 наст. изд.), у которого этот рассказ заимствовал М. И. Погодин (см.: «Простая речь о мудреных вещах», изд. 3-е. М., 1873, с. 178—179; см. об этом у Вяземского и Даля, т. 2, с. 263—264 наст. изд.). Основным пунктом расхождения в показаниях мемуаристов явилась хронологическая приуроченность этой поездки Пушкина. Соболевский, Вяземский, Даль относили ее ко времени до получения в Михайловском известия о восстании; М. И. Осипова — единственная среди них непосредственная свидетельница этих событий (в своем рассказе опиравшаяся на семейные воспоминания, так как ей самой в это время было 5 лет) — связывает ее с получением известия о «бунте» в Петербурге. Детальный анализ всех мемуарных свидетельств, связанных с несостоявшейся поездкой Пушкина, привел С. Гессена к выводу, что рассказ Осиповой является наиболее достоверным (см.: *П. Врем.*, т. 2, с. 361—384).

[6] Об участии Л. С. Пушкина в событиях 14 декабря известно из показаний В. К. Кюхельбекера, который, однако, подчеркнул, что тот «пришел на площадь из одного ребяческого любопытства» (Восстание декабристов, т. II. М.—Л., 1925, с. 173, 180).

[7] Хронологическая неточность: Пушкин выехал из Михайловского в сопровождении фельдъегеря по вызову Николая I в Москву в ночь с 3 на 4 сентября (см. запись П. А. Осиповой на календаре: *ПиС*, вып. I, с. 141).

П. ПАРФЕНОВ

Петр Парфенов (около 1803 — не ранее 1859) — дворовый села Михайловского, кучер Пушкина. По словам М. И. Осиповой (см. *А. Вульф*, с. 74), «помнил и хорошо знал» Пушкина, так как служил при нем во время пребывания поэта в Михайловском (в 1824—1826 гг. и позднее).

Летом 1859 года Михайловское посетил почитатель Пушкина и ученик профессора Петербургского университета А. В. Никитенко К. А. Тимофеев, который, узнав заранее, «есть ли в усадьбе кто-нибудь из дворовых, кто бы помнил Пушкина», отыскал бывшего пушкинского кучера, который оказался «стариком лет за 60, еще бодрым», «толковым», прекрасно помнящим своего барина Александра Сергеевича (*ЖМНП,* 1859, ч. CIII, отд. II, с. 270). Подробно записав рассказы Петра о Пушкине, К. А. Тимофеев не указал фамилии своего собеседника, которая, однако, легко устанавливается по данным «ревижских сказок 1816, 1833 и 1838», опубликованным П. Е. Щеголевым в его книге «Пушкин и мужики» (М., Федерация, 1928, с. 268). Рассказы Петра известны и в записи А. И. Фаресова, менее содержательной и сделанной значительно позднее (*ИВ*, 1899, № 7, с. 160).

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ К. А. ТИМОФЕЕВЫМ

(Стр. 462)

ЖМНП, 1859, ч. CIII, отд. II, с. 270—275.

[1] Неточная цитата из XVIII строфы седьмой главы «Евгения Онегина».

[2] Ср. с описанием пушкинского кабинета Е. И. Фок (с. 467).

[3] Из Одессы Пушкин приехал в г. Опочку Псковской губ. 9 августа 1824 г. Отсюда на своих лошадях с кучером Петром отправился в Михайловское (*Летопись*, с. 504).

[4] Пушкин писал Д. М. Шварцу в начале декабря 1824 г. из Михайловского: «вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны...» (*XIII*, 129).

[5] Ср. рассказ крестьянина деревни Гайки Афанасия (в записи Владимирова): «Бывало, идет А. С. Пушкин дорогою, возьмет свою палку и кинет вперед, дойдет до нее, подымет и опять бросит вперед и продолжает другой раз кидать ее до тех пор, пока не приходил домой в село» (*РА*, 1892, № 1, с. 97). О русском платье Пушкина см. также коммент. 2 к «Рассказам о Пушкине» А. Вульфа.

[6] О секретном надзоре за Пушкиным см. коммент. 1 к воспоминаниям А. М. Горчакова (с. 522). П. Парфенов путает имена Рокотова (Иван) и Пещурова (Алексей).

[7] Посещение Пушкиным весенней святогорской ярмарки наиболее ярко запечатлелось в народной памяти, дав основание устойчивой народной легенде, живые истоки которой отчетливо прослеживаются в рассказах П. Парфенова: необычность внешнего облика поэта и манера его поведения порождают в народе легенду о его столкновении с капитаном-исправником. См. аналогичный рассказ А. Д. Скоропоста — псаломщика села Воронич: *РА*, 1892, № 1, с. 96; см. также: *Рассказы о П.*, с. 53, 128—129.

[8] Подробности об отъезде Пушкина из Михайловского 3 сентября 1826 г. см. в рассказах М. И. Осиповой (с. 460 наст. изд.). Эпизод с пистолетами — отзвук народной легенды о независимом и свободолюбивом поэте.

[9] Слухи о смерти Александра I достигли Новоржева около 30 ноября — 1 декабря 1825 г. (*Летопись*, с. 653, 782—783).

[10] О перевозе библиотеки Пушкина из Михайловского в Петербург см. коммент. 2 к воспоминаниям Е. И. Фок.

[11] *Генерал Фомин* — ошибочное сообщение Петра. Гроб с телом Пушкина сопровождали А. И. Тургенев (см. его «Дневник», т. II, с. 179) и жандармский офицер.

Е. И. ФОК

Екатерина Ивановна Фок, урожденная Осипова (1823—1908) — младшая дочь П. А. Осиповой,— «та самая малютка», о которой Пушкин сообщал П. А. Осиповой, уехавшей в июле 1825 года вместе с А. П. Керн в Ригу (*XIII*, 196, 198). Е. И. Осипова хорошо помнила Пушкина, часто игравшего с ней. В феврале 1837 года тринадцатилетняя Катенька оказалась свидетельницей похорон Пушкина в Святых Горах. В июле 1898 года известный педагог В. П. Острогорский вместе с художником-передвижником В. М. Максимовым предпринял поездку в пушкинские места Псковской губернии и, посетив имение Е. И. Осиповой-Фок Лысые Горы, записал с ее слов небольшой рассказ о Пушкине. По словам В. П. Острогорского, 75-летняя Е. И. Фок «сохранила вполне память, ясность мысли и тонкий ум в оценке людей, которых определяет очень метко» (Альбом «Пушкинский уголок». М., 1899, с. 113). В 1841 году Е. И. вышла замуж за В. А. Фока, владельца Лысых Гор, расположенных вблизи Тригорского. Впервые рассказы Е. И. Фок опубликованы в журнале «Мир божий» (1898, № 9).

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ В. П. ОСТРОГОРСКИМ

(Стр. 467)

Альбом «Пушкинский уголок». Сост. В. П. Острогорский, ил. В. М. Максимова. М., 1899, с. 114—115.

[1] Описание скромной обстановки михайловского дома Пушкиных подтверждается А. Вульфом (с. 449 наст. изд.) и М. И. Осиповой (с. 460 наст. изд.).

[2] Пушкин постоянно пользовался библиотекой Тригорского (см. ее каталог: *ПиС*, вып. I, с. 9—13, 19—52). Память изменяет мемуаристке в отношении собственных книг поэта. Подолгу живя в Михайловском, он собрал немалую библиотеку, которая была перевезена на петербургскую квартиру поэта в начале 1832 г. По этому поводу Пушкин вел переписку с П. А. Осиповой (см. *XV*, 1, 7)

[3] О похоронах Пушкина см. также «Дневник» А. И. Тургенева (с. 218 и его письмо к А. И. Нефедьевой с подробным описанием пребывания у Осиповых и погребения тела Пушкина. (См.: *ПиС*, вып. VI, с. 73.)

СОДЕРЖАНИЕ

П91 **А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.** В 2-х т. Т. 1./Вступ. статья В. Вацуро; Сост. и коммент. В. Вацуро, М. Гиллельсона, Р. Иезуитовой, Я. Левкович.— М.: Худож. лит., 1985.— 543 с. (Лит. мемуары).

Первый том сборника содержит мемуары, охватывающие период раннего детства поэта, лицейские годы, короткий петербургский период между Лицеем и ссылкой и годы изгнания. Возвращением из михайловской ссылки завершаются материалы первого тома.

П $\frac{4702010100-212}{028(01)-85}$ 21-85

ББК 84Р1
8Р1

А. С. ПУШКИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Том 1

Составители:

ВАДИМ ЭРАЗМОВИЧ ВАЦУРО, МАКСИМ ИСААКОВИЧ ГИЛЛЕЛЬСОН, РАИСА ВЛАДИМИРОВНА ИЕЗУИТОВА, ЯНИНА ЛЕОНОВНА ЛЕВКОВИЧ

Редактор Е. Жезлова. Художественный редактор Г. Масляненко. Технический редактор Л. Вецкувене. Корректоры Н. Усольцева, С. Колганова

ИБ № 4012

Сдано в набор 10.09.84. Подписано к печати 05.05.85. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56+1 вкл.+альб.=29,45. Усл. кр.-отт. 29,92. Уч.-изд. л. 31,2+1 вкл.+альб.=31,99. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-1800. Заказ 1595. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15